

538

Вступлѣние

ЮРИЙ ГЕРМАН

ВСТУПЛЕНИЕ

*Второе
переработанное издание*



Издательство Писателей в Ленинграде

№ 360

Отпечатано для Издательства Писателей
в Ленинграде в количестве 10 500 экз. 28³/₄ п. л.
2-я типография ОНТИ имени Евгении Соколовой,
Ленинград, пр. Кр. Командиров, 29. Заказ № 1002.
Ленинград № 11323. Супер-обложка и переплет
М. Курнарскою. Издание стереотипное. Подпи-
сано к печати 29/V 1933 г. Формат бумаги
82 × 110. Типографских знаков 37 152. Поряд-
ковый № 48. Ответственный редактор А. Дмит-
риев. Технический редактор Д. Бабкин.
1933

Кто силен тобою — в работе он,
Кто брошен тобою — умрет.

В. Луговской.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЮБИЛЕЙ

Все утро он провозился со своим брюхом. Жирное, поросшее шерстью профессорское брюхо не желало лезть в бандаж. Предполагался теннис. Без бандажа Кальберг не мог играть в теннис. Он кряхтел, выплясывая на волчьей шкуре возле кровати. Резинки на бандаже бестолково щелкали. Он заталкивал живот ладонью, он бил по животу кулаком, он пальцами оттягивал шнурок — ничего не помогало: живот не лез в бандаж.

Его доги Унрехт и Гебель лаяли под окнами. Прекрасные ульмские псы мяли цветы и мочились на флоксы от нетерпенья. Он всегда кормил их в это время, они в праве были лаять...

Выругавшись, он дернул рычажок жалюзи и ударом ладони растворил обе створки. Старик Иоганн гонялся за псами, размахивая багровой лейкой.

— Сумасшедшие дьяволы! — пожаловался садовник, подняв голову. — Посмотрите на флоксы.

Огромное солнце всплывало над парком. За парком спал Вюрм. Кальберг шевельнул створку окна — роса просыпалась на его голые плечи. Капли валились с виноградных листьев. Он обругал и листья — чорт их дер!

Псы сидели возле скамейки. Гравий хрустел под ногами садовника. Профессор смотрел вниз, голый, опухший, волосатый.

Через несколько минут он сообразил, что на бандаже сзади есть пряжка. Пряжка действительно была, и пряжка растегивалась. Он засмеялся. Живот провалился в бан-

длж. Кэльберг затынул крючки, злость сразу исчезла. Потом он кормил собак кусками мяса и овсянкой. Собаки порчали, отталкивая друг друга. Раскачивался горшок с кашей. Иоганн сердился.

— Зачем они вам, герр Кэльберг? Скверные животные. Они вымотали мне кишки. Это дьяволы, а не собаки. Посмотрите на кресс-салат. Кресс-салат пропал. Они растоптали его своими проклятыми лапами. . .

Кэльберг смеялся, похлопывая старика по спине.

— Ну-ну, старина! Сущие пустяки! Стоит ли. . .

Они сели на скамейку и оба вытянули ноги. Профессор угостил садовника своим табаком — сладким английским кэпстеном. Две голубые спирали почти одновременно поднялись над их головами. Солнце поджаривало их животы и колени. Они блаженствовали, судача и перешучиваясь. Псы легли у ног садовника. От старика уже припахивало вином. Его нос лоснился.

— Ох, герр Кэльберг, — отмахивался он, — ох, герр Кэльберг. . . — И хохотал опять, раскрывая рот, полный табачного дыма.

Завтрак был сервирован на троих, но Рэджинальд и Элли запаздывали, и профессор принялся за еду один. От ветра с озера раскачивались полотнища на веранде. Кэльберг хотел есть. Он сам наливал себе кофе. Огромный цукатный крендель стоял на столе. Его испекла фрау Берта. Милая старуха! Профессор ел ветчину, сыр, булочки. Он опрокинул молочник, и сливки полились на брюки. Медленно прожевывая крутое яйцо, он смотрел, как фланель впитывает желтый жир. . . Никто не приехал. Может быть, они поехали поездом? Зачем?

Разыскав очки, профессор развалился с газетами и трубкой в кресле. Ему стало покойно. Завтрак бурчал в животе. Гсбель шершавым языком слизывал с ботинка сливки.

— Обжора, — сказал ему Кэльберг, — глупая обжора. — И рыгнул.

Ветер с Вюрма перебирал его волосы — тихий утренний ветер. Забастовка. Он перевернул страницу. Рэти. Капа-бланка. Алехин. Китай. Особый зонтик со свистком — новое изобретение. Зачем же свисток? Он представил себе человека, который свистит в зонтик. Китай. Они воевали там черт знает из-за чего. Они рубили там головы и вешали в клетках на деревьях. Китай его интересовал. Пекин, Гонгконг, Шанхай — ему предстояло консультировать, он

подписал контракт. Они курят опиум. Он никогда не курил опиума Чайные домики. Занятно. Он никогда не был в чайных домиках. Он, вообще, нигде не бывал. Он сидел в лаборатории. Газета шуршала в его руках. Конфликт будет улажен мирным путем. Это хорошо — мирным путем, очень хорошо...

Через веранду прошел повар — его специально выписали из Мюнхена на сегодняшний день. Он поклонился Кальбергу. «Хороший повар, — решил профессор, — отличный повар». Жена Иоганна, добродушная толстуха, поздравила герра профессора и остановилась возле ступенек, сложив красные руки под огромными грудями. Кальберг моргал. Он не умел разговаривать с женщинами. Получалось или сентиментально, или грубо. Двадцать лет назад он был влюблен, писал стихи «к Лорелее», сморкаясь плакал и рассказывал по Берлицу, гордо выпячивая, едва начинавший расти живот. Он слушал соловьев. Он пил пиво. Он курил крепчайший табак «Раухер» и тетрадку элегий носил в боковом кармане студенческой тужурки. Получалось — на груди. Элегии надо носить на груди. В молодости он любил рецепты и слепо им следовал.

В тот год он разбил множество колб, реторт, трубок, пробирок в институтской лаборатории. Профессора и доценты удивлялись его рассеянности. Однажды он чуть не взорвался, напутав с кислотами и не вовремя включив ток. Целый день его трясло после этого. Он был добродушен, чистоплотен, порядочен, он был беден и чистил сам себе ботинки. Фрейлейн Гартман предпочла аптекаря на предместьях. У аптекаря уже существовала аптека, и предполагалось наследство. Аптекарь никогда не улыбался и не писал стихов. Лорелея родила первую пару детей. Кальберг кончил институт. Разбирая письма перед отъездом в Штутгарт, он нашел тетрадь, ту самую тетрадь элегий — к Лорелее, которую он носил на груди. Сентиментальный, он поплакал; вспыльчивый, разорвал элегии на клочки. Любовь, парк, соловей, уста, слезы, — все кусочками падало на пол. Он смотрел, потирая толстой рукой толстый подбородок, и, удивляясь, ощущал в себе полнейшее отсутствие жалости к прошлому. Вместо жалости подпрыгивал где-то внутри маленький смешок, короткий и утешительный. Смешок имел свои слова и по-своему разговаривал: он, например, сообщил, что, по всей вероятности, Лорелея, ныне фрау Шлихман, в эти вечерние часы укладывается спать с почтеннейшим герр аптекарем. Она

толста, пылка, плечи ее розовы, и пахнет от нее молоком и детья. Омешок разговаривал, Кальберг слушал. Он мямл в руке диплом об окончании института и совсем его, пожалуй, бы смял, не зайдя ненароком компания приятелей.

Лорелея забылась. Из рядового инженера он стал известным, из известного знаменитым. Вспоминая Лорелею, он сантиментальничал; вспоминая фразу Шлихман, грубил.

Кстати, звали Лорелею прозаичнее: Грета.

Жена садовника давно ушла. Псы млели на солнце. Унрехт перебирал во сне ногами, Гебель — честный дог — отфыркивался и сопел.

Под профессором скрипнуло кресло: заслышав автомобиль на шоссе, он встал. Сквозь молодую поросль ельника черным ветром промчался лакированный кузов кросслея Пирри. Машина остановилась у ворот парка. Длиннорукий садовник, он же привратник, помчался открывать. Загрохотала цепь. На хребте Гебеля шерсть встала дыбом. «Ну-ну, — пригрозил Кальберг, — ну-ну, дубина!» Пирри уже махал каскеткой. Они расцеловались в губы — помощник и патрон. Мир, мир! Раджинальд ездил в Киль к родителям невесты. Все в порядке. Папенька безусловно порядочный человек. Мамаша добра. Все отлично. А сама Элли...

Он показывал ее Кальбергу.

— Новая женщина, герр Кальберг, новая женщина. Она правит автомобилем, она работает главной лаборанткой, она плавает, она поет... Спойте, Элли.

Она отмахивалась. Вуаль зацепилась за шпильки, волосы рассыпались. И пыль. С ее плаща она сваливалась клубами — сто километров в сорок две минуты, вы представляете себе...

Они смеялись, и разговор становился все бестолковее, — из Килья до Берлина коричневым экспрессом, из Берлина сюда через Лейпциг, Нюрнберг, Люксембург, Мюнхен. Под Гофом град, клапан у карбюратора — никуда. Ужасно. Два часа не могли согреться... Вот цветы. Это шампанское. Не возражайте. Мы хотим объявить о помолвке. Цветы вам. Вы любите цветы. Это гиацинты. Это ландыши. Осторожнее, Погани.

Весь кузов они забили плетенками с цветами. Целое утро Элли выбирала их в мюнхенской муниципальной оранжерее. Тут было все для того, чтоб придать вилле профессора по-настоящему праздничный вид, даже гирлянды папоротника и остролистника.

— Крокусы наловов, — командовала Элли, — их мы раз-

бросаем. Резеду тоже. Ирис сейчас же по вазам... Гортензии, розы... и сирень, вот, в углу...

Ее дождевик лежал на траве, ее серое узкое платье запылилось. Наконец она убежала мыться. Со вчерашнего дня ее ожидала комната. Для Пирри Кэльберг велел поставить кушетку в лаборатории.

Пока они с Иоганном и фрау Бертой украшали подъезд и веранду, Кэльберг рылся в телеграммах. Его поздравляли из Америки и Китая, из Японии и из Великобритании. Ему пророчили большую жизнь и большую славу. Директора бумажных фабрик Востока и Аугсбурга, Эльбинга и Эслингена, Данцига и Бранденбурга — слали ему самые лучшие пожелания. Мицубиси Кахара, директор огромного производства в Осака, прислал шутливую и милую депешу. Шанхайская фирма Ван-Шин-Вей, Гоодн и К° желала ему успехов в дальнейших изысканиях. Герр Пфээк сообщал, что выехал вчера из Франкфурта. Сэр Доррис Понд из Канады, Бингхем из Вальпарайзо, Беррио из Рима, Жорж Вальби из Леона — разве знал их Кэльберг? А между тем они слали ему телеграммы.

Всегерманский кураторий по рационализации, Тейлоровское общество в Соединенных штатах. Союз германских инженеров, Институт Меллона в Питсбурге, Парижская генеральная комиссия — все они поздравляли Кэльберга с двадцатилетием научной работы...

Он швырял телеграммы на пол. С вечера фрау Берта заваливала ими стол. Всю ночь и все утро каждые полчаса у ворот останавливался бицикл почтальона. Иоганн почтительно таскал ворохи голубоватых свернутых бумажек. Он удивлялся: сколько людей знают герр Кэльберга!

Телеграммы друзей профессор не рвал. Альбрехт Хольц, египтолог и земляк, вчера выехал из Фрейбурга. Там он удил рыбу и читал Клейста старой деве сестре. Однокашник Рихард Шор, крупнейший инженер у Фойгта и Рефнера, специалист по масляным выключателям, должен был приехать с минуты на минуту.

Коллега Надель, химик Клинке, доктор Дроссель — все старые друзья вплоть до неудачника Гуго Нупбаха — должны были собраться сегодня в его вилле.

Первым после Пирри приехал герр Алоизий Пфээк. Он сам управлял своей машиной. Его обветренное дорожное лицо сияло. Он был мал ростом, и поэтому ему пришлось встать на цыпочки, чтобы расцеловаться с профессором. Кэльберг встретил фабриканта возле ворот. Их отношения

можно было назвать дружбой. Заядлые шахматисты, они не один вечер просидели друг против друга, морщась и дымя трубками. Пиво они пили тоже вместе — молчаливые, достойные, в расстегнутых жилетках.

Иоганн отвел машину директора в гараж за домом. Кальберг взял Пфээка под руку. Смеясь, они зашагали по аллее. На веранде их встретил Пирри, уже переменивший дорожный костюм на черную тройку. Все вместе они отправились осматривать виллу. Кальберг купил ее недавно и был в восторженном состоянии горожанина, попавшего вдруг в сельскую обстановку. Коровник под черепичной крышей умилил всех. Герр Пфээк снял шляпу и помахал ею в воздухе. Фиолетовые зрачки лучшей шведской коровы Кальберга робко рассматривали гостей.

— И что же она так и стоит? — спрашивал директор. — И молоко тоже тут дает?

— Тоже тут...

Они смеялись. Сладко пахли тополя в парке. На Вюрме кричали деревенские ребятишки, за оградой пыхтел трактор. Профессор привел гостей на куриный дворик. Он ничего не понимал в куроводстве, но ему нравилось вот так ходить и показывать свое хозяйство.

— Это плимутрок, — говорил он, тыкая пальцем в курицу ля-флеш, — а вот это гуданы справа, видите? — Справа рылись огромные кохинки, гуданы же стояли за кормушкой, но герр Пфээк кивал головой. Не все ли равно в конце концов — гудан, ля-флеш, бентамки.

Проходя под окнами кухни, они услышали drobный стук ножей. Там шипело масло, и грозный повар кричал на своего бестолкового помощника. Пфээк проглотил слюну. Он любил поесть и знал, что праздничный обед будет на славу.

Когда они пришли на веранду пить содовую со смородиной, там уже сидели Клинке, Надель, доктор Дроссель и почтеннейший египтолог Альбрехт Хольц. Кальберг целовался со всеми. Огромный, жирный, волосатый, расстегнутый, он прижимал друзей к своему потному животу, хлопал их по плечам, гоготал и шумел больше, чем шумели все гости вместе. Доктор Дроссель рассказывал берлинские новости. «Умер профессор Линде — помните, такая импозантная фигура?» Пфээк вытер глаза платком. «Смерть, смерть, — скалал он, — кого-то ты возьмешь первым из нас?» Кальберг хмыкнул, ему было наплевать на импозантную фигуру, он никогда не лицемерил. Его больше интересовал обед. Что же касается смерти, то он пока был жив. Пфээк закурил

сигару, обезвредив ее предварительно порцией особого патентованного средства «Три принцессы». Для этого он возил с собой специальный шприц и целую коробку ампул. Дым поплыл по веранде. Скрипели плетеные кресла. Далеко в парке пьяным голосом орала кукушка. Псы чесались во дворе египтолога. а он, жестикулируя и вздергивая головой, читал непонятные стихи:

Такая тишина в кольце сидела.
Потоплен мир, увенчанный лазорьем.
И гриф на сумрак
Смотрит
Замкнутый...

— Это я, — признался египтолог, кончив.

Пфээк похлопал ему снисходительно и негромко. Тогда Хольц предложил почитать еще, но Кэльберг услышал и поднял его насмех.

— Почтенный человек, — орал он, — старый человек и такие стишки! Мало тебе того, что выбрал египтологию и голодаешь? Мало? Кому в наше время нужен Египет? Герр Пфээк, вам Египет нужен?

— Какое мне дело до Египта!..

Кэльберг осекся. Он все же не думал, что фабрикант так самонадеян. Да, Египет не нужен, но... И вообще он почему-то раздражителен сегодня.

Опять принесли ворох телеграмм. Пока он читал их, все собрались возле балюстрады. Кто-то приехал, машина, мягко подрагивая, промчалась к гаражу. Он не знал этой машины. Во всяком случае, это не Рихард, у того мерседес...

— Герр Кэльберг...

Он поднял голову, потому что Пфээк положил сзади ему руку на плечо. Солнечные лучи зажгли огоньки в камнях старинного перстня. Короткопалые и широкие руки фабриканта поросли волосом цвета вороненой стали.

Надель улыбался, как улыбаются папаши, впуская детей в зал, в котором зажжена елка. Клинке все старался закурить сигару, но ветер с Вюрма тушил спички одну за другой.

— Да, да, — говорил кто-то сзади, — да, да, замечательно.

Пфээк обнял Кэльберга за талию и потянул его к ступенькам. Они спускались гурьбой, все вместе, отчаянно мешая друг другу. У гаража незнакомый шофер обтирал шею тряпкой. Перед ним на опрокинутой бочке стоял куфель

бархатного черного пива. Он снял кэпи и поклонился всей компании, плутовато посмеиваясь.

— В целости и сохранности, — сказал он Пфээку. — За-мечательная штучка, доложу вам...

Фабрикант грозно мигнул ему. Все же Кэльберг ничего не понимал. Рэджи хохотал сзади во всю свою американскую глотку, слышно было, как сердилась на него Эллиопор.

— Герр Кэльберг! наша фирма, на пользу и на процветание которой вы потратили столько сил и энергии, наша фирма в двадцатилетний юбилей вашей плодотворной научной деятельности поздравляет вас от всей души и надеется...

Пфээк стоял уже возле опрокинутой бочки. Шофер посторонился, забрав свое пиво. Пфээк жестикулировал, слегка растрогавшись. Он даже вытер глаза платком. Что за ерунда? Профессор оглядывался: яркие губы Элли, греческий узел ее волос, уныло торчащие уши египтолога. Тоже поэт!

И гриф на сумрак
Смотрит
Замкнутый.

Он вдруг заподозрел себя в том, что глупо улыбается, и совсем рассердился. Какая-то бродячая курица, секунду поразмыслив, нагадила возле лаковых штиблет фабриканта и удрала, как профессиональный хулиган. А он все говорил:

— Мы хотим, чтобы память о нашей совместной работе была всегда с вами в образе предмета, ежечасно потребного культурному германцу... Мы хотим, чтобы вы, герр Кэльберг, всегда и везде помнили о нашей фирме и о ее делах. Котел, над которым вы работаете для нас, будет двигаться успешнее, потому что вы... Откройте гараж, Йоганн...

Вирипрыжку старик ринулся к воротам. Его тоже мучило отчаянное любопытство. Ключ долго не попадал в замок. Наконец ворота открылись.

— Теперь рубильник, Йоганн.

Четыре стосвечевых лампы облили белым светом серые стены гаража. Запахло автомобильной смесью и каучуком. Кто-то кого-то толкнул. Завопил Йоганн — ему наступили на ногу. Кэльберг остался позади, но тотчас же его вытащили вперед.

— Смотрите же, смотрите!

Сначала он увидел сверкающие фары — две большие величественные фары и одну малую наверху у щита. Потом он разглядел и радиатор, похожий на медовый сот. Это была машина! Таких машин он, пожалуй, и не встречал.

Не спеша, посасывая трубку, он обошел автомобиль кругом, открыл дверцу, заглянул внутрь, потрогал стартер и прислушался к вою гудка.

Голос автомобиля!!!

Автомобиль говорил: я еду. Он сообщал: я еду. При отрывистом и коротком нажмие он кричал: берегись! Потом он сердился, — этот чудесный автомобиль, — он сердился, должно быть, на перекрестке в ожидании сигнала шупо, он не любил ждать, автомобиль, привыкший к вою километров под шинами.

Кэльберг потрогал и сиденья, обтянутые давленной замшей, он откинул боковое кресло и ударил кулаком — хороши ли пружины. Пружины ответили коротким, мягким толчком, но... но без свинства. Он засмеялся, сплюнув табачную горечь, и откинул с двигателя капот. Эта была страсть, эта была любовь! Конечно, у него хватило бы денег на сотню таких машин, но лень мешала ему, проклятая лень. Пфээк стоял сзади, милая коротышка с сияющей рожей, эдакий черный пройдоха, воплотивший его мечту, чорт возьми.

— Вы с ума сопли, герр Пфээк. Это же изумительная машина. Я никогда не видел ничего подобного.

— Вы не могли видеть, герр Кэльберг. Машина заказана. Разве вы забыли, как я шаг за шагом выводил у вас все то, что вам нравилось в автомобилях? Помните, зимой у Раддаца целый вечер мы разговаривали об окраске кароссерии... Я узнал у вас тип дверного замка, литраж, мощность, марку, все...

Да, да, действительно, он вел бесконечные разговоры об автомобилях. Кэльберг даже злился тогда. «Оставьте меня в покое с вашим авто, не мешайте играть на бильярде, чорт возьми!..»

Два автомобиля рядом — его старый стосильный линкольн-салон с низкими широкими стеклами, не мало послуживший ему, и новый, кремовый, марки Н. А. Г., двадцатипятистосильный дьявол дубль-фаэтон, упершийся четырьмя, еще не успевшими загрязниться шинами в бетонный пол гаража, готовый к бесшумному выезду в ночь, в солнечный день — все равно...

Герр Пфээк улыбается, отмахиваясь от мух. Это проклятно обитает и тут, чорт бы его драл.

Идеальная машина!

Теперь пришла очередь расстрогаться Кэльбергу. Своей огромной лапой он жмет руку Пфээка. «Спасибо, спасибо. Вещная возня! Сколько раз вам пришлось ездить на завод!...»

Широкое лицо доктора Дросселя сияет. Да, это карьера. Давно ли парень чистил сам ботинки, а теперь один из крупнейших фабрикантов страны преподносит ему автомобиль. Нет, не скоро Германия оскудеет талантами.

Они остаются одни, все уходит из гаража. Широкая спина Пфээка последней исчезает в воротах...

— Помнишь, Оскар? Я переползал тогда в абитуриум, а Надель сидел еще в приме. Ты бросил университет, помнишь, а? Ты ушел в институт, и мы жрали обрезки ливера? Ты жил в Юнтфернгейде, возле института, у вдовы Крохэль, помнишь?

Еще бы не помнить. Дроссель тормозит его, дергая за рукав.

— Мы ездили к тебе из Вансензее через весь город, а потом ты нас провожал. и мы заходили на полпути у вокзала Шенштрассе в пивную, помнишь? Там пили бурши, дураки старались казаться истыми гейдельбержцами. Они нас задирали, помнишь, но ты стучал ногой как слон, помнишь?

Кэльберг смеется, разглядывая машину. Действительно, он стучал ногой... Должно быть, препотешно...

— Ладно, дружище, ладно... все хорошо. все отлично...

Он положил руку на плечо доктора. В раскрытые двери лился жаркий день. Он закурил трубку и дал огня доктору. Так они стояли друг против друга, чуть улыбаясь, вспоминая. Они не были еще стариками, но их волосы уже тронула седина.

— Ну что же?

Кто-то из них засмеялся первым, кто-то вторым. Кажется, они думали об одном и том же, о том, что вот молодость-то кончилась, у каждого своя работа, свой досуг, свой вечер — у каждого свое и по-своему, а главное — наступило спокойствие. Можно спокойно думать и спокойно жить, может существовать спокойная дружба, длящаяся десятилетиями, — такая как у них. дружба двух мужчин, профессора Кэльберга и доктора Дросселя.

— Верно, дружище?

— Верно, старипа.

Они шли из гаража обнявшись, как хаживали в молодости. Правда, сейчас это было не очень-то удобно — Кэльберг растолстел до того, что рука доктора соскальзывала с его спины.

— Так-то, старина!

— Так-то, дружище!

Это тоже были «молодые слова», те слова, которые полагалось произносить подвыпившим, разоткровенничавшимся студентам, здоровым ребятам, весельчакам-приятелям...

ЛЕКСИКОН ПРОПИСНЫХ ИСТИН

Шор приехал к самому обеду. Мюнхенские лакеи уже расставляли вина, повар обкладывал жаркие гарнирами, фрау Берта носила из столовой на веранду хрусталь и серебро.

— Я устроил тебя в маленькой гостиной...

Инженер кивнул и бросил в сторону автомобильные очки. Он был бледен.

— Что с тобой?

Кэльберг взял его под руку. Ему хотелось, чтоб Рихард смеялся. Все в этот день должны были смеяться. Они шли по аллее, поглядывая друг на друга. У крыльца Шор остановился. Иоганн пронес мимо наверх чемодан инженера.

— Я переоденусь.

— Пустяки, у меня запросто.

Через несколько минут Шор спустился вниз повеселевший, переодетый. Он был худ и высок, круглые глаза, желтые и быстрые как канарейки, сидели глубоко. Он лысел с висков, его рыжие волосы, зачесанные назад, отливали бронзой...

Хозяйничала Элли. Доктор Дроссель сидел по правую ее руку, Кэльберг по левую. Постучав черенком вилки по графину, он потребовал себе слова.

— Я преклоняюсь перед французской кухней, — сказал он и помахал волосатой пятерней над столом, — преклоняюсь. Я — чревоугодник. Я обжора. Кроме французской кухни, я считаю заслуживающей внимания старую германскую кухню. Поэтому обед сегодня смешанный. Ура!

— Ура! — крикнул Пфээк.

— Ура! — поддержал Надель.

Первый тост произнес доктор Дроссель. Он говорил о честности, о высоком душою германском народе, об отторженных землях, о позоре и опять о честности. Лакеи дер-

жали пробочники наготове. Шампанское должно было ударить в потолок в ту самую секунду, когда кончит доктор. А он все говорил и говорил, плавными движениями подергивая манжет. Двадцать лет назад он кончил юридический. Двадцать лет он служил юрисконсультантом у владельца завода электрортутных ламп. Все эти двадцать лет он упражнялся в отыскивании лазеек и в произнесении речей. Его хлеб был горек и солон: дети, жена — их падо было кормить. Двадцать лет он мечтал о речи без лазеек и без крючкотворства. Доктор Дроссель хотел говорить о поправках правах и не мог, потому что сама фирма попирала их. Доктор Дроссель хотел говорить о справедливости, о человеке, о мировой гармонии — но кто бы стал слушать? А слова возникали во рту, он ощущал фразы сотканными, он почти видел аудиторию и себя — свое широкое, мужественное лицо, свои плечи боксера и поднятую, занесенную руку.

Тут его слушали. Рихард Шор сидел, опустив веки и выставив вперед подбородок. Этот человек тоже мечтал о мировой гармонии. Пирри разглядывал доктора. Надель пальцами закручивал черную бородку и посасывал ее кончик. Египтолог слушал, ладонью оттопыривая ухо. «Да, да, — бормотал он, — да, — отлично сказано». Лакеи ухмылялись. Кэльберг же нетерпеливо двигал под столом ногами, кряхтел и жевал тминный хлеб. «Ты дурак, старина, — хотелось ему крикнуть, — ты тупая скотина. Все проголодались. Выброси в лужу свою губную гармонику». Так, конечно, можно было говорить в молодости, а сейчас Дроссель мог, пожалуй, обидеться...

Наконец он кончил. Пена сверкнула на солнце. Первая полдюжина быстро опорожнилась. Пфээк ударил стаканом об пол. Все стояли. Кто-то протянул руку — он не разобрал сначала. Кричали «ура». Рука была тверда, крепка, мальчишеские глаза Пирри смеялись патрону.

— Милый мальчик! — заорал Кэльберг. — Милый мальчик, если так пойдет дальше, то я усыновлю вас. Что вы скажете на это, фрейлейн. — Он поцеловал ее пальцы...

Потом говорил Пфээк, подняв наполненный бокал. Он уже успел опьянеть, запутался и скомкал конец, заорав «ура». Ему хлопали.

Старые немецкие вина — очень дорогие и очень хорошие — пили попеременно с французской дрянью. От кровавого супа Пфээк пришел в восторг.

— Это для меня! — закричал он. — Честное слово, для

меня! Он знает мой вкус — клянусь. И даже сушеные груши. О, Германия...

Фабрикант умилялся. Может быть, он пил больше, чем следует. Кэльберг запикивал себе в рот огромные куски упругого зильца. Прованское масло текло по его подбородку. Он кричал и размахивал вилкой, начиная пьянеть. Пирри все посмеивался. Встер раскачивал гирлянды, подвешенные к стропилам. Шелкала парусина. Они — горожане — пьянели и от воздуха, и от озера, и от запаха тополей. Солнце пекло им головы. Жареного на вертеле каплуна уже никто не ел, а блюда все подбавлялись и подбавлялись. Пфээк кричал, как конферансье в мюзик-холле:

— Страсбургский паштет — скобленка с трюфелями! Любители зеленого соуса! Почтеннейшая публика! Посмотрите, какие сливы, какие капорцы, какие анчоусы! Утка под бешемелью! Куропатки по-французски с виноградом!..

На другом конце стола химик Клинке говорил, ни к кому не обращаясь, прямо в воздух перед собой:

— Что я слышу? Германии не нужны химики? Что я слышу? Не сошел ли я с ума? Вчера мне предложили подписаться под воззванием к нашей молодежи. Знаете, что в этом воззвании? В этом воззвании призыв не учиться. Герр Кэльберг, мы, старики, призываем наших детей не учиться. Дорогой герр Кэльберг, вы понимаете что-нибудь? Магистр Шмахель, мой личный друг, государственный ум, — магистр Юлиус Шмахель подсчитал, что через шесть лет мы будем иметь двадцать две тысячи безработных химиков. Я ничего не понимаю, герр Кэльберг. Коллега Надель, может быть, вы понимаете?

Коллега Надель пожал плечами. Он тоже не понимает. Да и не хочет понимать. Над некоторыми вещами не стоит задумываться.

Кэльберг слушал. Опьянение проходило. Занятно. Что же будет делать уважаемое правительство с этими тысячами? Их надо накормить, иначе они умрут. Их надо одеть, иначе они замерзнут.

— Глупости! — орал Пфээк. — Чепуха. Это было, это есть, это будет. В чем дело? Средств к существованию нет, а они рожают. Надо запретить рожать. Почитайте Мальтуса. Мальтус — гений, а ваш магистр просто арифмометр. И — только. Надо создать международное бюро по учету рынка труда. Пускай туда ходят молодые люди. Бюро выработает план: столько-то химиков, столько-то металлургов, столько-

то текстильщиков. Во-первых. И запретить рожать — во-вторых.

— Несерьезно.

— Что несерьезно?

— Ваш Мальтус...

Пирри налил себе бордо и отхлебнул, по-детски сложив губы. Разговор становился все резче. Шор, придвинув бри, ел его без хлеба. Щека у него порою дергалась.

— Что с тобою, Рихард? — опять спросил Кэльберг.

— Пустяки.

— Нет, не пустяки.

— Оставь меня в покое.

Через минуту Шор пристал к Пфээку, съязвив что-то насчет его фабрик. Пфээк покраснел и рывком повернулся к инженеру.

— В чем дело?

Запахло скандалом. Тогда встал Пирри. Глаза его по-прежнему смеялись.

— Старик Флобер, — сказал он отдельно и внятно, — старик Флобер был неглупым человеком, уверяю вас. В лексиконе прописных истин сказано, что политика и религия должны быть из беседы устранены. Я пью за старика Флобера. Элли пьет за беседу, в которой нет ни капельки ни политики, ни религии. Чокнемся, Элли?

— Браво, мой мальчик! — Кэльберг поднял бокал. — Я тоже хочу чокнуться с вами.

Они чокнулись. Они выпили за Флобера и за лексикон прописных истин. Они пили за Клопштока, за Генриха Гейне и за Диккенса. Под конец Пирри объявил о помолвке.

— Спокойствие, — сказал он, — спокойствие. Я, Рэджинальд Пирри, сын архитектора Герардо Пирри, двадцати девяти лет отроду, уроженец города Гринвуд штата Делавар, инженер-химик, объявляю вам о помолвке моей с Эллионор Рут, уроженкой города Килиа, дочерью коммерции советника Леопольда Рут, причем...

— Браво!

Ему не дали кончить. Лакеи разливали шампанское. Кэльберг спрашивал, перегнувшись через стол, не сердится ли он на него. Пирри не слышал. Его поздравляли.

— Еще шампанского, еще!

Все встали. Кэльберг, тяжело ступая на пятки и хмурясь, добрался к помощнику и крепко обнял его. Он заволовновался. Ему казалось, что все прошло недостаточно торжественно, не так, как нужно. Безобразие, безобразие! Ла-

ней принес из кабинета футляр, он раскрыл его, снова закрыл и, почти краснея, сунул под столом девушке. «Вот, возьмите, пожалуйста, возьмите...»

Холодный платиновый обруч лежал в бархате. Он как бы стягивал прозрачный диск из слоновой кости. Резец художника нанес на пожелтевшую кость девичьи черты Мадонны, ее ресницы и прямой лоб, ее тонкие щеки. Прекрасное лицо едва светилось. Сомкнутые губы, опущенные веки, вся поникшая голова, сама кость и обруч, — все это было величайшим символом страдания.

Элли вынула диск из футляра и подняла его над столом.

— Замечательно! — Хольц протянул руку. — Дайте мне. Да, да, замечательно. — Он рассматривал кость на свет и никому не давал ее. — Вы разобьете, — говорил он, — разве можно? Это прекрасно, прекрасно...

Диск пошел вокруг стола и вновь вернулся к египтологу. Ни на кого он не произвел большого впечатления. Пфэак повертел его пальцами, гмыкнул и передал Наделю. «Да, да, — сказал Надель, глядя мимо, — да, конечно». Кто-то шопотом спросил о цене, но Кальберг притворился, что не слышит. «Олухи, кретины». Только Хольц чувствовал всю стремительную силу, всю напряженную страстность, весь поток слов, мыслей и чувств, заключенных в кости.

Они опять пили. Раскаленный весенним солнцем патефон орал бравурный марш. Ни с того ни с сего Дроссель поставил какую-то торжественную и нудную кантату. «В честь нашего Оскара, в честь нашего друга профессора». Кальберг встал и ушел с веранды, сдвинув канотье на затылок. Его лицо жгли солнечные лучи. Белый гараж под черепицей как бы плыл перед ним. «Пьян, пьян, — сказал он себе и похлопал ладонью по мокрому лбу, — пьян как свинья». Ему даже пришлось посидеть на опрокинутой бочке. Явились доги. Он почесал Унрехту шею и сунул соломинку Гебелю в нос. Потом он признался собакам, что его гости все до одного пошляки. Они ничего не понимают, ей-богу.

Отворив ворота гаража, он еще раз полюбовался автомобилем и послал проходившего по двору лакея за содовой. Двенадцать цилиндров, двойные тормоза, две пусковые рукоятки, двойные рессоры — этот дьявол был рассчитан на чудовищные скорости. Псы сидели возле радиатора, свесив оба на левую сторону мокрые языки. «Ужидать еще рано, — сказал им Кальберг, — сейчас поедем». Они влезли в кабину, Кальберг хлопнул рукой по лавочной лампе, сиде-

ния — они прыгнули на сидение и немножко покрутились перед тем, как сесть, так полагается каждой собаке...

Он посмотрел, достаточно ли масла в картере мотора, проверил рулевое управление, оба тормоза, сцепление и посмотрел, как работает масляный насос, свечи, мотор. Он слушал и улыбался. Да, это машина! Сифон с содовой он поставил возле себя, на шкатулку с инструментами и притянул его шпагатом. Шляпу он уронил и наступил на нее ногой печально — она осталась лежать на полу, желтая как подсолнух. Плавню включив сцепление, он вывел машину на первой скорости, выключил, переставил скорость на вторую и опять включил. Гравий шипел под шинами. Иоганн открыл ворота и помахал Кальбергу рукою. Профессор повернул направо, не к городу, а в поле. Доги сидели смирно, они уже привыкли к таким путешествиям. Дорога была пуста в эти воскресные предвечерние часы, лишь одинокий крестьянин с обветренным лицом толкал перед собой тележку, прикрытую брезентом.

В двадцать минут Кальберг сделал сорок километров и повел машину по спуску на малой скорости, слегка притормаживая. Он проехал несколько деревень. Весельчак пистер помахал ему шляпой со своего крыльца. Навстречу шли грубые серые облака. Сразу же за спуском начинался крутой поворот. «Отлично, отлично». Унрехт слез с сиденья вниз и свернулся калачиком на желтом ковре — от ветра ему стало холодно.

Буковые и грабовые деревья росли сплошной стеной по краям дороги, внизу, за поворотом. Тут стало темнее. Что за дьявол? Он так затормозил, что заклинил тормоза.

— Эй, вы, паучьи дети! — Он ругался, как старый морской волк или как пират из детской книжки. — Тридцать ведьм вам в глотку, пропустите машину, сатана вас сожри! Эй, черти!

Ему нравилось орать на этой пустой дороге. Доги лаяли, что было сил, обалдев от внезапной тишины. Наконец Кальбергу надоело. Он еще раз выругался и вылез из машины. Поперек дороги стояла двухколесная бричка. Пегий жеребчик мотал головой и переступал с ноги на ногу. Передние ноги были у него в бинтах, вожжи валялись на земле, бич тоже валялся неподалеку. В бричке спал человек, возле дороги, в траве, другой. Оба были мертвецы пьяны. Кальберг дернул одного за шиворот — бородатая рожа вылупила на него красные глаза, он обтер с омерзением руки о сиденье и пошел к другому. Тот спал, подложив под голову сверну-

тую куртку. Кэльберг постоял возле него, широко расставив ноги и вытирая пот платком. Собаки выпрыгнули из машины и подошли к нему, сначала Гебель, потом Унрехт. Шерсть на их хребтах стояла дыбом. «Ну, ну, дурачье!» Поразмыслив минуту, он свел лошадь прочь с дороги и стащил в траву за ворот пьяного бородача. Вслед за ним он кинул его котелок и щегольской бич. «Тебе следовало бы подавиться своей дурацкой шляпой», пробормотал он. Потом он еще постоял над парнем, который дрыхнул, подложив под башку пиджак. Конечно, это Нунбах. Каждый год он навещал его и обязательно в таком состоянии. Нагнувшись, Кэльберг тряхнул его — пьяница открыл глаза и хмыкнул, ничего не понимая. Тогда Кэльберг вылил ему в лицо всю содовую и поволок его к автомобилю.

— Гнусная тварь, — бормотал он, запикивая Нунбаха в кабину, — ты заблуждешься мне все сиденье.

Того, действительно, уже начало тошнить. Собак Кэльбергу пришлось посадить к себе, иначе бы они изорвали пьяного.

Через десять минут он остановил машину возле домика патера и пожаловался священнику на свою беду. Эдакая свинья, эдакая дрянь! Целый вечер он будет скандалить и устраивать ему истерики.

Они передали Нунбаха прислуге, чтобы та отпоила его горячим молоком с напатырным спиртом, а сами вошли в дом. Обилье кружек и дорогого фарфора всегда умиляло Кэльберга. Патер любил вещи. Старый весельчак, он сам подал умыться Кэльбергу, усадил его в кресло и налил стакан доброго рюдесгеймера. Ваза с отличными цукатами стояла в шкафу — он принес ее на стол.

— Что с ним за беда? — спросил он шурясь.

Кэльберг потел и ругался. Ему хотелось ругаться. Он отводил душу в этой скромной комнате, попивая рюдесгеймер.

— Послевоенная депрессия, — говорил Кэльберг, пожирая цукаты, — обнищание, репарационные платежи. Всю войну он защищал отечество, получил медаль Фридриха-Августа и железный крест в своем королевском гусарском полку, он дрался при Сомме и при Ипре — он многое перенес. Потом его демобилизовали с пенсией в пятьдесят марок. Он приехал в Берлин героем — он мог работать, но проклятые гадалы разрушили нашу промышленность — ему негде было работать. Отличный архитектор. Он не верил — неужели теперь он не получит работы. Он просил и ругался, он скандалил и опять просил. Я жил тогда в Америке. Я

ничего не мог ему устроить и ничем не мог помочь. Он катился вниз, он страдал, как страдала вся Германия, он набрался каких-то дурацких идей насчет эксплуататоров и рабов, — он избил кого-то, его посадили в тюрьму. . . Потом его устроили на работу, но он пил, и его прогнали. . .

Кальберг рассказывал и отмахивался от мух. Во дворе у пушечного насоса «лечили» Нунбаха. Он брыкался, но два здоровенных батрака держали его крепко, он не мог вывернуться. Девушка в плетеном чепце с крыльями вливала ему в глотку теплое молоко стакан за стаканом.

— Ладно, — говорила она, — еще глоточек. Ну-ка.

Через полчаса Нунбах встал на ноги и попросил лимона. Он был бледен, кожа обтягивала скулы и виски, он едва передвигал ноги.

— Проклятое Бревно! Я мог подохнуть от этих идиотских вливаний. Где ты подобрал меня?

— На дороге. . .

— А почему я очутился там?

— Это нужно спросить у тебя. . .

Они засмеялись все трое — патер, Кальберг и Нунбах.

— Ты толстеешь, Бревно, я не видал тебя полгода. Как-жётся, я ехал к тебе со своим метром?

— С каким метром?

— Я хотел тебя познакомить с ним. Герр Отто Штейнберг — владелец предприятия «Мужчина и женщина». Мы работаем тут поблизости, в полусотне километров от твоей виллы. Целый день мы пили с ним и размякли на солнце.

— Что это за предприятие?

— «Мужчина и женщина»? Я расскажу тебе с глазу на глаз. Не найдется ли у вас чем опохмелиться, дедушка?

Он был нагл и дерзок. Его потрепанное и опухшее лицо поросло пепельной щетиной. Патер покачал головой и налил рюдесгеймеру. Через несколько минут они уехали. В автомобиле Нунбах молчал, его все еще мутило. Кальберг злился. На кой чорт он тащил к себе это животное? И, вообще, зачем он подобрал его? Наглец! Он собрался припрятать своего метра — эту мерзкую рожу с козлиной бородой. Нет, извините!

— Хотите есть?

— Да, хочу.

На веранде в плетеном кресле дремал Шор. Завидев Нунбаха, он не удивился. Пьянчуга навещал и его. В своем потертом костюме и каучуковом воротничке, без манжет, Гуго ходил на бродячего фокусника. Ему нехватало только

обезьяны. Даже пахло от него прелой соломой и подворотнями. Он был вышибалой в публичном доме, он служил младшим сторожем при морге, он писал куплеты для шантангов и сам распевал их в ночлежке:

Зеленая трава и чья-то голова,
Четыре штуки ног.
Мой бог! Мой бог!
И чья-то голова, зеленая трава.
О-ха, о-ха, о-ха!
Зеленая трава...

Его историю знали все ночлежники Лихтенберга и Нейкельна, Веддинга и Моабита. Он был слезлив и жуликоват. Безработица искалечила его на всю жизнь. Он нанимался к проституткам, которых не пускали в ресторан без мужчин. За это он получал чашку суррогатного кофе. Когда у него не было четырех пфеннигов на ночлежку, он ночевал в мусорных ящиках — прелая вонь не отмывалась от него.

Он зарабатывал чорт знает чем. Ему ничего не было нужно. Одно время он собирался даже повеситься. Он постоянно шлялся по своим более удачливым, чем он сам, однокашникам. Его ссуждали деньгами, одевали, он все пропивал и хвастался этим.

— От меня дешево не отделаетесь, — орал он, — я плюю на ваши марки. Мне нужно место в жизни. Я имею железный крест и эту побрякушку Фридриха-Августа. Зачем я воевал? Чтобы получить две контузии и право подохнуть? К чорту! Вы даете мне подачки из жилетного кармана, отсюда, где приготовлена мелочь кельнерам и лакеям? Что?

Он приходил в дни рождений, он все помнил, его невозможно было прогнать. Он появлялся опустошенный и пьяный, своим видом он портил настроение — он вел за собой голодную улицу. «Вы жрете, — говорил он, — ну-ка и я пожру!» Он подмигивал и садился к роялю. — «Ведь я недурно понимал Вагнера». Рояль хрипел под его грязными руками...

— Нет ли у тебя померанцевой, — спросил он у Кальберга, — или коньяку? Иначе я буду хныкать, а так залягу спать, и вы отделаетесь от меня... Надо же мне опохмелиться.

— Пей.

— Баварцы не пьют. Они вливают в глотку, как в воронку. Я — баварец. — Он поглядел на Кальберга злыми и круглыми глазами. — В конце концов, ты ничуть не изме-

пился. Все такое же Бревно, сытое и добродушное. Только потолстел. Раскрой двери лаборатории и погляди на мир, тогда узнаешь, где пахнет жареным...

Он хлебал пивной суп. Косые тени от каштанов и елей ложились на белый песок возле веранды. Печально гудел заблудившийся пимель.

Пившись, Нунбах вытер губы ладонью и огляделся по сторонам.

— Гирлянды и цветы, даже остролистник — очень мило. Юбилей Бревна. Здорово, честное слово! Этот автомобиль, на котором ты меня вез, тоже твой? Шикарно живут люди — Он кривлялся и нарочно говорил идиотским языком. — Ты мне дашь денег, — добавил он хрипло, — у тебя их много. Мне безразлично, что ты обо мне думаешь.

— Неправда.

Нунбах улыбнулся.

— Да, вру. Если я еще уважаю кого-нибудь хоть немного, то только тебя. Бревно, и Мумию. Тебя потому, что ты дурак и ничего не понимаешь, Мумию потому, что он не скуп. Слышишь, Мумия?

Шор засмеялся, но не ответил. Слышно было, как он ударил себя по колену.

— Мы воровали удочки у старика Крахта, помнишь, Бревно? И он поймал тебя и так надрал тебе задницу, что ты был как идиот, помнишь?

— Да, помню...

На какое-то очень короткое время они забыли и свой возраст и свое положение, и всю несообразность такого разговора. Они даже называли друг друга теми прозвищами, которые родились среди их ватаги в Вормсе по крайней мере четверть века тому назад.

— А помнишь, какой рот был у Синего Орла? Он мог положить в него целое куриное яйцо и закрыть. Он синел от натуги. А Большая Нога ударил его по зубам, и яйцо лопнуло и потекло ему в рот — насиженное, с цыпленком, и Синий Орел блевал до вечера...

— Да, да, до вечера...

— И тетка чуть не оторвала мне ухо...

— У него был брат, помните, он служил приказчиком у Шибеля, и мы его накрыли, когда он жрал кизилевое варенье. Он макал грязную лапу в бочку и обсасывал ее, как последняя сволочь. Он даже стонал от наслажденья...

— Сейчас он торгует фруктами в Мюнхене.

— А я его первый саданул тогда жестянкой по башке.

— Он приписывал в заборной книжке, потому что отец был часовщиком. Он не уважал таких покупателей...

Они хохотали до слез, эти три разных человека, они перебивали друг друга и стучали кулаками по столу. Отчужденные и земляки, хулиганы из одной шайки, непокорные сыновья часовщика, органиста из кирхи и почтмейстера — им было чем вспомнить детство.

Шор подвинулся ближе к столу. Кэльбер прогнал лакея и сам наливало вино. Они расстегнули жилетки, он и Рихард. Гуго, опять опьяневший, ковырял спичкой в зубах. Они курили сигары, они почти блаженствовали за столом, покрытым серебристой льняной скатертью. Нипее, босое детство волновало их воображение. Они острее чувствовали размеренный покой теперешней жизни. Только Гуго говорил о детстве иначе: тогда было спокойствие, школа, в которой господин учитель дрался камышевой палкой, воскресный костюм и ежедневный обед. Теперь ничего не было. Гуго говорил о золотом детстве. Они говорили: «Да, да, детство».

Лепестки настурций и астр падали на скатерть из гирлянд, подвешенных к потолку веранды. Уже исчезли тени. Солнце зашло за Вюрм, за фиолетовую воду, за пологий берег. Нунбах выплевывал косточки из калифорнийского винограда прямо перед собой на стол. Он начинал злиться. Он пьянел и косил глазами.

— Какого чорта! — захрипел он и смял в кулаке целую сигару (ему хотелось портить дорогие вещи), — какого чорта! Вы можете вспоминать все, что вам заблагорассудится, у вас чековые книжки и набитое брюхо. Мне малость труднее...

— Тебе надо работать.

— Поди к чорту, Бревно! Кому я нужен такой? Может быть, ты поручишься за меня?

— Предположим...

— У меня тут дырка, — он ударил себя в грудь кулаком, — тут у меня нет ничего. Хочешь знать, где я сейчас работаю?

— Где?

— У герра Отто Штейнберга. Предприятие называется «Женщина и мужчина». Мы изготавливаем порнографические альбомы для буржуазии. У нас работают самые лучшие фотографы, самые шикарные проститутки, самые красивые сутенеры Германии. Я числюсь лаборантом. На моей обязанности лежит только печатание снимков с негатива. Больше

ничего. Готт Штейнберг — великий изобретатель. Нас выследили из Берлина, потому что мы наводнили столицу нашими фабрикатами. Мы работаем в пятидесяти километрах от тебя. Почтеннейший добряк-патер, у которого ты приводил меня в приличный вид, состоит нашим уполномоченным по этому району. Ничего, он не плохо прирабатывает. Официально мы называемся Обществом ревнителей греческой скульптуры. Очень скромно. Мы выпустили двадцать три названия альбомов и шесть миллионов фотографий. Мы работаем на Париж и на Лондон. Наше агентство имеется и в Новом Свете. Что? Недурно? Наш альбом «Лесбос» стоит полторы тысячи марок. Мы держим врача-специалиста. Он помогает патрону комбинировать... Билет на право входа в наше ателье во время съемок — сто марок. Желающие записываются в очередь. Первое издание «Лесбоса» разошлось в неделю, второе в два дня. Сейчас мы выпускаем трехтомное издание «Шестьсот способов любви» — по разделениям Восток, Запад, Древность. Здорово?

Он засмеялся и сел на стул верхом. Его нафиксатуаренная голова блестела от света лампы. Он был совсем пьян. Кальберг пил зельтерскую с коньяком. Погодя он поправил очки и повернулся к Нунбаху. Его лицо было сурово и обрюзгло в эту минуту.

— Тебе пора спать. Устраивайся в курительной. И не очень скандаль, иначе я тебя выброшу за окно. — Он брезгливо передернул плечами. — Именно, выброшу за окно. Да, да...

Юный и тоненький, он повис над черными деревьями совсем неожиданно и несерьезно. Они посмеялись, глядя на него... Эдакий задира-месяц!

Кальберг взял Рихарда под руку. На лугу посредине парка Клинке готовился к фейерверку. То был его подарок юбиляру. Там прыгали огоньки, и кричал Хольц. Они проплыли мимо стороной, через аллею лип. Мелькнули штаны египтолога — Альбрехт Хольц дискантом пел о любви и пламени. Они переждали за деревьями, как мальчишки. У озера они помедлили.

— Ну? — Огонек сигары осветил сухое лицо Шора.

Кальберг прыгнул в лодку. Вода залескалась под кормой. Кряхтя он зажег боковые огни и засмеялся, вытаскивая из кармана флагу коньяку.

— Иначе бы мы замерзли, ты не находишь? — Он включил мотор и поднял каяху, чтобы не брызгало. — Я захва-

тил и лимонов... Устраивайся. Закрой ноги, тут есть плед. — Мотор бился в его ногах, как огромное, живое сердце. — Милый египтолог поет о серном пламени, сжигающем несчастных, а?

Шор уселся рядом, Кальберг укутал его и запахнул на нем дождевик. Сзади взвыл винт. Эту лодку построили по специальному заказу, все озеро она "обегала" в полчаса.

Белый свет фонарей нырял вместе с лодкой. Оцинкованный нос моторки рыл черную воду. За кормой билась пена. Кальберг, натянув перчатки, держал отсыревший рулевой круг. Крутые берега скакали мимо. Лучи света выхватывали из ночи то грустную плавающую доску, то куст орешника на берегу, то заводь, поросшую камышом.

Ветер пел в ушах. Лодка описывала круг. Стало действительно холодно.

— Пей! — заорал Кальберг. — Пей из горлышка. Отлично. — Потом он и сам выпил и пожевал лимон. Шор положил руку ему на плечо.

— Попридержи, — сказал он, — есть разговор.

Лодка остановилась у северного берега. Профессор вытер забрызганное лицо твистом и повернулся к Шору.

— Ну?

— Компания уволила меня... — Он ерошил волосы рукой и усмехался. — То есть, она абсолютно права со своей точки зрения...

Несколько секунд они молчали. Моторку относил течением вниз, к каменоломням. Кальберг все держал руки на колесе.

— Это пустяки, Мумия, — наконец сказал он, — это сущие пустяки. Почему?

— Потому что я подписался под воззванием шестнадцати...

— Под каким воззванием? — Кальберг никогда не любил Майн-Рида. Воззвание шестнадцати? Он не любил и названий, претендующих на то, чтобы войти в историю. — Что за чушь?

— Вовсе не чушь. — Шор говорил улыбаясь, но все же голос его порою вздрагивал. — Масляные выключатели — чертовски не изученная штука. Ты понимаешь, конечно. Ну, например, рак — злокачественная опухоль. А причина? От травмы до укуса клопа — множество всяких теорий. Замыкание и размыкание короткого в сети очень часто дает взрыв масляного выключателя. Понятно? Масса причин.

Например, малейшая деформация бака... Выключение холостого трансформатора масляником.

Кальберг молчал. Веселый день — его юбилей! Рихард держал его за локоть.

— Потуши фонари, — попросил он погодя, — неприятно.

Тенерь они качались на темной воде под звездами. Пьяные каменоломы сонными голосами распевали похабную песню. Рихард сжимал его локоть почти до боли.

— Взрыв, взрыв, взрыв. Сила взрыва равна силе столкновения двух курьерских поездов. Ноги, руки, головы... Отлично. Мы настаиваем на организации всегерманской центральной испытательной лаборатории разрыва мощностей. В этой лаборатории мы испытывали бы различные типы масляных выключателей. Понимаешь? И вот воззвание шестнадцати. Мы обратились ко всей цивилизованной Германии и привели соответствующие цифры, несчастные случаи по фирмам... Мы опубликовали эту штуку в коммунистической газете, так как никто не хотел ее печатать. Мы требовали от правительства создания такой лаборатории. Частные фирмы скрывали друг от друга свои усовершенствования... Меня уволили потому, что я огласил цифры, не подлежащие оглашению, понимаешь? Я сообщил всему миру количество людей, убитых Фойгтом и Реффнером. Четыреста три. Капиталистическая конкуренция. Я назвал вещи своими именами. Фойгт и Реффнер убили больше, чем Сименс. Это оказалось рекламой Сименсу. Покупайте у Сименса, он убил только двести сорок человек. Вместо четырехсот — двести. Спешите, спешите, спешите... Теперь Сименс приглашает меня к себе...

— Поступай.

— Зная, что так же будешь убивать людей...

Кальберг пожал плечами.

— Ко всей цивилизованной Германии, — сказал он, — ко всей цивилизованной... Замечательно звучит... Выпей коньяку.

Они чокнулись друг с другом и пожевали лимона. Коньяк обжигал глотку. Над парком поднялся оранжевый шар, повисел в воздухе, выстрелил и разлетелся на добрую сотню маленьких шариков. Гулкие выстрелы поплыли над сонным Вюрмом — это лопались маленькие шарики.

— Клинке сообщает, что фейерверк начинается. Пойдем.

Кальберг пустил лодку тихим ходом. Вода только запела в лопастях винта. Рихард сидел сторбившись, пожевывая

потухшую сигару. Темные облака с бронзовыми краями появились на востоке.

— Правда, я сижу в лаборатории, — заговорил Кальберг, — правда, я не сталкиваюсь с такими штуками, как ты и Гуго, все это так, конечно, но мне кажется, что вы оба преувеличиваете. Все идет правильными путями. Война — это война. Люди умирают за свое отечество. Если бы Германия победила, разве безработица делала бы такие дела? Это ужасно, конечно, но во многом виноват сам Нунбах. Ревнители греческой красоты. Мне противно на него смотреть. — Он коротко и невесело засмеялся. — Техника. Твои масляники. Покопайся в истории медицины. Сколько напрасных жертв! Что бы делал Рихард Шор, случись ему быть хирургом? Пустяки, дружище. Техника жрет людей — грустно, но кричать незачем. Общегерманскую испытательную лабораторию? Этот востер дует из Москвы. Я шесть лет прожил в Соединенных штатах, я видел, что такое частная инициатива, хотя бы на таком узком участке, как химия целлюлозы и древесины. Сейчас твои масляники отрывают людям головы. Через десять лет об этом не будут вспоминать. Ко всей цивилизованной Германии! — Он еще раз засмеялся своим толстым смехом и похлопал Шора по спине ладонью. . . — Пустяки, Рихард. . .

Фейерверком управлял Клинке. Доктор Дроссель сидел неподалеку на пустом ящике. Рядом с ним стоял патефон. Легкий ветер перебирал кроны лип, дубов, кленов. Пфээк помогал Клинке привязывать ракеты к столбикам и поджигать фитили.

— Где вы щяетесь? — заорал он, увидев Кальберга. — Ваш бродяга дрыхнет на веранде, и никто не решается его убрать. Теннис не состоялся, гольф не состоялся. Я протестую. . .

Голубой столб пробил тьму и помчался к звездам, шипя и изгибаясь змеей. Мелкие факелы вились вокруг него.

— Номер шесть! — заорал Клинке. — Номер семь, номер восемь!

Парк как бы пылал. Фаянсовые фавны, окружающие площадку, выплыли из мрака. Огни отражались в их зеленых сияющих животах. Казалось, что они ухмыляются и гогочут, как гуси.

— Поджигайте! — вопил химик. — Поджигайте, доктор. Номер три, номер один, номер пять. Это называется ход конем. Мой друг Юлиус Шмахель — государственный ум —

все свои свободные деньги тратит на фейерверк. Два прим, герр Пфээк. Гармония, прежде всего гармония. Пусть жизнь герра Кэльберга будет как этот фейерверк. Ура! Двадцать два, девять, милый доктор. Это задумано гениально. Шестнадцать...

Три рога изобилия, увитые лентами, перевернулись над озером. Три выстрела ударили одновременно. Серебряные ядра, образовав спираль, свили вензель профессора Оскара Кэльберга и рассыпались, оставив в воздухе серебряную пыль. Хрипел патефон. Кэльберг уселся на скамью возле дуллистого дуба. Горело лицо. Он сжал щеки ладонями, а локти упер в колени. Он слышал, как лопаются ракеты, как орет Клинке, как смеется Элли. Ему было противно, ему все это надосло до тошноты. Терпкий дым сигар, крикливый Пфээк, трясущиеся руки Нунбаха и бледный Рихард Шор — на кой они чорт?

Он сплюнул между коленями и пошел в дом за содовой. Хотелось пить. Но на половине пути раздумал, повернул направо, забрался в траву и лег на живот. Какая-то тварь шелестела во тьме, он накрыл ее рукою и сжал пальцы. Маленькая древесная лягушка забилась в кулаке. Он засмеялся и, приотпустив большой палец, погукал басом в кулак. «Я тебе задам!» Лягушка присмирела. Освободив спичечницу, он сунул лягушку туда и повернулся на спину. Сырая трава щекотала шею, падала роса, попрежнему орал Клинке. «Идиоты, все идиоты, олухи». Дрема путала мысли. Лягушка билась в спичечнице в жилетном кармане. «Я тебе задам!» И, внезапно захрапев, заснул.

РЭДЖИНАЛЬД ПИРРИ

— Герр Кэльберг!

Пирри стоял над ним с электрическим фонариком. Профессор спал, широко раскинув ноги. Живот его то подымался, то опускался, он храпел длинно и тонко.

— Герр Кэльберг!

— Да?

Он приоткрыл один глаз и посмотрел на помощника.

— Потушите фонарь. Вы похожи на Шерлока Холмса. Поздно?

— Два часа.

— Весело... — Он приподнялся и почесал спину. — У меня ноет все тело. Тут не очень-то мягко. Дайте руку...

— Я ипчу вас с двенадцати, герр Кэльберг.

— Простите, милый. Мне так надоели эти рожи, что я удрал от них сюда, а тут нечаянно заснул.

Теперь они стояли рядом. Профессор все почесывался.

— Во-первых, комары. З-з-з-з-з — и укусит. Мерзавцы. Во-вторых, роса — я весь промок. Подождите. Я поймал лягушку. — Он вытащил свою спичечницу и приложил к уху. — Чудесная лягушка. Что Нунбах?

— Его уложили в гараже.

— Безобразие, Рэджи. Сейчас же устройте его в доме.

— Но, герр Кэльберг...

— Сейчас же уложите его в доме. Это больной и несчастный человек. Он мой друг. Мне неприятно разъяснять такие элементарные вещи...

В кабинете Кэльберг уселся в кресло и налил себе содовой с лимоном. Жаркая ночь плыла за окнами. Нунбаха устроили внизу, на диване в курительной комнате. Эта духота! Он открыл окна, облил лысину одеколоном, похлопал себя по животу. Он повернул выключатель электрического вентилятора и прислушался к пению воздуха в лопастях. «Отлично». В дверь постучали. Вошел Пирри в светлой пижаме. Он принес крошон, мелкие льдинки стукались о стекло...

— Садитесь, мальчик. Вон там папиросы...

Они молчали, учитель и ученик, покуривая и попивая крошон. Что бы делал Кэльберг без Пирри? Он часто думал об этом. Семь лет они работают вместе. У Кэльберга перебывало одиннадцать ассистентов. Он прогонял их одного за другим в три шеи. Олухи, медные лбы, мошенники, мелкие людипшки. Он рассчитывал их и ни разу не каялся в этом. Четырех последних он прогнал даже не сердясь.

— Хотите персиков, Рэджи?

Они познакомились в Институте бумаги. Кэльберг читал курс волокнистых материалов и вел семинарий по целлюлозе. На лекциях знаменитости трещала аудитория. В лабораторию, которую он вел, записывалось гораздо больше людей, чем могло вместить помещение. Все шло к нему. Он пыхтел трубкой, грубовато шутил, похлопывал ладонью по плечам студентов, смеялся и походя разрешал «неразрешимые» задачи. Он был похож на слона. Он никогда не готовился к лекциям. У него не было программ. Он браковал все учебники. Стенограммы его лекций, отпечатанные на стеклографе, ходили по рукам, вызывая возмущение одних и бешеные восторги других. Для него не было авторитетов, он никому не доверял.

Его слушали, раскрыв рот. Он не говорил с кафедры, а орал. Он размахивал огромными руками, харкал в платок и пил воду гулкими глотками. Шутки его нередко выходили за пределы дозволенного, по крайней мере в стенах института. Он был косолап и неуклюж. Полнейшее отсутствие внешнего лоска, изящества, жеста, мягкости интонации, ненависть ко всему отделанному и закругленному, ко всяким правилам и традициям, резкость, нетерпимость, грубость, — все это делало его одиноким. Подхалимов и коммивояжеров он гонял от себя черешневой тростью. Вечерами он играл на бильярде у Раддаца, тянул обжигающий хенесси или бродил по театрам. Ночью запирался в лаборатории.

Газет он почти не читал, политика его не интересовала. Он не был членом ни одного клуба, терпеть не мог карт и разговоров за чайным столом. Он не служил уже семнадцать лет. Ему предлагали бешеные деньги, он посмеивался. Очень редко он брался за консультирование. Его называли Эдисоном бумажной промышленности, репортеры лезли к нему в спальню, чтобы узнать, на какой кровати спит профессор, — он спускал их за шиворот с лестницы особняка. Ему на дом «совершенно бесплатно, с величайшим уважением» посылались лабораторные инструменты и препараты, детские коляски и белье искусственного шелка, особые портативные, дорожные кружки Эсмарха и альбомы образчиков художественных бельгийских кружев, патентованные кресла, шкафы и альпийские ботинки, — он швырял все это барахло вслед за испуганным посыльным вниз по лестнице и ругался, как торговка. Он знал, почему так любезны эти мерзавцы...

Пирри Кэльберг нашел в лаборатории Института бумаги. Во время демонстрации промывки целлюлозы в диффузоре по способу Ламарье понадобилось закрыть горловину на модели диффузора люком. Руки у профессора были заняты, и как на зло (это происходило с ним постоянно) он позабыл название горловины и захрюкал. Никто ничего не понимал. Ламарье только что предложил институту свой способ, никто, кроме Кэльберга, с ним не был знаком. Инженеры переглядывались.

Тогда слева к профессору подошел юноша, закрыл горловину, нажал вентиль и вопросительно улыбнулся серыми глазами.

— Отлично.

Через несколько дней Кэльберг остановил юношу возле

лакированной двери промывочной института и, попылавая трубкой, заговорил:

— Мне осточертел ваш институт. Слишком долго, слишком долго. Четыре месяца подряд я читаю лекции. На кой чорт? Вы мне нравитесь. Кроме того, вы способный химик... Мне нужен ассистент. Бросайте институт, приходите ко мне. Шестнадцать тысяч марок в год. Если мы сработаемся — вдвое. Если вы мне не понравитесь — я вас прогоню. Идет? Кстати, как вас зовут?

— Пирри...

— Вы англичанин? Ирландец?

— Я американец.

— Отлично. — Кэльберг вынул из кармана зубочистку, потрогал ею больной зуб (семь тридцать к дантисту), поморщился и прибавил: — Иногда я не выхожу из лаборатории месяцами, иногда я не вхожу в лабораторию месяцами. Учтите и это. Подумайте. Вы же будете у меня и секретарствовать. Только не носите таких хороших галстуков — не люблю. Слишком взрослые галстуки...

Пирри улыбнулся, блеснув зубами.

— Я хочу учиться, — сказал он. — Вы научите меня многому, герр Кэльберг... Когда можно приступить?

— Сегодня...

Они сели в автомобиль вместе.

— Через два дня я уезжаю в Биарриц отдыхать, — заговорил Кэльберг, — вы поедете со мной. Лодыри и дураки не умеют отдыхать. Вы понимаете?

— Конечно...

— Сейчас мы позавтракаем.

Автомобиль миновал замок Монбизу, мост через Шпрее и помчался по Доротеен-штрассе к Тиргартену. Знойный ветер бил им в лица. Кэльберг правил сам.

— Ничего не довожу до конца, — говорил он, сверкая очками и посмеиваясь, — неаккуратен, до омерзения, рассеян невероятно. Запоминайте. Сноб. Холост. Очень раздражителен, ни за что не отвечаю. Запомнили? А сейчас будем есть крабов.

Пирри молчал. В ресторане он разглядывал профессора долго и пристально. Тот, вскрыв ножом клешню, вынимал белое студенистое мясо, пофыркивал и причмокивал. Крупный саксонец, светловолосый и почему-то напоминающий породистую корову, играл на виолончели. Кэльберг отстукивал такт носком ботинка.

Два месяца они прожили в Биаррице. Кэльберг спал по

двенадцати часов в сутки, ругал метрдотелей, ел, получал призы на пинг-понге и читал Новалиса. Новый помощник умел отдыхать. Вернувшись в Берлин, Кэльберг принял ванну, полежаи на диване, закрыв глаза и вздыхая, и выспал по телефону Пирри. Тот застал патрона уже в лаборатории.

— Одевайтесь.

Есть им приносили в лабораторию. К телефону Кэльберг не подходил. Клубы табачного дыма плавали по огромной белой комнате. Действительно, он был так же неаккуратен, как талантлив. Никаких записей опытов он не вел — все необходимое оставалось в его огромной голове. Он засыпал, сидя возле приборов, и храпел будто на кровати. Какая-то паршивая собака с вытекшим глазом и отбитым задом жила возле шкафа со стальными бомбами для хранения газов. Он сам ее лечил, причитая над нею, и кормил ее сахаром. Он был сентиментален и придирчив, ворчлив и добр, криклив и груб, энергичен и ленив — все уживалось в нем. Он тосковал иногда по целым месяцам и ничего не хотел делать.

— Кой чорт? — спрашивал он, небритый, опухший, жирный. — Кой чорт? Я хочу спать, зачем мне работать? — Он валялся на диване, сосал свою трубку или уезжал на Бюрм «отоспаться». Он никогда не доводил задуманные работы до конца. Разрешив основное, главное, «поставив на ноги» самую проблему, он уставал, морщился, мыл руки и уходил вон из лаборатории. До конца дорабатывали помощники и ассистенты. Пирри делал это лучше других. За год он научился отлично понимать патрона и умел вытянуть из него все необходимое для окончательной доработки того или иного вопроса.

— Оставьте! — кричал Кэльберг. — Слышите? Я вас оболью азотной кислотой. Мне надоело. Не хочу больше.

Но Пирри обладал настойчивостью и упорством в гораздо больших количествах, чем его патрон и учитель, и, как ни огрызался Кэльберг, Пирри выуживал все то, в чем нуждался, и очередная победа профессора Оскара Кэльберга была готова.

Они отлично уживались друг с другом, несмотря на скандалы, не прекращавшиеся в лаборатории. Но их скандалы не были скандалами в привычном смысле этого слова. Несмотря на вспыльчивость, Кэльберг никогда не переходил границы «приличия», известной только ему самому; в его крике всегда была некоторая доля шутки, а чудовищные

гиперболы его угроз заставляли Пирри улыбаться в самые трагические минуты. Даже в тех случаях, когда разъяренный патрон швырял в своего ученика склянками, колбами, стаканами и прочими предметами лабораторного обихода, Пирри не мог не улыбаться. Кэльберг обладал каким-то особым внутренним, редко покидавшим его юмором и потому никогда не мог ни с кем поссориться всерьез, даже желая этой серьезной ссоры.

Он любил Пирри сентиментальной, грубоватой и немного иронической любовью очень одинокого человека и стеснялся своего чувства не только перед Пирри, но и перед самим собой. Соскучившись по ученике и беря телефонную трубку, чтобы позвонить ему, он ругал себя старым ослом и дубовой дубинкой.

Работать без Пирри он не мог. Пирри знал все его привычки, манеры и все его слабости, и в работе Пирри не надо было ни о чем говорить. Нужные препараты и инструменты сами собой попадали в руки Кэльберга. Именно тогда, когда карандаш становился необходимым, он оказывался под рукой. В самых затруднительных случаях не стоило утруждать себя лишними словами, стоило только хрюкнуть. Все тона хрюканий были известны Пирри, и даже тогда, как Кэльберг хрюкал и сопел потому, что не знал, что именно нужно ему в данную секунду, выручал Пирри.

Пирри был нужен Кэльбергу больше, чем сам Кэльберг себе.

А не скандалить Кэльберг не мог. Он не мог не сгрубить, работая, он не мог не ругаться, если что-нибудь не удавалось. Наконец, с первого же раза он предупредил Пирри, что будет срывать злость именно на нем.

После Биаррица Кэльберг испытал помощника на работе. Он не выпускал его из лаборатории четверо суток. То был период исследования действия едких щелочей на натронную целлюлозу. Кэльберг кричал и ругался, хрюкал и швырял об пол реторты и стаканы, Пирри молчал. Кэльберг спал, уронив голову на мраморную доску рабочего стола. Пирри выстукивал на машинке листы дневника начисто. Кэльберг просыпался, — препараты и инвентарь — все было приведено в порядок. К концу четвертых суток Кэльберг подозвал Пирри к себе, кивнул на кресло и, уперев, как боксер между двумя раундами, кулаки в колени, хрипло сказал:

— Мальчик, не сердитесь на меня — я, кажется, скандалил.

— Кажется...

— Все это пустяки. Кажется, мы уживемся. Вы отличный парень, уверяю вас. Выпейте стакан вина, забирайте мою машину и поезжайте домой спать. Спите дубовым сном — никаких снов. Вот вам моя рука.

Он проводил помощника до дверей и молча похлопал его по спине.

— Подождите.

Здесь же в лаборатории он выписал чек на пять тысяч марок.

— Вот. Начинайте жить. Устраивайте себе квартиру, я вам пришлю отличного декоратора. И ни в чем себе не отказывайте.

Сноб, он хотел, чтобы его помощник жил хорошо и ни в чем не нуждался.

Он не любил кислые рожи и стоптанные ботинки. Он терпеть не мог нужду и расчет. Он сам руководил отделкой квартиры Пирри. «Это вас не касается, мальчик, — говорил он, подписывая счета, — это мое дело. У вас золотые руки, я их должен беречь. Проваливайте». Через четыре года совместной работы Кэльберг начал передоверять помощнику консультации и планировки. «Вы достаточно серьезны, вы серьезнее меня. Валяйте. Со всеми сомнениями идите ко мне».

Он купил Пирри автомобиль — пора иметь свой. Два раза в год он посылал его то в Биарриц, то в Виши, то в Ниццу, то в Швейцарию. «Отдыхайте, мальчик, набирайтесь сил, вы бледны и кашляете».

Постепенно он становился нянькой Рэджинальда. Он гладил его по голове, как маленького, он приставал к нему с разговорами о здоровье, он кричал, что Пирри малокровен и плохо ест, — он любил его больше и больше с каждым годом.

Однажды весенним вечером на Вюрме Пирри рассказал Кэльбергу о Эллионор Рут. Он познакомился с нею еще в Институте бумаги. Она шатенка, у нее синие глаза. Видели ли вы «Девушку с лошастью» Грёза?

— Грёз пошляк. — Кэльберг курил свою трубку и кашлял. — Грёз пошляк.

Пирри замолчал. Иоганн пожелал им хорошего вечера. Он нес подмышкой молодые березы — сажать в парке. Несколько минут Кэльберг взвешивал — не ревнует ли он Пирри. Нет. Он не ревновал, конечно, хоть и любил этого парня. Но возмутило само описание девушки. Нельзя,

При чем тут Грёз? Разве можно говорить: шатенка и сильные глаза? Если так, то дальше пойдет: у нее маленькая ножка, она смугла и великолепно танцует. К чорту!

Он снова набил трубку и запыхтел, как паровоз. Он вдруг заметил, что костюм на Пирри сидит идеально, что галстук на нем изумительный.

— Я пойду спать.

Он не попрощался с помощником. Почти с ненавистью он вспомнил, как Рэджи два дня тому назад говорил о том, что ботинки не должны быть стандартными, что с первого взгляда они должны отличаться от тех фабрикатов, которые дают возможность каждому тупице-парикмахеру рассказывать в лаковых ботинках. Сгорбившись в кресле, Кэльберг вспоминал, как педантично и аккуратно переодевается Раджинальд к обеду, как он меняет костюм и гамаши бейджо, как он повязывает галстук и несколько раз проводит щеткой по волосам.

— Грёз пошляк, да, да... — Расстегивая жилет и сбрасывая туфли, Кэльберг бормотал, что Грёз пошляк. — Может быть, он копит себе деньги? — Целую ночь профессор ворочался в постели. Растеряха и мот, он терял уважение к тем людям, которые копили. — Может быть, он действительно копит себе деньги?

Утром Пирри уехал в Киль к родителям невесты. Кэльберг молча пожал ему руку и ушел спать в гамаке, но не выдержал, через полчаса дал телеграмму в экспресс:

«Простите запятая плюньте старого осла желаю счастья точка жду точка хочу венчались вилле точка Кэльберг».

Всю неделю он пил с каким-то подозрительным агентом по продаже гусеничных тракторов, с почтмейстером и с ученым садоводом дорогой мозель, ездил с ними кататься за город — мимо трогательной ратуши под красной черепицей, через окованные ржавым железом ворота по белому асфальтированному шоссе к Мюнхену. Иногда он возился в саду — кряхтя сажал ранний салат, вбивал в жирную землю колышки, натягивал шнур и ругался с Иоганном. Он и спал тут же в сентиментальной беседке, увитой жимолостью.

Они приехали в день юбилея, известив его телеграммой. Пирри хохотал как ни в чем не бывало. Может быть, он ничего не заметил тогда...

— Мальчик, вы не обижены?

Ночь желтела. Лимонная полоса, узкая как кушак, легла на востоке. Так за кроушоном он просидел почти до

утром, не решаясь говорить о главном. Теперь он делал вид, что выуживает ложечкой из стакана викторию.

— Почему, герр Кэльберг?

— Видите ли, я боюсь этих ваших идеальных галстуков. И вот Грёз — это канонизированный галстук, это воспитанный юноша, очень скверно...

— Я не понимаю...

Кэльберг молчал, опустив голову. Погодя он спросил негромко:

— Когда свадьба?

— Через год.

— Почему так долго?

— Мне надо встать по-настоящему на ноги, герр Кэльберг.

— Это тоже идеальный галстук. Но у вас все же есть деньги. Я дам вам еще...

— Мы не хотим ни от кого зависеть, герр Кэльберг. У нас должен быть свой капитал...

— Вот что... да, да...

Теперь они встретились глазами: Пирри смотрел серьезно, глаза его были светлы и глубоки. Кэльберг шурился, как бы собираясь чихнуть. Потом он сказал легким и веселым голосом:

— Само собой разумеется, что не мне вас воспитывать. Но были бы вы, мой мальчик, моим сыном, я, ни минуты не задумываясь, разбил бы этот кувшин о вашу белокурую голову...

Он поднял кувшин с кроушоном и опять поставил его на стол. Он был весел, добр, мил в эту ночь. Он шутил грубо, как всегда, Пирри привык к этому, но все же слегка покраснел.

— Не краснейте, мой мальчик, не краснейте. Вы отличный химик, вы правы. Да и моя Лорелея была права, если судить объективно, когда предпочла аптекаря, имеющего свою аптеку... Мудрость, которая мне понятна, но которая ко мне не прививается... Что поделаешь!

Он смеялся, развалившись в кресле и вытирая потное лицо платком. Он подливал в кроушон коньяк и посылал прислугу за льдом.

— Побольше льду! — кричал он. — Иначе мы лопнем от духоты...

Утром он дал Нунбаху пятьсот марок и проводил его молча до калитки. Гуго шел, переваливаясь как утка, весь размякший и отяжелевший с перепоею.

— На эти деньги я возьму себе на ночь самую лучшую бабу Мюнхена, — говорил он гримасничая. — Ты слышишь, Бревно?

— Слышу.

— И неделю я буду пьянствовать...

Кэльберг молчал. Тогда Нунбах ударил себя кулаком в грудь и заплакал гнусными слезами пропойцы.

— Мне не нужна баба, — говорил он, хлюпая носом, — мне ничего не нужно, Бревно. Я украл у тебя серебряные ложки. Слышишь?..

Кэльберг запер за ним калитку. Насчет ложек Нунбах соврал — он не украл ничего. Он врал и насчет бабы. Пил он, действительно, много. Все же остальное говорилось ради юродства. Размякший маменькин сынок. В этом Пирри был, конечно, прав.

Они разговаривали на веранде, стоя. Эмалированное небо сулило чертовски жаркий день. Стрекотали кузнечики. Псы валялись на песке, высунув малиновые языки.

— Мы уедем отсюда сегодня последним берлинским поездом, — сказал Кэльберг. — Надоело. В Берлине дня два, не больше. Там здорово жарко в Китае?

Он подписал контракт на год. Целый год им предстояло прожить в Азии.

В Берлине их провожали Алоизий Пфээк, Шор, доктор Дроссель, Элли, Надель, Клинке... Они завалили купе цветами — никто почему-то не знал, можно или нет преподносить мужчинам на прощание цветы. Кэльберг сидел на огромном букете лиловых ирисов, кричал, что он сел на ирисы потому, что надо, ведь, на чем-нибудь сидеть, хохотал и просил не писать, потому что отвечать никому не будет из-за лени.

В шесть сорок две экспресс отошел от дебаркадера. Проводник принес содовой и вечерние газеты, опустил шторы и убрал цветы в сетку наверх. Колеса бились под полом, вагон покачивался и гремел на стыках. Кэльберг закурил трубку и сказал Пирри:

— Мальчик, вам полагается плакать, отвернувшись к стене. Вы расстались на год с любимой девушкой...

Через час профессор спал, розовый как младенец, спокойный, в колпаке.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СЕМЬЯ ДРЕГЕР

Самым страшным в их жизни были ночи. По ночам они мерзли. По ночам они задыхались. По ночам стонала убогая Марта.

Отец уходил кряхтеть и сжимать кулаки в коридор. Там он мог биться головой об стенку или молить своего бога о ниспослании квартиры, картофеля, здоровья. Он имел право, в конце концов, требовать смерти для Марты. В передней он мог делать все, что ему заблагорассудится.

Карл молчал на своем матраце. Звуки ночи доходили до его ушей изменившимися, толстыми. Грохотали часы; капля обваливалась камнем; шуршанье одеяла превращалось в выстрелы, в шум урагана, о котором он читал.

Снилось ему всегда одно и то же: дождь, жирные воды. Ширее и уносящийся вдаль автомобиль; кузов быстро уменьшается, уходит винтом, нарезкой, крутится. Говорят, что арестантам-одиночкам снятся одинаковые сны. Их комната была хуже одиночки.

Утром брат кричал на отца. Худой, жилистый, в расстегнутой сорочке, он наматывал на руку подтяжки и кричал, что скоро лопнет — все увидят, что значит эта квартира. Карл встряхивал постель. Отец обрезал ножиком ногти, его лысый, желтый череп блестел под электрической лампой. Жена брата убирала за Мартой: грязные вонючие тряпки, мокрая клеенка — больная ходила под себя. Племянник гремел жестянками. Снаружи уже светило солнце — желтое, рассыпчатое, снаружи день резко отличался от ночи.

Архитектор! Карл видел этого человека во дворе. Он стоял, опираясь на палку, слегка выдвинув вперед правую ногу. Нога дрожала. Губами архитектор наигрывал что-то слышанное в ресторане Ритца, ногой отбивал такт. Он пел, как поет вода, когда ее выливают из бутылки. Архитектор булькал. На нем был светлый костюм — мохнатое сукно — бриджи, френч, через плечо архитектор перекинул плащ. Потом он пересек двор по диагонали — от ящика для мусора № 116 до главного запасного крана. Ветер крутил белье на веревках, веревки пригибались, фиолетовые голуби гадил с подоконника вниз. Карл вдруг заметил: ботинки у архитектора на белой резине, на толстых резиновых подонках. Дворник ходил за архитектором сначала по диагонали, потом кругами.

— Запретить, — сказал архитектор. Белье висело над его головой на высоте третьего этажа. — Запретить, — повторил он и показал палкой, что именно запретить. — Подвал должен знать свой подвал. Это похоже на карманную кражу...

— Там никто не живет, — крикнул Карл: — там пусто.

— Пусто?

— Пусто...

Архитектор подошел к Карлу так близко, что тот услышал тиканье часов в его кармане.

— Я уезжаю на дачу, но из этого не следует, что в моей берлинской квартире можешь поселиться ты? Понял?

Карл кивнул головой. Архитектор был слишком строг и слишком сыт — с ним нельзя не соглашаться.

— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать.

— Почему ты не в школе?

— Я нянчусь племянника, и у меня больная сестра. Ее нельзя оставить. Кажется, она скоро умрет.

Архитектор повернулся спиной к нему. Автомобиль стоял на улице. Шофер дремал, прикрыв лицо газетой. Проснувшись, он испугался. Дворник рванул дверцы, привратница поклонилась, прохожие толкали Карла, газетчики орали в самые уши. Одному из них он дал кулаком в бок. Архитектор уехал. Карл пошел вокруг дома. Дальше ему нельзя было уходить, но и тут он корчил заправского бродягу. От скуки он потолкался в аптеке и показал матовым шарам язык. Дома стонала Марта. Юлий уже, наверно, напустил в штаны.

Огромный дом стоял на углу. Он был пуст. Только в подвалах жили семьи, вроде семьи Дрегер. Огромный дом был давно отстроен: из кранов лилась вода, холодный линолеум лежал на полу, газовые плиты поджидали хозяев. Дом ждал. Швейцары спали. Лифтбои спали. По лестницам ходило тепло, пахнущее масляной краской. В стеклах белели бумажки: такой-то этаж, столько-то комнат, то-то видно из окон, всего в год... Бумажки не читались. Все было как в сказке: пустой дом, отличный дом, в каждой квартире отдельный клозет, никакой сырости, а семья Дрегер живет в одной комнате, в подвале без окон на девять семей — общий клозет.

Иногда Карл думал: «А что если побить все стекла во всем доме?» До стекол он не имел никакого дела, на стекла ему было наплевать, семья Дрегер жила вовсе без стекол,

без единого стекла. Юлий зеленел без стекол, у него были кришас поги, Марта ходила под себя, от этого все время и комнате стояла вонь, под нею прел матрац, умирала она от пролежней. Карл видел, как отпадает мясо пластинами, — там белые сухожилия — нитки.

Какое ему дело до стекол? Но его душила злоба. Он задышался в этой проклятой вони. А за стеклами никто не жил. Почему?

Он дрался. Он был зол и скрытен. Он щипал Юлию и орал сестре: «замолчи», когда та стонала. У него был глобус, дрянной, полинявший, — он сидел в углу и путешествовал. После таких путешествий болел затылок и слипались глаза — тяжелая усталость мечтателя.

Он варил картофель и приносил пиво. В комнате пел вентилятор. Тряпкой Карл затирает за племянником. Во дворе его никто не смел трогать, он бил чем попало — палкой, бутылкой. Матери, завидев его, грозили ему кулаками.

— Мерзавец! Не миновать тебе кутузки!

Он не оборачивался, не отругивался, — он нес свое пиво или картофель, или салат. Иногда он стыдился своих драных туфель, протертых штанов. Он выезжал на чистоте. Никто не мог сказать, что Карл грязен, или: «Вот посмотрите, на шее у этого парня скоро вырастет редиска...»

Самое большое место в его жизни занимала тоска; он тосковал по всему: по солнцу, которое никогда не заглядывало в подвал, по школе, из которой его забрали, по книгам, которых у него не было, по молоку, которого не был, по смеху, которого не слышал в комнате.

Он все видел. Он понимал все. Брат кричал на отца, жена брата не смотрела в глаза Марте, — он понимал и мучился не меньше их.

Он хотел работать, но даже на них нехватало работы. Они работали часть недели. Отец спал днем, спал утром, вечером, ночью. Старик желтел, пух, его одолевали сонливость и безразличие. Брат еще боролся: он мечтал, придумывал, комбинировал. Он верил в свою силу, в свои руки, в то, что он — настоящий, простой честный рабочий.

Они жили в пятом этаже в этом доме. Однажды воскресным вечером отец уселся у подоконника с листочком бумаги считать. Старик считал трудно, над ним подсмеивались, но он был упорен. Взявшись считать третий раз, он снял галстук, воротничок, сбросил пиджак и, оставшись в праздничном жилете (шелковый горох и мошки по черному полю), сказал:

— Мы платим за квартиру сорок семь процентов нашего заработка. Это слишком. Это издевательство. Я предпочитаю пропивать свои деньги. Сейчас я проверю. Посмотрим. . .

Он проверил. Действительно, сорок семь процентов. Через неделю ему снизили зарплату на шестнадцать процентов, Эмилю — на одиннадцать, а его жене — на тридцать два. Теперь квартира пожирала уже не сорок семь процентов общего заработка, а шестьдесят один. Она жрала все: кино Эмиля и Марии, табак старика, мороженое Карла. Они ненавидели ее: стены, шпингалеты, пол, двери. Они говорили: «Она жрет. Подавится она когда-нибудь? Проклятая старуха!» По ночам старик думал: «Вот, падают минуты — она жрет пару чулок Марии, эта ведьма. Еще минуты — еще кино. . .»

Он считал, во сколько обходится час жизни под крышей. Получались дикие вещи: полтора часа он варил сталь для того, чтобы переночевать, четыре с половиной часа труда — столько приходилось платить за сутки. Полгода назад старику предложили на выбор: или уходить с завода, или работать пять часов. Он поклонился, хлюпая носом. Это означало согласие и благодарность. На что он мог рассчитывать в свои пятьдесят четыре года? Другие кричали и сопротивлялись. Их увольняли пачками. Он сваривал сталь и кланялся мастеру еще ниже, чем прежде. Но теперь он не мог жить на пятом этаже. Полчаса труда оставались на еду, на одежду, на пиво, на табак, на Марту, которая не умирала.

Эмиля он тащил на лестнице возле радиатора. Сын поднимался медленно. Борзиг вытягивал из парня все силы, не оставляя даже на ходьбу.

— Эмиль!

Они стояли друг против друга. Отец сморкался, чтобы не реветь. Какого чорта! Он ударил кулаком в стену. Он полез через перила в пролет, — так поступали многие. Сын стащил его назад и тряхнул за плечи. Старый осел! Они ревели оба и плевались под ноги друг другу. Они проклинали квартиру. Во всем виновата квартира. Вечером они пили померанцевую и клялись, что больше не проживут тут ни часа. Оба худые и костистые, они по очереди стучали по столу кулаками. Отец кричал:

— У меня больной кишечник! Мне надо пить карлсбадскую воду! У меня больной кишечник! Эта стерва пьет

на мою поду! Она сожрала мои новые подптайники! Что?

— Верно, верно. Мы перестали ходить в кино из-за этого чудовища. Теперь все вернем себе. Чорт с ним!..

Потом они оба пошли пьянствовать в пивную, вниз. Так был решен переезд. Утром Эмиль отправился к управляющему в контору. Все было сострепано в четверть часа. «Отлично, отлично!» говорил управляющий. Они всей семьей осматривали новую комнату. Сначала управляющий показал им коридор. «Вот видите, но зато он хорошо освещен, не правда ли?» Они спустились еще на пять ступенек. Карл плелся последним. Недавно он читал о первых христианах и о катакомбах, — это были катакомбы. Навстречу попадались люди, где-то хлопали двери, — еще пять ступенек. Они, наверное, были уже под землей. Зато она очень дешева, эта комната.

Весь подвал был заселен. Орали дети. Пьяный пареня в рабочем костюме пошатываясь брел по белому коридору. Неподалеку пробегали поезда подземки, — мощное гуденье отдавалось в стенах даже этого дома-геркулеса.

— Пожалуйста! — Он повернул ключ в замке и зажег электрическую лампочку. Теперь они находились как бы в коробке для папиросных гильз. Отец засмеялся в черный кулак, — ничего себе комнатка! Они стояли, сбившись в стадо, а управляющий расхаживал вокруг. Ему не нужно было уговаривать, — все равно они бы переехали сюда. Но он был вежливым человеком, даже выселял он вежливо. Демократ, он гордился тем, что со всеми одинаково вежлив — с богатыми и бедными, с безработными и с владельцами предприятий.

— А где же окно?

— Где окно? — Он засмеялся и потрепал Карла по щеке. — За такую цену мы не даем окон, мое дитя. Тут есть отличный вентилятор, прекрасное отопление. Послушай!

Вентилятор заскулил тонким голоском. Так на холоде скулят бездомные собаки. От этого воя стало страшнее. Эмиль смерил шагами комнату в длину и в ширину. Стук его каблучков был почти страшен. Потом он потушил лампочку и тихо сказал жене: «Мы будем тут спать как в могиле, ей-богу. А?» Все слышали его слова, управляющий ударил его по спине и захохотал: «Но в могиле так не бывает, как будет у нас с нею. А? Будет жарко. Даю вам слово, что будет жарко. Вы и тут наделаете детишек». Де-

мокрот, он с каждым жильцом разговаривал, понятными словами. Он думал, что выглядит рубахой-парнем, и хлопнул Эмиля ладонью по плечу. Но никто не смеялся.

Пятнадцать на пятнадцать... Размерами она подходила. Отец читал табличку, прибитую к двери: «Запрещается...» Табличка перечисляла все то, что запрещалось делать в этой комнате. Один, два, пять, семь, десять... Пункты и параграфы. Он махнул рукой. «Комната за нами». Потом управляющий показал им уборную и умывальную. И то и другое на девять квартир.

Они переехали вечером.

И вот они все осточертели друг другу. Они жили на глазах друг у друга, они толкались, им нехватало воздуха, а тот воздух, который доставлялся вентилятором, пахнул почему-то сапожной мазью.

Уборная была всегда занята. Они ждали. Кто-то из соседей страдал болезнью кишек. Он стонал там за дверью и ходил по коридору, держась за стенки. Его не жалели, этого худосочного человека с белыми глазами. Он должен был подохнуть. В лицо ему говорили всякие пакости. Женщины ругались в жалкой кухне, — однажды произошла драка. Скандалили везде — справа и слева, в коридоре и в кухне, возле раковины и около уборной. Самый воздух этого подвала заставлял кричать и ругаться. Тут жили и проститутки. Мужчины смотрели голодными глазами на их ноги, обтянутые тонкими, дорогими чулками, на их хорошо одетые тела, — чорт, вот так девочки! Для жильцов подвала был устроен специальный выход в переулок, через маленький тоннель в соседний двор, — там ворота. Они не должны были мозолить глаза жильцам дома, — слишком уж скверный у них вид, у тех ребят, которые поселились в подвале.

В коридоре нередко появлялись шупо. Они шли бравой походкой, напирая на каблуки, в их лаковых поясах отражались и плясали электрические лампочки. У них были сытые лица и маузеры в деревянных кобурах. Они вежливо разговаривали в ожидании полицейского автомобиля и гладили ребятишек по головам.

Тут жили странные молодые люди, гибкие, в хороших костюмах, пахнущие духами. Они низко надвигали шляпы на лоб, выходя из дому. Они потягивались и смеялись, как женщины. Они лакировали себе ногти и чистили их

имней; они много спали и подкрашивали ресницы, как проститутки.

Подшл презирал их и смеялся над ними. Парень с за-
нода Сименс-Шуккерт набил однажды такому типу морду.
По все же с ними считались. У них водились деньжонки,
и случае надобности можно было перехватить на несколько
дней пять-шесть марок.

Они красили себе губы яркой помадой и носили на шее
шерстяные шарфы. Они собирались вместе и пили слад-
коватое вино, закусывая недорогими фруктами.

Однажды такая компания зазвала Карла к себе. Он ог-
лядел комнату. Разная чепуха висела по стенам. Пуши-
стый ковер лежал на полу, маленький черный патефон пел
длинную песню.

— Иди сюда, мальчик. — Они сидели кружком на ковре,
один обсасывал пальцы, измазанные мармеладом. — Да,
да, подойди-ка поближе.

Он сожрал банан и два апельсина. Ему дали еще, он су-
нул в карман — для Юлиуса: пускай полакомится.

— Теперь ты выпей вина. Вот я налью тебе. Видишь,
какое розовое?..

Он посмотрел — вино действительно было розовое. Его
усадили, но он не умел сидеть так, как сидели они, под-
жав под себя ноги. Он сел на корточки. Зачем они позвали
его?

Двое играли в шахматы. Он принялся смотреть за иг-
рой.

— Ты сильный? — спросил его кто-то сзади.

— Конечно, сильный. Очень сильный. Я сам двигаю
кровать с Мартой. По всей комнате, из угла в угол. Я
могу поднять кресло, самое большое ваше кресло.

Ему хотелось расплатиться за банан, за апельсины, за
сладкое розовое вино.

— Ну-ка, подними.

Он поднял.

— А мускулы?

Он показал мускулы, засучив рукава драного свитера.

— Ну-ка, разденься, мы посмотрим, что ты за силач. У
хороших гимнастов все тело в мускулах.

Он разделся в углу и пошел к ним. Ему только что ис-
полнилось четырнадцать, из мальчишки он превращался
в юношу. Выпирали кости, руки были длиннее, чем сле-
дует, шея казалась чрезвычайно тонкой, но они угадали

в нем то, что им было пужно. Рыжий, он удивил и обрадовал их удивительной белизной тела.

— Его надо подкормить...

— Конечно, он скверно питается...

— Мы, кажется, подыщем тебе работу... Хочешь?

— А что ему делать дома!

Работу! Он кивнул головой. Он схватил кого-то за руку и рассказал о том, как он убирает за Мартой и нянчит Юлиуса. Нет, дудки, с него хватит. Больше всего хотелось бы ему устроиться на завод. Он может таскать тяжести. В конце концов, он не девчонка. До каких пор ему сажать на горшок Юлиуса!

— Правильно, правильно. — Это сказал самый красивый и самый рослый из них. — Мы хорошенько осмотрим тебя, — может быть, ты еще не годишься. — Он засмеялся. — Ну-ка, встань сюда. — Его поставили на диван.

— Повернись. Подними руки. Налево. Направо. Смотри на ту картину, вот возле двери. Согни руки. Молодец!..

Потом они положили его на диван и рассматривали его так, что ему было стыдно, но он старался думать о работе и о том, как он наденет настоящий рабочий костюм из синей жесткой материи с ляками на спине...

Ему дали еще бананов для Юлиуса ипустили. Он попрощался с ними как можно вежливее и еще раз поклонился в дверях. Работа, работа!

Убогая Марта хныкала, закрывшись с головой одеялом. Юлиус орал. Он разбил кружку Марты.

— Я куплю тебе кружку, — сказал Карл, присаживаясь на край кровати, — подбери слюни. А тебе я куплю удочку, чтобы ты мог ловить рыбу в своей постели. — Он засмеялся взрослым басом и сунул глобус подальше в угол. До самого вечера он упражнялся, стараясь говорить как отец и ходить вразвалку.

Тот человек, который пообещал ему работу, постучался, когда все ужинали. Эмиль открыл ему двери и пригласил сесть. Отец пил пиво.

— Мне нужно сказать вам два слова. Может быть, мы выйдем?

Старик сконфузился и прогнал всех в коридор. Он не доверял этому накрашенному парню и был груб. В комнате остались только они да Марта с Карлом. Он должен был слышать весь разговор, но не слышал ничего, кроме одной фразы: «как честный человек, я вас преду-

прждаю...» Отец плохо понимал. Он все переспрашивал и сморкался в свой огромный клетчатый платок. Гость сидел потупившись, ожидая ответа.

— Да, да, — заорал отец, — мошенник! — В одну секунду он сгреб парня за шиворот и ткнул его рожей в стол. Он бил его кулаком в лицо. — Что ты мне предлагаешь сделать с ребенком? А?

И опять бил. Потом выбросил его за дверь и заплакал, отвернувшись к стене. Шляпа парня осталась лежать на полу. Он растоптал ее ногами.

— Мошенник, подлец! — орал он, размахивая рукой. — Дрянь! Он хочет, чтобы я продал своего ребенка для удовольствия какому-то старику. Он видит, как мы бедствуем, и думает, что у меня не осталось совести.

Всю ночь отец стонал и ругался во сне. Карл не спал. Работа! Он мечтал о работе и о книгах, об окне и о школе. Он тосковал, пряча лицо в подушку. Потом он вспомнил о бананах и съел их в темноте, свернувшись как кошка. Больше он не мог быть нянькой Юлиуса и сестрой милосердия Марте. Он, кажется, их ненавидел. Вот он сожрал бананы, припрятанные для Юлиуса. Он все доделывал за всех и мыл посуду. Все срывали злость на нем. Ради больной Марты они кормили его. Больше он так не мог.

ОБЫЧНОВЕННЫЕ ПАРНИ

Из него попрежнему пахло сапожной мазью. Он скрипел своим дешёвым жестяным голосом. Пожалуй, он совсем не помогал, он скорее мучил. Это была внутренняя комната, подвал без окон. У вентилятора Мария поставила стул — каждый мог сидеть возле него и подышать воздухом. Утром около стула играл Юлиус, вечером тут сидел отец с трубкой или Эмиль. Марта не нуждалась в воздухе — зачем он ей?..

Голь и нищета, отрепья Берлина — им не разрешалось выходить на двор. Двор — асфальтированный квадрат с клочком неба — находился на табличке «Запрещается...» Взрослые — обходились. Дети — хирели.

Никого не было дома, когда он решил пробраться во двор. Кафельным тоннелем вывел он Юлиуса за ворота в переулочек и повернул направо. Привратник не заметил их. Тонконогий парнишка в затрепанной куртке с костяными пуговицами мастерил из катушек паровоз. Орала детвора.

Старуха-пирожница синим надвязывала розовый носок. Спицы сверкали и переливались. Карл отвел Юлиуса подальше к песку, а сам остановился возле парня с паровозом. У того что-то не ладилось. Карл помог ему.

— Сюда бы надо большие катушки, — сказал он, — а ты из маленьких. Маленькие сваливаются. Вот смотри.

— Я матери говорил...

— У тебя есть мать?

— Да, и отец. Мы живем вон там. — Он ткнул пальцем. — Видишь — на подоконнике сидят три голубя? Это наше окно. А ты?

— Мы живем тут. — Карл постучал каблуком по асфальту. — Внизу.

Они посмотрели друг на друга взрослыми глазами. Паровоз стоял возле их ног готовым.

— Как тебя звать?

— Готлиб.

— А тебя?

— Карл.

— Про подвал я знаю. Мы жили там с матерью, когда отец воевал. Комната сорок три, девятый коридор. Ты бывал в девятом коридоре?

Они вели совсем взрослый разговор. Одиночество делало из ребят пожилых людей. С суровой невозмутимостью Карл покрикивал на Юлиуса и вытирал ему нос.

— Сопливый! — говорил он. — Когда-то ты научишься сморкаться? И штаны опять переначкал, скотина.

Они говорили о доме и о подвале, об окнах и о вентиляторе. Готлиб учился в школе. Он рассказывал о ней не очень весело. Пожалуй, тут было лучше. Они возмущались вместе: почему такой огромный домик пуст, а рабочий люд ютится в подвалах? Во всем виноват хозяин. Мерзавец! Они проучат его, когда немного подрастут.

Так они подружились.

Потом Карл рассказал Готлибу об отце и о Эмиле с Марией. Ужасно. Одна комната. Отец кричит на них по ночам, чтобы дали ему, наконец, спать. Марта спит днем, а ночью слушает — так уж она привыкла, ей интересно все это. Дрянь! Она совсем выжила из ума. Теперь Эмиль попрекает отца в том, что он потянул всех в этот проклятый подвал. Еще немного — и они подерутся. По утрам происходят такие скандалы, что становится страшно.

Они встречались во дворе в определенный час. Ради этой дружбы Карл за два-три часа до условленного вре-

мне приходил к воротам и ждал, когда отвернется или уйдет припрятник. Несколько раз тот выкидывал парня на шинорот, но Карл был упрям. Кроме того, он был зол. Он кусал привратника за руки и царапался как кошка. Он даже визжал от ярости. У него хотели отобрать и это? Нет. Он будет драться. И он проникал во двор и ждал в самом тесном углу, глядя круглыми светлыми глазами на играющих ребят.

Он заболел оспой. Вначале его ломало и выкручивало, по спине бежал холод, лицо горело. Он лег на свой матрац в угол. Его трясло. Он пожелтел и устал. Какие-то сны с песнями и музыкой снились ему — он радовался им. Он видел огромные цветные карандаши. Полсотни мартышек раскачивались на них. В это время дезинфицировали комнату. Дюжий санитар наклеивал везде в коридоре по стенам лимонно-желтые ярлычки:

БЕРЕГИСЬ — ОСПА!

Хлопали двери. Этот подвал ничем нельзя было испугать. Попржнему пели проститутки:

Мы путешествуем по всему городу,
Мы зазываем кавалеров
На Шпитальмахт,
В наши милые берлоги.

Отец ревел как орган. Эмиль, весь мокрый, — дезинфекторы измочили ему платбе, — проводил носилки по коридору до самого автомобиля и поклонился Карлу как покойнику. Носилки вдвинули внутрь белой машины, доктор захлопнул дверцу.

Но парень не умер. В палате для больных оспой лежал только он один. Это был редчайший случай, — Германия почти забыла про оспу. Он выл, когда врачи снимали корки с гнойников. Зеленый гной полз по его телу. Он ничего не видел, ничего не слышал, не понимал во время болезни. Уже осенью его выпустили из больницы. Он остался рыбом на всю жизнь. У него не было ни пфеннига. Больничный сад почти плыл перед ним. Он отдыхал на скамейках и слушал грохот своего сердца. Ему хотелось содохнуть. Зачем он шел, куда, для чего? Что сулил ему подвал и гнусное пенное лопастей вентилятора?

Внезапная злоба, густая и вязкая, как смола, засела

у него в горле. Шаря руками в пустом осеннем воздухе, он почти упал на скамью. Он бормотал что-то несвязное. Он стиснул синие кулаки с отросшими за время болезни ногтями и уперся ими в крашеное дерево изгороди. Так больше нельзя. Ему стало легко, легче, чем без чувств, когда все качается и уходит. Документы лежали в кармане — он засвистел песню, широкую и пустую. Буковые и грабовые деревья роняли вниз бронзовые листья. Он поднялся и пошел, опираясь на палку. Прежде всего надо было пожрать. Измученный, он добрался до Таубенштрассе и протянул руку на самом бойком месте. Он был поистине страшен после болезни — худой, круглоглазый, рябой. Ему подавали. Шую сжалился над ним: у него было свидетельство — он только сегодня вышел из больницы. Он стоял возле решетки подземки, страшный гул потоками вырывался на улицу из тоннеля. Блестели витрины. Автомобили шли один за другим — послушные, сытые звери. В сияющей мостовой отражались шины и дома, солнце и люди. Какой-то делец, хорошо позавтракавший, бросил ему пять марок. Ладно. Он нажрался воловьей печени с картофелем и спустился к подземке. В фиолетовых сумерках плавали киоски — воды, сладости. Он отведал всего и потрогал живот ладонью.

Ему надо было только поправиться, он покажет им всё. Они вспомнят дом и вентилятор, двор и тоннель, ладно...

Он ночевал в Тиргартене и научился узнавать зеленых, вылавливающих бродяг, но холода загнали его в Ангальтер-вокзал, в зал ожиданий к радиаторам, и там его накрыли сыщик с бляхой и железнодорожник.

Полицейский вахмистр, грея руки о стакан, пил кофе в маленькой комнате и ругался последними словами. Потом их обыскали и велели им ждать. Крашеные бабы бесстыдно давили вишей, усевшись на кафельном полу, и баловались с бродягами. Одна из них, в желтом габардиновом пальто, попробовала устроить истерику, но вахмистр закатил ей такую оплеуху, что она мигом замолчала.

Карл сидел в углу, подобрав под себя ноги. Чиновник уголовной полиции — тихий и тощий — пищал в телефонную трубку фамилии выловленных. В регистратуре уголовного отдела полицейпрезидиума заводили на каждого нового бродягу отдельную карточку.

Зеленая Минна — вонючий тюремный автомобиль — отвез их во Фребель, в северную часть города. Бабы хихикали по дороге и делали ему глазки. Он молчал потупив-

иньсь — его тошнило от голода. В конце концов, ему не исполнилось и семнадцати лет. Он умел кусаться, но не умел рычать, а тут именно надо было уметь рычать.

Прежде всего парикмахер остриг им волосы машинкой, потом их погнали в баню. Здоровенный надзиратель с большой кирпичом забрал у них одежду и выдал взамен какие-то серые штуки вроде рабочих комбинезонов, только без лямок сзади.

Потом пили чай без сахару за столами, покрытыми клеенкой. Серый старичок в негнушемся сюртуче с ленточкой Балтийского креста на груди произнес речь о боге и о возмездии. Почему-то он упоминал и Конфуция. Бродяги уминали хлеб и кашляли хором...

В камере, куда их отвели, уже сидело четыре человека. Весь день он проспал сидя — такая усталость давила его. С утра они вдвоем резали доски дисковыми пилами — Карл и узкоплечий, кривоногий человек с заячьей губой, по кличке Тихоня.

Тихоня посмеивался, думая о чём-то, и регулировал винтом ход пилы. Огромный сарай гудел, как улей. Бродяги ругались и скандалили.

— Как ты сюда попал?

Карл поднял голову. Маленький Тихоня говорил густым басом, медленно и весело.

— От злости.

— То есть, как же от злости?

— Из-за дома. Я болел оспой...

— Ну?

Завизжала пила, Тихоня затянул винт крепче и бросил в сторону гаечный ключ.

— Подкладывай, подкладывай! — закричал он. — Толкай от себя. — Карл толкнул. Плашки падали на пол одна за другой. — Теперь говори. — Он сел на бревно и вытянул кривые ноги. — Говори, тебе сказано...

Карл рассказал ему все с начала до конца. Ему понравился этот спокойный человек с острыми глазами и уродливой губой. Когда он кончил, Тихоня сплюнул в сторону и сказал:

— Из тебя будет толк, парень, помни мое слово. Но ты круглый дурак. Я научу тебя кое-чему, и ты пойдешь по верному пути. А пока запомни одно: во Фребеле Тихоне случайно подвезло. Зеленые спутали и взяли меня не как политического, а как уголовного. Я сознался в воровстве

и чувствую себя пмепинником. Меня выпустят через месяц.

Он засмеялся и потрепал Карла по плечу.

— Что же касается Фребеля, то это дом принудительных работ, в котором не очень весело живется.

Вечером в камере Тихоня говорил ему про Маркса и Ленина, рабочих и буржуазию. Он шепелявил и коротко смеялся.

— Да, да, эти кризисы потрясают мир со страшной силой. Все идет к тому, что Германии не миновать в ближайшем будущем такого потрясения. Ты понимаешь? Незачем злиться впустую, бродяжничать. Это — протест побитой собаки. Именно, побитой собаки. Мы, коммунисты... — Он то вскакивал, то опять садился: Он хлопал себя по худым ляжкам и хохотал как сумасшедший. — Ей-богу, ей-богу, ты молодчага! Так. Так. Да, да, это и есть реформизм. Стоп, слушай дальше...

Он говорил беспорядочно и разбросанно. Века и десятилетия — у него не было к ним никакого почтения. На четвертый день он объяснил уже, что такое класс в себе и класс для себя. Он говорил о крови и о преодолении своего маленького эгоистичного, филистерского гуманизма. Карл сидел на краю койки, уперев кулаки в железное изголовье. Дом, пустой, огромный дом, лестницы, по которым ходит ласковое и светлое тепло, окна из сплошных стекол, лифты, герр архитектор, подвал, — все имело теперь свой страшный смысл.

Карл слушал. Его зрачки ни на минуту не упускали Тихоню. Тот поправлял пояс и пил воду. Бродяги смотрели на него почтительно и жадно. Этот человек стучал кулаком по столу, привинченному к стене, хлопал себя по ляжкам и вздрагивал весь с ног до головы, как картонная кукла.

Однажды под вечер он сказал Карлу, не глядя на него:

— Ты правильно поступил, не вернувшись в свой подвал. Нельзя быть связанным. Ходи так, как есть. Это не аскетизм — иначе нельзя. Напиши им, что жив и что ты не вернешься. Ладно?

Карл кивнул. Если бы Тихоня сказал ему: — откуси свой указательный палец и съешь его с луком, — он так же кивнул бы головой и сделал бы все точь-в-точь. Ему снилось, что он жертвует собой ради Тихони. что, например, его красиво жгут на костре под мелодичное пение шупо, а он кричит опаленными губами: — я умираю за Тихоню.

Он уважал этого человека так, как никого никогда не уважал. Ему хотелось, чтобы Тихоня говорил только ему одному, и его слух становился острее, когда тот смотрел на него. Он ревновал его ко всем, он никогда не видел таких настоящих людей. «Наша партия», говорил Тихоня, и Карл думал о том, какая же это партия, если Тихоня в ней самый обыкновенный человек.

Его выпустили в пятницу утром. Тихоня пожал ему руку и хлопнул его по спине на прощанье. Он дал ему два адреса и сказал:

— Я тебе доверяю, парень, живи так, как велит наш закон: дерись зубами вместе с классом. И научись смеяться...

Он вышел на улицу под медленный снег. У него не было ни пфеннига, он мерз в своем паршивом пиджачке. Целый день он шлепал коротким шагом по мостовым Берлина. У памятника великому курфюрсту ему стало худо, он едва удержался на ногах. Холод залезал под одежду, снег таял на шее и стекал по спине. Автомобильные фары поливали его белым светом. Он так сторбился и был так жалок, что с него можно было лепить фигуру бедняка.

Великий курфюрст медленной рысью ехал на своем коне. В опущенной правой руке он держал фельдмаршальский жезл. Ветер трепал гриву коня. По бокам высокого цоколя корчились скованные рабы.

— Сволочь, — сказал Карл, — сволочь! — Потом он плюнул и пошел прочь, сунув руки в карманы. К ночи он добрался до Веддинга и нашел Трифт-штрассе. Седой, стриженный ежом литейщик напоил его жидким кофе и дал ему хлеба с маргарином.

— Это от товарища Фишера, — сказал он своей жене. Беременная и желтая, она чистила ступку в кухне. Дети уже спали. — Мы уложим тебя на кушетке — вот тут. — Он улыбнулся немного сурово. — У нас скверная жизнь, — сказал он немного погодя: — много детей и мало денег. Она рождает каждый год — хоть тресни...

Наконец он снял себе комнатку. Семь этажей. Окно выходило на крышу. К нему в гости лазали вороны, обципаные и жадные. Он гонял их полотенцем. Хозяйка стирала ему белье и штопала носки. Он получал от нее с собой на завод горячий завтрак и паршивый кофе в термосе. Целый год он таскал ящики, четыре месяца затягивал их обручами. Потом его перевели со двора в цех, мастер дал ему

хорошую аттестацию. Два хронометражиста с секундомерами в руках проверяли его темпы. Теперь он притирал шайбы шкуркой и накладывал их. Его похвалили. Он влез в эту потогонную поорму. Он делал все это ради газеты. Он нащупал сразу же тех ребят, которые воевали с реформистами. Тут была крепкая ячейка. Еще полгода он обжигался в этом цеху. Потом ему раздобыли расхлябанную пишущую машинку и ротатор. Он сам печатал на восковке и рисовал карикатуры. Материал сыпался как из мешка. Он мало спал. Без десяти семь утра он вкладывал свою рабочую карточку в контрольные часы. Раздевалка уже была полна. Старики грелись у радиаторов, молодежь прыгала и размахивала руками: к заводу надо было идти пустырем, ветреным и холодным.

Его хорошо знали, его останавливали, чтобы поговорить с ним. В семь часов он уже стоял у верстака. С двенадцати до половины первого рабочие обедали. Это было самое горячее время. Часто он не мог даже выпить свой кофе и приносил его обратно домой.

Он потерял свою злость, он не кусался больше. Его лицо, костистое и рябое, постоянно улыбалось. Он растил людей. Он бережно вытаскивал молодежь из лап всяких христианских союзов, со стариками он умел говорить и не обижал их. Он сам рос в ячейке. Он делал все и никогда ничего не комкал.

Но он был зол и терпелив с врагами. Он издевался над ними по всякому поводу. Его грубые и меткие остроты ходили по всему заводу.

Иногда, путаясь, он бежал к ребятам, чтобы потолковать с ними. «Чорт возьми, чорт возьми, — говорил он, — а я этого и не знал...»

Они вели за собой профопозицию. Завком не возражал ничего против снижения зарплаты. Уже никто не молчал. Газета — ее печатали тиражом в шестьсот экземпляров — ходила из рук в руки.

Он помнил дом и подвал, он помнил господина архитектора, недавно он услышал о том, что Тихоня умер в тюрьме от сыпного тифа.

Теперь он знал, как жить и что делать. Ему уже минуло двадцать. У него были сильные руки и светлые глаза. По утрам он занимался гимнастикой и пел песни, широкие и веселые. Ночами он читал. Он работал так много, что на спанье оставалось четыре-пять часов. Он любил воду. Единственное, что он себе позволял, был бассейн. В белом

купальном костюме он прыгал с вышки, сложив руки над головой и вытянув ноги. Тело со свистом прорезало воздух. Открыв глаза под водой, он видел сверкающие груши электрических ламп и сломанное отражение вышки.

Перед самой забастовкой он решил побывать у отца. Его встретили не очень весело. Юлиус умер от дифтерита год назад. Марту похоронили еще раньше. Они жили в том же подвале, вентилятор так же скрипел, только в комнате стало просторнее.

Он сидел, не зная о чем говорить, сложив руки на коленях ладонь к ладони.

— Ты здорово вырос, — сказал Эмиль и послал Марию за четвертой пива. — Ты возмужал. Что скажешь, отец?

— Мне до него столько же дела, сколько ему до меня. Он посылал деньги... Подумаешь! Я отлично бы прожил и без его денег...

Эмиль постарался засмеяться, но у него ничего не получилось.

— Напрасно, напрасно, — пробурчал он. — Карл вовсе не плохой парень. Я бы тоже сбежал от такой жизни на месте Карла.

Они выпили пиво и поговорили немного. Эмиль больше ни о чем не мечтал, не строил никаких планов. Он тянул свою лямку, как слепая лошадь тащит телегу. Марию уволили. Теперь она дома шила платья картонным балеринам. От этого их комната стала похожа на комнату старьевщика.

Карл попытался заговорить о сопротивлении, о борьбе, но Эмиль замахал руками.

— Ты молод, ты ничего не знаешь. Что мы будем есть, если меня уволят, как уволили ее? Подыхать голодной смертью? Нет, спасибо.

Он ни на что больше не был способен и жил, как жилось. Это напоминало ломбард. Один перезаклад, другой, а веник все-таки пропадает.

Отец лежал, отвернувшись к стене. В лысом черепе, как прежде, отражалась электрическая лампочка.

— Он пьет еще больше, — шепнул Эмиль, — у него склероз, ему нельзя пить...

У привратника Карл спросил квартиру Ганцке.

— Шестой подъезд, тридцать два.

В привратничкой пахло щелоком и грязными ногами.

Он позвонил и спросил Готлиба. Парень познакомил его с своими стариками. Они пили чай вместе в столовой за круглым столом. Теперь Готлиб работал на заводе электротрубных ламп. Союз социалистической молодежи делал из него своего человека. Он носил круглый значок на праздничном пиджаке и играл в футбол по воскресеньям. Карл был груб в этот вечер, он спрашивал, почему бы Готлибу не вступить в Молодой сталинкой шлем и не подыскать себе невесту в Союзе королевы Луизы?

— Прежде всего целомудрие, — сказал он, — а в Союзе королевы все девственницы... И там и тут разговоры о мире промышленности и об экономической демократии...

Они уже напился чаю и сидели в комнате Готлиба. Мраморное распятие стояло на этажерке.

— Отлично, отлично. Это тоже социализм, — гневно и горячо заговорил Карл о бoге, о страданиях, о зле и добре. У него были крутые, ничего не боящиеся слова. Он раскрыл библию и прочел оттуда полным голосом несколько фраз. — Читай, читай, — сказал он, — читай до самой смерти...

Конечно, они ни до чего не договорились, но Готлиб слушал его напряженно, не пытаясь возражать. Он был не крепок на ногах, молод, растерян. Густые тени падали от его ресниц, порою он краснел как девушка. Старик Ганцке работал на бумажной фабрике, неплохо зарабатывал и изо дня в день читал свою социал-демократическую газетку. Парня нужно было резко повернуть и прокалить на хорошем огне. Они попрощались, как приятели, пообещав заходить друг к другу.

Забастовка вышла из слесарного, сорвала сорок человек в цеху автоматов, помчалась в токарный, выкатилась во двор — в кузницу, в литейный, захватила вспомогательные цеха и подняла паковочный.

Завод остановился.

Карл говорил с вагонетки, груженной ящиками. Потом говорил Вольбринг, большой человек с чахоточным румянцем на щеках. После него взял слово Царнак, председатель завкома, но его сбросили с вагонетки на камни к чорту.

— Бонза!

— Получи денег у директора!

Горячий день. Во дворе пахло раскаленной масляной

краской и железными опилками. Двое ребят привязали красный флаг к выгонетке. Он клочкотал на ветру.

Прежде всего они сформулировали свои требования к дирекции завода. Четыре тысячи человек не верили больше лешему.

— Долгой! Царнак — эта сытая рожа — лазит в дом дирекции вместе со всей сворой.

Они бастовали семь суток. В ночь на восьмое четверо зеленых взяли его, когда он спал на стуле в пивной возле завода. Вольбринг уже стоял — они выкрутили ему руки назад и успели подбить лицо. Одиннадцать человек — весь штатком, — он разглядел их в полутьме подъезда.

— Царнак!

Председатель завкома назвал их имена и показал зеленым, где их искать. У автомобиля пикетчики сбили с ног шофера, но вахмистр дал два выстрела в толпу, и они отступили. Все же Карл крикнул со ступенек машины:

— Скажите спасибо завкому. Царнак водил зеленых...

Ему заткнули рот маленьким мячом и бросили его в машину. Аккуратная молния блеснула в глазах — они так треснули его о скамейку, что он очнулся в камере лишь на утро. Может быть, он плакал в это слепое тюремное утро, может быть он кусал жидкое, провонявшее клопами одеяло. Они выбили ему два передних зуба и расшибли голову возле правого уха. Холодная дрожь мучала думать. Эти два последних года сказались только сейчас. Он все время держал себя в кулаке — в стальном кулаке. Он работал над собой так много, что довел себя до бессонницы — мозг мешал спать.

Четыре месяца и три дня он просидел в одиночке. Очень осторожно, по ночам, он перестукивался с соседями. Его держали в Шарлоттенбургской тюрьме на Канне-штрассе. Эту тюрьму звали Канне — чайник.

Два раза водили его на допросы. Он молчал. Он не писал протокола дознания, он молчал, глядя в сторону, в окно без решеток. Там был Берлин. Завод. Может быть, они держались не только эти семь дней.

Следователь предлагал ему папиросы и спрашивал, переставшись через стол. Карл молчал. Под конец второго вопроса он вдруг вспомнил, что ни разу с того дня, как заболел оспой, не был в кинематографе. Он пожалел и улыбнулся.

— Я вам не буду отвечать, — сказал он спокойно, —

у вас нет права допрашивать меня. Оставьте меня в покое. К чорту!

По утрам он занимался гимнастикой пятнадцать минут. Потом он ходил по камере из угла в угол час. Так он компенсировал прогулку, которой его лишили.

Он был бодр, он много думал, он отучал себя от разных пустых, ненужных привычек, он тренировал себя для огромной предстоящей впереди работы.

Иногда он спорил, — не вслух, конечно, — с воображаемым собеседником. Это было не легче, чем играть в шахматы самому с собой. Он учился сложному искусству убеждения.

Весь последний месяц он молчал. Его пикуда не вызывали. Это было очень трудно — молчать и не слышать человеческой речи. Пожалуй, это было самое трудное во всей его жизни — молчать.

К нему опять вернулись те подвальные сны: жирные воды Шпрее, дождь, падающий тонкими серыми нитями, и уносящийся в даль автомобиль. Кузов быстро уменьшается, уходит винтом, нарезкой, крутится.

Одиннадцатого февраля его вызвали к следователю в третий раз. Он пошел по тюремному коридору, болтая руками. Ему уже трудно было идти вот так, прямо, у него рябило в глазах.

— Садитесь.

Он сел. Сзади было окно без решетки, там — Бертин. В четыре часа пять минут следователь выйдет из Канне в Берлин. Он позавидовал. Следователь гладил рукой выбритую щеку, — может быть, он думал о том, что следует переменить парикмахера. Они молчали оба. Потом следователь сказал:

— Молодой человек. Вы — молодой человек.

Карл улыбнулся. Поистине полицейская мудрость.

— Да, да, вы молоды. Мне жаль вас. Я предлагаю вам принудительные работы вместо тюремного заключения. Тяжелый труд на чистом воздухе не страшен. Решайте.

Карл подписался: «Согласен. Карл Дрегер». Не все ли равно? Оттуда все-таки легче убежать.

Их потрудили ночью в вагон с решетками вместо окон. Кто-то жрал в темноте хлеб с чесноком. Слева от Карла высокий детина кричал и ругался. Света не дали. Всю ночь они не могли уснуть — вагон был полон клопов. Дюжина зеленых охраняла их. Вагон стоял на месте почти сутки, до вечера. Им нельзя было разговаривать, им

не давали воды. Они выпили всю воду в уборной из бака — сначала из крана, а потом кто-то предложил пить из горшка. Первый напился еврей со швейной фабрики Зильбермана. Его вырвало с кровью. Тогда они устроили бунт. Они подняли грохот и принялись ломать скамейки. Вахмистр ударил Зильбермана прикладом в плечо — очень сильно. Еврей молча упал на пол. Высокий детина — его звали Шерукбр — подставил ногу вахмистру, вахмистр разбил себе морду о железный прут возле тормоза. Он выл бабьим голосом и кричал, что всех расстреляет. Вагон вдруг прицепили к составу, поезд медленно подошел к перрону. Им принесли воду в стандартном заломбированном баке.

— Врача! — заорал Шерукбр. — Врача, сучьи дети! Иначе я буду орать в окно, что здесь убивают людей.

Зеленые привели и врача. Он посмотрел Зильбермана и велел его вынести.

— Сломана ключица, — сказал он холодно. — Вы безобразно ведете себя, арестанты.

Весь вагон поднял свист.

— Мы безобразно ведем себя?

— Паршивая гадина!

— Сутки нам не давали пить.

— Ты жрал лимон в это время!

— Бейте его, ребята!

— Верно. Он из таких, которые пнали на фронт совсем больных людей.

— Бей его по жирному заду!

— Воп отсюда, паук!..

На полсотни уголовных бродяг, воров и просто авантюристов тут было только трое политических. Зеленые потеряли всякое чувство меры к концу пути. Они дрались все время и ни на минуту не выпускали маузеров из рук.

На какой-то станции вагон отцепили. Мигом около дверей снаружи образовались очереди. Крестьяне входили в вагон по одному и осматривали арестантов, как лошадей. Они пробовали мускулы и заставляли открывать рот — как обстоит дело с зубами. Первые отобрали самых сильных и спокойных, по их мнению, вторым достались ребята послабее и попоганее, третьи получили самую дрянь.

Арестантов выводили в уборную. Там трое зеленых надевали наручники — так, чтобы не видел остальной вагон.

— Потюше, парень, — говорил вахмистр, — мы, ведь, не

можем отпустить тебя без капдалов. Разве ты не убежишь, как только мы потеряем тебя из виду?

Карл понравился жирному человеку в черном костюме.

— Мы будем жить мирно, — посулил он хлюпающим голосом. — Не так ли?

Старомодный каучуковый воротник подпирал его обрюзгшие щеки. Он взял себе троих — Карла, бродягу Симона и Шварца, унылого парня со вставной челюстью. Вахмистр организовал целую канцелярию. Кнек — так звали хозяина — расписался в ведомости и раскрыл бумажник — платить первый взнос. Они трое стояли возле него в наручниках. Потом он отправился подзакусить к автоматам и взял их с собой. Они не жрали сорок восемь часов, но он ничего им не дал. Он сам набивал свое брюхо, чавкая и вытирая губы огромным платком. Никкелированные ручки автоматов стояли перед ним во фронт, как солдаты. Он дергал то одну ручку, то другую. Монеты со звоном падали в металлические коробки. Он слопал четыре форшмака, полдюжины раковых салатов и много бутербродов с ливером. Он облизывался и снимал крошки с жилета, чтобы положить их в рот.

— Пищу над беречь, — говорил он: — пища дается крестьянину кровавым потом и трудом. Вы, горожане, да еще мошенники, вы увидите, что такое наш труд и как мы работаем. Вы испытаете это и научитесь уважать еду.

— Мы не жрали двое суток, — перебил его Шварц. — Мы всегда уважали еду. Дайте нам поесть, хозяин.

— Поесть?

— Да.

Он подумал секунду и отрицательно покачал головой.

— Слишком дорого, слишком дорого. Я накормлю вас на ферме.

Им нечего было говорить. Они сели в ряд на скамейке, молчаливые, бледные после тюрьмы и вагонной вони. Кнек расхаживал по залу в ожидании поезда. В шесть сорок они поехали дальше. Симон спал, подложив под голову худую руку. Карл все разглядывал хозяина. Немного погодя он вдруг поймал себя на том, что придумывает ему смерть. Именно, смерть.

Он усмехнулся. Давняя тоскливая, давящая злоба вновь вернулась к нему. На мгновение ему стало страшно — надо уничтожить их, физически уничтожить и спалить их двуснальные кровати. Надо, надо... Их дети, их

женин, обновленная Германия стала перед ним, — он перестал уметь мечтать.

Внизу под откосом раскинулась настоящая идиллия — черепичные крыши, сады, красные листья и синие грозди винограда. Кнек засопел и проснулся. Патер, похожий на кельму, — нос крючком и бородавка на подбородке, — очень сосредоточенно ел вишни.

ГОРНОЕ СОЛНЦЕ

Эта история началась у него с воспаления легких — парень простудился однажды и, не вылечившись толком, отправился на работу.

Все шло, как полагается в таких случаях: пот по ночам, познбливание — туберкулез.

Они работали всей семьей — отец, мать, он. Его отец — Эрнст-Пауль Ганцке — варил тряпку на бумажной фабрике. Его мать там же сортировала лоскутья. Он, Готлиб Ганцке, наполнял ртутными парами кварцевые трубки. Ему неплохо платили, многие завидовали ему. Он сидел на высокой табуретке с рычагом для упора ног и открывал кран, надев на него трубку. Пар тонко шипел в баллонах, сосед Готлиба по столу запаивал паялки на трубках. Этими лампами лечили — «горное солнце» — так они назывались.

Над столом горели лампы; вытянувшись в нитку, они уходили в самый конец цеха. Иногда он поглядывал туда, — там висели часы, — сколько времени.

— Как ваше здоровье? — спрашивал его заводский врач. — Что нового?

— Благодарю вас...

Врач стоял сзади в своем белом тонком халате, падедом прямо на живот. Он был чудаковат, этот старик. Что за вопросы? Потом ему объяснили. Врач вовсе не чудаковат. На этой работе можно держать только здоровых людей. Чем человек слабее, тем скорее ртуть схватит его за горло, и тогда предприятию придется выплачивать пенсию. Оно предпочитает уволить рабочего до формального отравления. Мало-мальски слабых ребят отправят за ворота очень быстро — не успеешь моргнуть.

Готлиб возмутился. Чепуха! А профсоюзы? А партия, наконец?

Парень, с которым он разговаривал, похлопал его по плечу.

— Да, да, профсоюз. Очень ты ему интересен! Держись, пока держишься. А там начнешь подыхать, когда перестанешь держаться. Что? Не очень весело?

Туберкулез делал свое дело. Готлиб худел, аккуратные синяки легли под глазами. Мать отпаивала его молоком — молоко не помогало. Врачи еще чаще, чем прежде, останавливались около него.

— Вы скверно выглядите, дружище, — говорил он, — зайдите-ка в амбулаторию...

В амбулаторию Готлиб не заходил. Он верил и не верил парню, который посулил ему увольнение. Чорт его знает! Во всяком случае, лучше не ходить.

Вентиль сорвался через несколько минут после обеденного перерыва. Готлиб низко наклонился к крану. В это время струя пара ударила ему в лицо. Стрелка манометра поднялась, сосед Готлиба, бледнея, рванул ручку сигнального звонка. Пар выбегал из трубки белой струей.

— Не подходить!

Слышно было, как заработала лебедка. Стропила потолка едва дрогнули и разошлись в разные стороны. Серое осеннее берлинское небо повисло над цехом.

Все еще кричал сигнальный звонок. Что-то случилось с размыканием — звонок вопил тонким истерическим голосом.

— Заткните ему хайло! — приказал мастер, но на приказ не обратили внимания. Рабочие бежали из сборочного, из кузницы, из вспомогательных. Главный инженер бил себя в грудь кулаком и давал всем честное слово строгого служаки в том, что администрация не виновата.

— Уверю вас, — говорил он, — уверю вас. Температура рабочего места максимально низка, стоки установлены, мы даже раздвигаем крышу... И потом, почему сразу — я отказываюсь понимать... Ртутное отравление, да, хроническое. Абсолютно здоровый рабочий...

Его положили на кушетку в амбулатории. Ничего страшного. Доктор обмыл ему лицо спиртом. Он открыл глаза и пошевелился. Через час он поехал домой.

Вентиль давал течь. Парень был отравлен еще до этого проклятого дня — теперь оно полезло наружу все сразу. Десны разрыхлились и кровоточили, все время во рту у него было солоно и терпко. Они были как греческая губка — десны, он мог уминать их языком. А языку стало тесно во рту. Он не мог отплевываться — так много отде-

лилось слюны. У него выпало четыре зуба, его мучили посты, что-то произошло с почками.

Он лежал на спине в своей комнате и смотрел на стену. Он вовсе не думал, он не мог думать. Ему виделись страшные сны, он галюцинировал.

Фрау Анна сидела возле его постели — грузная, в чепце, с чулком, который не вязала. Вдвоем они рассматривали одно и то же место стены. Когда мать работала, ее заменяла бабушка. «Я тебе почитаю библию», говорила она. Он слушал ее длинный голос, стена плавала перед ним, исчезала и вновь воздвигалась. Полчище крыс, поросших искрящейся розовой шерстью, наступала на него. Жерла орудий выдыхали пустое пламя и откатывались назад. В зимнем небе блистали молнии. Бабушка, — желтая старуха с зубами, вылезавшими изо рта, — облизывала палец серым языком и перевертывала страницу. Он опять слушал. У него больше не было желаний.

Вечером, всегда в одно время, приходил отец. Он снимал галты и передевался в передней. Он шнуровал там ботинки и насвистывал песенку. Завязывая галстук, он расаживал по коврыку.

— Спишь?

Он клал руку на дверной косяк и разговаривал оттуда, чтобы не потревожить сына. Он спрашивал о температуре и о самочувствии. Он прогонял бабушку.

— Хватит ему ваших святых слов, я хочу немного поболтать с ним.

Бабушка уходила, как уходят все обиженные бабушки, — она уходила, поджав губы.

Отец присаживался на край кровати и вытаскивал из кармана сложенную вчетверо и еще пополам газету.

— Много новостей, — говорил он, — ну-ка, послушай. Готлиб слушал.

— Интересно, — бормотал он иногда, — интересно. — Ему не хотелось ни огорчать, ни обижать.

Однажды он попросил вызвать Дрегера. Его не нашли. Комната под крышей уже была сдана. Хозяйка ничего не знала. Впрочем, она сказала, что мальчишка — дрянь.

— Вот он оставил мне книжки, — сказала она. — Что прикажете делать с этими книжками? Вместо того чтобы расплатиться, он оставил книжки, которых никто не покупает. Не купите ли вы их?

Она пила кофе в своей крошечной белой кухне за сто-

лом, покрытом голубой скатертью. Эрнст Ганцке насупился. Куда же мог деваться парень?

— Не арестован ли Карл? — спросил он. — Таких часто арестовывают. Молодые петухи.

— Может быть...

— Покажите мне его книжки...

Он соврал ей что-то насчет того, что он был должен Дрегеру немножко денег. Он охотно отдаст деньги ей, пожалуйста. На память о Карле он возьмет его книги. Главным образом ему хотелось, чтобы об этом человеке не говорили плохо. Правда, Карл слишком самоуверен для своих лет, но он несомненно умен. Столько книг! Он открыл одну из них наугад и тотчас же встретился глазами с лысым, лобастым человеком. Ленин. Речь шла об империализме. Настоящему социал-демократу нужно прочесть Ленина — большой ум. Но у молодежи слишком горячие головы, как у москвичей. Они норовят взорвать Германию русским пироксилином. То, что не очень хорошо для России, совсем худо для Германии...

Тут был Гейне и Шиллер, Маркс и Каутский, Либкнехт и Гёте, Флобер и Золя, Достоевский и Энгельс.

— Я покупаю все.

Он имел право в конце концов подарить сыну небольшую библиотечку. Хозяйка налила ему чашечку кофе. Он сел и повесил шляпу на спинку стула.

— Право, он был не так уж плох, бедный Карл. — Она подвинула ему молочник. — Уверяю вас. Он был скромен и никогда не гулял. Он совсем не посещал пивных. Право же, это редко в наше время.

Эрнст-Пауль Ганцке нанял такси. Слишком тяжело пересаживаться с этими книгами из подземки в автобус. Сбережения... Все равно они давно начали таять...

Кутить, так кутить. Он остановил такси у хорошего магазина и купил всякой всячины: ему завернули очень дорогих австралийских апельсинов и групп бананов и фиников. Он попросил немного ветчины, сарделек, три баночки консервов, он имел право побаловать больного сына. Он потребовал даже винца из сухих.

Теперь он напевал старую фронтовую песню, отличную немецкую песню:

Я не могу дать руку —
Я заряжаю вновь...

Они пели эту песню, уходя на фронт. Им бросали под

поги цветы. Он вставил в дуло винтовки белую астру и пошел во всю ночь:

Я не могу дать руку —
Я заряжаю вновь...

Потом где-то поблизости разорвался снаряд, и его вывернуло на одну сторону...

Дело становилось серьезным. Им пришлось нанять юриста, — из дешевых, конечно. Готлиб лежал пятый месяц, они растрясали все сбережения.

Юрист заходил к ним частенько. Он невесело шутил, подсмеивался над стариками.

— Кажется, вы поправляетесь, старина, — говорил он Готлибу. Парню действительно становилось лучше. Прошло разрыхление десен, слюна перестала отделяться в таких количествах. Он мог теперь даже читать.

К нему никто не приходил, да ему и не хотелось никого видеть, с тех пор как он поругался с ними. В самом деле, завком не ударил пальцем о палец, чтобы выхлопотать ему хоть немного денег. Партия? Они устроили сбор и прислали ему двадцать пять марок. Он не принял этой подачки. Дирекция обязана дать ему пенсию — он потерял трудоспособность на заводе, он отравился ртутью. Какого дьявола?! В договоре имеется определенный пункт...

Вечером у него собрался консилиум. Три врача и представитель завода — доктор Дроссель. Он курил свою сигару в столовой и разговаривал с отцом.

— Ничего не поделаешь, герр Ганцке, мы выплачиваем пособие только лицам, потерявшим трудоспособность на заводе. А ваш сын, если не ошибаюсь, болен туберкулезом.

— Вы ошибаетесь. Ртуть погнала процесс карьером...

— О, герр Ганцке, это нас не касается ни в коем случае. При чем же тут мы? Если бы нам было известно, что ваш сын болен туберкулезом, мы, право же, освободили бы его от работы на нашем заводе.

— Так вы, герр доктор, отказываетесь от выплаты пособия?

— Нет, мы выплатим только за то время, которое ваш сын проболел, отравившись ртутью. Предположим, два месяца. Остальное нас не касается.

Они сняли свои пиджаки — три врача — и посадили его

на середине кровати. Ему было очень неудобно сидеть так, он чувствовал, как спина покрывается мелкими пуширышками — он был очень слаб.

Он видел круглые золотые очки и мелкие завитки волос, видел толстый, мясистый нос и волосатую грудь...

У них были умелые пальцы, и они разговаривали не очень громко, не очень тихо, а как раз в меру, чтобы и не беспокоить больного и вместе с тем чтобы больной не подумал, что он очень плох. Они разговаривали бодро и коротко, — так они привыкли разговаривать при безнадежно больных.

Они обложили его подушками, потому что он все сгибался. Он слушал, как они по очереди выстукивали его сначала раздельно: тук, тук, тук, потом сразу тук-тук... Они прикладывали к его спине черную целлулоидовую штуку с резинками в уши и заставляли его дышать:

— Медленнее, полнее, всей грудью. Ну-ка, кашляните.

У него вдруг подломилась шея — ему стало нехорошо. Он был очень слаб. Он увидел, что они расплываются — врачи. Чья-то рука сжала его сердце и подержала так несколько секунд. Когда он очнулся, они положили его на спину и, переговариваясь, стали давить ему живот, бока, желудок. Он молчал. Теперь он видел их рожи — рожи дрессированных свиней. Они называли друг друга коллегами и сосредоточенно мычали. У него еще все плыло перед глазами. «Оставьте меня в покое» — хотелось крикнуть ему. Если бы не отец, он непременно бы ударил того кудрявого и довольного врача ногой в морду. Да. Медицина. Во время войны эти медики выбирали самых здоровых для того, чтобы снаряды разодрали им животы и оторвали головы. Сейчас они пришли сюда, чтобы решить, когда начался процесс — до истории со ртутью или после нее — и ликвидировалось ли отравление. Они путали и мошенничали — эти три врача, проинструктированные представителем завода. Им нужно было установить, что отравление само по себе, а туберкулез сам по себе и ничего общего между этими двумя вещами нет.

Потом они стали спрашивать, укрыв его одеялом и усевшись на стулья. Он говорил «да», «нет» и смотрел на них широко открытыми глазами. Тот, что в очках, взял со стола распятие и покрутил его в руках.

— Изящная вещичка, — сказал он, щурясь, — очень изящная. И какая легкость работы...

Он заплакал от злобы, когда они ушли. Он мял зубами подушку и плакал тонким голосом.

Два здоровенные сына хозяина и полдюжины батраков управляли ими. Они копали сахарную свеклу под осенними дождями. Теперь Карл понимал все: тюрьма сбывала арестантов для того, чтобы, с одной стороны, их не кормить, а с другой — чтобы неблагодарные находились подальше от центра. Кроме того, на них можно было еще и подзаработать.

На ночь им надевали наручники. Они спали в оштукатуренном сарае на соломе или на войлоке. Их будили в три часа утра и давали им перловый суп с картофелем. Он склеивал им глотки, этот суп, похожий на клейстер, но они жрали его, потому что всегда были голодны.

Их было двадцать три человека на этой ферме. Они работали с четырех часов утра, голодные, оборванные, полубольные. Их кормили как свиней. Им не доверяли даже настолько, чтобы позволить им доить коров. Хозяин боялся, что они будут пить молоко. Их не подпускали к сепараторам, к сыроварне, они таскали бидоны только накрепко завинченные.

Однажды они украли круг американского терпкого сыру и слопали его в своем сарае. У них начался понос. Они отравились жиром, их желудки отвыкли от настоящей пищи, но они продолжали красть. Они крали масло и ели его без хлеба, потому что украсть хлеб было невозможно. Теперь они могли объявить голодовку, и они ее объявили, наделав себе запасов, но хозяйская собака стала копать в том месте, куда они зарыли масло, сыр, творог. Это все произошло вечером. Кнек вышел из дому в своей замшевой рубашке и розовой феске. Какие-то девки — толстые, дебелие — хихикали возле телеги.

— Вы неисправимые преступники, — сказал Кнек, — я вас накажу. Вы мошенники, вы негодяи. Вы разоряете меня...

Они стояли все в ряд — так выстроили их хозяйские сыновья. Под навесом справа горели фонари — к завтрашнему дню там готовились мотыги Эмерсона и автоматы-свеклоподъемники Дейль. У батрака соскакивал гаечный ключ. Он вздыхал под навесом.

— Будь проклята такая жизнь!

— Негодяи! — кричал им Кнек. — Сегодня вы украли мой сыр, завтра вы убьете меня.

— Отошлите нас в Берлин, — сказал Карл, — вы сделали из нас рабов. У него — чесотка, у Томаса — цынга, — вы не желаете лечить нас. Отошлите нас в Берлин.

Он показал зачем-то свои руки с содранными ногтями, загрубевшие от непосильной работы. . .

— Я вас пошлю в Берлин. Да, я вас пошлю в Берлин, когда сдохну — не раньше. Мои продукты. Ну-ка, отработайте их мне. Или я вас должен кормить американским сыром? Я вас заставлю отработать. И я ничуть не отвечаю — вы можете околевать, если вам заблагорассудится. Пададь!

Большие круглые звезды висели на небе. От земли, смоченной обильными дождями, поднимался светлый пар. Их разбудили еще до зари. Им не дали есть. «С вас хватит масла и сыра», сказал им хозяйский сын. Они обрывали также корешки — свекловица должна была весело выглядеть, ее принимали чистым весом. Соленый, едкий пот разъедал им кожу.

— Поднажми, поднажми! — орал старший сын хозяйина. — Поднажми, ребята, иначе не получите ужина.

Он лежал на войлоке возле телеги, на спице. Он лежал и курил короткую трубку. Ей-богу, он мог не работать, он достаточно уставал, путаясь с девочками. Он все покрикивал и посмеивался. Они не заметили, как это случилось, — их ряд шел от телеги, спиной к ней, — они только слышали вздох или хриплый крик. Бродяга Симон ударил мотыгой парня по голове. Мотыга застряла в черепе. Ее ручка, короткая и почерневшая, еще колебалась. Старший сын хозяина подышал, вертясь ужом на сером войлоке. Темная кровь попеременно с мозгами заливала ему лицо. Они смотрели как зачарованные — это было похоже на рисовый пудинг с соусом из вина. Бродяга Симон уже побледнел. Грязными ногтями он расчесывал подбородок. Потом он заревел и затрясся.

— Молчать! — Карл схватил его за шиворот. Мертвеца ослепили мухи.

— Что же делать?

Он предложил бежать сейчас же всем не медля, не думая. . .

На животе, хватаясь пальцами за мох, он добрался до воды и сунул в нее голову. Выстрелов больше не было. Он послушал еще, отполз назад в папортниковые заросли и заснул. Ему снилась работа; та бессмысленная и долгая

работа, которая отучила его думать, ему снилась свекловица. Вот он перекидывает ее с ладони на ладонь, и земля, одобренная навозом и батрачьим соленым потом, прилипает к ладоням.

Ему снились голодные сны — еда, берлинские витрины, то, чего он никогда не ел: светлые, истекающие жиром налимьи паштеты, французская черная колбаса с мускатом на сливках, — он видел такую колбасу. Во сне он чавкал.

Ему снилось, что он едет в поезде, высунулся в окно и вдыхает запах угля и вагонов, покрытых пылью и раскаленным солнцем. Ему снилось, наконец, само солнце, — не враждебное солнце, под которым они просеивали суперфосфат и задыхались, а милое, дружелюбное солнце; такое солнце, представлялось ему, светит в Москве.

Проснувшись, он пожевал листьев и полез вон из оврага. Остальных переловили. Ему было очень жалко их. Он махнул рукой — люмпены, завтра их может нанять полиция.

У станции он вдруг задохнулся от огромной радости, чуждой в его положении. Его могли сцапать, но он не верил в это и шел напролом, мозоля глаза зеленым. У него был беззаботный вид пожравшего и выпившего бродяги. Он поел у какой-то крестьянки, — она дала ему перебродившего пива и лепешек с закалом. Он ночевал в виноградниках и купался с ребяташками. Он шел на запад.

Новый паспорт. Он сунул его в карман и пожал им руки. Теперь его звали не Дрегер, а Бройр. Карл Бройр. У них были темные лица потомственных металлистов. Они достали ему денег из кассы взаимопомощи и рассказали о своих делах. Работа двигалась. Они ели лапшу с томатами и спокойно рассказывали. Вечером он сел в вагон. Работа, настоящее дело, Берлин. Он откусил яблока — сок брызнул в лицо. Он перешел на нелегальное положение. Он потерял свое старое имя. Чорт с ним! Он выпил пива из бумажного стакапа. Он поселится у Ганцке пока что. У стариков хорошие рожи. Их надо будет взять в работу всех троих. И опять радость опалила его.

В помещении вокзала извозчики пили свой утренний кофе. Берлин! У ворот разгружались автомобили с газетами. Берлин. Газетчик. Он купил себе газет целый ворох.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КНИГА И-ЦЫН — КНИГА ПЕРЕМЕН

Он дремал, и его разбудили.

— Да, да! — заорал он. — В чем дело? Войдите же!

Дверь мягко отворилась. Сначала шли извинения — их было очень много и все на плохом английском языке.

— Я не понимаю по-английски, — сказал он, — я понимаю по-немецки. Я — немец. К тому же англичане — мошенники. Что? Говорите по-немецки.

Начальник поезда приложил руку к козырьку и опять начал извиняться. Он старался походить на моряка в своем белом костюме с золотыми нашивками. У него был маленький нос и усы, похожие на пару крысиных хвостов.

— Неблагополучно, — говорил он. — Такие времена, такие времена. Мы доедем только до Джен-Чжоу. Мукденцы отступают, сэр, они уже очистили Хэнань. Нам очень грустно, сэр, мы вполне разделяем ваше справедливое негодование... Это первый случай в моей практике. Наш экспресс Пекин — Ханькоу никогда не подводил пассажиров...

— Ладно, ладно...

Рюмка позвякивала на столе. По вину шла зыбь. От этой зыби и от шалостей солнца вино принимало неожиданные оттенки: из зелено-желтого становилось черным, из черного — золотым, из золотого — коричневым.

Иногда поезд шел на тормозах, и это было совсем несносным: шипение, лязг, писк. Кэльберг спал недолго — час, может быть, полтора. Ему ничего не снилось, он храпел, во рту было горько, подушка валилась из-под головы. В зеркале отражался огромный профессорский живот, походивший на гору, потому что от всего тела он был отрезан дубовой рамой зеркала и полотенцем. Живот то вздымался, то опускался. Испуганная муха сидела на животе до тех пор, пока Кэльберг не проснулся. Тогда она перелетела на вентилятор. Сверху ей видны были мохнатая профессорская макушка, живот и ноги в белых туфлях. Профессор зевал и сплевывал. Потом он стал ругаться. Он ругал все: Китай, целлюлозу, двадцатый век, климат, скверных поваров. Муха смотрела вниз. Ей очень хотелось слететь на стол и попробовать крошку, не замеченную боем, но она боялась, потому что была трусливой китайской мухой.

Громыхнула дверь, из соседнего купе вошел Пирри. Он

замотал себе голову полотенцем и, загорелый, вдруг стал походить на опереточного индусского раджу. Кэльберг кивнул ему головой.

— Мне жарко, набоб!

— Мне тоже жарко, герр Кэльберг...

Потянувшись за табаком, он зацепился полою пижамы за ручку подноса, и сифон грохнулся на пол. Произошло что-то вроде взрыва. Профессор даже подобрал ноги.

— Не везет, — сказал Пирри.

— Вы плохо острите, Рэджи!

Кэльберг опустил окно, но вновь сейчас же поднял его: желтая соленая пыль мигом наполнила купе.

— Содовой и горячее полотенце, — приказал Кэльберг бою. — Вам не нужно, набоб?

— Благодарю, герр Кэльберг...

— Все-таки нужно или не нужно?

Кэльбергом овладевало раздражение. Все не ладилось. Пот лил с него липкими горячими струйками. Промокло белье, даже брюки стали влажными. Зачем он поехал в этот глупый Китай?

Фабрики? Он уже был в Кантоне, на озере Дун-Тин, он побывал в Ханьчжоу, в Нинбо, в Тянь-Цзине. Какого чорта? У них все гудит. Никто не может поручиться за то, что его шкура завтра не будет прострелена в десяти местах. Одни названия чего стоят: Союз Подтянутых животов, Красные Пики, Общество Небесных ворот. Они ходят и стреляют. В них стреляют тоже. Кто прав, кто виноват? И, вообще, в чем у них дело? Неделю назад его чуть не убили, приняв за кого-то другого. Нет! Довольно!

— Зачем мы поехали в этот ад? Вы слышите, набоб!

— Контракты, герр Кэльберг...

— Я плюю на контракты, набоб! Я стар, в конце концов! Я хочу играть на бильярде с Винтером. Бедняга, он скучает без меня. Мне надоело, Рэджи, надоело... Пошмасте?

— Но тем не менее...

— К чорту тем не менее. К чорту! Я знаю, что вы скажете: «Раз мы обязались, то, следовательно...» К чорту обязательства, к чорту следствия! Целый год мы шляемся как бродяги. Целый год я не был у дантиста — все некогда. Надоело. Целлулоза, элеваторы, Стеббинс-Гиллер, расход шри, экономника. Я плюю на них. Вы поняли: я плюю на них. Мне не нужно столько денег. Зачем вы жадничаете?

— Но, герр Кальберг...

— Я — паршивый пес, а не герр Кальберг. Фокс-терьер. Из меня жир течет. Я таю... Дайте мне Новалиса.

— «Гейнрих фон-Офтердингер»?

— Именно.

Пирри порылся в саквояже и протянул патрону книжку в голубом переплете. Кальберг зевал с хрипом.

— Благодарю вас, набоб!

Пирри делал пометки карандашом на полях американского журнала. Тут были кое-какие новости. В отделе юмора попалось и смешное. Рюмки попрежнему позвякивали на столе. Кальберг опорожнил уже две фляжки маляги.

— Я сделаюсь алкоголиком в этом раю, — буркнул он злобно, — я подохну, или меня убьют.

Бой принес содовую и горячие полотенца. Он походил на потрескавшееся и почерневшее от огня печеное яйцо, и ничего детского не было во всей его хилой фигурке.

— Не уходи, — приказал Кальберг. — Сядь. — Бой сел послушно и положил руки на колени. Глаза его забегали как у воришки. Он привычно ожидал щелчков за неведомую вину.

— Трусись? — сказал Кальберг, обтираясь горячим полотенцем и хрюкая от блаженства. Поезд все шел желтыми полями. На секунду потемнело — вагон попал в тоннель. Бой не двигал ни одним мускулом, лишь зрачки его метались. Кальберг все хрюкал.

— Я видел, — прохрюкал он, — как бьют таких, как ты. На пароходе веснущатый французик разбил четыре бокала о лоб боя. Он не порезал себе руку, но кожа на лбу у боя свешивалась лохмотьями. Это было увлекательное зрелище. Вы помните, набоб?

— Да, герр Кальберг.

— Очень хорошо. Я тоже помню. Нигде европейцы так не хулиганят, как в Китае. Англичане не любят хулиганить в Англии, французы — во Франции: они едут на гастроли в Китай. Я слышал, что свинья, если она, конечно, обеспечена хорошим хлебом, никогда не гадит под себя. Она устраивает клозет в углу. Прекрасное животное, не правда ли, Рэджи?

— Да, герр Кальберг.

— Если вы будете отвечать на мои вопросы, читая журнал, то я выброшу вас из окна, не дожидаясь станции.

Имейте это в виду. Я прекрасно понимаю, что вы любите свою Америку, но я люблю осмысленную беседу...

— Да, герр Кэльберг.

— Очень жаль, что у меня нет револьвера. Выстрел в потолок произвел бы на вас отрезвляющее впечатление, Раджи.

— Да, герр Кэльберг.

— Набоб!

— Да...

— Пирр-и! Чорт бы взял ваше проклятое спокойствие! Вы сидите на моем кошельке. Дайте мне его.

— Простите, герр Кэльберг!

Бой успокоился. Очевидно, бить его не собирались. Слишком мало обращали на него внимания; в его короткой жизни бывали случаи, когда прежде, чем его побить, с ним спокойно разговаривали. Однажды тощий англичанин спросил, сколько ему лет, жив ли его отец и помнит ли он свою бабушку. Только после этого англичанин ударил его флаконом от духов по лицу. Это было очень больно. Англичанину не понравились глаза боя. Англичанин был вице-председателем кружка физиономистов и любил определять сущность человека по первому впечатлению. Про боя он решил: наглец и сын распутных родителей. Поэтому англичанин избил боя.

Кэльберг протянул бою долларовую бумажку.

— Возьми, — сказал он: — это тебе пригодится. И если веснучатый француз пожелает попробовать крепость бокалов о твою голову, бей веснучатого француза ногой ниже живота. Веснучатые французы этого не любят. И ничего, не бойся. Суд защитит тебя. А теперь иди.

Бой вышел, зажав билет в кулаке. Он забыл поблагодарить. Кэльберг налил себе содовой и, чокнувшись с си-фоном, выпил.

Глинистые поля миновали. За зеркальным широким окном сверкает и переливается бронзовая, обожженная солнцем пшеница. Кружатся тополя и исчезают, паровоз развивает скорость. Мелькают черные черепичные крыши деревенек. Жара. Ртуть в термометре поднялась до тридцати четырех. Пирри дремлет в кресле. Брешаг стаканы.

Смолкли горестные песни,
Раны старые не видны,
Плеч томительный неведом,
Вечно длится, вечный час.

Горными взволнован снамп,
В упоении нездешнем,
Купол неба перед нами,
Синева — ясна.
Окрыленные покровы
Носят нас по нивам вешним.
Ветер не дохнет суровый,
Неизменна тишина.
Упоение чар полночных,
Волхованье сил заочных,
Игр неясных наслажденье
Ведомы лишь нам...

Профессор протирает очки и слегка улыбается. Улыбка выходит кривой. Ему очень невесело и очень жарко. Гудит вентилятор.

Купол неба перед нами,
Синева ясна...

Поезд идет медленно. За стеклом кружатся китайцы. Они работают под испепеляющими лучами солнца. Кальберг опускает окно. Ветер едва шевелит занавеску.

Смолкли горестные песни,
Раны старые не видны,
Плач томительный неведом...

Смутное раздражение вновь охватывает его. Он прогоняет Пирри спать. Нестерпимо душно. Духота сушит губы, от духоты раздуваются ноздри, как у кинематографической дивы. Приходится обращаться за помощью к горячим полотенцам. Бой смотрит уверенно, и глаза его не шныряют, как давеча. В духоте и жаре, в обтираниях горячим полотенцем пастушает вечер. Загорается электричество. Ртуть падает до тридцати двух. Кальберг сулит Китаю всяческих чертей. Поужинав в вагон-ресторане, он ложится. Гудит вентилятор. Простыни пахнут лошадьё. Остервенело профессор выливает в постель флакон о-де-колонну.

Упоение чар полночных,
Волхованье сил заочных,
Игр неясных наслажденье
Ведомы лишь нам.

Толстому, большому человеку трудно снять туфли; для этого нужно нагнуться, а нагибаться мешает тяжелый и жирный живот. Туфли снимает бой.

Игр неясных наслажденье
Ведомы лишь нам...

— Повалису не мешало бы побывать в Китае... «Игр неясных наслаждение...» Проклятые контракты...

Во сне Кальберг блуждает по странному и страшному Гонгконгу. Рейд цветом напоминает мороженое мясо. На рейде в недвижимой воде стоят недвижимо корабли, и над кораблями где-то очень высоко в небе распластался холодный и острый крик. Крик мертвыми промежутками разрезан на равные части. Гоулунг — город нового дракона — покрыт тенью от паруса сампана. Солнца нет — есть сияющий столб пламени на вершине Пика. Во мраке летит паром. Китаец спрятал лицо в сияющих неведомых травах. Пик — огромный конус, вышиной в полторы тысячи футов — мертв. Мертвы биржи, отели, пансионы, мертвы каменные террасы, дворцы, небоскребы, мертвы элеваторы, клубы, ботанический сад, церкви, больницы.

Только сияющий столб.

Книга Й-цзин — книга перемен — в руках у Кальберга. Он бежит с нею от мертвецов Гонгконга. Вот он попал в тень сампана. Темная желтая, пахнущая илом и тиной земля.

— Вставайте же! — кричит Пирри — Вставайте. Четвертое происшествие.

Кальберг поднимается, но голова — огромная, страшно тяжелая голова — тянет его книзу, и он не в силах совладать с ней. Вновь по купе разносится храп.

— Вставайте же, чорт возьми!

Наконец Кальберг спускает ноги с дивана. Обрывки дикого сна мечутся еще перед глазами.

— Станный сон... — бормочет он, — чертовски странный сон.

В купе попрежнему душно. За окном стоит гул: кто-то пронзительно кричит, и кто-то кого-то увещевает. Пирри рывком отдергивает занавеску. Стекло запотело, и за стеклом пляшут суетливые огни.

— Что это?

— Рельсы разобраны. Полустанок. Никто ничего не понимает. Очевидно, красные пики. Они собираются вытряхнуть нас из вагонов.

Гул растет.

— Что с вами, герр Кальберг?

— Мне снилось безобразие: будто Гонгконг пуст. Я бежал в темноте.

— Одевайтесь, герр Кальберг.

— Одеваюсь. Вы помните Новалиса?

Купол неба перед нами,
Синева ясна.

— Одевайтесь же, герр Кэльберг.

— Сейчас. Не сердитесь, милый Пирри, налейте мне содовой. Спасибо. Это похоже на настоящую революцию. А? Как вы думаете?

— Думаю, что вы правы.

— Я всегда бываю прав, милый Пирри, — вы не находите?

Молчание. Пирри сдвигает на затылок каскетку. Лоб у него крутой и высокий, брови почти черные. Он знает, что красив, мускулист, силен. Он — гимнаст. Он отличный экземпляр человеческой породы. Он всегда подобран, чист, он всегда отлично одет. Даже сейчас он не забыл повязать галстук. Белый полотняный френч застегнут, в петлице металлический флажок с эмалью: полосы и звезды. Америка. Культура. Порядок, чистые ногти. Свое. В детстве, приходя в школу, он должен был салютовать звездному знамени, стоящему в вестибюле. Так делали из него человека.

Кэльберг набивает трубку. Ему хочется сказать помощнику какую-нибудь гадость, какое-нибудь бранное слово. Иногда он ненавидит чистые воротнички, спокойные лица.

— Сколько времени?

— Без трех час... Одевайтесь же, герр Кэльберг.

— Да, да...

Профессор натягивает брюки, накидывает китель. Какое право имеет этот набоб так спокойно жить? Почему у него улыбаются глаза?

— Пошли!

Коридор вагона был полон. Пахло хвойной эссенцией, кожей, духами, распаренным человеческим телом. Пассажиры недоумевали. Чиновник в таможенной форме расспрашивал вполголоса французского офицера. Офицер отвечал уклончиво. Их слушало несколько человек. Розовощекий миссионер горячо убеждал двух престарелых леди не волноваться. Он смиренно рассказывал случаи из своей богатой событиями жизни бродячего проповедника.

— Ерунда! — кричали в купе, мимо которого протискивался Кэльберг. — Ерунда! Завтра тут будет бронепоезд... Посмотрим, что они запоют. Да, вы увидите...

Наконец они вдвоем вышли из вагона. Черная густая

ночь лежала на мягкой земле. Несколько звезд подобно расплавленным каплям металла висели в темноте. На перроне пылали факелы. На юге ухали и стонали орудия. Пирри щелкнул портсигаром.

— Пойдем!

Итти было трудно, ноги вязли в глине. Факелы слепили глаза. На перроне по-будничному, на корточках, сидели солдаты, куря бамбуковые трубки. Где-то кричал осел и фыркал автомобиль.

— Дальше!

Кэльберг едва поспевал за Пирри. Солдаты смотрели на огромного толстяка с нескрываемым любопытством. Скоро Пирри пропал в темноте, Кэльберг же все шел, придерживая живот рукой. Внезапно высокий китаец преградил ему путь. Кэльберг остановился.

— Что вам нужно? — спросил он.

Китаец молчал. Темное его лицо напряглось не то в улыбке, не то в гримасе. Одна бровь была выше другой, и узкие губы дрожали так же, как и левая щeka. Кривая тень падала от китайца на кирпичную стену.

— Что вам нужно? — опять спросил Кэльберг и почувствовал, что говорит чужим и лживым голосом.

Китаец уже был не один: несколько китайцев стояли перед Кэльбергом в молчании. Глаза их были тревожны и лица напряженны. Они стояли так близко, что он ощущал их острое дыхание и запахи застарелого пота, исходявшие от их гимнастеров.

— Какого чорта? — заорал Кэльберг и не кончил, потому что китаец дернул его за лацкан белой куртки. Кто-то тонко и тихо засмеялся, кто-то что-то сказал.

— Назад! — заорал опять Кэльберг. — Назад! Я... — он опять не кончил. Его ущипнули за руку выше локтя. Злоба, собиравшаяся в нем весь день, вдруг вылилась. Он брыкнул ногой и ударил кого-то наотмашь кулаком в лицо. Тотчас же его ударили в лопатку. Ярость перехватила ему дыхание, он повернулся и ударил кулаком снизу вверх, в челюсть. Зубы лязгнули; китаец, охнув, упал. Удары сыпались на Кэльберга со всех сторон; в горле у него сидел вязкий и терпкий комок; он лягался, хрюкал и ничего не понимал. Ему удалось вырваться через несколько минут, но у китайцев остался рукав куртки.

— Давитесь! — крикнул он им издали. — Давитесь, orang-утаны!

Пробежав еще несколько шагов, он споткнулся о кир-

пич, поднял его и запустил им в молчаливую толпу. Очень скоро этот же кирпич просвистел в пяти сантиметрах от его лица.

— Оранг-утаны! — крикнул он опять. — Дураки! Хулиганы!

В голове у паровоза стояла делегация пассажиров. Ею командовал длинный как минога француз. Перед французом в двух шагах стоял маленький китайский офицер, грыз ногти и молчал, точно речь француза относилась не к нему, а к паровозу.

— Ваших солдат нужно перестрелять, — сказал Кэльберг и отстранил француза плечом. — Понимаете? Они разбили мне губу в кровь и оторвали рукав тужурки. Безобразие!

Маленький китаец попрежнему молчал, и глаза его блеснули таким же ровным и спокойным блеском, каким блеснул маузер, засунутый просто за ремень.

— Ну?

Китаец молчал.

— Я вас спрашиваю, пойдет поезд или нет?

Француз, похожий на миногу, опять вылез вперед. Кэльбергу стало скучно.

— Мы просим, — сказал француз, — пропустить наш поезд. Нам нельзя терять время. Вы понимаете меня? Время нам дорого. Делайте, что хотите, но пропустите нас.

Китаец улыбнулся.

— Так как же? — зло вмешался Кэльберг. — Долго нам придется стоять?

Попрежнему улыбаясь, китаец козырнул, повернулся на каблуках и кошкой исчез во мраке. Француз яростно плюнул ему вслед и выругался тонким, почти женским голосом. Очень близко завизжал пудемет. Делегация испугалась. Кто-то, в клетчатой пижаме, охнул и присел на корточки. Коричневая рука швырнула из паровоза пылающий факел на полотно, и он погас, чадя и разбрызгивая искры. Затем сам машинист спрыгнул со ступенек и побежал к станции. Делегация поредела. Клетчатая пижама быстро и ловко полезла под багажный вагон. Внезапно впереди алое пламя разорвало тьму ночи.

— Чорт! — заорал Кэльберг. — Чорт, тысяча чертей! — Без всякой связи с происходящим он вспомнил вдруг себя мальчишкой, мчащимся на пруте вместо лошади по тихому переулочку Вормса. Ветер свистит в ушах, глазам больно, и камень жжет пятки.

— Вы с ума сошли, герр Кэльбер! Бежим!

Повернувшись, он увидел рядом с собой бледное лицо Пирри. Спотыкаясь, они побежали вдоль поезда. Ничего нельзя было понять. Воздух дрожал от выстрелов. Кэльберг задыхался. Живот тянул его вниз к земле. Свет в вагонах был потушен, и казалось, что весь поезд вымер.

— Сюда!

Пирри, схватившись за поручни, поднялся в вагон и протянул руку Кэльбергу. Охранник-маузерист помог. Дверь захлопнулась с металлическим лязгом.

— Налево! — крикнул маузерист и посветил карманным фонариком.

В вагоне стоял шопот. Миссионера не было слышно. В темноте попыхивала чья-то смелая сигара. Кэльберг улыбнулся.

Упоенье чар полночных,
Волхование сил заочных,
Игр неясных наслажденья
Ведомы лишь нам...

ДОБРОЕ УТРО

Ночью Кэльбергу захотелось есть. Наступая на ноги пассажирам и толкаясь в темноте, он добрался до тамбура. В тамбуре произошла стычка с охранником, но Кэльбергу все же удалось, переходя из вагона в вагон, дойти до ресторана. Сонный лакей, натыкаясь на столы и стулья, принес какую-то жареную птицу; ни он, ни Кэльберг не могли понять, какая это именно дичь. Похрюкивая, Кэльберг обсосал кости, выпил стакан теплого вина и задремал здесь же на стуле. Перестрелка прекратилась. Утро наступило мутное. Небо, в клочьях туч, грозило дождем. Духота и жара не уменьшались. Шатаясь спросонья, Кэльберг вышел на перрон. Попрежнему солдаты, сидя на корточках, курили трубки. Один из них, увидев Кэльберга, улыбнулся и толкнул под бок своего соседа. Осел так же кричал, но заметно охрип. Пирри щелкал фотоаппаратом.

— Доброе утро, — сказал он, увидев Кэльберга. — Почему вы ночевали в ресторане, а не у себя в куше? Я волновался.

Кэльберг не ответил. Возвращаясь в вагон, он наткнулся на маленькую толпу. Вчерашний миногообразный француз горячо что-то доказывал. Кэльберг пробрался в центр.

На пыльных каменных плитах навзничь, широко раскинув руки, лежал бой. Лицо его уже успело позеленеть, мухи роились у рта. Кэльберг поправил очки.

— Кто это сделал? — спросил он тяжело. Толпа молчала. Кэльберг откашлялся и сплюнул. Во рту от нелепой похи было скверно, и белье прилипало к телу.

— Кто это сделал?

— Это сделал маузерист, — старательно выговаривая английские слова, ответил француз. — Вот видите, сэр, он сидит около своего вагона. Мальчик хотел уйти к пикам и сознался маузеристу. Маузерист по долгу службы не пустил мальчика, но тот укусил маузериста за руку и выпрыгнул из вагона. Естественно, маузерист выстрелил.

Кэльберг жевал губами.

— Вы находите это естественным?

— Разумеется!

От трупа шел тяжелый, приторно-сладкий запах. Раскурив трубку, Кэльберг повернулся к французу спиной и ушел. В купе он отвинтил крышку у чернильницы, вынул книги и зеленую рабочую тетрадь. В минуты внутренней пустоты он всегда садился за работу. Перо заставляло мысли двигаться по определенной прямой. Посторонние чувства и ощущения изгонялись.

Усевшись он просмотрел тетрадь. Это были записи, лаконические и сухие записи исследователя и ученого. Тут были наброски и планы рефератов, записи результатов опытов, мысли, возникавшие во время работы и требовавшие разбития. Тетрадь не отличалась чистотой; не раз на ее листы проливались химические препараты, и не раз приходилось восстанавливать написанное раньше.

Он перелистывал расчесывая лоб. Чорт! Он никак не мог найти то, что ему было нужно сейчас. Какая-то справка, чепуха, ерунда. Погодя, он подошел к окну. Может быть, Пирри знает то, чего не знает он сам.

— Рэджи!

Никого не было возле станции. Густая липловая пыль мешала дышать.

— Рэджи!

Маузерист посмотрел на него красными от бессонницы глазами.

— Кричать воспрещается, сэр!

— Да, да, воспрещается. Что это за место? Вот это, где мы стоим?

— Разъезд, сэр,

— Да, развезд!

Он угостил солдата табаком, свесившись в окно.

— Благодарю вас, сэр. — Маузерист сразу стал словоохотливее. — Спереди мост через Хуань-Хэ, огромный мост, триста семнадцать пролетов, а сзади, вон там, — он показал черной от загара рукой, — вон там Бау-ди-фу, военная академия. Вы англичанин, сэр?

— Нет, я немец...

Он опять сел к столу, опять почесал лоб. Ему стало смешно. Вот что так мучило его. Он даже хлопнул себя по животу, но веселье оказалось дутым и исчезло.

Его каракули в этой тетради разбирал Пирри. Теперь ему предстояло разобрать и развить еще одно положение, выдвинутое патроном:

«Дела Китая есть дела Китая. Какого чорта иностранцы лезут туда, куда им не следует лезть? Китайская революция носит чисто-национальный характер, и Британии незачем совать в нее свой нос сплетницы и сводни».

— Да, да... — Он сидел, покачиваясь и поспивывая. Погодя он улыбнулся, — так нелепо выглядел новорожденный тезис между статьей о принудительной циркуляции кислоты при сульфатной варке целлюлозы и заметкой по поводу опытов облагораживания макулатуры химическим путем. Потом он поставил дату и место: «Между мостом через Хуань-Хэ и Бау-ди-фу — экспресс Пекин — Ханькоу».

Это здорово звучало. Между мостом через Хуань-Хэ и Бау-ди-фу. Отлично! Он потянулся, так что от штанов отлетела пуговица, и вышел на перрон. Бой попрежнему лежал не убраным, леди в халатике озираясь поднималась по откосу — уборные в вагоне были закрыты.

— Чорт бы вас побрал!

В ресторане ему ничего не дали поесть.

— Мы переводим пассажиров на строгие порции, — сказал лакей: — продуктов мало.

— Я хочу есть...

— Можем предложить вам только печенья и вина.

Он съел печенья и пил скверное кислое вино.

СПАСИТЕЛИ ДУШ

Еще ночь простоял экспресс на полустанке. Утром следующего дня Кальберг проснулся от грохота и, накиннув пижаму, поднял шторку. Металлическое чудовище пол-

ило по второму пути, и в накаленном воздухе стояли ляги и явон. Солнце сверкало на башнях бронепоезда, и десятки солнечных зайчиков прыгали по штофным стенкам купе. Коридор заметно оживился. Из бронепоезда, улыбающиеся и веселые, выпрыгивали британские солдаты. Горьковато пахло горячим железом.

— Пирри!

Пирри просунул взъерошенную голову в дверь. Его губы были измазаны зубным порошком. Он промычал что-то неразборчивое.

— Я подожду вас! — крикнул ему Кэльберг. — Скорее! Наплюйте на свои галстуки! Меня тошнит, когда вы стоите перед зеркалом...

Ему хотелось похулиганить — он крикнул из окна высокому солдату, трусившему мелкой рысцей по шпалам.

— Эй, рыцарь! вы потеряли кружку, кружечку, да, да.

Все-таки Пирри вышел только тогда, когда окончательно привел себя в порядок.

— На кой чорт этот бронепоезд?

— Он за нами, герр Кэльберг.

— Из Пекина?

— Конечно же... Правление дороги, узнав о судьбе экспресса, выслало бронепоезд. Видимо, скоро двинемся. Я мечтаю о ванне и о холодных простынях...

— Я хочу прежде всего пожрать по-настоящему.

Они шли вдоль поезда по тропинке.

— Послушайте, мальчик, — Кэльберг положил руку ему на плечо и повернул его к себе, — послушайте, мальчик! Бронепоезд — это война? Бронепоезд — это война — не так ли? Это же не бутафория — пушки, которые торчат из башен? Это настоящие пушки. Они приехали — эти блиндированные мерзавцы — не утрашивать, а действовать... Послушайте, мальчик... — Он волновался и тормошил помощника. Его близорукие глаза спрашивали и напряженно ждали ответа. Пирри не понимал. Конечно, действовать: разумеется, действовать. Путь возле моста разобран — его растащили по шпалам, по костылям — эти красные пики. Их нужно проучить, этих негодяев...

— Но это Китай!

— Мы-то, ведь, не китайцы, герр Кэльберг.

— Да, да, вы американцы. Идите своей дорогой, я ползу под вагон. Мне надоело говорить с вами, я поговорю с ними...

Нельзя было понять, смеется он или говорит серьезно. Может быть, он шутил.

— Идите, идите!

Пыхтя он пролез под вагоном, хоть можно было обойти кругом, и остановился против унылого человечка в клетчатой жилетке. Унылый человечек посмотрел на толстяка так, как посмотрел бы лондонский житель на крокодила, шествующего по Пикадилли.

— Вы откуда? — спросил Кальберг и ткнул пальцем в бронепоезд.

— Откуда, сэр.

— Зачем вы приехали?

— Чтобы спасти вас, сэр.

— Громко сказано. А кто вас просил о спасении наших душ?

— Меня лично никто, сэр. Мне приказало мое начальство.

— Вас никогда не били?

— В каком смысле, сэр?

— В прямом.

— Много раз, сэр. В Марокко, в Алжире, в Мурманске, в Плимуте, в Кардифе... В Китае меня не били.

— Вас не били? Меня уже успели побить. Кто вы такой?

— Британец, сэр.

— Чистокровный?

— О, да, сэр!

— Где вы родились?

— В Лондоне, сэр, в Уайтчепль.

— Что вы делали после того, как родились?

— Рос, сэр.

— А потом?

— Воровал, сэр.

— Дальше?

— Дальше бродяжничал. Потом работал в шахтах в Кардифе. Потом воровал опять. Осмелюсь спросить, сэр, почему вас так интересует моя биография?

— Это не имеет значения. Как вы попали сюда?

— На бронепоезде, сэр.

— Почему вы не в форме?

— Я не военный, сэр, по слабости здоровья. Я надзиратель.

— Выражайтесь точнее.

— Видите ли, сэр, бронепоезд высылается в случаях, по-

добрых данному. Сейчас придется собирать окрестных крестьян и ремонтировать путь. Я знаю китайский язык и умею разговаривать с китайцами. Меня очень ценят, сэр, и я хорошо зарабатываю.

— Лучше, чем в Кардифе?

— О, да, сэр!

— Скажите, если бы в Лондон прибыл вдруг бронепоезд с китайскими солдатами, что бы вы сделали?

— Что-нибудь бы да сделал, сэр.

— Очень хорошо. А кто это моется там, направо?

— Русский офицер, сэр. Он работает у англичан. Вы желаете познакомиться?

— Нет, у меня нет этого желания. Вы знаете бокс?

— Да, сэр.

— Хотите боксировать?

— Я легковес, сэр, и не отличаюсь здоровьем, а вы... вы, сэр, кажется тяжеловес.

— Это вам только кажется.

Кэльберг бросил пижаму на песок и, подумав, снял очки. Унылый человечек косо посмотрел на огромного чудака.

— Давайте, сэр.

— Как вас зовут?

— Джонсон, сэр.

— Все англичане Джонсоны. Хоть бы малейшее разнообразие...

Джонсон потер руки, слетка согнулся и ударил Кэльберга в живот. Кэльберг хрюкнул так; будто англичанин доставил ему удовольствие.

— Еще! — сказал он.

Джонсон ударил еще. Тогда Кэльберг поднял кулак и опустил его со страшной силой в лицо англичанину. Джонсон побелел и, задыхаясь, сел на песок.

— Вы не имеете права! — крикнул он, отплевывая кровь. — Вы...

— Теперь вас били в Китае, — ответил Кэльберг назидательно. — Я не знаю бокса, но люблю иногда подраться. Прощайте!

И, подобрав очки и пижаму, он скрылся за вагонами.

Надежды Пирри оказались тщетными: через два часа экспресс не двинулся вперед.

После драки Кэльберг пошел в ресторан и выпил конь-

яку. Раздражение не покидало его. Встретив Пирри, он сказал:

— Я сейчас побил одного мерзавца.

— Вы побили, герр Кэльберг?

— Кажется, поломал ему зубы. Бедняга был белугой. Посмотрите, он, наверное, за водокачкой...

И, попыхивая трубкой, Кэльберг зашагал по шпалам.

Бронепоезд заметно оживился. Люки открылись, солдаты окачивали один другого водой из брандспойтов. С блиндированной площадки добрая полсотня американцев спускала увесистую автомотриссу. Наверху ее держали тросами и цепями — она медленно и грузно сползала вниз на рельсы. Тупые рыльца пулеметов торчали из башен автомотриссы, Кэльберг заметил и пушки. Ему надоело смотреть, он еще раз зевакой прошелся возле поезда. Американцы брились. Один парень подмигнул ему — он ухмыльнулся. Группа солдат, развалившись на песке, пела «Зеленые туфельки моей дорогой». Некоторые играли. Вскрытые жестянки от консервов желтели на песке.

Автомотриссу уже поставили на рельсы. Она рычала, готовясь к путешествию. Солдаты лезли в нее, выстроившись в очередь. «Чорт, куда их несет?» Кэльберг приподнял плем и подошел к офицеру.

— Сэр, — сказал он, — я дьявольски скучаю в этом пекле. Не возьмете ли вы меня с собой?

Офицер козырнул. У него были грустные глаза отчаянного дон-Жуана и белые длинные пальцы картежника. В машине вопяло горючим, отработанным маслом и насквозь пропотевшими гимнастерками.

— Прошу вас!

Тощий солдат подвинулся. Автомотрисса звонко постукивала на сцеплениях рельсов.

— Красные пики, — говорил офицер, — тут можно покончить самоубийством. Я — мексиканец! Мне надоела эта игра... Право же, мы слишком церемонимся с ними...

Кэльберг молчал. Внезапно машину так толкнуло, что он перевалился вперед и почти стал на четвереньки.

— Они разобрали путь...

Солдаты толпились у развороченной стрелки. Рычаг был отломан и валялся неподалеку. Партизаны действовали только руками. Они растащили шпалы иковытаскивали костыли.

— Хуань-Хэ!

Река протекала совсем близко. Мимо прошел Джонсон,

распухший и хмурый. Увидев Кальберга, он отвернулся.

— Не желаете ли?

Офицер вынул из кармана походные шахматы на булавках.

— Будет скучно, — сказал он, — придется ждать. Поиграем?

— Это американский поезд?

— Сейчас смешанный. Начальник поезда — англичанин.

Они вкололи фигуры. Офицер снял с себя фляжку на ремне и налил виски.

— Не желаете ли?

— Не пью. — Кальберг соврал нечаянно. Играя, он поглядывал боком на полотно дороги.

Отряд англичан быстро рассыпался по полю и исчез за пшеницей. Горячий ветер трепал белые волосы офицера, и от этого ветра невозможно было дышать.

Кальберг играл плохо и скучал, офицер восторженно его обыгрывал.

Скоро отряд возвратился. Он шел так шумно, точно его сопровождал оркестр. Из вагона спускали на землю домкраты, рельсы, новые шпалы и ящики костылей. Толпа китайцев, окруженная английскими солдатами, верещала непокорно и зло.

— Что это? — спросил Кальберг.

— Это? Да видите ли... — Офицер взял двумя пальцами ладью и поднес ее близко к глазам. — Видите ли, сэр... Мы не можем утомлять своих людей... Их слишком мало, и они все-таки европейцы, а этот климат... — Офицер ткнул ладьей сначала на запад, а потом на восток. — Разница, не так ли?

— Разница, — хрюкнул Кальберг. — Восток — одно, запад — другое...

— Именно... Что же приходится делать? Как вы думаете, сэр?

— Что? По-моему, не приезжать в Китай. В Китае климат не для европейцев.

— Нет, сэр... Мы не можем не приезжать сюда, уверяю вас. Как же я поступаю? Я направляю отряд в деревню, мы мобилизуем население.

— Ловко!

— Иначе нельзя, сэр. В конце концов это дело их братьев, сыновей, отцов и мужей. Они пачкают, мы учим их убирать за собой. Можно ли поступать иначе?

Вместо ответа Кэльберг зевнул. Потом он поглядел в глаза офицеру. Это были искрящиеся, темные и ленивые глаза южанина.

— Знаете, — сказал он медленно, — знаете — я наблюдаю страшные вещи здесь, в Китае. Я спокойный и поживший человек, мой отец чинил часы в Вормсе — очень спокойная работа, моя мать женщина изумительного спокойствия, я читаю лежа на диване и люблю поесть. И вот я переворачиваюсь здесь в Китае, мне хочется бить морды и расшибать стаканы. Я набил рожу вашему Джонсону сегодня — противная рожа. Я смотрю на вас, и мне очень скверно — вы же лакируете ногти... Что вы думаете обо всем этом? Ваша проповедь — за грехи отцов. До седьмого колена — я так понимаю вас... Но вы же здесь, в Азии, представляете собой Запад, цивилизацию, наше право...

Офицер улыбнулся.

— У меня есть дочь, — сказал он тихо. — Иногда она мне задает взрослые вопросы. Чтобы не портить ей детства — я вру. Вы взрослый человек — вам незачем врать, но мне не хочется разговаривать о праве и о справедливости. Я военный. У меня свои взгляды. Вам они кажутся скверными, недостойными — мои убеждения... Давайте не будем разговаривать об этом... — Он встал и спустился вниз, к китайцам. — Не сердитесь на меня! — крикнул он. — Право же, мы не так плохи, как вам кажется...

— Дьявольщина! — Кряхтя Кэльберг тоже вылез из автомотриссы, но тотчас же присел на корточки — пуля просвистела возле его уха и ударилась о стальную башню.

— Они в пшенице.

Солдаты бежали к вагону. Пули тонко свистели и щелкали о броню. Он так и сидел на корточках, сжимая зубами потухшую трубку. — Я вам дам! — заорал он погодя, внезапно озлившись. — Какого вы чорта! — Пули все щелкали. — Не смейте! — Но они продолжали стрелять. Солнце палило ему голову — шлем покатился под откос. Кто-то назвал его сумасшедшим, почти силой солдаты втащили его в автомотриссу и бросили на пол. Пулемет был над головой, сначала один, потом два, потом три... Мента ползла вниз. Он видел ноги в обмотках и в коричневых крагах, он задыхался от жары, с потолка на него капало какое-то липкое масло. Солдаты стреляли с колена, просушив винтовки в прямоугольные отверстия. Ему стоило больших усилий встать на ноги — ноги ослабели и не очень хорошо сгибались от страха. Конечно, он перепуг-

гался — это же настоящая стрельба по цели: толстый, в белом костюме, на фоне темного вагона. Его могли убить! Он подумал о том, о чем думают все: «Вот я умру, а мир будет так же существовать, и так же этот парень будет сморкаться, а тот пойдет в ресторан... Нет, конечно, нет!»

— Ладно, открывай!

Дверь-люк лязгала и гремела, откатываясь в сторону. Он вылез на полотно вторым. Солнце жгло попрежнему. Выстрелов больше не было. Пшеница лежала спокойная и добрая, тонким голосом кричала какая-то одинокая, напуганная перестрелкой птица...

— Бирс, Хейвуд, Сторн...

Семерых послали туда, в пшеницу, поискать. Они пошли, гогоча и валяя дурака. Они притворялись храбрецами. Через четверть часа они приволокли несколько трупов и отправились опять.

— У них отличные винтовки, а Генри, собака, — отличный пулеметчик. Он сразу нащупал их...

Мертвецы лежали на развороченных шпалах. Красные пики! Кэльберг подошел поближе. Темное и простое лицо крестьянина, матовые зубы, перекошенная щека. Пуля угодила в горло, кровь уже засохла. Это был их знак — красная повязка на левой руке, на повязке белый плуг.

Он услышал, как плачет женщина. Она вскрикивала и билась в песке. Солдаты стояли над нею кружком, уже никто не шутил. А трупы все прибавлялись. Старики и женщины таскали их. Женщины искали своих мужей, старики — сыновей, племянников, братьев, дети — отцов.

Их сваливали на песок, возле автомотриссы. Стопали раненые. Джонсон приставил к ним караул.

— Довольно! — заорал он. — Перестать! — И ударил прикладом о землю. Но они не перестали.

Офицер дул в телефонную трубку. Они только чтоладили связь с поездом.

— Автомотрисса! — орал он. — Ав-то-мот-рисса! Санитарного врача!

Ему вызвали врача. Разговаривая с ним, он почти с ненавистью поглядывал на Кэльберга. Немец сидел на скамье, вытянув вперед огромные ноги. Он сопел, его трубка сопела вместе с ним. Чорт! При нем неудобно было говорить. Он таращил глаза и отплеывался в дверь, на раскаленный солнцем песок.

Через сорок минут они вышли, и немец увязался за ни-

ми. Он шел темного сзади, задыхаясь от жары. Он прислушивался к согласному шагу солдат, к согласному поскрипыванию ремней, к короткой команде. Их нагнал огромный грузовик с прицепокой — его спустили с бронепоезда. Он вез колючую проволоку и колья. Кроме винтовок и гранат, у них были пулеметы Томсона, грузовик привез еще два станковых пулемета.

Солдаты шли молча — им нельзя говорить, — решил Кальберг. Немного погодя ему удалось устроиться на грузовик, к шоферу. Пот лил с него ручьями, а ветер не освежал, а обжигал.

— Тут нет ни одной порядочной бабы, — сказал ему шофер, — даю вам слово. Безработица погнала меня сюда. Вот теперь мы едем на чуму. Когда придет наше время, мы им покажем и чуму, и чесотку. Я поймал тут чесотку — и целый месяц не мог от нее отделаться. Вы из комиссионеров?

— Нет, я инженер.

— Вот что... Вы ехали с тем экспрессом. Напрасно вы увязались с нами, тут произойдут паршивые вещи. Ей-богу, на вас нет лица...

Ему нравился этот толсторожий, растерянный и напряженный немец. У него был добрый подбородок и толстые ребячьи губы.

— Когда я разбогатею, — сказал шофер, — и когда у меня будет две комнаты и еще что-нибудь вроде свободных денег и хорошей обстановки, я разыщу доктора Горинка — мне рассказывали о нем занятные штуки. Я приду к нему на прием и скажу: доктор Горинк, мне хотелось бы кое-что забыть...

Их встретили врачи-китайцы и две дюжины санитаров-студентов. Первую половину разговора Кальберг не слышал — ему сделалось почему-то плохо, — может быть, от жары. Ладонью он прижал сердце, чтобы оно не прыгало так отчаянно...

— Она идет из Манчжурии! — кричал офицер. — Да, из Манчжурии. Мы не пустим ее к нам. Вы не будете вынуждены оттуда, пока не кончится вся эта канитель...

— Но моральное состояние поселка?

— Плевать... Предупредите их там, ваших пациентов. Нас ничего не касается. Мы не можем закрыть дороги. Запаситесь водой, потому что мы подожжем поля.

— Что?

— Мы подожжем поля и натянем колючую проволоку. Наш патруль будет стрелять в каждого, кто подойдет к проволоке ближе чем на пятьдесят шагов...

— Вы не имеете права...

Но они ушли все-таки, — может быть, потому, что он перестал им отвечать, может быть, потому, что увидели пулеметы и винтовки, проволоку и колья. Их белые халаты и флаг с красным крестом трепал ветер. Они сказали, что один врач и трое санитаров уже умерли от чумы. Они сказали также, что там, — молодой врач в панаме показал тростью на юг на крыши домов — там четыре сотни трупов, там в деревне, а теперь им грозят гранатами, — он криво усмехнулся, этот врач...

Они встретились глазами, Кэльберг и офицер, с которым он играл в шахматы.

— Послушайте. А?

Офицер уже не смотрел. Тогда Кэльберг дернул его за рукав.

— Послушайте, сэр!

— Что вам надо?

— Я отказываюсь понимать...

— Это карантин, чорт возьми, — иначе всех европейцев сожрет чума. Неужели непонятно?..

Офицер вырвал руку и зашагал прочь...

Шофер угостил его виски из фляги, у них не было никакой дисциплины, у этих авантюристов, и Кэльберг наклонился к нему на солнце. В три часа пополудни солдаты подожгли пшеницу. Серый дым поднялся одновременно в семи местах. Проволоки нехватило, пришлось ограничиться только патрулем.

— Ни черта, у них есть пулеметы, — сказал ему шофер. — Отличная вещь пулеметы... Я ищу настоящую бабу второй год! — заорал он и ударил Кэльберга по животу. — Настоящих баб в Китае нет. Последний раз я имел хорошую девочку в Марселе, это была девочка!..

Пламя шло к деревне, к черным черепичным крышам. Оно уже охватило какую-то постройку и взвилось вверх огромным языком, когда они уезжали, оставив патруль. Машина виляла, шоферу нехватало своей пары рук. Кэльберг помогал ему.

— Чорт с ними! — говорил шофер. — Все равно они все подохнут от чумы. Днем раньше, днем позже. А огонь уничтожает заразу, ей-богу. Однажды меня укусила змея, я взял и выжег...

Жены и дети тех людей, которые стреляли в поезд, должны были чинить линию. И они ее чинили.

Беспомощные, полуголые старики кряхтя таскали на коромыслах корзинки с землей.

Кожа стариков, морщинистая и дряблая, лоснилась от пота. Взираясь на насыпь руками, они хватались за дерн. Маленькие женщины задыхались, волоча шпалы. Ребятишки, грязные и обнаженные, таскали гравий.

Высокий и тощий старик, добравшись до половины насыпи, вдруг присел и покатился вниз. Земля обсыпала его лицо, он лежал под насыпью, желтый и изогнувшийся как чудовищный червяк, и молчал, глядя широко открытыми глазами в вечернее небо. Грязная собака подошла к нему и, понюхав, потащила в сторону.

— Старик умер, — сказал Кэльберг хмурому солдату с орденом.

— Да, сэр!

Джонсон попрежнему суетился. несколько англичан в синих рабочих комбинезонах и тропических шлемах распоряжались работами. Лица их были непроницаемы и преисполнены деловитости. Слышались удары молота, китайцы забивали костыли в настланные шпалы.

— Они работают скверно, — сказал Кэльберг солдату с орденом, — мы никогда не уедем отсюда. Они малосильны и беспомощны. Для чего вы мучаете их? Вы не имеете права делать это.

Солдат повернулся к Кэльбергу.

— Китайцы достаточно выносливы, сэр, а смерть старика только удача для его семьи. Он никому не нужен, сэр, а ест, наверное, много. Но мы мобилизовали стариков, женщин и детей не потому, что считаем их хорошей рабочей силой, а потому, что сама рабочая сила враждебна нам и выступает против нас. Это будет ей хорошим уроком. Мы знаем, что делаем, сэр.

Кэльберг подобрал губы.

— За что вы получили орден? — спросил он. — За какой подвиг?

— За дело, сэр! Ордена дают за дело!

И солдат опять отвернулся, козырнув для приличия.

Кэльберг наклонил голову, разглядывая солдата сбоку, любопытно и несмело, как дети разглядывают забежавшую в комнату чужую и страшную собаку. Он разглядывал подробно знаки отличия на рукаве, кокарду, складки одежды и гранату на поясе. Все интересовало его. Сложив толстые

90

губы трубочкой, он втянул в себя воздух, потом пошел, разгоняя китайцев животом, к Джонсону.

— Мистер, — сказал он, подойдя вплотную и круто дыша от быстрой ходьбы, — мистер, я приношу свои извинения по поводу происшедшего...

Джонсон поднял голову и посмотрел на странного немца снизу вверх, робко помаргивая.

— Не стоит, сэр!

— Я хотел спросить у вас, мистер Джонсон, заключается ли ваша специальность в мобилизации именно этих китайцев?

— Да, сэр!

Кэльберг помолчал, раздумывая. Потом, не глядя на Джонсона, он приподнял пробковый шлем и повернул в сторону.

Ему хотелось есть, и его тошнило от жары. Немного кружилась голова. Трупы партизан прикрыли брезентом, от них шел сладкий запах. Босая нога высунулась из-под брезента. Китайка в разодранной одежде плакала у откоса внизу. Он пошел к полустанку пешком по вечерней дороге, но его опять, как давеча, догнал грузовик, и он сам попросил, чтобы его подвезли — так ему было плохо. У него дрожали ноги, он много выпил, и потом ему все что-то чудилось в траве, в шорохе песка, в беге ящериц, что-то второе, постороннее.

В купе он повалился на диван, как был — потный, грязный, пыльный. Гул стоял в его ушах.

«Это просто карантин», сказал ему шофер. Он промурлыкал: «Это просто карантин», и все сразу стало походить на венскую оперетку. «Это просто карантин...»

Постучал Пирри. Кэльберг посмотрел на него сияющими от солнца стеклами очков, глаза под очками были закрыты.

— Что с вами, герр Кэльберг?

— Ничего. Немного болит голова от проклятой жары. Оставьте меня одного. Я, кажется, заснул.

Но он не заснул. Раскрыв свою тетрадь, он долго читал старый реферат, не понимая его. Из слов упорно не составлялись фразы. Каждое слово жило своей, обособленной и замкнутой в себе жизнью, и жизнь этого отдельного слова не считалась с жизнью соседа. Бессмысленные, никчемные слова громоздились одно на другое, давили друг друга, путались, образовывая хаос.

Наброски чертежей казались наивными, глупенькими и

испуганными, как трескотня двух престарелых леди в коридоре.

Исходянно он нашел вчерашнюю заметку:

«Дела Китая есть дела Китая. Какого чорта иностранцы лезут туда, куда им не следует лезть? Китайская революция носит чисто национальный характер, и Британии незачем совать в нее свой нос сплетницы и сводни...»

«Почему сводня?»

«Почему сплетница?»

«При чем тут, наконец, чисто национальный характер китайской революции...»

«Чепуха!!!»

«Дела Китая есть дела Китая...»

Он прочел это два раза — очень медленно, вдумываясь и волнуясь. Потом зачеркнул написанное красным карандашом. Каждое слово он затер так, чтобы ничего нельзя было разобрать. Бумага прилипала к влажным пальцам. Подумав, он вырвал зачеркнутое, скомкал листок и поджег его. Купе наполнилось приторным запахом сгоревшей бумаги.

— Безобразис, — сказал он, дуя на обожженный палец, — безобразие!

В чем заключается безобразие — он не знал. Может быть, безобразна была духота или то, что болел палец, — может быть, состояние свое, бередливое и непонятное, он называл безобразием

Чума. Автомотрисса. Брезент, которым прикрыты трупы убитых. И то, что он ничего не мог сделать, и то, что он ничего не понимает, и то, что его тошнит сейчас, и то, что из зачумленной деревни никого не выпустят, а ее подожгли вместе с врачами и санитарами — что это все вместе такое?

Он открыл окно. Уже наступила жирная азиатская ночь. Патефон в бронепоезде играл «Звездный стяг».

В него стреляли сегодня...

Протянув руку за шлемом, он вздохнул по-детски — громко и горько. Понятный и в сущности такой простой мир на его глазах изменял свое лицо. Индия, Китай, колония, Гонгконг, — все это оказалось иным, чем он себе представлял. Он видел, как в Гонгконге били китайца по щекам. Китаец молчал, веки его были сомкнуты. Китайца бил моряк. На пароходе француз методично и холодно уничтожал бокалы о лоб мальчика-боя. Другого боя убил охранник-маузерист.

Что это такое?

Он понимал войну: люди защищают свое отечество, свой дом, свою родину, своего бога. Честь и хвала этим людям. Их жены, их матери и их дети должны гордиться.

Война — это война. Тут ничего не поделаешь. Конечно, война — несчастье, но все же...

Он снял чемодан с полки и открыл его. Из чемодана он вынул дедовский подстаканник темного серебра. На подстаканнике выпуклыми буквами было написано:

«Да здравствует родина».

Теперь он поморщился. При чем тут родина? Внезапно и горько он почувствовал, что слова эти теперь не трогают его. Большой жирной рукой он погладил металл.

— Они не имеют права так поступать, — пробормотал он. — На все есть управа и законная власть. Каждому воздается по заслугам. Я должен...

Что должен?

Что именно должен?

Он швырнул подстаканник на диван. Он ничего не должен. Он химик, в конце концов, это его не касается. Он достаточно устал. Он вспомнил слова Пирри в Гонгконге, когда моряк бил китайца:

— Оставьте, герр Кальберг, европейцы неподсудны китайскому суду. Вы ничем не поможете. Китаец все равно избит. Пойдем!

И они пошли, два европейца, два инженера, двое.

На суд европейцев? Конечно, европейцы неподсудны китайскому суду, потому что китайцы дикари и некоторые преступления карают телесными наказаниями. Конечно... Могут ли европейцы...

Патефон играл «Когда на море туман белее ваты». Хлопали двери. Потом завыл паровоз, паровоз бронепоезда отсалютовал экспрессу. Вагоны покачивались и скрипели, все вдруг наполнилось тяжелым и смутным гулом — знаменитые триста семнадцать пролетов, мост через Хуань-Хэ.

ШАНХАЙ

Вернувшись из конторы, сэр Гоодн принял ванну, сам измерив температуру воды градусником. Эта операция не доверялась никому. Затем Гоодн проделал свои процедуры на коврик в пустой комнате. Слуга с простыней в руках смотрел на господина, ожидая знака, по которому он дол-

жеп растерять докрасна едва начинающее жиреть тело сэра Гоодна.

В четыре часа пополудни приехал сэр Тэйби. Обед был сервирован на две персоны, и за обедом друзья молчали, как и подобает во время еды.

За десертом слуга подал телеграмму.

— Мой мотокар ждет, — сказал Тэйби, откусывая сигару.

Поразмыслив, они решили ехать каждый в своей машине. Чорт их знает, этих знаменитостей! Через полчаса друзья входили в здание Северного вокзала. Гоодн сверил свои часы с вокзальными.

— Без пяти пять...

— Очень хорошо.

Экспресс опоздал на двое суток с лишним. На стеклах вагонов блистали солнечные лучи. Пахло пылью и перегаром. Грохотали тележки. Сухонарые мисс и мистрисс, ловкие, оливково-загоревшие японцы, миссионеры всех мастей, медлительные и преисполненные собственного достоинства китайские чиновники, купцы, ободранный генерал с отрядом бодигаров, несколько суетливых студентов в темных робах и традиционных очках, — все это сразу наполнило перрон гамом, жизнью и той особенной смесью крепкого одеколона и кожи, которой всегда пахнут кавалеристы, люди долго не выходившие из купе, и жокеи.

— Мистер Кэльберг? — спросил Гоодн, приподымая шлем.

— Зо! — последовал хриплый ответ.

Пирри сел с Тэйби, Кэльберг — с Гоодном. Мотокар всхрапнул во все свои лошадиные силы и рванулся с места. Норд-Сычун-Род подымалась кверху. Мотокар жадно глотал километры. Кэльберг ловил воздух открытым ртом. Прямо в его очки било солнце.

— Сумасшествие, — бормотал он, отплеываясь от пыли, — сумасшествие! В этом дьявольском экспрессе вода нагревалась почти до точки кипения... Двое суток мы торчали на полустанке.

Гоодн промолчал.

— Я очень жалею, что подписал с вами контракт, — продолжал Кэльберг: — мне надоело шляться. Почти два года я прожил в Америке — культурнейшая страна. У вас убивают людей на улице как собак — отвратительные по наглости убийства я видел вот этими глазами. Вы, культурные люди, цвет страны, почему вы молчите?

У отеля «Маджестик» мотокар остановился. Швейцар взял чемоданы. Кальберг протянул руку Гоодну и Тай-би и хрюкнул:

— До завтра!

В комнате он остановился, широко расставив ноги. В этом кабинете ему предстояло проработать четыре месяца. Чертежный стол был уже приготовлен. Ящик с сигарами стоял рядом с шахматами.

— Ошиблись! — буркнул Кальберг и набил свою трубку. Лакей в соседней комнате открывал сундуки и чемоданы и развешивал одежду в шкафу. Шаги его были едва слышны, он передвигался тихо в своих мягких туфлях, но Кальберг крикнул, не осилив внезапного раздражения:

— Тише!

Потом пришел Пирри и, улыбаясь, сказал:

— Ну вот мы и в Шанхае.

— Они ухаживают за мной как за женщиной, — ответил Кальберг: — приготовлены даже сигары. А я не курю сигар, и я не женщина. Идите спать, Пирри. И не забудьте написать письмо вашей невесте.

Утром приехал Гоодн, чисто выбритый, в белом костюме. Пирри и Кальберг завтракали. Немец ел очень много, салфетка была подвязана, как подвязывают детям — за шею. Гоодн спросил о здоровье, Пирри, намазывая тартинку мармеладом, ответил, что в этом отношении все обстоит благополучно. Разговор сдабривался усиленными порциями несмешных острот Гоодна. Гоодн острил тупо, смеясь первым. Он был тяжелым человеком, с крепкими челюстями и кулаками боксера. Затылок его переходил в плечи, и это довершало сходство с обезьяной.

Через несколько минут с завтраком было покончено, и все трое вышли на подъезд. Шестидесятисильный «Бьюик» понес их по улицам Шанхая, мягко подбрасывая на рессорах. Кальберг сосал трубку. Ему не было особенно плохо сейчас. Он любил жить, слышать, обонять, видеть. Он хорошо спал в эту ночь. Он послал все к черту, он — химик и больше ничего.

Пирри разговаривал с Гоодном. Ему приходилось почти кричать — такой шум стоял на улицах города.

Мотокар, сипло гудя, пробивал себе дорогу среди босов, трамваев, велосипедов, мотоциклеток, рикш.

Утром в постели он читал газеты. Карантин, чума, —

может быть, иначе нельзя с этими дикарями. Все же китайцы — дикари!

Город!

Он не хотел больше думать, а не думать не мог. Он любил жизнь со всеми ее удовольствиями и не хотел знать того, чего не знал сорок восемь лет. Он любил вина, табак, ужин, камин зимой, лакея, бережно приготавливающего постель, любил кофе утром в кровати. В газетах он читал технику и восхищался остроумной рекламой. Бессознательно и упрямо он отгораживался от всего нечистого и страшного, от всего того, что могло выбить его из привычной и размеренной жизни. В клубе он никогда не вмешивался в политические споры и не принадлежал ни к одной партии.

— Я слишком занят для того, чтобы заниматься политикой, — отвечал он на особенно настойчивые вопросы.

То, что выходило за пределы работы и удовольствий, не интересовало его.

А теперь оно вдруг все пришло вместе, и он понимал, что уже ничего не сделать, никак не защититься, ничем не помочь. Он кричал сам себе: «Я инженер, я — химик, я плюю на все это, я не желаю думать», — и ничего не выходило.

Он только откладывал, — появился город, тут можно было еще отложить, и он отложил. Если бы он мог соврать сам себе и поверить в эту ложь...

Мотокар развивал скорость уже в Эсфильде. Щебень летел из-под шин. Ветер выдувал золу из трубки Кэльберга.

— Стоп! — сказал Гоодн. — Наш офис! Сейчас я позволю себе познакомить вас с главою фирмы.

Шофер-японец открыл дверцу, и Кэльберг первым встал на тротуар. Гоодн выпрыгнул вслед за ним.

В полутемной комнате сидел сутулый китаец. Голова его тряслась от старости.

— Ван-Шин-вей, — бормотнул Гоодн. — Сэр Кэльберг — профессор... сэр Пирри — помощник сэра Кэльберга.

Китаец непонятно улыбнулся.

— Рад, — сказал он и коротко поклонился, — рад, что вы присхали. Дела у нас идут не блестяще...

Китаец говорил на чистом английском языке. Маленькими глотками он отхлебывал чай и рассказывал о положении фабрики. Сухая его рука шевелилась на столе не в лад словам, и от этого создавалось такое впечатление, точно рука принадлежала не ему, а кому-то другому.

Через полчаса он поклонился и сказал:

— Сэр Гоодн покажет вам производство и даст справки

по всем интересующим вас вопросам. Лаборатория же к вашим услугам. Я слишком устал.

И Ван-Шин-вей покашлял, показывая, как он устал.

Пирри снял крышку с пишущей машинки и подвертел сидение стула до подлежащей высоты. После ванны с эссенцией тело не сильно и приятно пощипывало.

«... только вчера мы приехали в Шанхай, — писал Пирри, — и сегодня начали работать. После Америки, дорогая Элли, после Европы, Китай производит удручающее впечатление, несмотря на то, что Китай гораздо красочнее упомянутых выше стран».

Поставив точку, Пирри подумал. Последние три слова звучали очень по-канцелярски, но других слов он найти не смог и, решив, что важнее четкость фразы, чем ее звучание, поправил манжеты и принялся писать дальше.

«Дорогая милая Элли, была по меньшей мере ужасна. Двое суток нам пришлось находиться под обстрелом на полустанке. У китайцев революция. Это очень неприятная вещь — бунт у дикарей. Они ни с кем не считаются, и если бы мы не потушили огни в поезде, то ваш скучный Рэджи больше не целовал бы ваши прекрасные пальчики...»

«Мой мэтр всю дорогу находился в очень подавленном состоянии духа. На его сентиментальную натуру повлияли, очевидно, некорректные выходки европейцев по отношению к китайцам. Но все это сейчас уже прошлое (мэтр, как вам известно, живет только сегодняшним днем). Он ведь порядочный сноб и большой любитель всего красивого в жизни. Последнее ему предоставлено в достаточном количестве. Кроме всего прочего, душа мэтра — душа специалиста и, как ни странно, душа рационализатора. Возможности же для работы тут колоссальные. Сейчас подготавливается интересное дело — постройка комбината. Мэтр с головой ушел в работу.

«В то время, когда я пишу вам, милая Элли, это письмо, патрон производит подсчеты в своем кабинете, и его совсем не видно в облаках табачного дыма...»

«Дорогая Элли...»

Через час Пирри потянулся всем своим мускулистым и стройным телом и позвонил слуге. Но вместо слуги в комнату без стука вошел Кэльберг.

— Милый Пирри, — сказал он весело, — уже ночь, и мы устали. Давайте отдыхать.

Оставив позади себя Нанкин-род, мотокар сворачивает на Фу-Чай и останавливается у чайного домика. Два полупьяных моряка тонкими голосами тянут: «Далек путь до Типперери». Над Шанхаем плывет ночь, тяжелая и черная, как металл, и ночь рвут на клочья рожки мотокаров, дребезжание трамваев, рев босов и взвизги чесальщиков спин, предлагающих за один копpeer свои услуги. Кальберг и Пирри ужинают шедеврами кантонской кухни, играющей тут такую же роль, что в Европе — венская.

— Милый Пирри, — говорит Кальберг, шумно вздыхая после еды и вина, — милый Пирри, жизнь все-таки очень хорошая вещь!

— Да, герр Кальберг...

Но, несмотря на то, что жизнь очень хорошая вещь, веселье не удастся. Джаз мешает слушать симфонию ночного Шанхая, а симфония ночного Шанхая мешает слушать джаз. Всклобоченный иудей подпрыгивает со своей скрипкой, манишка его вылезла из жилетки, и лицо у иудея страдальческое. Пьяные посетители играют в карты. Моряки попрежнему тянут «Далек путь до Типперери».

— Едем! — говорит Кальберг.

ОБНАЖЕННАЯ МЕХАНИКА

На заседании председательствует Ван-Шин-вей. Его рука — узкая и не совсем чистая — бродит по столу маленьким, голым коричневым зверьком. Сэр Тэйби слушает, пожевывая сигару. Гудн смотрит в окно. Кальберг раскладывает чертежи.

— В одном из штатов Америки, — говорит он, — на сто тысяч человек умирает от туберкулеза сто шестьдесят человек, а полировщиков и точильщиков — тысяча девятьсот человек. Конечно, туберкулез не является у вас столь грозной силой, но тем не менее работницы сортировки подвержены этому заболеванию.

Ван-Шин-вей покашливает, и голова его трясется мелкой дрожью.

— Если учесть, — продолжает Кальберг, — что на один кубический метр воздуха в среднем на бумажной фабрике приходится два грамма и четыре миллиграмма пыли, то по сортировке эта цифра, в общем незначительная, подымается до угрожающих двадцати двух граммов и одного миллиграмма. Я обращаю внимание директората на тот факт, что тряпка у вас не дезинфицируется предварительно в каме-

рах, а сортируется работницами, у которых руки зачастую изъязвлены. Следовательно, и тут вопрос упирается в установление местной вытяжной вентиляции, спроектировать которую мне, к сожалению, не удалось за недостатком времени...

Сэр Гоодн пеннул что-то Ван-Шин-вей и вновь воззрился на Кальберга. Ван-Шин-вей сказал:

— Может быть, сэр Кальберг доложит нам, хотя бы в ориентировочных цифрах, общую сумму, необходимую для установления вытяжек?

— Примерная сумма по всем пяти фабрикам выразится в шестидесяти тысячах долларов.

Ван-Шин-вей умоляюще сложил руки.

— О, сэр Кальберг...

Кальберг продолжал, точно не заметив жеста главы фирмы.

— Это еще далеко не все. Как известно, температура свыше двадцати градусов на европейских и американских предприятиях считается температурой, понижающей производительность труда. Я позволю себе отвлечь внимание директората на несколько минут. В организме человека, во всяком его состоянии, вырабатывается тепло. Во время же работы усиливается деятельность всего организма, а это вызывает усиленное образование тепла, тем большее, чем тяжелее работа и чем слабее рабочий. Например, за двадцать четыре часа тело сэра Гоодна или тело сэра Ван-Шин-вея выделит около двух тысяч двухсот калорий, а тело девочки-браконоски выделит за это же время около восьми тысяч калорий.

Сэр Тэйби поднял голову и спросил несколько иронически:

— Это в округленных цифрах или в точных?

— Это почти в точных цифрах, так как сэр Гоодн и сэр Ван-Шин-вей преимущественно не работают, то есть работают, но не физическим и даже не конторским трудом, а умственным, браконоски же за двенадцатичасовой рабочий день переносят, в среднем, на расстояние в один километр триста-четырееста килограммов рвани и выдержки. Дальше. Для того, чтобы могло происходить испарение воды из тела рабочего, окружающий его воздух должен быть не очень влажным, то есть влажность должна быть не выше сорока-пятидесяти пропентов. На ваших же фабриках, сэры, влажность сто пропентов, а температура, — я говорил о максимуме в двадцать градусов, — температура в отделениях

самотерпок превышает сорок градусов. Совершенно естественно, что при таких условиях бессмысленно говорить о какой бы то ни было производительности труда. Отдача тепла, образующегося в теле рабочего, происходить не может, организм перегревается. Перегрев тела вызывает прилив крови к поверхности кожи и повышение температуры тела. Я уверен, что директором засвидетельствован не один смертный случай на фабриках. Но это еще не все. Скверная вентиляция зала бумагоделательных машин отражается не только на производительности труда рабочих, а и, пожалуй, в первую очередь на производительности самих машин. Замена влажного воздуха сухим не осуществляется, бумажные полотна и горячие сукна не отдают влагу, а скверный процесс сушки заставляет уменьшать ход машин, а следовательно выработку продукции. Таким образом дело заключается не только в рабочей зоне обслуживания машин, не только в метеорологических условиях процесса производства в целом. Вот как стоит вопрос. Прошу прощения за несколько, может быть, резкий тон, но я в течение полутора месяца изучаю производство и не раз обсуждал этот вопрос с представителями директората, не раз ставил его на совещаниях инженеров, но на все был один ответ: глава фирмы возражает против отпуска средств. Как специалист, я настаиваю на немедленном и окончательном решении вопроса в ту или иную сторону. Директорату известно, что я химик. Считаю не лишним добавить, что моя лабораторная работа сводится к нулю, потому что дело не в том, на каком сырье работает фирма, а в том, как она работает. Дело не в бумажной массе, а в вентиляции. Так стоит вопрос. Прошу директорат немедленно решить вопрос о вентиляции, учитывая, что в случае отказа я принужден буду порвать контракт, так как мое пребывание тут станет беспредельным. Прошу еще раз прощения.

Кальберг негодующе хрюкнул и сел.

Вошел неслышный лакей с подносом, на котором стояли чашки с чаем. Директорат молчал.

Деять голов наклонились над чашками.

— Я позволю себе ответить сэру Кальбергу, — тихо сказал Ван-Шин-вей, и его рука-зверек побежала по столу. — Мы прекрасно понимаем ваше справедливое возмущение, сэр Кальберг, но, к сожалению, лишены возможности приступить к немедленной установке вентиляции, так как средства фирмы затрачены на сооружение комбината.

Ван-Шин-вей покашлял.

— Я очень устал, но охотно продолжу свою речь. Китайские рабочие не так изнежены, как европейские, и то, что так волнует сэра Кэльберга, безусловно очень гуманного человека. . .

— Это сюда не относится, — буркнул Кэльберг.

— . . . очень гуманного человека, — гораздо меньше волнуется самого рабочего. Китайский рабочий привык ко всему и счастлив работать у нас. Температура и насыщенность воздуха паром его, мне думается, смущает очень мало. Все сказанное мною, конечно, не исключает установки вентиляции вообще; установка пока только откладывается. Что же касается заявления сэра Кэльберга относительно того, что он, сэр Кэльберг, химик и при отсутствии вентиляции сэру Кэльбергу нечего будет делать у нас, то позвольте с этим не согласиться. Мы просим сэра Кэльберга не рвать с нами контракта, так как убеждены в том, что только сэр Кэльберг может помочь нам выйти из того тяжелого состояния, в котором находится наша фирма. А как только мы сможем хоть немножко вздохнуть, мы примемся за вентиляцию.

Ван-Шин-вей опять покашлял и попросил опустить шторы слева.

— Глаза, — сказал он, — эти глаза, они совсем измучили меня. Конъюнктивит — я принужден сидеть в темноте, в то время когда люди наслаждаются светом солнца.

Штору опустили.

Заседание директората кончилось через четверть часа — ничем, каким-то надсмотрщиком и древесиной.

В автомобиле Пирри говорил:

— Вы слишком резко поставили вопрос, герр Кэльберг. Вопрос этот, к тому же, не имеет почти никакого отношения к нашей прямой работе. Наше дело — лаборатория, специфика бумажного производства, а никак не производство в целом. Мы рационализируем продукцию, а не аппарат.

— Но нельзя ведь рассматривать изолированно производство в целом и его технические возможности?

— Находили же вы, герр Кэльберг, это возможным в Германии и в Америке? А если идти по этой дорожке, то вам придется вмешаться и в вопрос о двенадцатичасовом рабочем дне, ибо известно, что последние часы работы не дают никаких положительных результатов. Повышастся количество простоев, катастроф, аварий. Интенсивность труда катастрофически падает, а машины заняты. Это, логически

рассуждал, тоже вопрос чисто рационализаторского характера?

— Да, но это иной вопрос.

— Почему иной? В вашей трактовке один и тот же. Тут необходимо строго разграничивать наши функции и функции коммерческого характера.

— Так, по-вашему, Пирри, что должны делать мы?

— Техника, герр Кэльберг, только техника! Все остальное сопряжено с большими неприятностями. Мы рационализируем только технику. Остальное дело не наше..

Мотокар остановился у отеля.

Беспокойство овладевало им. Можно было подумать, что он не доверяет себе, своему зрению, своему слуху. Он все подвергал проверке. За полтора месяца листы его зеленой тетради покрылись уймой записок, не имеющих прямого отношения к работе. Он злился теперь больше, чем раньше. Однажды Пирри зашел к патрону вечером и попросил тетрадь для приведения в порядок нового материала. Кэльберг посмотрел на помощника по-стариковски из-под очков и коротко засмеялся:

— Вас удивит тут кое-что, мальчик, — сказал он, — но не придавайте этому значения. Не стоит попусту ломать себе голову. Я сейчас читаю Гейне — очень умный поэт, и я, как его профессор — помните? — штопаю дырки всего мироздания... — Он взял книгу со стола и прочел ровным, толстым, глухим голосом:

Уж слишком отрывочны жизнь и вселенная,
К профессору-немцу пойду непременно я;
Верно, уж их не оставит он так:
Системы придумает, даст им названия.
Свой шлафрок изрезав и спальный колпак
Заштопает дырки всего мироздания...

— А я не могу ни придумать систем, ни названий им дать. Почитайте, потом поговорим. Если бы во всей этой каше можно было разобраться... Возьмите тетрадь.

На триста двадцать третьей странице карандашом было написано:

«Надсмотрщики-японцы бьют девочек-китайнок бамбуковыми палками. Девочки отмахиваются от ударов, как от докучливой мухи. Но одна из них упала на моих глазах. Японец привел ее в чувство».

Прочти, Пирри поморщился. Патрон, очевидно, опять по-

пал в полосу усиленных переживаний. Через семь страниц следовало:

«Девочки-браконоски надрываются от тяжести и липают себя возможности когда-либо быть матерями. Я говорил об этом сэру Гоодну; он ответил, что чем меньше китайнки будут рожать, тем лучше будет для Китая, так как прирост населения слишком велик. По словам сэра Гоодна, выходит, что фирма облагодетельствовала китайский народ тем, что лишила этих девочек счастья материнства».

— Крокодиловы слезы, — хмыкнул Пирри. Он закурил и, разгоняя ладонью дым, стал читать дальше:

«Ван-Шин-вей получил образование в Европе и закончил его в Америке. Он не принадлежит к кругу необразованных золотых мешков. Отец его был богатым джентри¹ где-то в Сычуане. Следовательно, Ван-Шин-вей представляет собою китайского интеллигента. Почему же он допускает на своих фабриках такое чудовищное, зверское отношение к своим соотечественникам? Очень мало вероятно, чтобы он обитал в неведении».

«Фирма покупает работников у их семей на продолжительное время за ту или иную плату. Плата эта сравнительно невысока. Сэр Гоодн, сэр Тэйби, Ван-Шин-вей и весь директорат говорят об этом не стесняясь. Гоодн и Тэйби англичане, а Ван-Шин-вей китаец. Что же это такое? Когда я возмущился, то Гоодн очень спокойно сказал, что в моей Германии бывает в несколько раз хуже. Грязная тварь! Сказал ему, что ни одна нация так не издевается над несчастными китайцами, как англичане. В ответ он спросил, помню ли я графа Вальдерзее! Какое мне дело до всяких Вальдерзее? Эта отвратительная тварь Гоодн, спровадив жену и дочерей в «Фери-Глен», охает и ноет, что ему скучно, а вчера, позабыв об оханьях, позвал посмотреть его конкубинок. Этих конкубинок у него дюжина. Так сами англичане подрывают основы брака. Бедная фрау Гоодн».

Пирри подошел к окну.

Грохот и шум ночного Шанхая почти не долетал сюда, на девятый этаж небоскреба.

— Старик, кажется, окончательно расклеился...

Его натуре дельца и инженера были чужды сантименты. Он ходил по комнате в раздражении и непонимании. Все как будто бы совсем наладилось с приездом в Шанхай, и вот, пожалуйста, — снова фокусы! Раньше это было замет-

¹ Деревенский интеллигент, иногда ростовщик, спекулянт.

но по писишему виду патрона, а теперь он молчит. Дался ему этот Китай!

Как будто в Европе и в Америке не то же самое, только в более изящной форме.

После записи ряда анализов снова неровно и размахисто написано:

«Настоящее состояние по фабрикам способствует только падению производительности труда. Обмороки — постоянное, никого не удивляющее явление. Сэр Гоодн отмалчивается. Недавно прибыл на фабрику № 3 полицейский инспектор в сопровождении врача. Посидев в оффисе у сэра Гоодна и потолковав о состоянии цел на бумагу, представители закона сели в мотокар и уехали. Сэр Гоодн — невозмутим. Это люди с каменными сердцами, способные на все».

«Сегодня сказал сэру Гоодн, что если вентиляция не будет наконец установлена, то фирма останется совсем без рабочих. Вместо ответа этот оранг-утан вывел меня за ворота. Сотни людей, завидев нас, бросились к Гоодну. Это полунищие, отчаявшиеся и голодные люди. Ребятишки, худые, в паршах и нарывах, хватили нас за ноги с криками и мольбами. Их личики сводили судороги голода. Люди буквально живут у ворот фабрики в надежде получить какую угодно работу. Они молились на Гоодна, — чтоб не сказать больше. А он с ужимками объяснял мне, что этих рабочих вербуют китайские губернаторы-дубани непомерными налогами и что он, Гоодн, является спасителем этих несчастных».

«Напрасно побил на полустанке бедного Джонсона. Он — капля в море. Очень устал от проклятого Китая».

«Оказывается, граф Вальдерзее подавлял какое-то боксерское восстание, будучи командующим соединенными антикитайскими силами. В довершение всего этот мерзавец — германский адмирал. Моя страна родила не только Гейне, Шиллера и Гёте, а и Вальдерзее».

«Я плюю на их работу, на их дело. Мне все равно. Нищих тут невероятное множество — стоит только отойти на пару километров от Бонда, не говоря уже о Чапсе и Нантао».¹

«Пароходная линия Кунар и Уайт-Стар принадлежит некому Роберту Доллар. Знаменательная фамилия».

¹ Чапс — северо-западный, Нантао — южные китайские районы Шанхая.

«Оказывается, англичане подрабатывали тем, что ввозили в Китай опиум, а когда китайцы конфисковали и уничтожили двадцать тысяч ящиков этого зелья, то англичане затеяли войну. Война, конечно, кончилась победой англичан. Был заключен Нанкинский договор, по которому Англия получила право безнаказанного ввоза опиума. Кроме этого, Англия получила в свое владение Гонгконг, а для торговли Китай открыл пять портов: Амой, Кантон, Нимбо, Фучжоу и Шанхай. Потом появился еще какой-то договор, в одном из пунктов которого китайцам воспрещалось называть иностранцев варварами. Несмотря на этот пункт, я называю англичан варварами. Разве не варвар — охранник, убивший боя?»

«Целую ночь мучила чума. Для того, чтобы европейцы могли свободно и спокойно совершать свой поездку и прогулки в машинах, — жечь больных? Как назвать такое преступление и есть ли ему вообще имя?»

«В потемках, ничего не понимаю. Кто покарает? Это зависит от людей. Зло и добро — это внутри, это заключено с рождения, — может быть, тут и национальное. Но можно ли так жить?»

«Соотечественник сэра Гоодна, адмирал Сен-Клер, в продолжение трех часов бомбардировал с канонерок какой-то Вансян. Разрушена была тысяча домов. «Чайна Уикли Ревью» возмущенно и негодуя пишет об этом».

«Теперь понимаю, почему китайцы подрались со мной на этом проклятом полустанке. Они увидели во мне или Гоодна, или Вальдерзее, или еще какое-нибудь чудовище. Европейцы — враги, а разбираться некогда. Очевидно, это было так, а не иначе».

«Хочу уехать отсюда. Каждый новый день отвратительнее предыдущего. Шанхай весь с начала до конца подобен проститутке, которая белилами и румянами замазывает свое нечистое лицо. Это ужас! Нигде нет ничего подобного. Англичане не краснеют. Сэр Гоодн веселится со своими конкубинками. Ван-Шин-вей молится своим богам».

Пирри закрыл тетрадь и лег. Истома охватила его, и вместе с истомой пришла скука. Чем дальше, тем меньше становилось в тетради деловых записей. Патрон явно оскудевал умом. Ему нужно было серьезно отдохнуть. Он, кажется, любил Биарриц.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ - РАДИАТОР НАГРЕВАЕТСЯ ОТ ВЕТРА

Кэльберг встретил его молча, почти откровенно волнуясь. Он опустил абажур и вопросительно поглядел на Пирри. Глаза помощника остались в тени, но подбородок, костистый и твердый, хорошо освещался лампой. Они молчали, почему-то, — может быть, чувствуя наступающую раз-молвку, может быть, просто потому, что Пирри не мог найти настоящих слов. Начал Кэльберг. Он выбил золу из трубки и снял очки, ему хотелось шутить, ему стало страшно потерять Пирри в это странное и пустое время.

— Почему у вас торжественный вид? С таким лицом или говорят тосты на официальных банкетах, или произносят речи над гробом того покойника, на которого наплевательство? .. Что?

— Герр Кэльберг!

— Я слушаю вас, мой мальчик!

— Герр Кэльберг... я прочел то, что вы мне дали... вашу рабочую тетрадь...

— И что же?

— И решил прямо и откровенно поделиться с вами своими впечатлениями.

— Благодарю вас, мой мальчик! А разве до сих пор вы говорили со мной не прямо и не откровенно? Право же, это новость... — Он похрюкивал и посмеивался. Беспокойство, торопливость, неуверенность — все вместе мешало ему быть хотя бы вежливым, он злился. С ним нельзя было спорить, он ничему сейчас не верил, кроме голых своих отрывочных наблюдений.

— Герр Кэльберг, мысли, заключенные в тетради, — лишние мысли...

— Крепко сказано, милый Рэджи! Почему же вы находите их лишними?

— Мы прежде всего люди дела, герр Кэльберг. Мы должны работать — созидать. Мысли же, которые занесены в тетрадь, мешают вам работать. Эти мысли совершенно вытесняют дело, и с каждой страницей, герр Кэльберг, в вашей тетради все меньше и меньше записей, характеризующих вас, как ученого. Ваша голова неспособна работать одновременно по двум направлениям; следовательно, вы выбираете одно.

— Избираю, Пирри. Дальше?

— Когда мы сходили в Шанхай, герр Кэльберг, вы, на-

сколько я заметил, находились в состоянии некоторой внутренней опустошенности. На вас повлияли в неблагоприятном смысле беспорядки и распушенность иностранцев. Но по приезде в Шанхай скверное расположение духа покинуло вас, и вы, насколько я могу судить, с жаром принялись за работу. Но это продолжалось недолго. Примерно через три недели после приезда в Шанхай вы опять простыли. Герр Кэльберг, я не заговорил бы об этом, если бы не крайние обстоятельства... Дело в том, что с каждым часом все труднее становится... Одним словом... вы не хотите работать... Вам опротивела лаборатория... Придя туда, вы сразу же ложитесь на кушетку. В конце концов, герр Кэльберг, я только ваш помощник, и если наука меня как-то ценит, то только потому, что я являюсь отражением (конечно, очень небольшим отражением) вашего сияния. Мое имя известно специалистам только потому, что ваши статьи, отшлифованные мною, вы подписываете двумя именами — своим и моим. Но вы — величина, а я даже не ученик ваш, а выученик...

— Вы слишком скромны, Пирри.

— Нет, герр Кэльберг, я не слишком скромн. Все это — правда, а правду отрицать не стоит. Это звучит даже сенсацией. Так вот, герр Кэльберг, вы находитесь в состоянии полнейшей прострации, вы не хотите и, очевидно, не можете работать.

— Я вас побью, Пирри!

— Нет, герр Кэльберг, это слишком серьезный вопрос. Так как вы не работаете, то не работаю и я, а контракт, заключенный нами с фирмой, говорит, что мы обязуемся выполнить ряд лабораторных исследований как по строящемуся комбинату, так и по фабрикам. Естественно, наше бездействие грозит серьезно подорвать наш авторитет в промышленных кругах. Те баснословные деньги, которые выплачивает нам фирма...

— Довольно. Пирри!

— Но, герр Кэльберг...

— Я сказал: довольно. Вы слишком молоды, милый Рэджинальд, чтобы учить меня. Мне не нужны деньги. Понимаете? Я отказываюсь от денег! Я плюю на деньги, я плюю на все. Мне надоело.

Кэльберг встал. Он походил на разъяренного слона в эту минуту. Его жирная рука, поросшая серым пухом, яростно мала спичечную коробку.

— Вы слышите? Мне все надоело. Я не хочу больше ра-

богаты. Завтра я буду на фабрике последний раз. Понимаете: последний раз. Делайте, что хотите...

— Но, герр Кэльберг...

— Да, я много лет Кэльберг. Мне опротивело мое имя. Меня тошнит при виде Гоодна. Я готов ударить Ван-Шин-ном. Я вспылчив, Пирри...

— Герр Кэльберг, выслушайте меня... несколько слов!

— Ну?

— Вас волнуют условия труда в Китае. Ваш гуманизм не позволяет вам... Но в Европе то же самое... в Америке... Герр Кэльберг, ваша жизнь прошла в лабораториях. Вы не видели потому, что не хотели видеть. Вы сознательно закрывали глаза. Но тут, герр Кэльберг, не закроешь: тут все снаружи... Концерн... в вашем Берлине...

— Вы лжете, Пирри.

— Нет, герр Кэльберг! Я...

— Вы лжете, Пирри... Вы клеветеете на Германию. Уходите!

— Герр Кэльберг!

— Уходите, Пирри...

— Тогда нужно совсем бросать работу, герр Кэльберг. Вы увидите, иначе нельзя...

Пирри встал. Он был действительно взволнован. С патроном случилось нечто непонятное и тяжелое. Кэльберг все растирал в пальцах кусочки коробки.

— Спокойной ночи, Рэджи. Не сердитесь на меня...

— Спокойной ночи, герр Кэльберг.

Дверь захлопнулась. Кэльберг беспечно, неверными шагами ходил по комнате. Потом он велел лакею вызвать авто.

Серебристый полугоночный воксхолл, чем-то напоминающий борзую собаку, с потушенными фарами ждал у подъезда «Маджестика».

Кэльберг внимательно осмотрел машину и даже погладил радиатор. Металл был горяч, и автомобиль казался живым существом.

— Идите, — сказал Кэльберг шоферу, — я справлюсь сам.

Шофер поклонился.

Вспыхнули фары белым светом, рывкнул гудок. Вон из сеттльмента! Кувыркнулись во тьму точно отлитые из чугуна фигуры полисменов-сикхов, здание муниципалитета.

Прыгнул в сторону зазевавшийся прохожий. Дорогу! Не зевай!

Знойный ветер бьет в лицо.

Кажется, такая скорость не позволена?

Гудок!

Французские кварталы, Боблингуэл-Род...

Фу-Чай...

Бонд...

Ипподром.

Стоп — палочка полисмена.

Беспельное, дикое кружение по городу.

Вперед!

Стоп!

Вперед!

Стоп!

Влажные руки липнут к рулю, глаза прищурились под очками, туловище откинулось назад. Воксхолл задыхается. Шоссе белеет во тьме ручьем молока.

Вперед!

Далеко позади осталось Нантао. Воксхолл развивает скорость. Тут нет недозволенных скоростей, нет полисменов с палочками, нет зевак, теряющихся от гудка. Прекрасная дорога напоминает трек.

Вперед!

Так, чтобы лицо перестало гореть, чтобы не дрожали пальцы, чтобы сердце не разбухало и не раздувалось подобно резиновому мешку. Все спокойно в конце концов. Пирри поймет рано или поздно. Да, он немножко суховат, Рэджи, но это пройдет. Главное — не волноваться. Это основное.

Свист ветра переходит в вой.

Ничего!

Только так можно окончательно прийти в себя. Нужно заглянуть к Пирри. Ему, наверное, очень тяжело после такой глупой ссоры.

Однако всему есть предел. Уже час продолжается эта бешеная гонка. Шанхай по меньшей мере в ста километрах.

Стоп!

Да, Шанхая не видно. Ни одного огня. Тоскующая магнолия замерла у шоссе. Ей, верно, не особенно весело в этом одиночестве.

— А, магнолия? Кто посадил тебя тут? По чьей воле ты сторожишь дорогу?

После свиста и воя ветра от тишины становится жутко. Кэльберг набивает трубку и садится на крыло машины. Тьма смыкается возле потухшей спички.

Опять. пост ветер. Опять Нантао, такалообразные собаки, вонь, потом огни и благополучие Бонда. Сеттльмент, «Маджестик».

Стоп!

— Возьмите вашу машину, шофер... Очень хорошая машина... За два часа я сделал около двухсот километров...

— О, сэр!

— Я еще умею править, не правда ли?

Пирри не спит. Он пишет письмо в Германию.

— Можно к вам?

— Конечно, герр Кэльберг!

— Рэджи, я обидел вас?

Пирри незаметно закрывает письмо книгой. В этом письме он ругает Кэльберга «старым идиотом».

— Вы обидели меня? Что вы, герр Кэльберг? Я позвоню, чтобы принесли чаю...

— Милый Рэджи, — говорит Кэльберг, — милый мой мальчик...

ТРЕБУЙТЕ У ЗАКОНА

Ночью завизжал телефонный звонок. Кэльберг повернулся и положил на ухо подушку, но это не помогло. Резкий и настойчивый визг заставил встать.

— Алло?

— Сэр Кэльберг?

— Зо! Два часа...

— Извините, сэр Кэльберг!

— Предположим...

— На фабриках беспокойно...

— Кто говорит?

— Гоодн. На фабриках беспокойно...

— Сэр Гоодн, это меня не касается. Считаю, что вам надлежит обратиться в полицию...

— Сэр Кэльберг...

— Зо?

— Сэр, я бы не стал беспокоить вас, если бы дело обстояло так просто. Вы слушаете?

— Зо?

— В течение суток произошли три несчастных случая. Как вам известно, стоит редкая жара, даже для этого климата.

— Я предупреждал директорат и настаивал перед директоратом в отношении вентиляции, хоть это меня и не ка-

сается. Директорат отклонил предложение. Остальное меня не интересует.

— Могут остановиться все фабрики. Это разорит фирму...

— Помнится, сэр Гоодн, вы однажды вывели меня за ворота с целью продемонстрировать мне армию, которая, по вашему мнению, представляла собой людей, жаждущих работы... Бастующих вы в любую минуту можете заменить безработными.

— Но забастовщики не допустят.

— Это меня не касается. Я — инженер, а не полицейский.

— Сэр Кэльберг!

— Зо?

— Я не хочу думать, что вы говорите серьезно.

— Почему же, сэр Гоодн?

— Сэр Кэльберг, дело слишком большой важности. Я не имею намерения шутить.

— Я тоже!

— Рабочие знают, что вы работаете у нас и что вы мировая величина.

— Зо!

— Рабочие требуют установки вентиляции. Тре-бу-ют! Вернее — смеют требовать. Вы слушаете? Алло!

— Зо!

— Ваше слово, сэр Кэльберг, вызвало бы реакцию в желательную для нас сторону. Например, вы могли бы сказать им, что детали заказаны в Японии и придут хотя бы через месяц. Что, следовательно, волноваться не стоит.

— Зо!

— Это устраивает вас, сэр Кэльберг?

— Говорите скорее, я хочу спать. Кажется, по-китайски спать — «сыче». Так?

— Что?

— Я слушаю, сэр Гоодн!

— Вы также могли бы сказать, что грунт, на котором построены фабрики, слишком каменист, и потому необходимо провести основательные подготовительные работы... Это легко придумать. Нужно только сделать так, чтобы рабочие не подозревали, что дирекция не хочет поставить вентиляцию. Директорат хочет, но вентиляция не устанавливается по причинам, от дирекции не зависящим. Вы понимаете, сэр Кэльберг?

— Зо!

— Папими людьми распушен слух о вашей якобы неподкупной честности...

— А разве я якобы честный?..

— Простите, сэр Кэльберг, я оговорился...

— Зо!

— Вы поняли меня, сэр Кэльберг?

— Зо!

— Значит, мы можем надеяться?

— Зо!

— Простите... Спокойной ночи...

— Зо...

По дороге к кровати Кэльберг налил себе содовой. Огромный живот его колыбался... Ложась, он бормотнул:

-- Зо...

Утром опять телефонный звонок.

— Алло!

— Сэр Кэльберг? Это говорит Ван-Шин-вей. Вы слушаете? Сэр Ван-Шин...

— Зо!

— Вам, очевидно, передавал сэр Гоодн...

— Да. да... я сейчас еду...

«Наверное, эта тихоня сидит в полутьме и пьет чай. Что ему больше делать? Ему следовало бы чистить ногти и не ковырять спичками в ушах. Ночная сова!»

Кэльберг медленно спускается по лестнице. Не хочется ждать лифта. Скрипят ботинки. Дымит трубка...

Сеттльмент тих в этот воскресный день, и сеттльмент напоминает добропорядочную английскую квартиру: все чинно, все на местах, все прибрано. Авто ползет сзади, Кэльбергу не хочется ехать. Он тихо похрюкивает.

— Это будет великолепно, — бормочет он вдруг, — это будет идеально... Хо... Я все-таки не так уж глуп. А?

Шторы в офисе опущены. Мышами шуршат клерки. Кэльберг проходит мимо них, мимо комнаты, в которой трещат машинки.

— Добрый день, сэр Гоодн!

— Добрый день, сэр Кэльберг! Как вы заснули после моего звонка?

— Превосходно, сэр Гоодн!

Гоодн настороже. Что думает Кэльберг? Каково его отношение к событиям? Очень странный человек. Очень, очень странный. Очки прячут его лицо как в футляр. Разве можно узнать, что думает человек за этими колесами? Он был угрюм у конкубинок и грубо прогонял их от

... А они такие предстные обезьянки — эти девочки. Он молчит, как удавленный. Он мало работает, а каждый день его бесцельно обходится компании в такие деньги, что Ван-Шин-вей только стонет. Нет, теперь компанию не проведет никакая дутая знаменитость. Довольно! К чорту! Эти знаменитости вмешиваются не в свои дела и всюду суют нос. За ними надо ухаживать, их нужно встречать на покзалах, с представителями компании они разговаривают точно с приказчиками обувного магазина. Спе-ци-а-ли-сты-ы! Подумаешь! Подальше надо бы от таких специалистов.

— Сэр Пирри на производстве, сэр Кэльберг. Он ждет час там...

В проходе Гоодн и Кэльберг останавливаются. Обнаженный до пояса китаец пробегает мимо. Его острые лопатки движутся в лад шагам.

— Данте следовало бы поработать на ваших фабриках, — бормочет Кэльберг. — Он бы вкусил настоящего ада.

Гоодн сплевывает на кафель слюну цвета крепкого кофе. Этот оранг-утан, с кривыми ногами и скверным запахом изо рта, не знает, что такое юмор. Его шутки похожи на укусную эссенцию.

Тут работают преимущественно дети. Рвань складывается в кучи и уминается маленькими ногами в деревянных туфлях. Затем рвань стягивается нешироким куском бумажной материи, и хилый человек с десятком косичек на голове несет, пошатываясь, огромный ворох брака на вторичную переработку. Это оборотный, сухой, машинный брак. Он образуется на сушильных цилиндрах, глезерах и на накате.

Крошечные люди шествуют один за другим на расстоянии пяти шагов к лестнице. На втором этаже скрежещут бракомолки Вурстера. Брак смачивается, и такие же хилые ребятишки суют его в пасти бракомолок. На все отделения только один взрослый надзиратель-японец со сломанным носом и ословелыми от жары и духоты глазами. На обязанности японца-надзирателя лежит раздавание оплеух и слежка за вурстерами.

У Кэльберга от раскаленного воздуха тяжело и гулко начинает биться сердце.

— Аф! Ай-ваф! Аф! — подгоняет себя один человечек.

— Ай-ваф! — тоном выше бормочет другой.

Подходит Пирри.

Маленькие люди с огромными туками на узеньких спицах движутся бесконечной белой лентой.

— Аф! Ай-ваф!

— Вы помните наш вчерашний разговор, Рэджи?

— Да, герр Кэльберг...

— Аф!.. Ай-ваф!.. Аф!..

— Как вам нравится это зрелище? Вы не первый раз наблюдаете его.

— Аф!.. Ай-ваф!..

— Это зрелище меня не умиляет, герр Кэльберг...

Гоодн, выставив вперед тяжелую нижнюю челюсть, шныряет где-то за сеточной частью. Его шлем с высокой тульей то исчезает совсем, то появляется на мгновение. Он сам никогда не дерется, но за ним везде и всюду таскается молчаливый человек с бычьей шеей и вдохновенными глазами пророка на багровом лице. Человека зовут Херст. Он никогда не расстается с маузером. Когда его кулак сворачивает скулы и выбивает зубы, глаза светятся нежным и ровным светом. Херст получает от компании большие деньги. Он всегда знает все. Его очень ценят, но даже Гоодн не любит оставаться с ним один-на-один. Гоодн уверен, что для Херста нет невозможного. Двадцать лет Херст пробыл на каторге. В списке его подвигов значится убийство. Но ниже приписано: «Прочие четыре — не доказаны».

— Аф!.. Ай-аф!.. аф!..

— Почему же вас не умиляет это зрелище, милый Пирри? А?

Пирри не успевает ответить. Кто-то рядом хрипло вскрикивает.

— Что?

Китайцы бегут по розовым кафелям.

— Что случилось? — спрашивает Пирри.

— Упала... с лестницы...

Бумага хлопьями слетает вниз. Хлопья летят медленно, точно воздух состоит из плотных слоев, редящихся к полу.

Огромными прыжками, на кривых, цепких ногах проносятся мимо Гоодн, за ним Херст...

Маленькое существо лежит на мокрых досках, и уже успевший посинеть кулак сжимает тряпку. Косички мокрых в луже.

Кольцо вокруг трупа стягивается все плотнее и плотнее.

— У-вас есть револьвер? — спрашивает Пирри у Кэльберга.

— Стушайте к чорту! Я разобью вам голову кулаком.

— Главное, чтобы не было гудка, — наставляет Гоодн Херст, — иначе станет все... И без шума. Поставьте своих. Повторите...

Темный китаец с полузакрытыми глазами подымает труп на руки и с ним идет на Гоодна. Поздრი китаец колеблется.

— Положить! — кричит Гоодн. — Требую!

Китаец отвечает не поднимая глаз:

— Мы просили, — говорит он: — мы просили и мы требовали. Достаточно.

— Разойтись!

Но толпа растет. Толпа молчит так, как умеют молчать только китайцы: непонятно и выжидающе. Подходят все новые и новые люди.

— Разойтись!

Гоодн и китаец с трупом на руках в кольцо. Рука Гоодна в кармане, губы его белы. По кафелям со скрежетом ухают ботинки аннамитов. Кольцо не размыкается.

— Спокойствие! — тонко звенит офицер. — Спокойствие! Разойтись! Прощу!

Аннамиты шуряют. Их прекрасные винтовки поблескивают.

— Ещё раз спокойствие!

Но кольцо все-таки не размыкается. Старый китаец внезапно исчезает за машинами.

— Требую! — взвизгивает офицер, и Кэльберг замечает, что в руке у офицера появляется маузер.

Дальше ничего не слышно за воем гудка. Толпа растет. Аннамиты пятятся шаг за шагом.

— Смир-р-рн!

С Кэльберга кто-то сбил шляпу. Пирри исчез. Воем гудка.

— Прекратить! — кричит Гоодн. — Прекратить... Херст!... Слышите, вы...

Судорожным, коротким, мятущимся движением Гоодн выбрасывает из кармана руку с маузером. Четыре выстрела, а кажется, что кто-то озорной разбил четыре стакана.

— Смир-р-рн!

Кольцо образует брешь. Темный китаец лежит на полу. Поперек его груди труп девочки.

— Смир-р-рн!

Кэльберг ощущает в горле вязкий и терпкий ком. Радужное пятно секунду плавает перед его глазами. Гоодн стоит

на железных мостках. Толпа тает — сзади, очевидно, есть выход.

Булыжники во дворе раскалены солнцем. Толпа бросается к воротам, но ворота закрыты. И толпа мечется одним громадным испуганным зверем.

— Конфликт может быть улажен! — кричит Гоодн. — Немедленно на работу!

Между аннамитами и рабочими вызолоченная солнцем полоса булыжников. Два аннамита осторожно выносят из паросилового отдела труп Херста. На бычьей шее нет больше головы с глазами пророка. Голова снесена начисто тяжелым и тупым оружием.

— Собак-ки! — кричит Гоодн и вытягивает вперед длинную обезьянью руку. — Собак-ки, паршивые сволочи!.. Вы, вы!.. — ярость перехватывает ему дыхание. Он мечется посередине двора. — Вы, вы!..

Офицер морщит нос и, двумя пальцами придерживая фуражку, чтобы она не упала, чихает. Лицо офицера похоже на грязную, босую, потрескавшуюся от ходьбы пятку. Маленький китаец в синей куруме что-то тихо и быстро говорит рабочим, потом поворачивается резким движением к Гоодну.

— Сэр, я задержу вас на две минуты. Только на две минуты. — Голос маленького китайца срывается. — Мы просим у вас вентиляции. Мы просили уже два года. Напе здоровье подтачивается. Мы слабеем. . . Сэр, вы выбросите меня вон, если я ослабею, а мое сердце уже неисправно. На ваших фабриках за два дня умерли четыре человека, потому что вентиляция не установлена. Сэр... я... от имени... моих товарищей... требую... установки. В противном случае мы работать не станем. Вы... сэр... убиваете детей. — Маленький китаец покашлял. — Сэр. Пожалуйста, стреляйте. Мы можем поставить детей вперед... Вам, очевидно, интереснее. . .

— Молчать! Ао-Син, ты. . .

Аннамиты смотрели поверх голов китайцев. Офицер курил пиниросу, пуская дым колечками. Ему было скучно, и от скуки он крикнул вслед за Гоодном:

— Молчать!

Гоодн поправил шлем и сунул револьвер в карман.

— Тут, — сказал он, — присутствует немецкий инженер, приглашенный компанией. Вам известно, что сэр Кэльберг не работает у нас постоянно, а лишь консультирует наших

специалистов... Сейчас сэр Кэльберг объяснит вам, почему не установлена вентиляция, и вы увидите, что компания принимает все меры...

Кэльберг вышел вперед. Он зашмыгивал от солнца зеленой тетрадкой, как зонтиком, и хрюкал.

— Я скажу, — начал он негромко и вдруг повысил голос почти до визга. — Но скажу не то, что просил меня сказать сэр Гоодн... Я скажу...

— Сэр Кэльберг!

— Зо! Мне надосли ваши наставления, чорт вас возьми! Вы не посмеете мне запретить говорить то, что я считаю нужным. Слушайте!

Офицер бросил папиросу. Он перестал скучать. Положение становилось не совсем обычным.

— Сэр Кэльберг!

— Замолчите, Гоодн. Если бы я был ближе к вам, то я побил бы вас по лицу, как приятно бить мерзавцев. Но это бессмысленно. Я побью вас через печать. И вы ничем не сможете снять пощечину, потому что вы подлец в самом прямом смысле этого слова! Слышите! Вы подлец! Я публично оскорбляю вас! Стреляйте в меня, как вы стреляли в безоружного китайца...

— Сэр Кэльберг!

— Молчать! Но между мною и китайцем есть маленькая разница. Я оскорбляю вас, а китаец молчал. Он только поднял труп ребенка. Теперь слушайте, вы все... Они не поставят вам вентиляцию! Вы не дождетесь этого! Я могу письменно подтвердить!

— Сэр Кэльберг!

— Вентиляции не будет. Можете подыхать дюжинами ежедневно. Гоодну ваши смерти дешево стоят. Ему невыгодно строить вентиляцию. Невыгодно! — Кэльберг неистово захрюкал и потряс тетрадкой над головой. — Невыгодно! Лучше создавать новые комбинаты. Это выгоднее. Вы ничего не добьетесь тут. Идите в суд! Требуйте у закона. Слышите?

Гоодн поднял руку.

— Вон! Вон с фабрики! Подыхайте от голода! К чорту!..

Аннамиты открыли ворота. Двор опустел. Кэльберг стоял посередине огромный, серый и тяжелый как скала. Сердце его билось резкими и короткими толчками. Гоодн подошел к нему и остановился, почти касаясь его живота. Внезапно Кэльберг улыбнулся и от этого стал похожим на добродушного, немного подвыпившего кадуцина.

— Гоодн, — сказал он, — помните, почью вы оговорились, что вашими людьми распущен слух о моей якобы неподкупной честности. Оговорились бы вы теперь так или нет?

Гоодн поднял глаза. Они были красны от ярости.

— Вы обещали мне, — сказал он, — и вы солгали... Что я сделал вам плохого?

— А вы обещали и лгали рабочим, — ответил Кэльберг. — Что они сделали вам плохого?

Гоодн сплюнул.

Кэльберг, хрюкая и посапывая, пошел к воротам. Слабость одолевала его, и радужные пятна плавали в воздухе. В воротах он остановился и крикнул:

— Я рву контракт. Слышите, Гоодн? Пришлите человека за чеком, иначе вы не получите неустойку. К чорту!

И Кэльберг скрылся за стеной.

В мотокаре ему стало плохо — мало воздуха, жара шумела у него в ушах. Ему стоило больших усилий окликнуть шофера, а когда тот повернулся, он почему-то не узнал знакомого лица, парень, который много раз возил его, казался ему чужим.

— Мне нужен холод, — сказал он сипло, — немного холода, иначе я подавлюсь своей требухой — вот тут...

На повороте дома почти упали на него, он поднял даже руки и держал их так до тех пор, пока не понял, что галюцинирует. Тогда он заплакал тонко, по-детски — ему было невыносимо обидно и больно, он подвывал и всхлипывал, уронив голову в колени. Где-то на коврике возле ботинок прыгали очки, он заметил их и отшвырнул подальше. Тотчас же ему показалось, что на него смотрят из мотокара, идущего рядом. «Стыдно, стыдно, — сказал он себе, — осел!» — но всхлипывать продолжал. На него не смотрели, хозяин соседнего мотокара дремал и мирно позевывал — какое ему было дело до Кэльберга?

На Панкин-Род шофер остановил машину у дома, облицованного кафелем, и отворил дверцу, перегнувшись со своего сидения.

— Тут немного похолоднее, — сказал он на ломаном английском языке, — тут можно кушать холодные вещи, тут лед из рефрижератора...

Накопец ему удалось схватить свои очки. Он почти ничего не видел без них, у него дрожали руки, и больше, чем всегда, мешал жбит.

— Возьмите, — он дал шоферу доллар или два или три, какую-то бумажку, и испугался опять, что шофер сочтет его дураком.

— Очень хорошо, отлично. — Бой-китаец, весь в белом, легкий и подвижной, таскал ему сиропы и мороженое, особые пирожные с прохладительным внутри, какие-то розовые сооружения, светящиеся и холодные как чорт. Он ел, ему делалось спокойно, он похлопывал себя по брюху и делал вид, что читает газету. Он вовсе не читал на самом деле, он разглядывал, как это все сделано — эти пирожные и эти разные штуки, он прочел в карте, что это из Соединенных штатов и едет на пароходе в совершенно готовом виде, он исследовал, почему оно вовсе не разрушается, и не понимал. . .

От фэна¹ шел легкий холод, и от еды в животе становилось холодно, по ногам от каких-то труб тоже плыл холод. . .

Теперь он поглядел кругом и умилился, потому что тут в окнах были цветные стекла, как в Вормсском соборе. Он вспомнил свою ватагу и палку учителя, ему опять захотелось плакать, но он сдержался, а сдерживаться было, пожалуй, тяжелее, чем реветь.

Если бы у него сейчас попросили что-нибудь, он отдал бы не размышляя. Кой чорт! Он набил свою трубку и подумал о том, что хорошо бы сюда Рихарда или даже дурака-египтолога, им можно положить руку на локоть и сказать: безобразно, старик, безобразно, дружище. А? И они бы, конечно помогли настоящим дружеским советом, пускай бестолковым. . .

Он попытался читать, но из этого ничего не вышло. Он не понимал ни слова ни в спорте, ни в шахматном отделе и бросил газету.

Что делать? Он расчесывал голову и шею ногтями, он пытался думать, он называл мысленно все это «событиями» — он любил высокие слова. Теперь ему стало легче физически, но голова оставалась тяжелой как кирпич и мутной, он сидел и чертыхался, раскуривая трубку, а табак как на зло все гас.

— Ладно! — Он махнул рукой и сунул в рот пирожок с начинкой-мороженым. — Ладно! — Мороженое застряло в горле, он не то подавился, не то поперхнулся и выпил

¹ Фэн — вентилятор.

воду, предназначенную для мытья пальцев из круглой чашки. Англичане встали и ушли.

— Погримасничайте еще, — прохрипел он им вслед, — погримасничайте, кретины!.. — Его душила злоба ко всей этой гнусной и чинной швали, он вспомнил, как его не пустили в бассейн из-за того, что на нем поверх трусов не было юбочки, паршивой юбочки... Мокрые и сладкие, они фокстротировали на асфальте возле бассейна со своими женщинами, прижимались друг к другу и мяукали как коты, эти поганые ханжи и прохвосты.

— Ладно! — Он сплюнул себе под ноги, красный от злобы. — Ладно, чорт вас дерит!..

И, выходя из кафе, подивился, как это все совершилось, и подумал, что это очень сложная и длинная история, если написать об этом Рихарду, да, пожалуй и не написать...

Вечером пришел Пирри. Кэльберг дремал в кресле. Очки лежали на полу у ног, и ковер прогорел от пепла, выпавшего из трубки.

— У меня были неприятности, Рэджи, — сказал он, проснувшись. — Вы слышали, наверно?..

Пирри заходил по комнате.

— Да, я знаю...

— И?

— Что вы хотите от меня, герр Кэльберг?

— Хочу знать ваше мнение, мой мальчик, ничего больше...

— Мое мнение?

— Да. Что же тут особенного?

Пирри заложил руки в карманы. Ему хотелось казаться спокойным — таким, каким его привык видеть Кэльберг, но из этого ничего не получалось. Он еще раз прошел кабинет из конца в конец по диагонали.

— Мое мнение?

— Да, ваше мнение, Рэджи.

— Герр Кэльберг... я всегда был откровенным...

Пирри опять замолчал.

— Вы всегда были откровенным, мой мальчик, а откровенность — это редкое и похвальное качество. Почему же вам так трудно быть откровенным сейчас?

— Потому что вы рассердились на меня однажды, герр Кэльберг...

— Вы думаете, что я рассержусь и сейчас?

— Именно!

- Значит, вы не одобряете мой поступок?
- Да!
- Вы считаете его нечестным? Или грязным, нехорошим, мерзким? Отвечайте же, Рэджи!
- Герр Кэльберг...
- Не виляйте хвостом, Рэджи, это отвратительно. Ну!
- Вы опять нервничаете, герр Кэльберг...
- Ну!
- Видите ли... Ваш поступок, конечно, честный поступок. Но... он смешон, герр Кэльберг...
- Яснее... Может быть, мой поступок начал казаться вам смешным только с той минуты, когда вы, узнав, что у меня нет револьвера, убежали... Если это так, то я перестану вас уважать...
- Нет. Я никогда не подвергаю себя опасности, и моей натуре чужды экспансивность и сентиментальность.
- Не в мой ли это огород, Пирри?
- Я не одобряю вашего поступка, герр Кэльберг, как не одобряю вообще все непоследовательное. Если вы хотите быть честным, то нужно быть честным с начала.
- Точнее, Рэджи.
- Да, я уточню, но это уж было раз темой нашего очень приятного разговора. Я сказал, что нужно быть честным с начала, то есть, нужно было не сидеть в Германии и в Америке в лаборатории и не посещать клубы и мюзикхоллы, а нужно было там уметь видеть...
- Там нечего видеть, Рэджи, не лгите о моей родине.
- Все начинается с начала, я предвидел это. Может быть, вы согласитесь со мной позже. И второе, герр Кэльберг, простите, но вы сыграли нечестную игру...
- В чем?
- Вы обещали Гоодну поддержать его, а на самом деле не только не поддержали, но и создали такое положение...
- Рэджи, довольно. Мы начинаем расходиться во мнениях и во взглядах.
- Герр Кэльберг, честность есть честность, и обман есть обман. Пускай Гоодн не прав, но...
- Я опять вас выгону, Рэджи, если вы не прекратите. Стоп! Позвольте, чтобы нам дали ужинать. Я, кажется, сегодня не обедал.
- Вы не обедали?
- Да, не обедал. Я пожрал сладкого и холодного. От злости. — Он засмеялся, откинув голову. — Первый раз за четверть века я позабыл об обеде...

Четыре дня прошли в полудремотном состоянии. Четыре дня Кэльберг, не выходя из отеля, ел,пил, спал... Томики Новалиса, Гёте, Шиллера, Гейне лежали, где угодно, но только не там, где им следовало лежать. Рыжие космы табачного дыма плавали по комнатам, цепляясь за портьеры и гардины. Четыре дня Кэльберг не одевался, даже пижама ему мешала и стесняла его. Он ходил почти голым, в съезжающих кальсонах, без сорочки, с трубкою в зубах. Администрация отеля установила в его комнатах четыре дополнительных фэна с электромоторами. Круглые сутки по комнатам бродили бередливые и бестолковые, нисколько не освежающие ветры. Лакею не разрешалось убирать. Кэльберг хрюкал на него и страшно сверкал очками. От этих хрюканий и сверканий лакей-китаец пугался; по этажам огромного отеля шла сплетня о чудеке-немце. Сначала сплетня не уходила дальше среды портье, швейцаров, горничных, боев, слуг, но потом сплетня, приняв несколько более «приличные» формы, послужила темой для общих разговоров за табльдотом. Поступок Кэльберга на предприятиях компании квалифицировался как гнусность, а его невылазное сидение и чудачества — как угрызения совести.

За табльдотом, в курительных салонах, на прогулках — везде говорилось о Кэльберге. Он стал злостью дня. Глодну сочувствовали.

Пирри молчал и к патрону заходил редко. Дни его проходили в лежании на кушетке, в ваннах, в гимнастике. Кэльберг по телефону заказал каюты на первый же пароход линии Ллойда Шанхай—Гамбург. Целый вечер потом он пел хриплым фальцетом, нещадно перевирая, малоизвестный романс Шуберта. Фэны скрипами и скрежетами аккомпанировали ему. Подтягивая кальсоны и шлепая туфлями, он ходил из комнаты в комнату в ту минуту, когда пришел лакей. Срывающимся голосом лакей сказал:

— Сэр! вас спрашивают шесть человек...

— Ведите!

— Но, сэр... китайцы... простые китайцы... Их много... шесть человек...

— Ведите!

— Сэр...

Кэльберг захрюкал и заорал. Кровь бросилась ему в голову. Лакей исчез. По телефону Кэльберг вызвал Пирри и велел ему сейчас же, не медля ни минуты, прийти и при-

пять наивежливейшим образом китайцев, пока он будет одеваться. Затем Кэльберг крикнул слугу и заперся с ним в спальне. Лакей недоумевал. Кэльберг, тараща глаза и задыхавшись, потягивал штаны. Вспомнив вдруг о ванне, он бросился туда. Лакей вынимал из шкафа белье.

— Бриться!

Вода была подана очень быстро, но Кэльбергу казалось, что он ждет не менее часа. Бреясь, он порезался в двух местах и не заметил этого. Лакей держал визитку.

— К чорту! Смокинг!

Он даже стал изящным, этот слон, в смокинге. Его огромная голова откинулась назад, и в углах толстых губ появилась на минуту тревожная и несколько сконфуженная улыбка. Щурясь за очками, он вышел в кабинет.

Китайцы стояли у дверей. Их пыльные курумы пахли горьким застарелым потом. Они поклонились все вместе. Кэльберг подошел к ним и пожал им руки. Маленький китаец, по имени Ао-Син, тот самый, который произносил речь во дворе и предлагал вывести детей для расстрела вперед, отошел от дверей и сказал негромко:

— Сэр! мы пришли сюда потому, что...

— Садитесь, — перебил его Кэльберг. — Я не умею говорить по-китайски, переведите, пожалуйста, вашим друзьям, что я прошу их садиться...

Китайцы сели молча. Нельзя было понять, улыбаются они или не улыбаются. Их темные, цвета старой бронзы лица были суровы, но улыбка все же пряталась где-то около глаз.

Пирри курил у окна. Его сухая рука лежала на спинке кресла.

— Герр Кэльберг, — сказал он вдруг, — мне необходимо уйти.

— Нет, Рэджи...

— Но, герр Кэльберг...

— Нет, Рэджи, вы мне нужны.

— Мне крайне...

— Пирри, вы служите у меня. — Голос Кэльберга скрипнул. Последние слова он произнес по-немецки. Пирри отвернулся.

Маленький китаец заговорил опять. Он подбирал веские, нужные слова, и поэтому речь его была очень медленная и состояла как бы из падения круглых, отполированных морем камешков. Камешки эти были разной величины, и от их величины зависела важность слов. Слова первостепен-

ной влажности были большими, тяжелыми камнями, второстепенной — меньшими, а незначащие слова едва шуршали...

Кэльберг выслушал молча, потом ответил, набивая трубку:

— Закон будет на вашей стороне, это неоспоримо! Я напишу вам все, что мною было сказано. Кроме этого, я изложу мотивы, которые побуждали меня настаивать на проведении вентиляции. Дальше я считаю необходимым точнейшим образом зафиксировать все то, что произошло в этот ужасный день. Я и мой помощник подпишемся.

Пирри, громыхнув креслом, сел.

— Да, я и мой помощник подпишемся. Сейчас это все будет сделано. Рэджи, вы не откажетесь подвинуться к машинке? На это уйдет не больше получаса. Я продиктую вам...

Пирри поднял голову и осмотрел патрона с головы до носков лаковых туфель. Что произошло, наконец, с этим толстым и ленивым немцем? Какой, чорт возьми, винт вывалился из этой огромной головы с высоким и красным от загара лбом? Улыбаются или нет серые глаза со зрачками цвета расплавленного олова там, за этими проклятыми стеклами? О чем он думает? Зачем пошлая комедия с приемом этих китайцев, пропитавших всю комнату запахом давно немытого белья? Для чего нужен смокинг. Паршивый, выживший из ума осел, старый дурак, разыгрывающий фарсы! Из-за истории на фабрике испорчена прекрасная карьера! Все лопается и рвется! Позор! Грязная, гнусная история, никому ненужное чистоплюйство... И в результате — подозрительные собеседования с этими оборванцами. Уж действительно проклятый Китай! А теперь он, Пирри, должен подписываться под какими-то петициями!

— Герр Кэльберг, я серьезно не могу остаться...

— Вы служите разве не у меня, мой мальчик? Почему же вы не предупредили?..

— О, герр Кэльберг!

— Отлично, Рэджи. Печатайте в двух экземплярах.

Через полчаса все готово. Китайцы прощаются, и Ао-Син негромко говорит:

— Мы очень благодарны, сэр. Но все-таки даже это не будет козырем в нашей игре...

— Но закон?

— Мы знаем, что такое закон, сэр. Закон не для нас, и

потом за закон нужно много платить, сэр... А долларов у нас нет.

Теперь маленький китаец улыбается широкой и горькой улыбкой. От этой улыбки его лицо стареет на десять лет сразу.

— Прощайте, сэр!

Они кланяются опять все вместе, и пыльные их курумы исчезают за дверью. Кэльберг бежит вслед.

— Зачем же вы пришли? — спрашивает он. — Для чего вы пришли?

Но китайцев уже нет.

Коридор пуст.

Милая Элли!

Сегодня я целый день думаю о вас. Мне грустно. Помните ли вы, Элли, наше кафе на Нюрнберг-штрассе и цветочный магазин на набережной Шпрее? Помните ли вы гвоздику и оранжад? Думаю, что помните.

На днях мы уезжаем из Шанхая. Кажется, патрон уже заказал билеты. Он совершенно потерял голову, и если бы не мысли о нашем будущем, я ушел бы от него.

Он забросил работу, опустил ся и целые дни курит. Не раз у меня происходили с ним крупные и очень неприятные разговоры.

Мне все же жалко его, Элли.

Он рассказывает во многом, что совершил, но поздно. Контракт порван. Конечно, меня с вами дела патрона интересуют в очень небольшой мере, потому что я получаю жалованье. Крах патрона отражается только на нем самом. Краха пока еще ждать не приходится: патрон достаточно богатый человек, но дело в том, что после работы в Шанхае я должен был, как вам известно, сделаться не только помощником патрона, но в какой-то мере и его компаньоном. Поэтому меня интересовала материальная сторона дела. Но так как контракт нарушен, то мне сейчас не приходится и думать о переходе на другую систему оплаты.

Все это не имеет особенного значения, но я боюсь, как бы нынешнее сказанное не испортило дальнейшие возможности карьеры патрона, а следовательно и моей.

Гудди, конечно, раздует историю, о которой я вам писал, Элли, и положение патрона в промышленных кругах сейчас же пошатнется.

Я надеюсь, что патрон все-таки одумается. В противном случае я уйду от него. Но тут встанет новый вопрос. Куда?

Ведь, я простой инженер, Элли, вы знаете. Мое имя известно только потому, что всегда следует за именем патрона. Я знаю его слабости, у меня прекрасная память, я очень спокойный человек и имею некоторый опыт в бумажной промышленности. Это все. Без патрона меня быстро раскусят и предоставят мне место инженера на заводе — не больше. Я буду получать энное количество марок, и наше будущее станет будущим очень проблематичным. Но мы хотим хорошо и весело жить. Мы хотим себе даже кое-что позволить, не так ли, милая Элли? Ведь работа — это только средство для жизни, а никак не самая цель, мы оба в этом убеждены. Что же делать? Какими мерами заставить патрона по-настоящему взяться за работу?

Сейчас я перечитал письмо и решил, что немного ошибся. Патрон вряд ли раскаивается. Он просто ничего не понимает. У него кружится голова и рябит в глазах как у собаки, которая ловит свой собственный хвост. С собаками бывают такие припадки.

Милая Элли! Не пишите мне больше на Шанхай. Обдумайте все подробно. Учтите, что на карту ставится вся наша будущность, наше завтра. Вы трезвая, умная девушка, я полагаюсь на вас больше, чем на самого себя.

О дне приезда я телеграфирую вам из Гамбурга.

Целую пальчики.

Ваш Рэджи.

Шанхай, отель «Маджестик».

НО СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ ПЕЧАТЬ

Дверцы воксхолла щелкнули. На Кэльберге опять белый костюм и тропический шлем.

— Бонд!

Машина делает полукруг и стремительно летит вниз по широкой улице.

Что там, на фабриках, по ту сторону Вампу, в Путуне? Как обходится человек-оранг-утан без Херста? По утрам он попрежнему восстанавливает гимнастикой («мои процедуры») утерянную у конкубинок энергию?

Вал-Шин-вей, должно быть, продолжает молиться своим богам, пить чай и жаловаться на слабость зрения?

А китайцы все так же надеются на вентиляцию?

Ничего. Он, Кэльберг, докажет, что на всякого преступника найдутся подходящие наручники. Он докажет, что безнаказанно нельзя убивать людей и нельзя заставлять

задышаться в нестерпимой духоте и жаре рабочих. Он докажет китайцам, что европеец-преступник есть преступник и что правосудие сумеет отнестись к этому преступнику с достаточной строгостью. Правосудие разгонит эту шайку мерзавцев, и все Гоодны, Ван-Шин-вей и Тейби будут арестованы.

Чорт возьми, правосудие есть правосудие, и никакая сволочь не смеет попирать человеческое достоинство! Правда будет найдена, чего бы это ни стоило.

Он достаточно просидел в своей лаборатории. Двадцать восемь лет он плевал на все, кроме техники. Он выпсался на своей кровати, износил не одну пару домашних туфель, протер не один халат. Теперь он увидел, что за стенами лаборатории есть тоже жизнь. Он никогда больше не наденет халата и туфель. Он будет спать только восемь часов. Он расскажет всем в Германии, что делают европейцы в Китае. Да, да, он непременно это сделает. Он еще покажет себя. Репортеры будут осаждать его не только для того, чтобы выведать техническую новинку, они будут с трепетом записывать в свои блокноты его рассказы о Китае. Он, может быть, даже издаст книгу. Почему бы в самом деле не издать? Можно снабдить ее прекрасным заглавием, цепким, сильным, обращающим на себя внимание. Хорошая идея. Только бы не забыть!.. Он уже начал. Он как следует отчитал этого Гоодна. Всю жизнь будет помнить. И он сумел принять китайцев. Он недаром надел смокинг. Он доказал им, что европеец уважает китайца так же, как и своего соотечественника, что Гоодн просто подлец — такой, каким может быть, и китаец. Он придал визиту этих рабочих несколько официальный характер недаром...

Но почему же улыбался Ао-Син? Что он нашел смешного? Конечно, он просто не понял, этот китаец... Как жалко, что Ао-Син не был в Германии...

А Америка? Это настоящая цивилизация! Впрочем, что бормотал Пирри насчет честности «с начала»?

Ист, он лжет! В Германии этого не может быть хотя бы потому, что там колоссальная культура личности. Конечно, выродки, дегенераты, негодяи есть везде...

Но, ведь, оп, Кэльберг, действительно не выходил из лаборатории. Во время войны он был в Америке. Во время беспорядков — тоже. Эти беспорядки газеты называли революцией. Вообще газеты падки до громких слов. Какая там революция! Просто люди хотели есть, а кайзер не умел управлять страной. Кайзера попросили уехать, он пре-

красно живет в Голландии. Он, Кэльберг, никогда не держался крайних мнений... Все эти демократы или как их там... Кому они нужны?

Но нужно быть честным. Честность — основа всех основ. Германия — честная страна, Америка — честная страна. Владелец фабрики и рабочий делают каждый свое дело и идут вместе к одной цели...

Стоп!

Воксхолл остановился. Это тут. Да. Вот вывеска.

Лифт подымает Кэльберга на третий этаж. Воят телефонные звонки. Пахнет серной кислотой. Первый раз Кэльберг в редакции большой газеты.

— Посмотрим, посмотрим, — бормочет он, толкаясь животом, — посмотрим!

Его спрашивают о чем-то, вместо ответа он сует визитную карточку, и его пропускают к редактору.

Редактор сидит на столе и пьет шоколад. Он уже не молод, желчен, и Кэльбергу вдруг начинает казаться, что у этого редактора никак не менее десяти штук детей.

— Я слушаю вас, сэр.

Вначале Кэльберг немного волнуется, но редактор внимателен, и речь начинает идти гладко. Редактор поддакивает. Он допил свой шоколад.

— Видите ли, сэр, — говорит он, дослушав до конца и потирая виски ладонями, — видите ли, сэр, мы сами не одобряем действия англичан в Китае... Я, конечно, прекрасно понимаю вас и, конечно, полностью разделяю ваше негодование...

Редактор начинает крутить. Он говорит о сложности обстановки в Китае, о китайском народе, о великом китайском лирике Лий-Тай-Бо, о книге Яшмовых Правил, потом редактор со счастливой улыбкой вспоминает Чикаго и наконец, спохватившись, извиняется и заявляет, что ему крайне необходимо ехать, но что он смеет надеяться, что их знакомство...

— Так вы напишете или не напишете? — прерывает вдруг Кэльберг грубо и хрюкает.

— Я сейчас узнаю...

Редактор берет телефонную трубку и долго о чем-то разговаривает. Потом он оборачивается к Кэльбергу.

— Сэр, вы, к сожалению, не совсем верно осветили вопрос, — говорит редактор. — Китайцами был убит какой-то Херст в то время, когда он... воспрещал давать гудок —

сигнал к забастовке. Убийцы понесли справедливое наказание...

— Ну? — кричит Кэльберг.

— Убийцы казнены, сэр.

— Кто же убийцы?

— Их трое, сэр.

— И все трое казнены?

— Да...

— Как их имена?

— Одного, кажется, зовут Ао-Син.

— Он тоже казнен?

— Да.

— Зол! Вы уверены, что именно они...

— Раз правосудие...

— Правосудия нет, — говорит Кэльберг хрипло. — Правосудия не существует. Вы... редактор... почему вы до сих пор не удавились?

— Сэр...

— Чорт с вами!...

Кэльберг берет свою шляпу и уходит. Паркет скрипит под его ногами, он спускается по лестнице, все ускоряя шаг, под конец он почти бежит. Да, Ао-Син — маленький китасц. Гоодн называл его так. Маленький китаец оказался прав. В его игре не было козырей. Что же это такое? Ао-Син улыбался. Они все улыбались. Очевидно, им смешно был Кэльберг. Старый дурак! Он надел смокинг. Он порвал контракт, он публично оскорбил Гоодна.

— Путун!

Шофер поворачивается, у него обеспокоенное лицо.

— Путун?

— Да, да, Путун!

— Там неблагополучно, сэр. Там очень неблагополучно, уверяю вас. Фабрики бастуют. Все четыре фабрики...

— Не ваше дело!

Он напрасно нагрубил шоферу, но уже поздно, ничего не поделаешь. Почему вы не удавились, редактор? Они должны поставить огромный монумент лжи, тяжелый, чугунный...

Возле ворот толпа. Фабрика стоит, они, эти китайцы, бастуют. Он видит их лица — спокойные, точно выбитые из бронзы. Они сидят на самом солнцепеке, на грудах кирпича и смотрят в конец улицы. Они вооружены камнями и палками, один из них поет тонким голосом песню и раскачивается, обхватив колени руками. Их много тут, не меньше сотни — только пикетчиков.

Кальберг вылезает из машины, придерживая брюхо ладонью. Он позабыл надеть бандаж. Раскаленные каменные плиты обжигают его ступни через подошвы, он идет по тротуару и думает, что вот он очень смешон сейчас, у него такой огромный, жирный зад и брюхо как у беременной женщины, и весь он мокрый от пота...

Над ним не смеются. На него только внимательно смотрят, они разглядывают его шлем, его краги — по специальному заказу, его большие очки — колесами, его руки, которые он не знает куда девать... Они сидят у стены на расстоянии двадцати шагов друг от друга. От стены пахнет горячим толем, смолой, железом.

Он вдруг улавливает в их позах, в размещении людей, в том, как положены бревна возле ворот, — волю, организацию, направленность. Это не просто оголтелый бунт, — конечно же, ими руководят и, конечно, с ними не очень легко справиться.

Погода ему становится грустно. Опять раскаленный день шумит у него в ушах. Он один. Им всем плевать на него, у них свое дело, у них будет бой. Это то, что он переворачивал в газете и чему не очень верил. Вот они сидят. Он ничем не может им помочь. Сейчас он поедет в отель и будет спать там, именно спать.

Шофер распахивает дверцу. Он ест грушу.

В кабинете тишина. Кальберг садится в кресло. Бездлиный горячий ветер попрежнему шляется из комнаты в комнату. Кажется, в этом кресле сидел Ао-Син...

Вечером приходит Пирри. Кальберг сидит против дверей ссутулившись. Он смотрит на помощника пустыми, холодными стеклами и говорит:

— Уходите вон!

«Уходите вон? Нет, всему есть мера. Когда этот толстяк топает ногами и орет в лаборатории — это понятно. Там работа. А тут? Дурное настроение? Он, видите ли, расстроен. Возможно, что он даже нездоров. Ожирение мозга! Известны ли врачам такая болезнь? Существует ли она?

«Иа-аа его настроений и самочувствий уходит время. Время! Если перевести эту неделю на доллары, во сколько обойдется каждый день?

«Конечно, ходить без брюк, с трубкой в зубах куда приятнее, чем работать. Есть такой сорт людей, которым неприятно ничего, кроме собственных переживаний».

Пирри просматривает газеты, но глаза его читают строчки, не вникая в их смысл. Глупейшая реклама. Никому ненужный фельетон тупоумного шелкопера! Наверно, этот шелкопер болен лихорадкой и зарабатывает столько, что не может позволить себе менять носки чаще двух раз в месяц. Гастроли негритянской певицы. Можно себе представить! Голос — как пароходная сирена, лошадиные зубы и запах мускуса, который не заглушить литрами духов Коти. Тоска, тоска, тоска! Советы? Несколько цистерн самых отвратительных помоев. Этим-то так и следует!

Пирри нахмурился. Благодарение богу, этого нужно было ожидать. Патрон, очевидно, к этому и стремился. Теперь он будет счастлив. Имя мирового ученого присяжные борзописцы протасили по грязи с воем и улюлюканием! Одновременно с приездом патрона в Европу концерн будет уведомлен обо всем совершенно точно.

— Герр Кэльберг, — скажет досточтимый Алоизий Пфээк, — многоуважаемый герр Кэльберг, я отказываюсь понимать. . .

Он, Пирри, тоже отказывается понимать! Он признает себя побежденным. Сущность последнего чудачества патрона не поддается раскрытию. Что? Конечно, это так и должно быть! Неустойка, о которой патрон не пожелал озаботиться. Нет, это уж выведет его из состояния сонливости.

— Герр Кэльберг!

— Оставьте меня в покое!

— Только одну минутку! Газета поместила статью о происшествии на фабрике. На четвертой полосе.

**ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО
КИТАЙСКИМИ ВАРВАРАМИ АНГЛИЧАНИНА ХЕРСТА.
ХЕРСТ БЕЗОРУЖНЫЙ РАСТЕРЗАН ОЗВЕРЕВШИМИ
ХИЩНИКАМИ**

1-го с. м. (собств. инф.). В час пополудни рабочие бумажной фабрики, принадлежащей компании Ван-Шинвей, Гоодн и Тэйби, подстрекаемые неизвестными лицами неожиданно прекратили работу и, выйдя во двор фабрики, потребовали немедленной установки вентиляции, мотивируя это требование только... угрозами. Так как сэр Гоодн на немедленную установку вентиляции не согласился по условиям чисто технического характера, то разъяренные рабочие бросились в паросиловое отделение, рассчитывая, разрушив сердце, надолго прекратить работу фабрики. Сэр Херст, находившийся в паросиловом отделении, грудью защи-

шался от натиска варваров до тех пор, пока не был убит. Вызванный отряд аннамитов не принес никакой пользы, так как злоумышленники успели разбежаться с помощью известного в промышленных кругах инженера Оскара Кальберга. По непонятным для нас причинам сэр Кальберг произнес речь, сплошь состоявшую из угроз, направленных по адресу компании, и в заключение открыл ворота и выпустил китайцев. Сэр Гоодн, конечно, не решился стрелять в инженера.

По поступившим сведениям, Оскар Кальберг представляет собою фигуру, весьма близкую к Советскому Союзу. Средства, которыми снабжает Союз своих агентов, являются достаточными для покрытия любых неустоек, и потому, очевидно, Оскар Кальберг столь легко порвал контракт с компанией. Промышленным кругам следовало бы осторожнее подходить к выбору работников, и мы думаем, что поступок Оскара Кальберга встретит должное осуждение и послужит хорошим уроком.

19-го с. м. (собств. инф.). Преступники, растерзавшие сэра Херста, задержаны и преданы суду. При обыске обнаружены документы, подчеркивающие характеристику Оскара Кальберга. Документы эти, составленные Кальбергом, представляют собой образцы гнусной лжи и клеветы, по «размаху» несравнимой ни с чем.

Кальберг прочел и поправил очки. Лицо его внезапно посерело. Минуту он молчал. Пирри сел в кресло к шахматному столику. Злое и веселое любопытство терзало его.

— Ну? — спросил Кальберг. Потом он тяжело поднялся и налил себе содовой. Жажда мучила его, должно быть, давно. Напившись, он засмеялся сочно и густо.

— Пирри, я — большевик. . . Как вы думаете, бывают такие толстые большевики?

— Вас это смешит, герр Кальберг?

— Еще бы, мой мальчик!

— Но я не вижу здесь смешного, герр Кальберг! Конечно, Алоизий Пфээк слишком умен для того, чтобы поверить этой чепухе, но все же имя ваше испачкано.

— Я плюю на имя, Рэджи! Я бы испачкал его, если бы не был честным человеком, но я считаю себя честным — это самое главное. Они — грязные дельцы и грязные писаки, они — подлые люди, Рэджи, скверные люди. Можете смеяться надо мной, но я многое понял за три месяца в Шанхае. Мне еще нужно кое-что понять и кое-в-чем разобраться. Я еще не так стар, Рэджи, как вы думаете. . . Так, значит, я — большевик или как там. . . агент? А?

Кальберг набил трубку и пустил струю дыма вверх. Он говорил как бы сам о собой, хотя и обращаясь к Пирри. Глаза его под очками были закрыты.

— Я родился в Вормсе — вы, кажется, не знаете этого? Отец мой чинил часы горожанам... Он был крепким человеком до семидесяти лет и во хмелю дрался с матерью. На семьдесят первом он сдал, лег и не поднимался до самой смерти. В гробу он хитрил, и губы его были сложены так, как будто он собирался шепнуть что-то, но так и не собрался... На похоронах присутствовал даже бургомистр... Я был тогда еще студентом. Мать родила троих, и я появился на свет, когда отцу было под пятьдесят. Говорили, что он изрядно сконфузился от такого ляпсуса и даже устроил матери сцену ревности, но мать выставила его на улицу для протрезвления...

Кальберг помолчал, припоминая и тихо похрюкивая.

— Вормс — бестолковый город, но там начал, как бы это сказать... там начал свою карьеру Мартин Лютер. Вы верите в бога, Рэджи?

Пирри не ответил. Он не знал, верит ли Кальберг, и зчел за лучшее не отвечать.

— Предположим, не верите... Предположим, что я тоже не верю... Так вот... Мартина Лютера, к вашему сведению, доставили в Вормс рано утром шестнадцатого апреля 1521 года. Тогда любили помпу не меньше, чем теперь, и поэтому герольд возвестил народу, что Лютер находится под охраной короля. Народ ничего против не имел, но Лютера рассматривал внимательно во все время его следования по Ромер-штрассе и Каммер-штрассе, до самого Иоаннитского подворья, что находилось рядом с гостиницей «Лебеда», существующей и доныне, если я не ошибаюсь. Был Лютер невзрачен, мужиковат и, кажется, прыщав. В свое время я знал хорошо все подробности. Привезли его в Вормс из Виттенберга. На следующий день он был допрошен в Вормском соборе, но допрос не удался, так как Лютер попросил отсрочку для обдумывания всех своих ересей. Отсрочку ему дали, но Лютер после нее не отрекся, несмотря на то, что взбешенные судьи грозили ему анафемой, орали на него и прочее. Подконец он очень спокойно сказал: «Я тут стою и не могу иначе. Господь, помоги мне». Эту фразу вы, наверно, слышали? Так вот, милый мой Рэджи, поняли ли вы, зачем я рассказал вам всю эту пышную историю?

Пирри поднял недоумевающие глаза на Кальберга. Ему всерьез начинало казаться, что патрон не в своем уме.

— При чем тут Лютер? — спросил он негромко.

Кальберг все улыбался.

— Сейчас. Дорога из Пекина в Шанхай, вспомните-ка, стоила мне не дешево. Я очень много думал тогда. Первое время по приезде в Шанхай мне удавалось прогонять эти мысли. Я хотел проверить не горячась и не волнуясь. Понимаете, Пирри? Так создалась та отсрочка, которую попросил досточтимый Лютер. Теперь я проверил и говорю: «Я тут стою и не могу иначе». Но без господ: господя я оставляю желающим... Понимаете?

— Плохо, герр Кальберг.

— Это потому, что вы злой человек, Рэджи. Вам, как одному моему знакомому редактору, следовало бы повеситься.

— Герр Кальберг...

— Не надо сердиться, я шучу, милый Рэджи. Вам не придется вешаться — вас повесят когда-нибудь...

— Герр Кальберг...

— Вас повесят рядом с редактором, а редактора рядом с Гоодном, а Гоодна рядом с Тэйби, а Тэйби рядом с Ван-Шин-веем. Ужасно жалко, что Херста нет в живых, а то бы и его повесили... Нет, это слишком гуманно вешать: вас бы просто заставили работать на бумажной фабрике без вентиляции. Не сердитесь, Рэджи, я шучу, правда, шучу.

Кальберг сложил руки на животе и захрюкал очень весело.

— Я смеюсь, — сказал он погодя, — я смеюсь, Рэджи. Жить очень хорошо. Недозволенного нет! Суда нет! Низшего нет! Судья — тот, у кого маузер! А у кого маузера нет — тот подсудимый и того вешают. Запаситесь, маузером, Рэджи! Если бы у меня тогда был револьвер, я бы пристрелил Гоодна и очистил бы свой желудок на его мертвую голову. Вы отвертываетесь? У меня хорошая фантазия? Сорок восемь лет я отвертывался. Теперь я буду смотреть прямо.

Он замолчал. Руки его повисли вдоль тела. Потом он снял очки и протер пальцем глаза.

— Очень хорошо, — бормотнул он угрожающе, — очень хорошо!

— Герр Кальберг, — сказал Пирри, — знаете ли вы что-нибудь о неустойке?

— Нет...

— Неустойка выражается в очень большой сумме...

— Безразлично.

— Выплата этой суммы может разорить вас, герр Кэльберг...

— У меня останутся мозг и руки, мой мальчик... Я начинал свою карьеру без состояния... Мальчиком на побегушках...

— Но...

— Ваше жалованье вы получите, Рэджи. Какова бы ни была неустойка, денег пока хватит. А теперь — ужинать!

Через полчаса мотокар остановился у ресторана на Норд-Сычун-род. Кэльберг заказывал еду и вина очень обстоятельно, со всеми подробностями. Гнусили скрипки. Пирри думал о Европе. Все-таки ему было не по себе.

ПАРОХОД ОТВАЛИВАЕТ

Кэльберг вновь окреп. Он не сидел больше в кресле с закрытыми глазами. Его лень исчезла. Он искал деятельности. Рано утром он садился за работу и сидел до вечера. В его кабинете стояла тишина, прерываемая лишь похрюкиваниями. За несколько часов он решил в основном вопрос усовершенствования прибора Крадона. Пирри был счастлив и всячески старался услужить патрону. За зутки до отъезда Кэльберг детально развил мысль о трехбашенной установке для получения варочной кислоты. Он чертил рукою в воздухе и говорил очень быстро и очень глухо. Он смеялся над Митчерлихом, над Эллисом, даже над Иенсеном. Он ничего не признавал, в его смехе была доля злого цинизма. В проектируемой им установке башни взаимно заменялись. Две башни должны были работать как башня крепкой кислоты, а одна — как башня слабой. Почти параллельно Кэльберг набросал основные вехи статьи о выпадении моносulfитов при варке... Он утверждал, что выпадение моносulfитов хоть и есть явление общее, но никак не неизбежное, и что процесс выпадения ни в коей мере не проходит безболезненно. Эта статья была наполнена торжествующей злобой и звучала вызовом. Полемический ее тон, даже в наметках, переходил в ругательства по адресу скудоумных ученых.

Огромный человек бегал по комнате, раскачиваясь на ногах-бревнах, и диктовал таким тоном, будто Пирри ему возражал.

— Не вмешивайтесь! — кричал он ни с того ни с сего. — Не ваше дело... Стенографируйте.

Пирри стенографировал. Его пальцы устали, мозг почти

не понимал теории патрона. Это был пароксизм, кризис, сумасшествие! Один такой день стоил месяцев лежания на кушетке.

— К чорту! — орал Кэльберг. — Зачеркните. Дальше... «Устанавливая действие солей магния»... К чорту!.. «Повышение температуры при варочном процессе имеет прямое отношение»... К чорту! Вы ничего не понимаете! Установим основное, фундамент: «Целлюлоза, получаемая при варке с кислотой, содержащей большое количество магния, имеет гибкое волокно...».

Ветер срывал со стола бумажонки. Кэльберг, ругаясь, гонялся за ними, хрюкал, ронял очки, сопел. Минутами он садился за стол и вкривь и вкось покрывал листы бумаги формулами, схемами, расчетами. Шелкала логарифмическая линейка, визжал арифмометр. Уже ночью Кэльберг выгнал помощника и заснул тотчас, не раздевшись до конца. На заре он вскочил и в одном белье сел за стол. Голова его гудела, горло пересохло.

— Так можно сойти с ума, — сказал он громко. Фэнм попрежнему поскрипывали. Кэльберг выключил моторы, и ветерок замер. Но от тишины стало жутко.

— Плюю! — сказал Кэльберг, — плюю! К чорту! От Гамбурга до Берлина два шага. Я поеду в Смаргендорф. Там можно будет подумать. Непременно.

Он позвонил лакею и велел укладывать вещи. Пароход отпирывался в два часа пополудни.

— Отлично, — бормотал Кэльберг, раскуривая трубку, — отлично!.. Я пойду к Алоизию...

Ему вспомнился крутой и кокетливый изгиб моста Тройх на Шпрее. Он любил этот мост в предвечерние осенние часы. Раз в год на этом мосту его посещала муза, и тогда он бежал домой, торопясь записать рифму, которая через день казалась ему тяжелой и глупой...

Он шел по мосту с палкой в мохнатом пальто. Его лицо облизывал берлинский ветер влажным и холодным языком. Это было чертовски давно, еще тогда, когда жизнь ограничивалась стенами лаборатории и зеленым полем бильярда. Теперь он больше не пойдет на мост Тройх. У него слишком много важных и спешных дел. Он будет читать, он разберется во всей сумме впечатлений, он проанализирует и подведет итоги.

— Герр Кэльберг?

— Добрый день, мой мальчик. Все обстоит прекрасно. Как вы спали?

— Благодарю...

— Вещи отправлены, через час мы поедem.

В кабинете, очень грустные, шелестят фэны. Кальберг говорит им:

— Прощайте! Не сердитесь на меня за то, что я столько времени просидел перед вами голым. Я некрасив, знаю... Прощайте!

Лифт падает стремительно и неслышно. Пирри уже в авто. Лакей ставит к шоферу последний чемодан.

Солнце. Лакированные доски вывесок. Отряд аннамитов. О, эти аннамиты! Нужно посмотреть направо. Там Сычуг. Там фабрики. Там...

— Ваши каюты? Да вот, рядом. Сто девять, сто десять. Сейчас вам пришлют боя.

— Алло, Рэджи! Мы, должно быть, никогда не приедем больше в Шанхай?

Чуть слышно звякнул стакан.

Пароход отваливает.

— Наверх, Рэджи! Я так много потерял и так много приобрел в этом городе. У меня нет больше спокойствия, я потерял спокойствие, кажется, навсегда. Я приобрел...

Море лимонного цвета. Сампаны, джонки, буксиры, плоты — все это редет, и Шанхай будто расплывается в раскаленном солнце. Бронзовым пламенем горят стекла селтлемента. Море лиловеет. Доски палубы пахнут горячей краской. Кальберг поднимает руку.

— Шанхай! — говорит он — Шанхай!

Потом он непонятно хрюкает и спускается в каюту.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО ЖИВЕТСЯ

Эрнст-Пауль Ганцке сел на край кровати, еще не совсем проснувшись. Слышно было, как Анна приготавливала кофе и как тяжело и трудно дышал Готлиб за дверями.

— Доброе утро, Анна, — сказал Ганцке, высунувшись в столовую. — Доброе утро, бабушка...

Эта старуха, которую вся семья называла бабушкой, осталась в наследство от бывшего владельца квартиры и жила на грошовую пенсию.

Готлиб не проснулся даже тогда, когда глава семьи, стуча сапогами, прошел через его крохотную комнатку. Парню было плохо. Во сне он стонал и ругался. Ганцке постоял над

сыном несколько минут, прислушиваясь к стонам и почесываясь спросонья.

— Плохо, плохо, — сказал он. — Очень плохо.

Стоя перед зеркалом, Ганцке думал о своей дрянной наружности. Его не беспокоила некрасивость собственной персоны, его волновала та корявость, о которой с ним недавно говорил сам герр Пфээк.

Ганцке постарался вытянуться по-военному, но из этого ничего не вышло. Кривизна осталась кривизной. Снаряд разорвался с правой стороны и вывернул старика налево. Врачи долго удивлялись, как он остался жив. У посторонних людей создавалось такое впечатление, как будто старик секретничает с теми, кто находится слева, и боится тех, кто почему-либо очутился справа. Ганцке был вывернут настолько, что даже волосы его лежали в левую сторону, и смотрел он преимущественно налево. Но Ганцке был здоров и крепок. Хромота не мешала ему быстро и ловко двигаться, косые глаза не мешали остро видеть. Так было до самого последнего времени. Но три месяца тому назад директор герр Пфээк, остановившись у котла номер девять, поманил старика к себе пальцем и сокрушенно сказал:

— Вам нужно лечиться, герр Ганцке. Я ценю в вас превосходного работника. Но здоровье прежде всего. Здоровье — основа благополучия. Что? Вы согласны? Я ценю в вас также умную голову. Ваш дед работал у моего деда, ваш отец у моего отца, а вы у меня. Но болезнь, ах, болезнь... Нужно лечиться...

И герр Пфээк, почесав бок у котла, будто котел был кошкой или собакой, вышел из цеха.

С того дня Ганцке стал присматриваться к себе. Он искал болезнь. Он даже ходил к доктору. Доктор был мал ростом, ссутуля и кивал головой, как заводная кукла. Получив свои пять марок, он сказал, что у Ганцке имеется некоторое затвердение верхушки, а какой верхушки — Ганцке не расслышал. Поразмыслив, он остановился на том, что затвердение верхушки значит затвердение головы («Какая же другая у человека верхушка?»), но Анна это предположение отвергла и посмеялась над мужем вволю. Сыну же старик постеснялся рассказать о своем посещении врача и о разговоре с Пфээком, так как Готлиб был замкнут и зол.

— Верхушка, — бормотал Ганцке тогда: — верхушка! Откуда Пфээк знает подробности, если врач столько времени выслушивал...

Ганцке решил лечиться собственными средствами от не-

известной немочи. Купив в аптеке карлсбадской соли, он глотал ее шесть дней подряд. Потом он насыпал горчицы в носки и преспал в этих носках ночь с субботы на воскресенье. В воскресенье курс лечения был торжественно закончен, и немочь позабыта.

— Я здоров, — сказал Ганцке — и баста. Никаких вершушек!

Он, действительно, был здоров. Сейчас, стоя перед зеркалом и расчесывая гребенкой бороду, он чувствовал себя прекрасно. Руки после сна были тверды, и мускулы окрепли за ночь для новой работы. Потягивая кофе, старик даже кряхтел от избытка сил.

— Сядишь, — сказал он Карлу и подвинул ему стакан. Правда, они вчера поругались, но это ничего не значило. — Как спалось?

— Отлично! — Он ел хлеб без маргарина и тянул кофе. — Отлично. Что Готлиб?

Старик молча покрутил головой и показал на дверь.

— Тише, а то услышит. Очень неважно...

Они пили кофе и тихо разговаривали.

— Мое значение, — Эрнст-Пауль Ганцке постучал по столу костяшками пальцев, — мое значение! Стоило мне сказать пару слов, и ты на работе. Что, не правда?

— Положим, не пару слов...

— Я пришел к герр Вислингу и сказал: герр Вислинг. У меня есть один знакомый парень, но беспашабадная голова. Он немного гуляет с девочками, — вот как я сказал, — и немного пьет, но я знал его отца — его отец порядочный человек, — я соврал герр Вислингу, — его отец порядочный человек, — и мне бы хотелось поставить парня на ноги, я обещал это его отцу на высоте 103 в пятнадцатом году, когда он умирал от раны в область живота...

— И что же?

— Ничего. Герр Вислинг спросил, не занимаешься ли ты политикой. Нет, — сказал я, — упаси бог. Что касается девочек... Мы посмеялись с ним, с герр Вислингом, и он велел мне поручиться за тебя. Я поручился...

— Зачем?

— Как зачем?

— Да поймите, герр Ганцке, что из-за меня вы потеряете работу, чорт возьми. Не буду же я сидеть сложа руки.

— Тебя никто не заставляет сидеть сложа руки, но не будем тебе и воевать с нами. Ты молод! Ты голоштанник! Сделайся прежде всего человеком...

— Бросьте, герр Гандке. Вы гордитесь тем, что ваш Вислинг взял меня по вашей рекомендации, а сколько меня опупывали и как меня расспрашивали, этим вы почему не хвастаете?.. Не просил же я вас ручаться за меня и устраивать меня...

— Ты должен сделаться человеком, Карл...

Они ушли вместе, поругиваясь понемножку. Он спал у них в столовой на диване и ел их хлеб. Он ничего не мог заработать. Два раза в месяц он регистрировался в штемпельштелле. Синяя краска жирно расплзлась в его билете. Безработный. Он стоял в очередях и слушал разговоры о войне, о голоде, о детях, о кессонной болезни, опять о голоде. Находились чудаки, которые могли говорить о жратве. Где-то очень далеко через вереницу людей хлопал штемпель... Иногда шел дождь, тогда они покорно мокли, нахлобучив пониже шляпы и кепи, иногда грело солнце — они покорно потели...

Это была относительная покорность, конечно. Сытые, хорошо одетые люди обходили очередь и старались не оглядываться. Весельчаки-безработные нередко шутили...

Очередь двигалась медленно. Он подружился тут с кое-какими ребятами, они штемпелевались в один и тот же день. У них были свои крутые разговоры. Их слушали.

— Объясни им, — сказал однажды старик-швейник и отвел Карла к своим — там шел спор по поводу платежей. Он объяснил.

За все это время он только два дня работал, выгружал из вагонов лес — доски.

На металлическом заводе, на котором он прежде работал, организацию разгромили, он не мог никого найти, потому что потерял связь с ребятами. Часть коммунистов с завода сидела в тюрьмах, часть ушла в подполье.

Он разыскал только двух человек, Либрехта и Гейнике. Они ссудили его деньгами, он не мог больше так жить, и помогли искать работу, но он ничего не нашел. Ему уже хотелось напиться или заболеть и подохнуть — слишком паршиво складывалась жизнь, но Гейнике привел его в пивную, и он там встретил целую пачку своих. Они качали его — папи Карл, сукин сын, — и напоили его пивом допьяна. Невдалеке сидела пара шупо. Компания не казалась им подозрительной. Карл рассказывал — Фребель, Канне, свекловица, побег. «Вот здорово!» говорили они и хлопали ему. Он видел, какие у всех ребят глаза, немного пьяные, с огоньками, — настоящие парни! Ему делалось тепло, —

право же, он обалдел от почтенного Эрнста-Пауля Ганцке с его правоучениями (нет хуже высококвалифицированных рабочих), от большого Готлиба, от молчаливой фрау Анны.

Он растрачивал свой запас энергии, он говорил этим разным старикам и юношам, он обрабатывал их, а набраться энергией было неоткуда. А тут сидели именно те, без которых ему очень трудно. И тут он заметил в первый раз, что его ценят и очень любят, что его слушают и называют: наш Карл. А когда такие ребята говорят: наш Карл, — это значит взрослый, коммунист, крутой, оратор, заправила, побольше бы таких.

Он вовсе не задавался, а был просто горд и даже обнял кого-то и сказал в заросшее шерстью ухо:

— Ладно, товарищ, если они зарезали нам эту забастовку, то не зарежут сотню. А? Как ты думаешь?

С ними выпил и хозяин, высокий и стройный мужчина с золотыми усами, и прислал им в кредит очень порядочного отварного картофеля с луковым соусом. У них не было денег, безработица, дети, семья, им туго жилось.

Уже ночью они выбрались все на улицу. Теперь у него опять были ребята, он шел один, вразвалку, без шляпы, подставляя конопатое лицо влажному ветру. У цирка Вуша проститутка взяла его под руку и заглянула ему в глаза. Он не отогнал ее. На ней была черная шляпка с отогнутыми полями. Они шли пешком очень долго, до самого Экзерцир-плаца, и только там сели в подземку. Уже никого не было в вагоне, он смотрел ей в глаза — очень хорошие глаза женщины, не умеющей притворяться. Конечно, она была накрашена. Потом они вышли где-то у чорта на рогах, он заметил только пустые витрины молочной торговли.

— Вот тут я живу...

Она остановилась в нерешительности, потому что он взял ее за локоть и сказал так, как не говорят таким женщинам:

— Ей-богу, тебе не очень хочется этого. Вот все мои деньги. Раз, два, три... — Он всыпал в ее руку даже мелочь. Она взяла, а он еще пожал ей локоть и предложил немного походить и поговорить. Она пошла.

Прямые улицы окраины, железные решетки жалких балконычков, нищета, к которой он так привык. Вот настоящий человек! Ей хотелось плакать из-за него: он говорит с ней, у него большое круглое лицо, от него пахнет пивом и потом, а он не трогает...

Она сказала ему, что она чулочница-упаковщица, что

она знает бухгалтерию и стенографию, а работы не было, и у нее двое ребят от первого мужа — сволочь, развратник, очень хорошие ребята, но они у тетки, иначе бы им пришлось сидеть всякую пакость, и католический союз отобрал бы их у нее. Он слушал, глядя себе под ноги. На мосту они посидели немного, им было холодно, вонючий ветер обдувал им спины.

— Посмотри-ка! — Там прямо из воды росли фабрики, светились тысячи окон, оттуда шел гул и грохот, ежедневно там возникали обвалы. — Вон там я работала.

Она прижалась к нему, чтобы спрятаться от ветра, он обнял ее и сейчас же отпустил — сквозь вытертое сукно жакета он почувствовал тепло ее тела и как следует обругал себя.

— Все это скоро лопнет, дочка, — сказал он ей хриплым голосом, — оно ~~слышным~~ завоняло. Посмотри, что сделала Москва...

— Что?

— Там немного иначе, чем у нас...

Ему очень хотелось говорить, он видел, как светится ее лицо под полями шляпки. Он говорил про Москву и про Макса Гельца — пусть-ка подумает на досуге про реформистов и социал-демократию.

— Ты коммунист?

Он кивнул. Я — коммунист. Он проводил ее до дому и не взял назад свои три марки, которые она старалась втиснуть ему, и не пошел к ней, хоть и было очень трудно не идти. Еще раз он сказал ей: «дочка», помахал рукой и зашагал к себе в Моабит навстречу веренице красных машин — где-то начинался пожар. Он миновал асфальтовый завод, фабрику военной амуниции, оружейный завод. Граненая брусчатка тротуара пела под его шагами. Он посмотрел на багетные часы. Стоит ли заходить домой? Толпа ребят повстречалась ему, они шли на работу со своими термосами и продуктовыми мешками.

— Бодрее, сынки! — крикнул он им. — Подберите штаны!

Они засмеялись, кто-то спросил его, что он за птица.

— Пе-ли-кан, — ответил он по слогам и захохотал.

Он однажды дошел до того, что посоветовал Эрнсту-Паулю Ганцке шутить остроумно. Он сказал тогда, что у него от острова Эрнста-Пауля Ганцке ноют коренные зубы.

Это ли не нахальство?

Старик Ганцке поднимает руку.

... Я прошу тебя, — говорит Ганцке, — я прошу тебя выслушать хотя бы из уважения к моим сединам...

— Хороши седины...

— Не перебивай...

— Я говорю: хороши седины, герр Ганцке, когда у вас нет седых волос... Вы же совсем блондин. Ставлю месячное жалование...

Он еще смеет спорить!... Разве это не глумление?

— Ты молод, — ворчит старик, — ты мальчишка, но ты невежлив и дерзок. Кроме того, ты непочтителен и ведешь безобразные разговоры. На что это похоже? Есть ли у тебя хороший праздничный костюм? Нет! Тебя прогонят за дерзости и за разговоры. Прогонят. Понимаешь?

— Вас тоже прогонят...

— Ну, ну... меня слишком хорошо знает герр Пфээк. Я — честный человек...

— Все равно прогонят...

— Ну, ну! — уже кричит Ганцке. — Меня не прогонят. Я исполняю свою работу...

— И прогонят!

Ганцке дергает себя за бороду и вскакивает.

— Не сердитесь, — бормочет Карл, — не стоит сердиться. Выгоняют же других, почему не выгонят вас? Неужели выгоняют только лодырей? Ну-ка, ответьте?

— Лодырей?

— Да...

Ганцке припоминает. Но он не может припомнить лодыря. Он дергает себя за бороду, щелкает языком и говорит, стараясь не смотреть на Карла:

— Давай вагонетку.

Ключом Ганцке открывает люк. Из котла идет такая вонь, что кружится голова. Тряпка варится в щелоке. Открыв люки, Ганцке при помощи червячной передачи вращает котлы. Вонь усиливается...

— Пускай бы это дело попробовал Пфээк, — говорит Карл. — Жирная свинья! Его бы вырвало салом...

Тряпка вместе с отработанным щелоком комьями валится в вагонетку. По бетонной канаве щелок уходит вниз. Через несколько минут котел пуст.

— Что вы думаете о респираторах? — спрашивает Карл. — А?

Ганцке не отвечает. Этот мальчишка дерзок. Он говорит ни о чем при всяком удобном случае.

— Воронку!

— Есть, герр Ганцке.

Воронка вставлена в люк. Карл, заложив ноздри ватой, влезает на котел и палкой, похожей на вилы, бросает в воронку пыльное тряпье.

Очень странный человек этот Карл. Он зол и говорит дерзости, но всю тяжелую и вредную работу делает сам, не подпуская к ней старика. Что это за молодежь? Он задыхается, Карл, и так кашляет, точно ему в легкие попала блоха. Он отвернулся к стене.

— Карл!

— Ну?

— Я влезу наверх...

— Оставьте меня в покое!

Воронка с лязгом валится на бетон. Карл утаптывает тряпье ногами. Теперь нужно впустить щелоку — смоченная тряпка занимает меньше места, чем сухая.

— Откройте цапфу, герр Ганцке!

— Готово!

Котел полон. Люки завинчены. Можно немного отдохнуть. Но старика зовут к котлу номер девять. Ганцке — старший. Он отвечает не только за свой котел, но и за все. У котла номер девять работает мерзкая лиса Шванинг. Он облизывается и тычет пальцем в край для спуска щелока. С крапом неладно.

— Позовите ремонтных, — говорит Ганцке. — Тут ничего сделать нельзя.

Фрау Анна сортирует над сеткой. Она распарывает швы, срезывает кнопки, пуговицы, крючки, режет крупное тряпье. Пальцы фрау Анны потеряли мягкость и гибкость. Анна не может наощупь отличить шелк от сатина, и надсмотрщица, фрау Бек, находит в ее ящичке шелк второй раз.

— Вы стареете, Анна, — сказала надсмотрщица вчера. — Так работать нельзя. Мне придется сообщить о вас...

Еще бы не постареть! Двадцать четыре года она работает тут изо дня в день. Двадцать четыре года ее легкие пропитываются пылью. Ее мокрота серого цвета. Это что-нибудь да значит! Эрнст советует пойти к врачу. Но врач же фабричный. Он непременно проверит ее зрение, а проверка кончится плохо. Фрау Анна вздыхает. Она очень устала — и не только от сегодняшнего дня. Разве можно было думать тогда, что жизнь сложится так скверно?.. Эрнст ходил с нею в кинематограф. Он носил серый в клеточку костюм и

смеялся странным басом. Потом они поженились, родился Готлиб.

Фрау Анна опять вздыхает.

Это было тяжелое время. Эрнст воевал. Она поступила на фабрику, Готлиб остался без присмотра. Он рос скупым на слова, замкнутым мальчиком. Еще бы. . Приходилось голодать, питались картофельной шелухой, и шелуха-то казалась счастьем. Эрнст вернулся контуженным...

— Что случилось, фрау Ганцке?

— Ничего особенного, фрау Бек. . Я немножко порезала себе палец. Нож такой острый...

— Пойдите в амбулаторию...

— О, нет. . Благодарю вас... Совсем маленький порез!

Еще бы! Пойти в амбулаторию! Врач непременно проверит ее глаза, потому что они... или пальцы... Он в темноте даст ей сатин и шелк. Это старая удочка. Она знает. Он всегда прицепляется, если попадешь к нему. Слишком много безработных в Берлине для того, чтобы считаться с нею, с фрау Ганцке, и с тем, что лечение Готлиба стоит таких денег. Мальчик совсем плох. Проклятая ртуть!

А Эрнст мирится со всем и все благословляет. Он сказал, что у самого герра Алоизия Пфээка умерла дочь. Но от чего умерла? Обьелась! Не от ртути она умерла, в конце концов...

Фрау Ганцке распарывает шов. Ее выработка падает с каждым днем. Плохо это кончится. Сегодня опять ящик не полон на четверть! А разве можно по-настоящему работать с такими мыслями? Доктор говорит, что Готлиб должен хорошо питаться. Масло, яйца, молоко. Зачем он это говорит? Смешно слушать такие вещи. Наверно, доктор хорошо зарабатывает. Наверно, его никто не штрафует. Наверно, пятьдесят, сто марок для него суший пустяк...

Звонок. Рабочий день кончился.

— Фрау Ганцке, я должна вас предупредить...

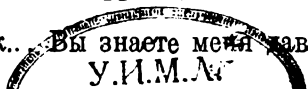
Передние зубы у фрау Бек вылезают наружу, и слюна кипит в уголках ее губ.

— Ваша выработка...

— Я нагоню завтра, фрау Бек... Я непременно нагоню завтра... Вы увидите.

— Вы неоднократно обещаете нагнать, фрау Ганцке, но обещания остаются обещаниями. Герр Пфээк не потерпит никакой лености...

— Я не ленюсь, фрау Бек... Вы знаете меня давно... Я никогда не ленилась.



— Раньше вы работали прилежно, и я вас ни в чем не обвиняла, но теперь...

— У меня тяжело болен сын. Мой Готлиб...

Фрау Бек поворачивается и уходит. Она не желает больше разговаривать. Красные кирпичные стены сортировочной не то от пыли, не то от слез кажутся розоватыми.

— Будь ты проклята, такая жизнь!

На улице ее ждет герр Ганцке. Капли дождя ползут по его бороде.

— Почему у тебя завязан палец, Анна?

— Порезала...

Смена выходит из ворот. Глаза у людей тяжелые, и шумок не слышно. Сзади кричит Карл:

— Я сегодня опять ночую у вас, герр Ганцке. Право же, мне стыдно, вы слышите? Но мне негде ночевать...

— Ладно, ладно!

Берлин завяз в мелком осеннем дожде. Автомобильные шины оставляют за собой едва различимый след — елочкой. Муж и жена идут молча. Их обгоняют рабочие.

— Славная погодка, — говорит герр Брундель, длинный и тощий человек с птичьим лицом, — славная погодка. Не хотел бы я сейчас сидеть в окопах. А?

— Да, да, очень скверно, — бормочет Ганцке. Ему не хочется разговаривать. Длинный Брундель сообщает что-то насчет предполагаемых сокращений и сворачивает в пивную. Остановившись в дверях, он говорит, дергая носом:

— Скоро и мы с вами отправимся штемпелеваться... Туда... В эту милую очередь...

— Биржа не для нас, — огрызается Ганцке. — Биржа, для лодырей.

Ганцке переодевается в передней. Он хочет войти в квартиру «настоящим человеком» и забыть о фабрике. Часы бьют шесть. Бабушка в белом чепце подает миску с супом. Бабушка очень стара, но все же справляется с хозяйством. Поблескивает слегка накрахмаленная скатерть, из суновой миски валит пар, хлеб нарезан тоненькими ломтиками. Перед прибором главы семьи стоит традиционная кружка с черным пивом.

Ганцке моется двумя сортами мыла и чистит ногти щеткой. Брызги летят во все стороны. Он фыркает и брызжет нарочно, это доставляет еще большее удовольствие.

— Анна! — кричит он, — дай мне полотенце!

Он знает, что полотенце висит над ним, стоит только про-

тинуть руку, по это маневр. Это стариковская шутка. И Анна любит эту игру.

— Ах ты слепая курица, — говорит она, — полотенце тут.

— Да что ты?

— Конечно. Протяни руку и возьми.

— Я не вижу...

— Почему?

— Мыло попало мне в глаза.

— Бедный старик, — говорит она, — давай я вытру...

Ганцке вытягивает шею.

— Теперь ты видишь?

— Вижу!

Но Анна сегодня не улыбается. Ее не веселит игра, которая веселила раньше своей глупостью.

— Что с тобой, Анна?

— Фрау Бек опять устроила сегодня скандал...

— Мерзкая женщина!

Ганцке в жилете и в мягких туфлях идет к сыну. Сын встречает его молчанием.

— Как ты себя чувствуешь, Готлиб? — спрашивает он, стараясь улыбнуться. — Не хочешь ли ты чего-нибудь?

— Нет.

— Ты мерил температуру?

— Да.

— Сколько?

— Тридцать восемь и три...

— Так...

Ганцке садится к сыну на кровать. Он все еще пытается улыбнуться, но вместо улыбки получается гримаса.

— Ты, наверно, скучаешь, Готлиб? Не сыграть ли нам в шахматы, как ты думаешь?

— Отчего же, я с удовольствием...

Глаза Готлиба смотрят на стену, сквозь отца. Его пальцы, перебирая край одеяла, дрожат крупной дрожью.

— Тебе холодно, Готлиб?

— Нет, папа...

Он все молчит. О чем он думает, что он читает? Целые горы книг лежат возле его кровати. Неожиданно Готлиб приподнимается.

— Слушай, папа... Я давно хотел тебя спросить, почему ты несл? Неужели ты не понимаешь? Ведь, ты уже стар, папа. Скоро тебе придется уйти с фабрики. Они... напри-

мер, Алоизий. . Ты сердился на Карла... Только он прав... больше никто...

Готлиб передохнул. Его сухие губы двигались как два отдельные живые существа.

— Слушай... Я отравился... меня выбросили, как... как... Ничего... Суд сказал, что я сам виноват в том, что отравился. Они даже намекали... Будто бы я... нарочно... Адвокат был во фраке... Помнишь? Сколько лет он учился для того, чтобы вот так подличать... Ведь это же подлость, а? подлость? Им выгоднее оплачивать адвоката, защищающего их интересы. Он на жалованьи... Карл... говорит... Я читал даже...

Ганцке сидел, опустив голову. Ему же хотелось смотреть на сына. Сын неправ, Ганцке уверен в этом... Но почему же тогда?..

— Меня выбросили как старую метлу... Меня выбросили и не вспомнили обо мне. Карл говорит, что их надо уничтожить...

— Готлиб!

— Я знаю, знаю... Ты скажешь, что профсоюзы... Постепенно... Очисти свои мозги от мусора! Что сделал союз, когда меня выбросили!? Представитель беседовал с администрацией. Бе-се-до-вал! Разве с ними можно беседовать? И когда рабочие хотели бастовать, то этот... я забыл... высокий, в шляпе... он пообещал, что наше отравление не пройдет администрации даром. А потом зачинщиков забастовки выкинули с завода... И наше отравление прошло даром. Даром.

— Готлиб!

— Я скоро подохну, я знаю... Мне жалко умирать... Мне жалко. Я хочу жить. Я знаю теперь, что нужно делать для того, чтобы жить. Вот вы... ты, отец... ты мне враг...

— Что ты говоришь, Готлиб?

— Я знаю, что я говорю. Ты враг! Тебя ни разу не выгоняли, и ты уверяешь всех, что все обстоит прекрасно. Ты маленький помощник Алоизия Пфээка. Ты очень близок к тому, в шляпе... Мать понимает... Она ненавидит их. А ты закрыл глаза и кричишь: «все хорошо». Твой сын подыхает... от туберкулеза... А ты... Тебя возмущают забастовки. Ты уверен, что обо всем можно договориться мирным путем. Ерунда... ложь... Тебя подкупил Алоизий теплым местечком... Ты ешь суп... ты пьешь пиво... и за это ты продаешь своего сына. . Я никогда не говорил... но

теперь говорю... Тебя нужно растолкать... На таких, как ты, держится Пфээк... В России...

— Там голодают, Готлиб!

— Пустяки... Ты не хочешь прочесть ничего дальше своей газеты. Там написано, сколько Пфээк пожертвовал на богадельню... Но там не написано, сколько Пфээк содрал с вас... Не написано... сколько человек Алоизий оставил нищими... Твоя газета! Я сам читал раньше такую. Сам! Я тоже верил...

Готлиб закашлялся... Он кашлял долго и глухо, потом попросил воды. Ганцке молчал. Он не знал, что ответить.

— Дай шахматы.

Старик пододвинул кресло и столик к кровати. Сын лежал вытянувшись, очень худой. Глаза его недобро блестели, спутанные волосы откинулись, обнажив костистый лоб.

— Знаешь, — сказал он вдруг мягко, — знаешь... Карлу двадцать два года... Но три из них он просидел в тюрьме... Хитрый парень, ему удалось не умереть с голоду после одиночки. Может быть, ты сообщишь Алоизию, что на его фабрике работает коммунист?

Ганцке вскочил. Он был оскорблен, и губы его непослушно прыгали:

— Готлиб... ты...

— Что я?

— Ты... ты... Я никогда не доносил... Я был... убежден...

— Был?

Старик спохватился:

— Был... и... есть... и буду! Но я никогда не доносил. Я считаю... У меня есть свои убеждения... Если хозяин даст возможность работать, он оказывает...

— Любезность? Благодарение? Тем, что выколачивает тобою деньги?

— Мы никогда не договоримся.

— Возможно... Давай лучше играть в шахматы...

Ганцке сел насупившись. Воротничок давил ему шею; он повесил его на стенку и буркнул:

— Оставь меня в покое.

Готлиб улыбался. Его знобило, но он не показывал, что чувствует себя плохо, и подшучивал над промахами отца. Скоро он устал. Старик укрыл его вторым одеялом и ушел, тихонько притворив дверь. Ему было беспокойно после этих слов Готлиба, мысли упрямо и хозяйственно располагались в его мозгах, как у себя дома. Мысли же были не

его мыслями, а чужими, такие мысли он считал ненужными и пустыми.

Анна спала на широкой кровати, ее губы были полуоткрыты, и рука свешивалась вниз. Ганцке осторожно подняла руку и положил рядом.

— Так тебе будет удобнее, — сказал он тихо и вздохнул. Как она постарела, его Анна. Она совсем седая... давно ли у нее были широкие, полные бедра и грудь, которой все завидовали. Если бы Анна родила сразу дюжину детей, то и тогда ее груди хватило бы для того, чтобы выкормить всех... А руки? У нее были полные, белые плечи и сильные руки. Она без всяких усилий выполняла какую угодно работу. Ей ничего не стоило одной перетащить шкаф из столовой в спальню... И хоть бы что! Тогда даже он удивлялся. А теперь она кашляет и не спит по ночам. Никто бы не поверил, что она была здоровой и крепкой женщиной. Конечно, годы дают о себе знать. Но и работа... Эта вечная пыль, которую втягивают легкие. Десять часов сортировать тряпье...

— Что ты, Эрнст?

— Ты уже проснулась? Я разбудил тебя, Анна?

— Нет... Немного болит палец...

Вечером приходил Карл. Старику хочется показать, что он вовсе не зол на молодежь, и, заведя граммофон, он несет его в комнату. Готлиб морщится. Но ему жаль огорчить отца, и он говорит:

— Хорошая штука, не правда ли, Карл?

— Отличная, — соглашается Карл.

Лампа завешена зеленым платком, в комнате полумрак. Готлиб покашливает. Ганцке вдруг вспоминает, что в молодости он подражал животным и получалось не плохо.

Начинается представление.

Старик кричит петухом, мяукает, воеет, лает сен-бернаром и фоксом, кудахчет, крикает уткой, хрюкает и, в заключение, издает страшный, ни на что не похожий, низкий и хриплый крик.

— Это, — поясняет он сконфуженно, — это крик осла.

Никто не смеется.

— Да, — бормочет старик, — да, на фронте я умел смешить людей... У моих ребят лопались кишки от хохота... А теперь...

К десяти часам вечера, промокший и продрогший, он пришел в шивную и сел в углу возле окна. Ребята уже со-

брались. Он пожал руки Мюленцу и Эрману, секретарю фабричной ячейки, и Трауте Мандль, девушке из сортировки. Они сидели, очень близко придвинувшись друг к другу, все девять человек, пили пиво и разговаривали не очень громко и не очень тихо, иногда Бауер из тряпковарочного смеялся, для того чтобы не навлечь подозрений... Они не боялись ни быков,¹ ни зеленых, но тут плясала всякая оwoлочь вроде Клинкорума, и нечего было распускать языки раньше времени: печатный орган — тонкая штука, его нельзя завалить с самого начала.

Говорил Эрман. Карл слушал, жуя жесткие сосиски и глядя в тарелку. Трауте пила маленькими глотками фруктовую воду. Гехт, кочегар, потирал виски ладонями — у него здорово болела голова. Потом взял слово Мюленц и сразу же заявил, что это дело надо поручить Карлу и точка. Карл поднял глаза от своей тарелки. Мюленц говорил спокойно, не выпуская трубки из рта. Его щеки и шея поросли жесткими серыми волосами. Маленький нос как бы тонул в непроходимом этом сплетении шерсти. Нос был красен и, казалось, орал: спасите, гибну, щетина засасывает меня...

Карлу стало смешно и тепло. Он похлопал Мюленца по колену и вытер жирные губы ладонью.

— Есть, капитан, — сказал он и оглядел всех, сидящих за столом. — Есть!

Машинку и ротатор решили достать в райкоме.

— Заимообразно, — сказала Трауте, — потом мы им вернем деньги, в чем дело.

Они сидели в пивной еще долго. Их столик дымил как паровозная труба. Даже Трауте взяла у Штернберга папироску и притворилась, что умеет курить.

Разговор шел о котле М.-К. 01 и о предстоящем сокращении. Карл вынул блокнот и карандаш. Попутно они набрасывали план номера — первого номера оппозиционной газеты. Они должны были ударить по бонзам и чиновникам, по авторитетам, по реформистам. Ударить насмерть, расшибить. Не могло быть и речи о том, что всякое начинание чревато ошибками, хотя бы только потому, что оно начинание. Никаких ошибок! Каждое слово в новой газете — гвоздь, железный гвоздь, забитый до самой шляпки. И нужно, чтобы это было зло, а не кислосладкий луковый соус. И чтобы это было смешно, и чтобы остроты из газеты

¹ «Бык» — на берлинском уличном жаргоне — провокатор, сыщик, шпиик.

ходили по цехам, и чтобы герр Алоизий Пфээк как следует почесался в своей стеклянно-бетонной комнате и вызвал бы Клиникорума и накричал бы на него так, чтобы из старика посыпался песок в двойном количестве.

Потом они придумали название для газеты «В бой», и так как уже неудобно было сидеть и ничего не заказывать, то они потребовали еще по куфелю пива и выпили за название, за газету, за то, за что дрались.

Около часу ночи они вышли на улицу. Эрман насвистывал «Нет у нас бананов».

— Проклятая песня, — сказал он, — ее поет каждый дурак. — Он взял Карла под руку и сказал не очень внятно, но Карл понял: — Пахнет порохом, дружище, здорово пахнет порохом. Будет драка.

Они попрощались с ребятами и пошли пешком, ступая в лад. Их ботинки поскрипывали.

— Бей капиталистическую рационализацию, — говорил Эрман и поглядывал на Карла сухими, узкими глазами, — лупи ее смертным боем. Поговори об инженере, об этой толстой свинье. Круши и ломай систему на частности, понимаешь? А не от системы к частности. И... мы не уступим. Должно быть понятным, что в случае чего мы объявим дикую забастовку. Плевать мы хотели на бонз. Итак, води линию, чтобы раскрыть глаза на поведение бонз... На всякие их запрещения...

Карл молчал. Он не очень слушал Эрмана. Опять итти к Ганцке? Чорт их возьми! Буфет с эмалированными дощечками — рис, сахар, овсяная, чай, кофе... Чорт их возьми вместе с ихним граммофоном!

— Где ты живешь?

— Я? Ночую у одного честного социал-демократа...

— Погано?

— Погано ли? — Карл засмеялся. — Нет, ничего! Они хорошие люди, но мне иногда хочется взять полено и бить их по головам, по дубовым головам...

Эрман молчал. Они стояли возле двери того дома, в котором он жил. Ночной ветер, спокойный и ровный, пробежал мимо них раз и другой. Проститутка попросила закурить. Эрман дал ей папироску и спокойно велел проваливать дальше.

— Будешь жить у меня, — сказал он негромко. — У нас одна комната, но мы поставим вам обоим ширму...

— Кому — вам?

— Тебе и Лауберу

Какому Лауберу?

— Свой парень.

Карл усмехнулся и сдвинул шляпу на затылок. Ему опять стало тепло, как давеча в пивной.

— Спасибо, Лео, — сказал он, — но я провалю все дело к чорту. У меня сертификат.¹ И не очень надежный.

Эрман вынул папиросу изо рта и захохотал хриплым басом.

— Идиот! Я поляк из Познани. Меня зовут Казимир Ягич. Понял? Десять лет каторжных работ за восстание на канонерке. Ребята сработали мне сертификат — и вот ничего, Лео Эрман, чорт подери... Пойдем!

И опять глаза у него стали узкими и сухими. И он сплюнул, оттопырив губу, и притворился сердитым для того, чтобы обмануть жену и сказать ей, что потерял всю получку, а потом вынуть деньги и опять засмеяться — знай наших, Сусанна, налей нам за это чаю.

В боковом кармане он нес ей новое шерстяное кашне. Они поженились четыре месяца назад. Она работала организатором на заводе хирургических инструментов, и Карлу сразу понравилось ее открытое, яркое лицо.

Карл не сразу нашел Мюленца.

— Вон там они скандалят, — сказал ему молодой парень в драном свитере и показал наверх. Бройр поднялся по ступенькам. Поручни дрожали. Кисло пахло свежим деревом. Горячая вода лилась вниз по кафельному жолобу. Лязгали цепи фойтовских дефибреров. Он застал Мюленца возле шахты... Тут собралась целая толпа рабочих с лесномассного завода. Карл еле пробрался внутрь круга. «Пшел к чорту!» Его толкнул даже кто-то локтем в грудь. «Ну-ну, не драться!»

В центре друг против друга стояли Мюленц и председатель фабкома Ральф Клинкорум. Мостки покачивались и вздрагивали. Желтый свет электрических ламп старил лица, углублял морщины, полировал лысины. Скандал, видимо, уже кончился. Мюленц вытирал потную шею огромным рябым платком и криво улыбался.

— Ладно, — сказал он, отворачиваясь от Клинкорума, — ладно, чорт вас возьми! Дело покажет, за кем пойдут ребята — за тобой, старая песочница, или за нами...

— Что?

¹ Сертификат — поддельный документ.

— Ничего! — Он положил руку на переключатель подвесной дороги и зажег сигнальную лампу. Пустая вагонетка затарахтела, вздрогнула и медленно поползла по блестящему от масла рельсу. У стены она на секунду задержалась, как бы раздумывая.

Через полчаса газета пошла по фабрике. Карл пустил ее через древесномассный завод — на нем работала большая половина своих ребят. Он припес две сотни экземпляров, по пятидесяти штук, Мюленцу, Штиленгу, Адольфу, Лауберу и старику Брейну. Сотню он дал кочегару Вернеру Эсвальду. Парень раздал все в несколько минут и прибежал в тряпковарочный за второй порцией. На гроих рабочих по номеру. Неплохо для начала.

Котлу приготовили хорошую встречу.

ОТЕЦ ЛЮБИТ СВОИХ ДЕТЕЙ

Угрюмый инженер в клетчатом шарфе отдавал распоряжения хриплым и злым голосом. Люди привозили железо, кирпич, цемент. Для того, чтобы было светлее работать, они поставили два прожектора.

Вначале, когда они еще меряли пол, выстукивали стены и совещались между собой. Карл сказал:

— Пахнет новостями, герр Ганцке, вы не находите? Менять котлы еще рано, пол накатывать поздно. Что вы об этом думаете?

Ганцке обозлился и послал Карла к черту. Все это, конечно, чепуха, но почему-то ему было не очень спокойно.

А постройка шла ровно и быстро: яма, фундамент, ферма и наконец сам котел...

Трещали пневматические молотки, инженер в клетчатом шарфе курил вонючие сигары, каменщики бетонировали основание — огромную площадку, на которой, пожалуй, можно было танцевать.

М.-К. 01. О нем говорили везде, об этом проклятом котле, решительно везде.

Уже стало трудно работать. Треск молотков за спиной раздражал и бесил. Чужие люди распоряжались в тряпковарочном так, точно они сами были хозяевами. Старые честные котлы еще работали, но за ними не следили, о них не беспокоились. Они доживали свою жизнь...

И разговоры, разговоры...

Сеточник Кернер в обеденный перерыв остановился возле Ганцке и сказал ему коротко и зло:

— Я понимаю, что вы не боитесь остаться без работы, коллеса, но я не понимаю, как вы можете ходить и поплевать на судьбу своих товарищей! Я не понимаю...

Четыре раза Карл преподносил ему номера новой газеты «В БОЙ». Он прочитывал и возвращал парню.

— Ну как? — спрашивал Бройр.

— Глупости.

— Почему глупости?

— Потому что фабком не позволит выбросить на улицу безнаказанно 48 человек...

— Какой фабком?

— Как какой? Наш...

— Клинкорум?

— Да, Клинкорум! Ты слишком молод, Карл, слишком молод...

— Ладно, посмотрим...

В ночь с шестое на седьмое, незадолго до пуска котла, в цех пришел Алоизий Пфээк. Он блаженно ворковал, точно дирижируя размахивал руками и очень мило ответил на поклон Ганцке.

— Привет! — сказал он. — Мастер варит тряпку, не так ли? Все прекрасно в этом мире... Как здоровье уважаемого Готлиба?

Ганцке был польщен. Сам директор осведомился о здоровье Готлиба. Это что-то да значит.

— Готлиб очень плох, герр директор. Мы не надеемся...

— Ну, ну, ну, какие грустные мысли, герр Ганцке... Бог милостив, не надо терять надежду... Моя дочь...

Директор извлек из кармана голубой фуляр и помахал им в воздухе.

— Моя бедная девочка, она так любила котят... Она всегда носила их в передничке, знаете — вот так...

И герр директор, подняв полу пальто, показал, как Розхен носила котят в своем фартучке.

Ганцке высморкался. Побольше таких директоров — и рабочие жили бы прекрасно... Директор разговаривает с ним, с простым тряпковаром, как с равным. Он даже положил свою руку на его плечо.

Где Карл? Ему следовало бы посмотреть. Мальчишка возится у котла и не желает обернуться.

За гробом Розхен шла вся фабрика, кроме той смены, которая работала. Это были торжественные похороны. Ганцке, узнав о смерти дочери директора, произнес речь в своем отделении, и рабочие купили венок... Отличный венок! Прав-

да, он почему-то пахнул корицей, но на кладбище этот запах выветрился...

А какие речи произносились на могиле дочери герр директора! Даже представитель социал-демократической партии, уважаемый герр Зеллинг, выразил свое соболезнование.

Горе директора было велико. Два дня он не появлялся на фабрике... Еще бы! Единственная дочь. Карлу следовало бы убедиться, что Пфээк знает горе... Его дед был мастером на фабрике, и сам герр Алоизий знает производство до тонкости. Он может поспорить с любым рольщиком или сеточником. Он сам себе инженер... Всех старых рабочих он помнит в лицо. Где найдется еще такой директор?

Наконец Карл обернулся. Он разглядывает директора сверху, со своих мостков, как уличный мальчишка улитку. Директор квадратен и очень мал ростом. И директор во всем черном. Черная шляпа, черное пальто, черное кашне.

— Мастер варит тряпку, — говорит Пфээк, — но мастер стар, очень стар... Не бывает ли недоразумений?

— Мне сорок шесть, — говорит Ганцке. — Разве это старость? Вот только контузия...

— Мастер стар, очень стар... Ему нужно лечиться и отдыхать. Ему непременно нужно отдыхать. Прежде всего здоровье...

Что это Карл? Что он делает? Он смеется? Да, да, он смеется... Его зубы блестят. Он смотрит сверху с мостков на Пфээка и смеется захлебывающимся смехом. Потом он закрывается локтем...

— Молодому человеку смешно? — спрашивает Пфээк тоненько. — Почему молодому человеку смешно? — осмелюсь спросить.

— Не открывай котел, — орет Ганцке, — щелок не спущен. Не смей открывать, ты сойдешь с ума от кашля...

Пфээк насвистывая обходит варочное отделение. Около котла номер девять он останавливается и разговаривает с рыжей лисой Шванингом.

— Герр Ганцке?

Пфээк улыбается так, что брови его шевелятся. Он улыбается всем лицом. Ганцке кажется, что у директора двигаются от улыбки даже уши.

— Герр Ганцке... Вы дали распоряжение шестого числа вызвать ремонтную... Вентиль был забит кристаллами... Что вы об этом думаете?

— Я... дело в том...

— Мастер варит тряпку... Тряпку варит мастер... Варит мастер тряпку... Боже мой, боже мой... старость, герр Ганцке, старость. Всеу есть предел... Отсюда и до сюда, в крайнем случае — немножко дальше... Полтора сантиметра... Делали ли вы свои сбережения?

Рыжая лиса Шванинг понимает все. Он знает, где начало и где конец. Он прячет улыбку внутри, он не желает выпустить ее наружу. Но он чувствует, как улыбка копошится в груди... Подожди, маленький зверек, я тебя выпущу...

— Нет, герр директор... Все сбережения взяла болезнь Готлиба.

— Неразумно, очень неразумно. Ожидаются перемены... Известно ли вам?..

— Что, герр директор?

— Через несколько дней мы установим бучильный котел Матера, переконструированный Кэльбергом. . Прекрасная вещь, но средства, средства... О, герр Ганцке, незавидно быть директором, уверяю вас... Столько забот, столько забот...

Очищается котел номер семь... Щелок бежит по стоку, герр директор морщится...

— Как неприятно пахнет эта тряпка. Вы не находите?

— Герр Ганцке, — кричит Карл, — откройте пар. Сколько литров?

Директор уходит, но в дверях останавливается и говорит:

— Между прочим, герр Ганцке... Страшно жаль... я не могу... обстоятельства складываются... герр Шванинг с завтрашнего дня приступит к обязанностям мастера... И затем... вы можете считать себя свободным со следующего месяца...

Ганцке стоит, широко расставив ноги. Он щурится и ногтями расчесывает бороду. Слов у него нет. Чьи-то очень сильные пальцы сжимают его горло. Он старается стряхнуть эти пальцы...

— ...со следующего месяца. Я не могу позволить себе затруднять вас работой на новом котле. Слишком тяжело для вашего возраста. Каустическая сода... Вагонетки... Крайне тяжело... И ваша контузия... Сейчас у меня пятьдесят четыре тряпковара... Останется только шесть... Пуск работает молодежь... Герр Шванинг, несмотря на свой возраст... все же здоров...

— Но я, — говорит Ганцке, — но я... Что же касается затвердения верхушки, то я...

Герр директор идет по двору.

— Боже мой, боже мой, — бормочет он, — боже мой... Прекрасный старик... Затвердение верхушки... С какой стати котел, если не сокращение рабочей силы? Что я могу сделать, боже мой?

Герр директор поднимает руки к пухлому от облаков небу и спрашивает у неба, что он может сделать. Небо молчит, но туча роняет на директорскую щеку снежинку.

Через пятнадцать минут директор записывает на листочке настольного календаря:

«С первого числа — котел Кальберга. Обратить внимание — окончательный цех. Механизировать упаковку».

— Съели?

На очень короткое мгновение ему становится жалко, жалко до спазмы в горле, жалко до того, что он чуть было не начинает утешать. Но он стряхивает с себя это к чортовой бабушке.

— Съели?

Понемногу собирается народ. Бетонщики в фартуках из клеенки, слесарь, тряпковар Мандль, усатый и невеселый человек, Шванинг, Стефан Мошковец, подручный с сытой рожей мясника.

— Его уже уволили, — говорит Бройр.

— За что?

— За что? Для начала.

Бетонщикам становится тяжело. Они ни в чем, конечно, не виноваты, но им неприятно — этот старик все старается улыбнуться.

— Это недоразумение, — бормочет Мандль, — боже мой, это дикое недоразумение. Надо переговорить с Клинкорумом...

— Брось, старина!

— Клинкорум? Много от него толку!

— Конечно, это недоразумение, — говорит Ганцке, — конечно, недоразумение... Мой отец работал тут и мой дед, и я... Мы все работали тут... Как вы смотрите, герр Эртель? Я пойду в фабком и переговорю, и герр Клинкорум будет конфликтовать. Как вы думаете, герр Эртель?

Герр Эртель молчит и смотрит в сторону.

И Эрнсту-Паулю Ганцке начинает казаться, что к герр Клинкоруму незачем идти, незачем и не для чего — все равно все пропало. Он машет рукой и садится на скамью. Он глядит вниз, на ноги столпившихся вокруг него людей.

Сначала ног много, потом все меньше и меньше, потом исчезает последняя пара — стоптанные тяжелые ботинки Бройра. И он слышит, как о нем говорит подручный Мошковец:

— Говоря по правде, старикан изрядно сдал. Куда к чорту! Если молодые здоровые ребята сидят без дела, то старикам уже вовсе нечего фордыбачить. Верно?

Ему никто не отвечает. Да, пожалуй, Ганцке и все равно, ответят парню или нет. Ему хочется пить, больше ничего.

Такая же, как вчера, стояла на столе кружка с пивом. Так же, как вчера, бабушка принесла суповую миску. Анна поправила волосы, как поправляла ежедневно, садясь за стол, но все это было не так.

Кто-то очень жестокий и очень сильный попрежнему пальцами давил горло.

В подземке Ганцке тщетно тряс головой в надежде сбросить пальцы.

Но пальцы уцепились крепко.

Бабушка села и подвинула свою тарелку. Рука старухи долго прыгала, стараясь взять ложку, но это не удавалось. Тогда Анна вложила ложку в темные пальцы старухи.

Ганцке выпил свое пиво залпом. Потом он сказал, не поднимая глаз от пушистой пены, оставшейся на краю кружки:

— Анна... с первого числа... меня увольняют.

Анна не ответила. Обед проходил в молчании. Старуха обсасывала мясную кость, громко причмокивая. После обеда Ганцке пошел в уборную и заперся там, забыв зажечь электричество. Он прислонился к холодной, пахнувшей известью стене. Ему не о чем было думать, и он плакал нехорошими слезами. От этих слез не становилось легче, упрямые пальцы все сильнее давили горло. Старик плакал от обиды и от непонимания. Шипела вода в трубе. Он топнул ногой и крикнул:

— Перестаньте, чорт вас!..

Его дед и отец работали на этой фабрике. Он работал не хуже их. Он еще не стар — ложь! У него крепкие руки. Котел? Дело в котле. Новый котел. Котел сконструирован для того, чтобы Ганцке голодал, а Кэльберг обжирался. Он получит за котел много денег, Кэльберг! Да, да, он знает его. Толстяк из лаборатории. Мерзавец! На какие деньги жить? Как жить? Анна зарабатывает гроши. Готлиб болен. Доктор, лекарства...

Он плакал, зажав уши ладонями, подвывая и всхлипывая. Кто-то ходил по кухне. Он прислушался. Да, это Анна. Она ходит, сложив руки на груди и полузакрыв глаза. Она молчит. Она знает, что такое потерять работу. Безработица. Страшное слово — безработица. Безработный — это тот, который спит по ночам в подъездах... Сначала он продает вещи, столы, стулья, велосипед. Потом он снимает с себя рубашку. Тогда пиджак надет на голое тело.

Эрнст-Пауль Ганцке — безработный.

Без-ра-бот-ный.

Он будет сидеть дома. Через две недели он будет посещать биржу.

— Добрый день. Нет ли работы?

Даже спрашивать не придется. Спрашивать будет незачем, потому что на бирже плакаты, написанные жирной краской:

*На сегодняшнее число
требований не поступало*

Или даже не плакат? Нет, конечно, нет! Штемпельштелле. Очередь. Штамп! Можете идти. Следующий! Штамп! Все.

Не о чем говорить!

Не о чем спрашивать.

Не о чем думать! Все так ясно и так просто!

Он выходит на кухню.

— Анна!

— Что, Эрнст?

— Анна, как мы будем жить?

На кухне блестят идеально вычищенные алюминиевые кастрюли. Справа формы для кексов, в которых давно не пекут. Но все же... Одна форма — рыба, другая — цветок, третья — свернувшийся удав. Над формами целая коллекция противней. Зеленый друшлак... кофейники... машинка для колки сахара, похожая на борзую собаку, мельница для кофе, машинка для мяса, машинка...

— Анна, сколько у нас сбережений?

— Шестнадцать марок...

— Шестнадцать марок? Анна...

— И у нас не уплачено за квартиру, за электричество... Булочная...

— Как же мы будем?..

— Не все ли равно, Эрнст...

— Конечно, конечно...

Они разговаривают недомолвками. Вещи смотрят враждебно. Вот эта чашка. У нее, определенно, злые глаза. Осторожно Ганцке прикрывает ее салфеткой. Вещи злы и недовольны. Анна все ходит по кухне, сложив руки на груди и глядя на пол.

— Скоро они придумают машину для сортировки. Машина... У меня болит палец...

— Как же мы будем жить, Анна?

— Готлибу плохо. Питание, — говорит доктор. Он советует — юг! Берлин не годится. Особенно Моабит. Слишком много копоты. Юг!

И Анна смеется.

И Эрнст-Пауль Ганцке тоже смеется.

Свернувшийся удав — форма для кекса — смотрит на чуту Ганцке алюминиевыми глазами.

— Юг, — говорит Анна, — юг! Для того, чтобы похоронить Готлиба, нам придется продать все вещи, все. Ты понимаешь? Даже кастрюли, даже твою трубку. Я спрашивала, сколько стоит гроб — самый простой гроб...

Ганцке пятится. Ему становится жутко.

— Анна! — кричит он. — Анна, Готлиб еще...

— Да, да, конечно... Но у них все обдуманно. Они знают, что когда у Ганцке умрет сын, то Ганцке не захочет, чтобы его мальчика... его дитя бросили в яму без гроба... и поэтому Ганцке продаст все... но купит сыну гроб... Там тоже есть свой Алоизий Пфэзк, директор... Трест... картель... синдикат... цены вне конкуренции... Дешевле не найдете... Наш мальчик...

Слезы бегут по щекам Анны двумя светлыми ручейками.

— Меня выгонят... Фрау Бек требует норму... но я не могу... я устала. Эрнст, у меня огрубели пальцы. Готлиб умирает из-за ртутных ламп... Для чего?

Анна плачет.

Ганцке ковыляет по кухне взад и вперед. Ему кажется, что Анна не плачет, а смеется. И он сам посмеивается. Потом кричит:

— Глупости! Сегодня придет Карл. Я поговорю с ним. Он посоветует. Сорок восемь человек на улицу. Нет, извините! Нас сорок восемь человек. Ты слышишь, Анна? И, кроме нас, на фабрике работают четыре тысячи... Шутки в сторону. Он не имеет права. Затверждение верхушек не при чем. Мой дед работал...

И Эрнст-Пауль опять уходит плакать в уборную, потому что слезы душиат его, а плакать при Анне стыдно.

Все-таки он аккуратно ездил на работу. Еще день! До первого одиннадцать, десять, девять, восемь, семь... Однажды ему показалось, что он просчитался, что работать ему осталось меньше, чем он предполагал...

Он был жалок.

Он бегал в фабком к Клинкоруму и говорил, умолял, плакал. Клинкорум разводил руками.

— Не могу, — бормотал он, — не могу, не могу... Обратитесь сами к герр директору.

Он отправился к Алоизию и прождал целый час на лестнице в конторе. Ему уже было наплевать, он перегорел и шел в кабинет за директором, ни о чем не думая и ни на что не надеясь. Внутри у него было пусто, и смотрел он как после пьянства — пустыми глазами.

Швейцар снял с директора пальто, лакей разжег в кабинете камин. Пфээк рылся в портфеле. Ганцке стоял у дверей, ощущая за спиной тяжелые кисти портьеры.

— Что?

Герр директор смотрел на него.

— Что? Мастер варит тряпку? Садитесь, голубчик. — Он показал подбородком на стул. — Да, да, садитесь!

Ганцке сел и положил руки на колени.

— В чем дело? Мне некогда! Скорее!

— Я прошу... — но ему не хотелось просить. Он вдруг почувствовал злобу. Лакей и камин, и директор, и треск поленьев — они не имели права. Кто они? Какое право? Он не знал. Он посидел еще немного и ушел, ничего не сказав, вытянув вперед руку со шляпой и прихрамывая. В дверях он запутался. Везде было стекло, он забыл, где дверь. Чорт!

На другой день он почти крикнул Клинкоруму:

— Я немного вас понимаю, герр Клинкорум.

Клинкорум промолчал.

КАНДАЛЕДСКИЙ ПЕРЕЦ

Большой желтый ноготь разрезает бандероль. Шванинг щурится и смотрит внутрь коробки. Тонкая, скользкая папиросная бумага, потом фольга и наконец папиросы. Они лежат белые и чистые, крепко прижавшись друг к другу. Раньше чем закурить, Шванинг прочитывает до конца ма-

ленькое воззвание, в котором сообщается, что папиросы эти набиты лучшим, выдержанным табаком и что покупать следует именно эти, а не другие папиросы, и что фирма позволяет себе надеяться...

Шванингу приятно.

Конечно, он привык во всяком таком рекламном штука, но все-таки ему приятно. Очень приятно! Фирма обращается к нему. Те деньги, которые лежат у него в кармане и в левом ящике комода и в шкафчике, — эти деньги приравнивают его к хорошим покупателям. Фирма заверяет его и позволяет себе надеяться...

Фирма может надеяться.

Папиросы отличные!

Он пойдет и купит себе сразу десять коробок. И продавец засуетится и почтительно переспросит, так ли это, не ошибся ли он — действительно ли десять коробок!

— Десять коробок, — скажет Шванинг, — вы совершенно правы: десять коробок.

И для того, чтобы продавец не подумал, что Шванинг лакей, или камердинер, или посыльный, Шванинг скажет: «не заворачивайте», и раскурит коробки по карманам, и одну папиросу закурит тут же в магазине.

Вдруг ему становится обидно: никто не знает, как он живет, что он ест, какие папиросы он курит.

Он все должен скрывать.

Ему могут набить морду!

Ах, сволочи!

Бормоча, он ходит по комнате из угла в угол. Ему хочется выпить и пошуметь. Ладно, черт вас возьми!

— Дядюшка Гудель, а дядюшка Гудель!

Сейчас эта старая пьяница прискачет на своем гремучем протезе. Он торгует старыми жилетками и поношенными брюками на Гренадир-штрассе, в еврейском гетто!

— Добрый вечер, герр Шванинг!

— Добрый вечер, дядюшка Гудель!

Как от него пахнет — луком, пивом, сырым, прелым тряпьем!

Шванинг накрывает маленький столик салфеткой, отличной, туго накрахмаленной салфеткой с изящной вышивкой по углам.

— Садитесь, дядюшка Гудель!

Дядюшка Гудель садится. Он хлюпает носом и разглаживает востребанную седую бородавку. Какие у него грязные ногти!

— Выпейте, дядюшка Гудель!

Шванинг паливает абсенту, они чокаются и пьют. Отличный абсент! Он пахнет горькой полынью, анисом, персиком. И Шванинг начинает говорить. Как удивительно говорит Шванинг!

— Да, да, — говорит он, — да, да, все делают жида. Жиды виноваты во всем. Вот, например, вы! — Шванинг щурится и трясет головой. — Да, да, вы! Вы торгуете штанами на Гренадир-штрассе. Жиды втащили вас в свое поганое гетто, всучили свои грязные штаны и велели: торгуй! И вы торгуете! О, боже мой! Когда это кончится? Наш доктор Геббельс,¹ — я хожу на его лекции, — он говорит изумительные вещи: никаких классовых противоречий! Понимаете, дядюшка Гудель? Наш немецкий капитал — капитал создающий. Наш капиталист всецело в руках жидовского рваческого финансового капитала. Боже мой...

Шванинг путается. Чорт его разберет, в самом деле, этого хилого докторишку! Почему жида? Он чувствует, что ему не выкарабкаться. И он начинает показывать свои вещи. Он говорит о культуре и ни с того ни с сего о третьей империи.

— Наша третья империя, — орет он, — вы понимаете, дядюшка Гудель...

Дядюшка Гудель пьет абсент, лопает паплет, курит одну за другой дорогие папиросы и молчит, как удушенный. Иногда он хлопает носом.

— Вот этот патефон, — говорит Шванинг и запускает «Маленькие ножки», — вот этот патефон я купил месяц тому назад — хорошая штучка, не правда ли? А шкаф? Смотрите, он имеет три дверцы. Раз! Два! Три! Ловко? Я честно работаю своему хозяину, и он дает мне возможность заработать. Хороший шкаф! Мы должны бороться с жидами! Что вы так смотрите на меня? Мы должны делать наше третье царство... Пейте же, дядюшка Гудель. пейте!

Дядюшка Гудель опрокидывает рюмочку за рюмочкой. Абсент нужно пить маленькими глотками, но старик дует напропалую. Он уже изрядно пьян. Шванинг тоже не очень-то трезв.

— Я работаю, и я имею деньги! — орет он. — Я доверяю нашему доктору и нашему хозяину, и герр Гитлеру. Ну-ка, ответьте мне, что бы было сейчас в Германии, если бы не герр Гитлер? Вы молчите? Герр Гитлер сплотил вокруг

¹ Доктор Геббельс — берлинский «наместник» Гитлера.

себя рабочих и интеллигенцию. Вот что он сделал. И с помощью этих рабочих и этой интеллигенции герр Гитлер отстоял Германию от большевизма...

Патефон орет «В осеннем лесу» и «Ну-ка, повеселимеля, ребята», дядюшка Гудель сплевывает на пол, а Шванинг говорит. Чорт возьми! Большевистские путчи — вот чем все это пахнет. Нет, извините. Германии не нужна национализация женщин. Национализировать жен и сестер, дочерей и бабушек? Он смеется! С этим мы еще поборемся. Мы еще им покажем! Идиоты! Германский рабочий не торгует своей совестью. И если эти мерзавцы начинают скандалить, то долг каждого честного немца всеми силами бороться со скандалистами... Не так ли, дядюшка Гудель?

Дядюшка Гудель осовел и сопит, растянувшись в кресле. От него воняет канализацией и мышами. Грязный бродяга! Но Шванинг уже не может остановиться. Он честный немец. В чем дело? Он перечисляет свои подвиги, он рассказывает о своей жизни, он пьян сейчас, и у него оказывается огромное количество всяких добродетелей.

Во-первых, он честен!

Во-вторых, он справедлив!

В-третьих, он принципиален!

В-четвертых, он добр, у него любящее сердце, он отзывчив и мятек!

В-пятых...

А его биография!

Кто скажет, что Шванинг мало пережил? Разве не он сражался под Верденом? Разве не он, поняв, чем пахнет рурский скандал, записался в рейхсвер?.. Вестфалия, Соэст — они шли военным маршем и пели песни под веселым солнцем. Чорт возьми, они шли к Дортмунду и здорово веселились по ночам — девочки любили их за краюху овсяного хлеба или галету... И какие девочки!

А кто бил из винтовки в Эссене?

Дядюшка Гудель наливает себе еще рюмочку абсента, опрокидывает ее в пасть, лязгает зубами, как собака, поймавшая муху, и, уставившись в пол, потирает пальцами мохнатую скулу. Он молчит.

Что же касается фабрики, то герр директор очень ценит его, Шванинга. И герр директор, и герр Вислинг, первый помощник директора, и герр Кассель, главный инженер, и герр Бохман, второй помощник... А Клинкору...? И Клинкорум, в конце концов, понимает что без Шванинга

не обойтись. Иначе эта страшная зараза забьет все поры фабрики и произойдет чорт знает что.

— Надо говорить прямо, — и Шванинг хлопает рукой по столу, — нечего бояться этих слов! Да, да, нечего бояться правды. У нас на нашей фабрике работа поставлена по-европейски! У нас работа поставлена серьезно...

И Шванинг говорит... Этого никогда бы не произошло, если бы он был трезв... Но он пьян, безнадежно пьян, и он выбалтывает вонючему бродяге, хрому пьянице все тонкости своего ремесла, систему, постановку дела, все, все...

Он говорит о зарплате и о своих достоинствах. О девочках и о директоре. О патефоне и о комфорте. Он говорит о том, что и он и Бохман, и Кассель и Вислинг принадлежат к одной партии. Национал-социалисты — вот кто они такие. Национал-социалисты! Он наливает себе рюмочку и орет, что он возглавляет этих ребят, не дирекцию, конечно, а этих... Дорна, Гюббе, Киссельгофа... Две дюжины ребят целиком подчинены ему! Да! Целиком!

Он опять заводит патефон и говорит о девочках и о том, что лучше всех немки — о, немки!

— Ладно! — Дядюшка Гудель сплевывает на пол и идет к дверям, не проронив больше ни одного слова. Он красен, и ему трудно идти, но он не пьян, абсолютно не пьян!

— Куда, вы, дядюшка Гудель?

Гудель ушел.

Шванинг сует голову под душ.

Ни черта не помогает!

К вечеру он просыпается и долго, очень долго полощет рот и чистит зубы. Он скребет щеткой язык, плюется и и опять полощет. Воскресенье. Он делает себе кофе на газовой плите. Воскресный вечер. Он ждет, стоя у плитки. Кофе готов! Густым ржавым голосом бьют часы. Запах помывочного тела напоминает ему о хромом госте! Дикие разговоры, дурацкий ликер. Кажется, он наболтал лишнего...

Он затыкает салфетку за воротник.

Хорошо живет немецкий рабочий!

Он режет хлеб и намазывает ломтик маслом!

Он режет сыр!

Хорошо живет немецким рабочим!

Новодревятый желтый сыр со слезой. Чудесные сливки и густой кофе, крепкий кофе, натуральный кофе...

Нажравшись, он музицирует немного.

Хорошо живет немецкий рабочий!

Жизнь отличная штука, нужно только уметь устраиваться. Чорт подери, он не даром направляет оркестром в клубе, устроенном директором для рабочих. А молитвенные собрания? Кто осмелится сказать, что Шванинг когда-нибудь опоздал? Нет, извините! Скорее земной шар лопнет, как мыльный пузырь, чем Шванинг опоздает в то место, куда опаздывать нельзя. И все обстоит благополучно. Вчера он купил ноты «Марш гимнов». Там есть такие места, что дух захватывает. Сущее серебро. Звоночки, звоночки, звоночки, и вдруг — трах-пим-бу-ум. Потом опять звоночки. Гномы — бородатые карлики — тащат молот на гору, молот велик и тяжел, и гномы отдыхают. Когда они кладут молот на камни, рождается грохот: трах-пим-бу-ум. И звоночки — тоненькие, тоненькие, даже не серебро, а стекло. Он купил еще «Негритянскую любовь». Изумительная вещь. Но музыку нужно понимать, для музыки нужна душа. В «Негритянской любви» девочки поднимают юбочки, и колени девочек блестят.

Ти-ти-тии-тии...
Ру-ри-рии-рии...
Пир-пир-пир...

Девочки танцуют. Барабан тоже танцует. И Шванинг танцует. Очень весело. Плечи у негров шевелятся. И дальше они прыгают. Но после трио начинается недозволенное. После трио зачеркнуто красным карандашом. Это значит — «нельзя», «неприлично».

Но иногда Шванинг позволяет...

Треугольник глухо ворчит. Свистулька захлебывается слюнями Шванинга. Барабан ухает. Тарахтят кастаньеты. Негры танцуют. Вот он играет зачеркнутое... Что они делают, эти негры, прямо ужас!!! Пузыри слюны вылетают из свистульки. Негры все еще танцуют... Но девочки, девочки... Свистулька больше не нужна. Скорее — рожок. Негры шалят под пальмами, на пальме обезьяна, в воде крокодил. Ах, какие шалуны негры! У девочек розовые коленки с ямочками...

Шванинг сам себе оркестр. Он одинок. У него нет жены и нет детей. Жена, правда, была. Но у нее случился рак, и она умерла вскоре после операции. Сколько денег ушло даром. Больше Шванинг не женился. Он купил себе этот оркестр. Соседи не протестуют, потому что он играет даром на всех вечеринках. Фрау Цайн говорит всегда:

— Герр Шванинг, вы— артист!

Он сам знает это. О его таланте знают... Даже директор Пфээк...

У Шванинга прекрасная квартира из двух комнат. Чего стоит диван? Он похож на крепкого, хорошо сложенного мужчину. Он обтянут имитацией кожи телесного цвета. Правда, кожа под чехлом, но в любую минуту...

Какая умница герр директор!.. Какая умница!..

Шванинг опять садится за инструмент.

— Ну-ка!

Начинает свистулька.

У Шванинга даже телефон. Все удобства! Культура! Цивилизация! О, директор!

Шванинг выплевывает свистульку и подпевает:

Негры, негры, негры, негритянки.

Колибри
И обезьянки...

Шванинг бормочет, подвывая, слова обгоняют друг друга, слова несутся вскачь, стонет саксафон...

— Колибри
И обезьянки...

Они лазают по деревьям, они щелкают орехи трах-трах, они любят тропическими ночами, они свищут...

Вот так,
Вот так
И вот так

Бьется в свистке маленькая серебряная горошина. брызжут слюни, лязгает медь...

Подвигивает Шванинг:

Негры, негры, негры, негритянки.

Мартышки
И обезьянки...

И опять стонет саксафон вместе со Шванингом, стонет, поет, бормочет, визжит.

Как легка их любовь, о, как легка, как трепещут тела, как ночь коротка, как стенают они, ласкаясь... Они стонут вот так...

Вот так
И вот так...

Опять стонет саксафон, грохочут литавры, мелко и задорно трещит трапс.

Быстрее, Шванинг!

Быстрее, дружище!

Ты великий артист! Твое изумительное дарование потрясет мир! Что Грентер, Зез Конфрей. Куль, Гишунни, Граре! В совершенстве ты владеешь судорожной, слоновой, содрогавшейся музыкой толстых.

Быстрее, Шванинг!

Оп-ля!

Ха-але!

Твой инструмент отобрал все самое острое из джаз-банда. Твой инструмент не имеет подобных себе. Твой инструмент эссенция — недаром, чорт возьми, герр Димант устраивает тебе концерт — настоящий концерт с афишами!

Саксафон.

Оп-ля!

Челеста!

Быстрее!

Литавры!

Ха-але-оп!

Как стенают они, ласкаясь... Вот так. О, темная негритянская ночь... коротка... коротка... Вот уж близок рассвет... рассвет... рассвет... и трепещет рука, рука... по лианам скользят, скользят, скользят...

Они шлют им привет...

Вот так...

(Саксафон! Челеста!)

Вот так...

(Саксафон! Волторна!)

И вот так...

(Саксафон! Трапс!)

Темно! Каскады звуков! Ниагара звуков! Везувий звуков!

О, Шванинг, великий артист!

О, Шванинг, в совершенстве владеющий музыкой толстых!

Звонит телефон.

Пора собираться.

На белой скатерти блестит кофейник.

Часы бьют девять.

Шванинг надевает брюки, очень хорошие отутюженные брюки, и жилет, и смокинг и подвязывает галстук, яркий и дорогой. Перед зеркалом он выдавливает прыщ и аккуратно прижигает ранку иодом.

Оп-ля!

Такси ждет у подъезда. Тонко и въедливо пахнет лип-

кими духами. Шофер помогает впахнуть огромный инструмент в кабину.

Он-ля...

Духи мешают сосредоточиться. Чорт!

— Вы возили девочку? — спрашивает он у шофера.

— Да, я возил девочку!

— Хорошую девочку?

— Не очень хорошую. Десять марок...

— Пф-е-е!

— Да, да, десять марок...

Эти духи! Они не дают Шванингу покоя... Они чем-то напоминают «Негритянскую любовь».

Девочки сверкают коленками, крокодил щелкает зубами. Шванинг видел крокодилов в зверинце Гагенбека. Такие противные твари с мертвыми и скользкими глазами. Крокодилы лежали на сером камне... Он отлично помнит...

Такси покачивается на рессорах и рычит. Шонеберг остался позади. Шофер останавливается у театра «Скала». Фонари проливают белый свет на маслянистый асфальт, толпа у подъезда театра кажется абсолютно недвижимой. Щуцман сипло кричит шоферу, что здесь останавливаться нельзя, и шофер ведет такси к артистическому подъезду.

Шванинг закуривает...

В такси очень тепло и очень уютно; кроме того, Шванинг музыкант, а музыканты должны уметь мечтать. Вдохновляют липкие духи, и вот уже Шванинг поет под нос:

Скачут лягушки,
Скачут попрыгушки,
Я же играю
Песенку свою...

Он видит афишу, огромную афишу со своим именем:

АМАДЕУС ШВАНИНГ
ЧЕЛОВЕК-ДЖАЗ

— Первым номером «Джиовинецца»!¹ Просьба встать! Все встают. Он надевает на лоб ремни, ступни ставит на педали, пальцы его пробуют клапаны...

«Джиовинецца»...

Три прожектора освещают его. Три цвета. Голубые лампы

¹ Гимн итальянских фашистов.

широкими потоками стекают сверху вниз. «Джиовинецца». И сам доктор Геббельс аплодирует ему стоя.

Инструмент дремлет в своем гранитовом чехле, отсветы фонарей сверкают на стеклах такси, часы в жилетном кармане отсчитывают время.

— Боже мой, боже мой... — бормочет Шванинг. Он любит танцы, но не любит танцевать сам. Он всегда смотрит. Его хорошо знают в маленьком дансинге с простуженным вентилятором и девицами напрокат, в Моабите. Он сидит там в углу между двумя пальмами и улыбается, попивая свое пиво. Он выбирает себе стул со скрипом и этим скрипом подыгрывает музыкантам, потому что он артист. Его пальцы шевелятся на коленях, к его лицу примерзает улыбка, и временами он покашливает.

— Кхе-кхе-кхе. Боже мой, боже мой...

Он изучает манеры всех танцующих мужчин и следит за ними пустыми, рыбьими и мокрыми глазами. Он смотрит на их подрагивающие спины и скрипит своим стулом. Скрип тонок как шелковая нитка — и вот-вот порвется...

Остров любви пуст...

Но есть там один куст...

. Стул пищит. Ноги шаркают по паркету. Кавалеры выделяются, впадая в раж, непристойные коленца...

— Кхе-кхе-кхе... Боже мой, боже мой!... Да, пожалуйста еще пива... Боже мой... чего только не завезли в Германию эти янки и англичане... Боже мой, боже мой!

Под самым потолком колыхнется зеленовато-желтое облако табачного дыма. Маленький джаз-банд изнемогает от усилий. Все чинно. Все благопристойно. Люди трудились. Люди отдыхают. Завтра людям опять работать, и они отдыхают, как умеют.

В Париже тенистая улица,
Сейчас они поделуются...

Шванинг сидит до половины одиннадцатого. Потом он встает тростью на руку, поправляет шляпу, поправляет манжеты, прощается с хозяином заведения и выходит.

Дома он играет на своем инструменте очень тихо десять минут. Он артист, и стул не может удовлетворить его артистические потребности. Он играет и поет.

И герр директор ценит его.

О, герр директор!

Герр директор знает, на кого положиться. Шванинга есть у директора во всех отделениях фабрики. Раньше

говорили, что земля держится на китах. Так вот, если герр директор земля, то Шванинг — киты. Но он, Швалинг; главный кит, кит-дирижер, кит-распорядитель... Это потому, что Шванинг — артист и его инструмент не может сравниться ни с каким другим инструментом...

Сила! Воздействие! Недаром он изучает дансинги и женщин — вот уже который год...

Да, на Шванинга можно положиться. Он сидит у своего котла, но он видит все.

— Эрнст-Пауль Ганцке?

— Та-ак-с!

— Зибурт? Который?

— Ну-у-с!

— Карл Бройр? Новенький?

— Безусловно...

— О чем они говорили?

— Почему у него дрожат руки?

— Скверное лицо, скверное лицо!

— Небрежность — во-первых, недосмотр — во-вторых, постоянные разговоры — в-третьих, суетливость — в-четвертых, и самое главное — есть из кого выбирать новых рабочих. Зачем же стесняться?

Шванинг — артист, Шванинг играет на своем инструменте. Он в клубе. Он на молитвенном собрании. На похоронах дочери герр директора он говорит трогательную речь. Он даже плачет настоящими слезами. Сейчас он ждет герр директора у театра «Скала».

Он курит.

Он играет пальцами на своем колене песенку про ананасы.

Спектакль кончился, и шофер двигает такси за авто герр директора. Табличка пляшет перед глазами шофера.

V 17044

Герр директор сопит в углу машины. Рядом с ним пушистые меха и головка бубикопф. Герр директор спокоен. Он знает: Шванинг тут, Шванинг не отстанет. Швалинг явится во-время.

Такси не отстает от машины V 17044, такси идет в затылок, как говорят на фронте, такси наступает на пятки машины V 17044.

Теперь Шванингу придется еще немного подождать. Герр директор и фрау Икс-Игрек-Зет — безразлично — занимают отдельный. Метрдотель подгибает пальцы за спи-

ной. Он похож на Наполеона, этот ресторанный герр, и играет на своем сходстве. Он знаменитость в своем роде. Владельцы ресторанов наперебой заманивают его каждый к себе, потому что Бонапарт моден и Бонапарт получает баснословные деньги...

— В нем есть что-то такое, — говорят знатоки о Наполеоне. И они правы. Наполеон — это Франция, а так хочется видеть Францию хотя бы в роли метрдотеля. Так хочется!

— Если бы мы победили...

Герр директор снимает с фрау меха, и фрау оказывается тоненькой девочкой с оливковыми плечами и бронзовыми искрами в темных глазах

— О! — говорит директор и складывает губы бантиком. Директор квадратен, черен и мал. Он круто дышит и чем-то напоминает жука на булабочке.

Наполеон подгибает большой палец. Палец правой руки. Это значит шампанское. Директор жмурится и вертит в воздухе рукой. Директорская рука с полированными ногтями сжимается до того, что синеют вены.

— Так?

— Так, — вторит метрдотель.

Директорская рука разжимается с неожиданной быстротой.

— Так?

— Так...

— Лимончик... Оч-чень быстро... Наколоть иголкой... Вы понимаете меня?

— О!

— Я германец... Но старая английская кухня... Это что-нибудь значит! Итак, омары слегка поджарить... Не очень, не очень. Взбить яйца. Так, чтобы они резались ножом. И поперчить выдержанным кандаледским перцем. Нужно ощущать букет...

Наполеон подгибает еще палец. Сзади Наполеона лакей. Лакей тоже подгибает пальцы. Потом они уходят. Герр директор делает пальцами козу и, залиvisto хохоча, щекочет фрау Икс под птичье ребрышко. Директор имеет свой особый стиль, свою манеру для женщин — помесь тончайшей вежливости и бульварной грубости. Нащекотавшись вволю, директор удивляется:

— Такая худенькая и так дорого стоит...

Шванинг все еще в такси. Липкие духи, лампочка-яблоко, шофер с золотым зубом и ночной Берлин. Шванинг

мелко смостся. Жизнь прекрасна. Разве Шванинг тряпко-вар? Он — главный. Он нерв, соединяющий герр директора с массой. Он особый нерв. Директор знает все. потому что Шванинг...

Почной Берлин.

Покупайте носки только...

Форд! Форд! Форд!

— Проклятый американец, залез даже сюда!

Туалетные воды...

Совершайте ваши прогулки...

Нет больше грыжи...

Идеальное белье...

Абиндер. Абиндер. Абиндер...

Табак...

— Силошь иностранцы,

Только Мурати!

Только Бочари!

Только Бенести!

В ночном небе белым пламенем вспыхивает спичка... панироса.

Файер брайтет зих нихт аус,

Хаст ду Минимакс им хаус.¹

Бесь Берлин знает этот паршивенький стишок. Сумасшедшие бормочут его. Дети просыпаются с ним. Шванинг тоже бормочет его. Он опротивел ему, этот стишок!

Шванинг дремлет в такси. Разве плохо живет рабочий в Германии? Кто сказал, что рабочий в Германии живет плохо? Нужно только уметь устраиваться. Зачем журавль в небе, когда есть синица в руках? Пожалуй, очень хорошо, что они недовольны и любят скандалы, эти рабочие. Если бы они были довольны, то Шванингу жилось бы значительно хуже. Он бы ничем не отличался от других. А так...

Через полчаса Шванинг идет в ресторан со своим инструментом. Фрау Икс бормочет вздор. Шванинг замечает, что фрау Икс не совсем одета, и стыдливо отводит от нее глаза. Для него приготовлена ширма.

Файер брайтет зих нихт аус,

Хаст ду Минимакс им хаус.

¹ Пожар не распространится, если в доме есть огнегаситель Минимакс.

— Кхе, кхе, — кашляет Шванинг, — боже мой, боже мой! Он раскладывает ноты по номерам. Это будет сыграно в первую очередь, это — во вторую... Герр директор молодеет от музыки Шванинга...

Все ноты перечеркнуты красным карандашом: «нецензурно».

Но тут... что значит, в конце концов, нецензурно, если именно это лучше всего удастся? Мир искусства — особый мир! В репертуаре:

«Додо»,

«Кошечки»,

«Негритянская любовь»,

«Медовый месяц»,

«Сто девочек короля-Солнца».

Шванинг усаживается за ширмой и зажимает губами свистульку. Ноги на педалях, на лбу ремень, на коленях петли.

— Оп-ля!

Барабан. Саксафон. Барабан. Рожок. Барабан. Колокольчик. Барабан. Кастаньеты.

— Оп-ля!

Герр директор пищит:

— О, музыка!

Герр директор ощущает в себе утерянного было мужчину. Он расцветает. Он преображается.

— Шванинг, жаворонки поют над моей головой! Больше экспрессии, Шванинг! Больше огня, Шванинг! Больше чувства!

— Хал-ло!

— Оп-ля!

— Ал-ле-оп!

Шванинг, Шванинг, Шванинг!

Скажут лягушки,
Скажут попрыгушки,
Я же...

Герр директор в восторге. «Кошечки» сменяются «Медовым месяцем», «Медовый месяц» «Негритянской любовью».

И во всем единственное, свойственное только Шванингу, великому артисту. Эликсир жизни! Эликсир молодости!

И фрау Икс кричит, захлебываясь:

— Слушайте, вы! Там! Как вас? Шванинг! Бетховена! Слышите! Сыграйте мне Бетховена. Опус четыре! Вот так...

по-настоящему... с воплем! Слышите? Шва-нинг! Я вам приказываю! Слышите!

Но Шванинг не слышит. Если бы он слышал, то наверное сыграл бы.

Эх, дядюшка Гудель, старая сволочь!

Может быть, ты поленишься?

Может, ты скажешь, на кой мне черт?

Он сплевывает в угол и долго смотрит, как ползает плевков по коричневой от сырости стене. В этом углу свален хлам — его торговля. Штаны, вонючие и грязные, протертые пиджаки, паршивые жилеты, сбитые, сношенные башмаки, шарфы, кепи, шляпы — ворох дряни, на которую тошно глядеть. Он не перестает удивляться — как ее покупают, эту дикую дрянь?

И почему он еще жив?

Почему он, собственно, еще не подох?

На какие деньги он жрет и долго ли человек может голодать?

Инвалид мировой войны — как это здорово звучит.

Осторожно он снимает с рукава вошь и кладет ее под ноготь!

— На, — говорит он, — на! Сдохла?

Около двери в этой же комнате живет старуха-попрошайка. За ширмой две проститутки. Под окном учитель естествознания, конечно, безработный. Посредине на двух ящиках — беззубый и безволосый формовщик.

Эх, дядюшка Гудель, старая сволочь, инвалид мировой войны, безногий дьявол, торговец вшивым обмундированием, когда ты подохнешь? А?

Дождь!

Он закуривает трубку и долго смотрит на электрическую лампочку.

Гранатой бы об пол! Чтоб ничего не осталось!

Дождь...

Потом, неистово ругаясь и ворча, он роется в своей куче барахла. Он мечтает о том, чтобы не промокнуть.

— Дай табаку, Хромой, — тянет учитель.

Хромой не отвечает. Он натягивает на себя две пары штанов с таким расчетом, чтобы дыры одной пары приходились над целыми местами другой. Затем он напяливает на себя фланелевую блузу, пиджак, ватный жилет и брезентажку. Шею он заматывает шарфом, просаленным и вонючим, на

голову напяливает шляпу, которая неожиданно оказывается новой!

— Хорош? — спрашивает он у учителя.

— Хорошо... Дай табаку...

Дождь!

— Целый Вертхайм,¹ — бормочет хромой, пагая и оглядывая себя. — Веселая жизнь...

Несколько раз ему мучительно начинает хотеться выпить, здорово выпить, но он пересиливает себя и шагает мимо ласковых витрин. Он даже насвистывает какую-то чепуху. Наплевать!

Подземка!

Он едет и дремлет и видит себя маленьким сопливым мальчонкой, играющим в кегли. Ему очень хорошо, и главное — у него при себе обе ноги, и он не торгует никакой дрянью — он сын честного рабочего.

Фабрика!

Он бывал в этом районе, он знает эту фабрику — вот ворота, проходная и чугунные буквы

АЛОИЗИЙ ПФЭЭК и К°.

Интересно бы повидать этого Пфээка.

— Чего тебе надо здесь, молодчик?

— Поджидаю одного приятеля. Скоро шашаш?

— Через четыре часа!

Эх, дядюшка Гудель, старый дурак! Понесла тебя нелегкая!

Он ходит около стены и курит свой вонючий табак и думает о паре хороших, крепких ног, о паре отличных волосатых ног, ей-богу, они бы очень емугодились. И еще он думает о жене, которая умерла десять лет тому назад, и о старости, которая уже наступила, и о спичках, которые подмокли.

А когда смена пошабашила, он подходит к проходной и долго всматривается в утомленные лица рабочих. Наконец он подзывает к себе молодого парня с тяжелыми глазами и говорит ему:

— Мне нужен коммунист.

— Я коммунист, — отвечает парень.

¹ Вертхайм — крупнейший универмаг Берлина.

Они идут в пивную и заказывают себе два куфеля. Хромой говорит. Парень подпер голову руками. У него красное лицо и здоровенные кулаки.

— Бык? — переспрашивает парень.

— Бык.

— Ладно! А сам ты кто?

— Никто.

— Это все верно, — вслух думает парень, — и Шильде, и Штромберг, и Эргард. Это все верно. Я это еще проверю.

— Я хочу вступить в компартию.

— Ты?

— Я.

Они молча пьют свое пиво.

— Меня зовут Клаус, — говорит парень, вставая. — Можешь прийти ко мне домой, если хочешь. Где твоя нога?

— Во Франции.

Фрау Икс лежит на диване и пьяненько смеется.

— Алоизий Пфээк... Алоизий Пфээк... Как это звучит... Ты похож на жука, Пфээк... От тебя пахнет сосной...

— Перестаньте... Это экстракт...

— Ж-жук и туалетная вода... Чорт возьми!.. Ты видел талец наяд?

— Перестаньте... Где мои часы?

— Не все ли равно?

Шванинг дремлет за своей ширмой. Свистулька зажата в руке. И Шванингу снятся невозможные вещи. Он даже бормочет в полусне и пускает пузыри, как грудной ребенок.

— Замолчите вы! — кричит фрау. — Замолчите... Мне надоело.

Шванинг просыпается, но выйти не может — неловко. Нужно обождать, пока уйдет директор со своей дамой. И Шванинг от скуки чистит тряпочкой рожок. Он — скромный человек, ему ничего не надо. Вот он чистит рожок — очень хорошо. А нельзя было бы чистить инструмент — тоже хорошо.

Наконец часы найдены. Герр Пфээк щелкает крышкой и возмущается:

— Половина второго... Одевайтесь...

Пфээк несколько пьян. Если бы он был трезвым, то этого бы не произошло. Из кабинета есть отдельные выходы. Но Пфээк идет свою даму через общий зал и путается. Ему жарко, чорт возьми! Пора спать. Кажется, дверь налево

через балконы... Но на балконах старички играют в домино. Направо? Бильярды... Наверно, можно пройти через бильярды. И вдруг герр директор хватается за подбородок. Подбородок мокр от крови. Один зуб приходится выплюнуть прямо на ноги этому нахаду.

— Безобразия! Это, это...

— Прошу прощения...

— К чорту!..

— Но...

Герр директор поднимает глаза. Перед ним сияют стекла очков.

— Герр Кэльберг?

— Герр Пфээк!

— О, герр Кэльберг...

— Да, да... Я размахнулся, чтобы ударить кием по шару, и ударил вас... Ради бога простите. Вы так неосторожно подошли сзади, так неосторожно... Еще раз простите... Я не заметил...

Они стоят друг против друга, два толстяка — маленький Пфээк и большой Кэльберг.

— Нет, нет, герр Кэльберг... это просто моя дальняя родственница... Я показывал ей Берлин. Очаровательная девушка, смею вас уверить... И какое сердце!..

Фрау Икс слегка покачивается. Зеленые сукна бильярда разрастаются в целое море. Ужасно кружится голова. И какая-то отрыжка... Фу...

— Я только два дня в Берлине, герр Пфээк. Нигде не был. Одыхаю от варварства. Творятся невозможные вещи, герр Пфээк... Я расскажу вам все подробно... Зартра...

— Конечно, конечно, — бормочет директор. — Конечно... Страшно рад, благодарю вас...

— За что, герр Пфээк? Я говорю, что в Китае расстреливают, а вы благодарите... Вам нездоровится? Вы очень бледны...

— Нет, благодарю вас, я не хочу...

— Герр Пфээк... — Кэльберг хрюкает.

Директор садится в автомобиль. Он совсем обалдел от шума и ничего не понимает. Фрау Икс спит...

— К чорту, — бормочет директор, — чепуха!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ТАУЕР

Он разучился спать за последнее время. Какие-то противные молоточки начинают стучать по вискам, как только он закрывает глаза. И мысли, мысли. От них нельзя спрятаться, от этих мыслей. Их нельзя выгнать потому, что они суть Оскар Кальберг. И они как репей виснут и цепляются. Оторвешь одну — другая прицепилась. И молоточки и мысли.

Он ходит по комнате из конца в конец, как в Шанхае. Но там скрипели опашала, а тут топится камин. И нет безредливого ветерка, нет слуги-китайца. Гоодн не приедет утром...

Плевать!

Из конца в конец, из конца в конец, как заведенный. От книжного шкафа к роялю, от рояля к книжному шкафу.

Пэрри исчез. Патрон не желает работать. И он, Рэджи, бродит со своей Элли...

Двадцать семь шагов плюс двадцать семь шагов — пятьдесят четыре шага. И так целый день...

Шесть часов вечера.

Семь часов вечера.

Восемь часов вечера...

Девять часов...

Десять...

— Фрау Берта, нельзя ли вас попросить чаю... Пожалуйста, покрепче...

Фрау Берта — экономка. Если ощипать гуся, очень худого, чтобы у него выпирали кости, и одеть этого голого гуся в синее платье и чепец с лентой, то получится фрау Берта. Где-то там тело. И совершенно отдельно голова в чепце...

— Вы все ходите, герр Кальберг?

— Да!

— А не пойти ли вам прогуляться, герр Кальберг?... После чаю... Так немножечко... Очень немножечко. Сегодня прекрасная погода... Солнце — как роза на грядке...

— О! О, фрау Берта... Но розы не растут на грядках, они растут преимущественно на клумбах. И почему вы не ходите, что солнце похоже на розу?...

— Вы всегда смеетесь надо мною, герр Кальберг... Я старая женщина...

— Я выдам вас замуж, фрау Берта, если вы будете называть себя старой женщиной...

Фрау Берта краснеет от шеи к ушам. Кровь ударяет ей в лицо волною...

— Но мне же пятьдесят девять лет, — говорит она, — пятьдесят девять...

И опять двадцать семь шагов туда, двадцать семь шагов обратно.

Треплет дрова в камине, пахнет книгами и медом от бабу. Кальберг в полосатой пижаме. Спать нельзя, потому что молоточки и мысли. Работать тоже нельзя, потому что бессмысленно. Какой глупый все-таки вопрос — зачем? Какой дикий, ненужный вопрос. Вот Рэджи! У него страшно, чудовищно просто: работать — для того, чтобы жить... Мысли скачут галопом, на хвост одной наступает другая. Да, конечно, у Рэджи просто, потому что он закрывает глаза. С закрытыми глазами просто жить. Ну, а если открыть глаза и поглядеть вокруг... Вот бежит собака, вот стоит дом, вот едет грузовик, вот убили мальчика, вот едет грузовик — и все с начала. Так тоже можно смотреть. Разбираться нельзя. Думать нельзя — строго воспрещается. Вот стоит дом, вот едет грузовик... Так можно думать...

Двадцать семь шагов туда, двадцать семь шагов назад...

Разве подойти к роялю?

Нет, нельзя, не надо...

У него прекрасная квартира в Халензее, у него отличная лаборатория, ему платят уйму денег, и все-таки он думает не только о работе. Нет, он именно думает о работе, о деле, о настоящем труде, но Пирри называет такие мысли ничтожными и ненужными. Очень запутанная штука жизнь, страшно запутанная, если выйти из лаборатории. Один человек идет пешком, другой едет в автомобиле. Но тот, который идет пешком, наверно, не отказался бы поехать в автомобиле. Ему трудно идти, он устал. В его усах мука, он работает на фосфоритном заводе. А человек в автомобиле не устал, он весел, он едет с женщиной, — очевидно, за город... Почему же автомобиль у него? Ведь, не для дела он едет?...

Конечно, ученый должен думать о другом. Изобретатель! Гениальный Кальберг, великий Кальберг! Портрет в газете, в журнале, портрет... Плевать. Он работает над мелочами. Именно он. То, что для профана — мелочь, то для него отправная точка... Рэджи педант, однако он не обратил внимания на «мелочи» в работе с натронной целлулозой.

Мелочи, чорт возьми? Кипит чайник, крышка прыгает, ну и пуская прыгает... А вот Джемс Уатт...

Двадцать семь шагов туда, двадцать семь шагов обратно...

Уже три месяца он в Германии, и три месяца он просидел в Смаргендорфе, как медведь в берлоге. Что он там делал? Читал Гейне, Шиллера, Новалиса. Лечил зубы... Курил и ругался...

Утром Кэльберг одевается и едет на фабрику. Он сам правит машиной. Воды Шпрее подернуты жиром, и над Берлином плавает легкий и сырой туман. От тумана все кажется немножко нереальным и чуть-чуть сказочным. Автомобиль урчит и пофыркивает, одолевая подъемы. Шупо поднимает руку:

— Путь свободен!

Милый, старый Берлин! Милый Потсдамский мост, милая Шпрее, милые клены с теплыми от солнца лапчатыми жилистыми листьями.

Первая скорость... вторая скорость...

Почему-то вспомнился шанхайский редактор со стаканом шоколада в руке... Спокойный и уравновешенный человек. Его, должно быть, не интересовали мелочи. Для него тоже все ясно и все просто. Алоизий? — Конечно, он был пьян, конечно... И эта женщина... Но у Пфэака такая почтенная жена! Они лгут, они лгут все, они лгут непрерывно. Знают ли они, где правда, а где ложь? Где начало одного и конец другого? По каким признакам опознается ложь и правда?...

Кэльберг поднимается по лестнице и открывает дверь. Тут обитает директор.

Стекло! Бетон! Линолеум! Масляная краска! Телефоны, один, два, три, четыре!... Четыре телефона!... Радио! Лампы со сверкающими рефлексорами! И опять стекло! Образцы бумаги. Самопишущие перья. Главный лаборант в белом халате. Главный инженер...

— Добрый день!

— О, герр Кэльберг! — это говорит Пфээк. Его почти не видно из-за стола. Он сидит во вращающемся кресле, но он дергает какой-то рычажок, и в ту же секунду кресло начинает ползти вверх. Стоп! Теперь другой рычажок. Кресло поворачивается.

— Прошу садиться, герр Кэльберг! Сейчас я отпущу их, и мы...

«Жук на булавке» — хрюкает Кэльберг.

Его раздражает отъ компата. Она какая-то нарочная и надуманная с начала до конца. Две стеклянные стены! Старая соня! Это придумано для того, чтобы площадь, занимаемая этой фабрикой, всегда была перед глазами герр-директора. Вращающееся кресло и поминутные звонки телефонов...

Абсолютно квадратный человек еле выглядывает из-за стола, а какие претензии! Бешеная любовь к обратным пропорциональностям. У него самый большой автомобиль в Берлине, но всем кажется, что автомобиль пустой, потому что герр-директор незаметен. Масштабы не позволяют...

«Жук на булавке»...

— Итак, герр Кэльберг, я к вашим услугам. Нет, нет, ради бога... Изрите, пожалуйста...

Кэльберг похрюкивает. Ему лень отвечать, и он молча слушает трескотню Пфэака.

— Прекрасно, прекрасно... Китай, да, да... Поднебесная империя, мандарины с шариками... Тухлые яйца и ласточкины гнезда. Что?

— Ничего...

— Да, да, ничего... Я давно мечтаю... знаете, бросить все и в Ост-Индию... или... мыс Доброй Надежды... Кстати. Они работают на соломе?

Кэльберг хрюкает вместо ответа. Пфэак подкручивает свое кресло.

— Простите, я не понял. Да или нет?

— Кхра...

— ?

— Очевидно, на соломе...

— И результаты?

— Отличные...

— Прекрасно, прекрасно... О, герр Кэльберг, я счастлив, что вы в Берлине... Так мало хороших специалистов... Но вы—наша гордость, наше будущее... Да, герр Кэльберг, наше будущее... Я горжусь тем, что вы работаете у меня...

Звонят сразу два телефона. Пфэак берет одну трубку.

— Алло? Позвоните главному механику.

И другую.

— Алло! Прекрасно. Кончайте.

Повесив обе трубки, директор наклоняется к Кэльбергу и говорит ему ликующим и хриплым шопотом:

— Кончают... Вы понимаете?

— Нет, не понимаю!

— Кончают установку вашего котла, герр Кэльберг. Ко-

лоссальное сооружение! Почти все готово. Через два дня делаем пробную варку. Представляете себе? Гениально! О, герр Кальберг!

И директор трясет руку Кальберга своей пухлой, теплой и скользкой рукою...

— О, герр Кальберг!

Директор подкручивает свое кресло и делает большие глаза.

— Герр Кальберг!

— Так?

— Герр Кальберг... — Директор оглядывается. — Герр Кальберг... Что случилось с вами в Китае? Я слышал... Очень крупный скандал... «Чайна-Уикли Ревью»... Вы знаете? Газеты, газеты... Я пожимаю плечами... Я знаю всех... Я говорил всем и каждому: не распускайте сплетен! Еще ничего не известно. Кальберг слишком немец и слишком ученый. Вы понимаете меня? Но слухи так настойчивы и так смелы... Я положительно отказываюсь понимать. Мне приносили одну газетку. Вы знаете? Ваш портрет во весь рост, вот так, и трубка дымит и очки... В чем дело, дорогой герр Кальберг?

Кальберг кряхтя поднялся. Случилось то, о чем предупреждал его Пирри. Но посмотрим, посмотрим. Алоизий коммерсант и проходимец, но не подлец. Впрочем...

— Видите ли, герр Пфээк... европейцы ведут себя в Китае преступно и отвратительно...

— И немцы?

— Не знаю. Англичане, французы...

— О, звери, герр Кальберг, звери... Это аксиома.

— Так... И я протестовал...

Кальберг говорит. Он сжимает руку в страшный, тяжелый кулак и вбивает этот кулак в сиреневый от занавесок воздух. Китай плывет перед ним, нищета и вонь Нантао, благополучие сеттльмента, мертвый бой, экспресс и знойный день.

— Вы понимаете, герр Пфээк?

Жук на булавке кивает головой и ужасается в тех местах, в которых следует ужасаться. Он потирает ладони и приглаживает волосы на висках. Он трогает пальцем черные (потребляйте краски для волос только фирмы Тильд и К°) усы точечками, он чистит замшей ногти.

Кальберг говорит о вентиляции и о Ван-Шин-вее. Он вспоминает сэра Гоодна и его конкубинок... И маленький китаец, которого повесили (правосудие, правосудие!), уже лежит перед Алоизием.

Директор готов заплакать. Поистине это ужасно. Маленькие дети? Крошечные ребятки? И их так мучают, заставляют носить тяжести. (Но ведь юг: там в десять лет уже женщина. Очаровательно, прекрасно—десятилетние женщины!)

— Кошмар, кошмар, герр Кальберг. Я всегда говорил, что англичане по природе своей звери... Кровожадные, отвратительные звери. Вспомните войну! Что они делали, что они делали... И трусливы к тому же...

(Однако этот Кальберг! Затеял такой скандал! Странно, странно.)

— Но, герр Пфээк, американец, к которому я обратился... редактор... он поставил меня в совершенно ложное положение...

Кальберг говорит, рассказывая по кабинету. От взвизгиваний телефонных звонков он вздрагивает всем огромным телом. Спирали табачного дыма вытягиваются в ленты и тают в воздухе, как сахар в чае; воздух становится сладким...

Директор вычистил ногти и тихонечко позевывает. Чорт бы побрал это прекраснодушие! Жесты, громовые раскаты голоса, гневные глаза! Боже мой! И для чего? Но все-таки это неприятно. Это мешает делу. Хорошо, если Кальберг не пойдет дальше. Но... нет, где ему! Комфорт, деньги, имя. Он просто сентиментальничает, просто немного сердится. Без этого нельзя. Есть такая болезнь—корь. Нужно переболеть ею в детстве. Всякие слова, возмущение, партии... Но приходит солидный возраст, и все это рассеивается. Остается жизнь: культура, кресло, ликер. О, Алоизий Пфээк тоже болел корью. Ах, какие были фразы, жесты. Ничуть не хуже, чем у этого толстяка. «Эксплуатация! человеческое достоинство! Не смейте попираť!» Корью нужно болеть в детстве. Взрослым от нее приходится худо. Масса осложнений—зрение, слух, железы...

Кальберг кончил, но не перестал ходить.

— Да, да, герр Кальберг, я понимаю вас... Я вполне вас понимаю. Но нельзя так близко к сердцу. Это ужасно, то, что вы рассказываете, конечно... Но... мы бессильны. Таков закон природы, биология... Прекрасный закон. . Кажется, старик Дарвин... помните? Естественный отбор! Ужасно... Я плачу, плачу, герр Кальберг. Кошмар... Маленькие девочки, малютки... Скажите, неужели абсолютно не сформировавшиеся?

— Не интересовался!

— Что? У англичан нет бога...

— А у кого он есть, герр Пфээк?

— Что? У кого... То-есть как, герр Кальберг, я не совсем помню...

Кальберг остановился посреди комнаты, протирая очки. Он походил на разъяренного быка в эту минуту.

— Бог? О боге нужно вести длинный и невеселый разговор, герр Пфээк, а я еще не пообедал...

— Вы попрежнему не страдаете отсутствием аппетита, герр Кальберг?

— О, нет...

— Я завидую вам, завидую. Я так измучен... Мне нужен абсолютный покой, никаких волнений. Я лечусь у профессора Альдена, но результатов никаких нет... Такие запоры, такие запоры... И газы, герр Кальберг, потрясающее количество... Если бы их можно было утилизировать...

И директор смеется. Директор доволен собой. Положительно он не лишен остроумия... И, смеясь, он прощается...

Кальберг выходит из кабинета. Ему больно и противно. Зачем было изневериваться перед этой тупой скотиной? Газы... Запор... Кальберга передергивает. Ему вдруг начинает казаться, что Алоизий Пфээк от затылка до пяток набит экскрементами.

Палка скрипела.

Очень возможно, что он сломал ее как-нибудь нечаянно. Очень возможно.

Люди спешили, люди толкались. Он шел медленно — грузный, толстый человек.

Сквозь вереницу людей, сквозь синие, коричневые, клетчатые пальто к нему пробирался Гуго Нунбах.

— Бревно, эй, Бревно! Давай твою лапу, старина. Ты пропадал чорт знает сколько времени. Где ты пропадал?

Бродяга был попрежнему жалок. Попрежнему от чего пахло подворотней и прелью. Попрежнему он походил на фокусника: помятая шляпа, стоптанные башмаки, измызганный саквояж на бечевке через плечо.

— Я зайду к тебе через пару деньков. У меня есть кой-какие долишки пока что. А через пару деньков я непременно зайду...

Кальберг пошел дальше.

Палка скрипела.

Очень возможно, что он сломал ее как-нибудь нечаянно, очень возможно...

Он заснул после обеда и проспал до вечера. Два раза стучала Берта, он слышал стук и какие-то слова сквозь сон, но ему не хотелось отвечать, он только храпел нарочно громче. Ему снилось, как он не будет спать ночью, он видел во сне себя, Оскара Кальберга, расхаживающего по кабинету, свое огромное неуклюжее тело, свои туфли, свою руку с большими плоскими и крепкими ногтями. Потом пошли настоящие сны: струнный оркестр идет по улице, виолончелисты везут виолончели на тачках и играют, арфа на колесиках, скрипачи шагают рядом — четыре скрипача, а дирижер во фраке пятится, размахивая палочкой. «Дурацкий сон» — оценил он во сне. Затем он видел Вормс и Рихарда в драной панамке, милого угрюмого Рихарда. . . Они шли вдвоем и удивлялись, почему греет луна. Они шли по лунной дорожке. Но он не досмотрел этого сна — ему помешали.

— Оскар, Оскар!

Он открыл глаза. .

— Вставай, кляча, Бревно, Кровавая Колбаса, вставай!

Кальберг спустил ноги с дивана и зевнул. По запаху он узнал Нунбаха.

— Зажги электричество.

Гуго повернул выключатель и полез целоваться. Потом он сел в кресло и зажмурился, как кот.

— Я хочу жрать.

Кальберг ушел в ванную и долго растирал живот и бока мочалкой. Холодный душ. Вода колотила плечи — он кричал и ежился. Здорово! Вода секла руки, шею, лысеющий затылок. Отлично! Вода лилась по лицу, он задышался, спирало дыхание — замечательно, замечательно!

Нунбах попрежнему сидел в кресле, худой, облезлый, в рыжем костюме. Берта привезла из столовой тележку-столик с едой и молча подвинула Нунбаху прибор.

— Спасибо, фея.

Он всегда называл ее феей почему-то, и она не обижалась.

— Что нового, старина?

Нунбах ответил вопросом же:

— А что в Китае?

— Ничего.

— Ты врешь.

Кальберг посмотрел на бродягу. Тот перчил мясо. Сейчас он думает только об еде — какое ему дело до Китая? Вот он наливает себе коньяку и, посмотрев в рюмку, пьет. Вот

он режет мясо, сосредоточенно накалывает на вилку кусок жира, жует...

— Ты врешь. Недавно я видел Рихарда, он мне кое-что рассказывал...

— И отлично...

— Выпей.

— Нет, я не буду пить...

— Ты будешь читать Новалиса, да?

Кэльберг промолчал. Действительно, почему бы ему не выпить? Это, кажется, помогает. Он налил себе хенесси и отхлебнул немного для начала. Гуго молча пил кофе.

— Что ты сейчас делаешь?

— Торгую.

— Чем?

— Порнографическими открытками.

Они встретились глазами, и Кэльберг отвернулся первым. Ему вдруг стало невыносимо стыдно, почти больно. Он попытался усмехнуться, но из этого ничего не вышло. Всегда в таких случаях ему становится стыдно, будто это он сам торгует, или лжет, или притворяется. Человеческая личность, человеческое достоинство, честь, долг — как много он думал об этом. Для того чтобы не смотреть на Нунбаха, он принялся выколачивать пепел из трубки. Потом он набил трубку табаком, но закурить позабыл.

— Порнографические открытки... — сказал он печально. — Порнографические открытки...

Ему представилось, как Нунбах торгует: вечером на улицах он толкается среди прохожих и говорит натренированным свистящим шопотом:

— Французские фотографии. Париж — Монмартр. Очень недорого. Ужин холостяков. Подарок подружке. Остроумно и весело. Пьеро великан. Непревзойденная штука. Французские фотографии...

Не раз по вечерам бледные молодые люди шептали возле него эти свои выученные слова. Он багровел и уходил прочь, сжимая кулаки до боли. «Что думает полиция, — бормотал он, — куда она смотрит? Мерзавцы!»

Эти бледные молодые люди казались ему развратниками, растлевающими основы доброй немецкой нравственности. Чудовища! Выродки!

А Нунбах?

Гуго Нунбах?

Он тоже чудовище?

Гуго Нунбах тоже выродок?

Нунбах врал, врал о своей развращенности — так же, как соврал тогда о ложках. Вот он сидит в кресле — жалкий, тощий человек — и попивает кофе. Чашка дрожит в его пальцах. Ему жарко, он расстегивает пиджак. О чем он думает сейчас? О разврате? О своих открытках?

— Послушай, Гуго.

— Да?

— Нет, я просто так...

Сотни таких, как Гуго Нунбах, тысячи таких, как Гуго Нунбах, миллионы...

Он вспоминает газетную строчку, которая опеломила его настолько, что он не поверил вначале и позвонил в редакцию — не ошибка ли, не опечатка ли в сегодняшнем номере?

Жестяной телефонный голос ответил, что, во-первых, эту цифру знает каждый мальчишка в Берлине, и что, во-вторых, в их газете за номером таким-то, от такого-то числа опечаток не было.

— Послушай, Гуго, если бы мне удалось найти для тебя настоящее дело, ты бы бросил эту торговлю?

— Поди ты к чорту. Бревно, со своими дурацкими вопросами.

— Поживи у меня немного...

— Ладно.

Нунбах кивнул головой и улегся на диване, ковыряя спичкой в зубах. Как тогда, на юбилее, завоняло окраиной города, улицей, бродячим фокусником.

— Я напущу тебе вшей, — сказал он грубо. — Лучше бы ты просто дал мне сотню марок.

— Нет, денег я тебе не дам.

Гуго не обиделся. Весь вечер они проговорили о каких-то пустяках. Кальберг потягивал хенесси и старался ни о чем не думать всерьез. К ночи он выпил такое количество ликера, что все находил смешным. Искры сыпались из его трубки, он сбросил пижаму и поиграл немного Грига. «Хороший композитор, ты не находишь, старина?» Нунбах согласился. Потом они разошлись сразились в шахматы и еще пили кофе. Гуго размешивал сахар и свистел сквозь зубы модный фокстрот. Позвонил по телефону Пирри. Он только что приехал из театра.

— Спокойной ночи, мальчик, — сказал ему Кальберг, — пусть вам приснится лунная дорожка.

Все вновь наполнилось весельем, дружескими шутками, занятой ерундой.

Они чокались. — Нунбах и Кальберг, говорили друг другу «дружище» и «старина» и спорили о Фихте, о молодости, о Гёте-естествоиспытателе и о Гёте-философе, о жизни и о смерти, о Карбюрье и о Фрейде.

Внезапно Кальберг замолчал. Ему вдруг стало страшно. Он подумал: ведь, это говорит Нунбах, Гуго Нунбах... Слова о Карбюрье, об архитектуре, об эллинах еще висели в прокуренном воздухе. Слова Нунбаха. Он должен строить дома — потому он торгует. Он знает больше, чем знают многие, он очень хороший архитектор. Почему он юродствует? Что же это такое?

— Послушай, Гуго...

Нунбах повернулся, а Кальберг не смог у него спросить о том, о чем хотел. Да и зачем спрашивать? Он предложил еще партию в шахматы, но играл без удовольствия, думая не о шахматах. И ликер больше не лез в глотку.

— Пора спать. Тебе ничего не нужно, Гуго?

— Нужно.

— Что?

— Горячую бабу.

О горячей бабе Нунбах сказал так нелепо, что даже сам усмехнулся.

— Иногда совру, — добавил он весело, — а зачем? — неизвестно.

Уходя, он забрал с собой недопитый коньяк и ящик сигар. Он даже не попрощался, так его развезло, и шел, едва передвигая ноги и размахивая бутылкой. В дверях он пробормотал самому себе:

— Жарко, старина, а?

Семнадцать дней они вместе, вдвоем, пили утренний кофе, завтракали, обедали, ужинали. Им почти не о чем было говорить, и они молчали: каждый думал о своем. Иногда приезжал Пирри. Он был весел, бодр, много шутил.

— Когда же мы начнем работать? — спрашивал он. — А, учитель? Уже пора...

Кальберг отмалчивался...

В саду они втроем или вчетвером (часто вместе с Пирри присаживал Элли) играли в крокет. Кальберг потел и с каким-то тупым равнодушием гонял деревянные шары, нил живо, спорил.

В конце концов, ему ни до чего не было дела. Он жил сам по себе, спал в своей постели, пил свое вино. «Наплевать, — говорил он сам себе, — наплевать!»

— Я — ты, — сказал ему однажды Нунбах, — ты. Здорово? Твое будущее. Твой завтрашний день. Вот ты как пьешь коньяк. Пожалуй, я больше не рожусь в учителя... Кальберг промолчал.

— И ты так же сдохнешь, как я, — под забором. Мы одинаковы. Только у тебя есть еще деньги, а у меня их нет. Вот и вся разница. Что? Неправда? Ты уже распух. Тебе ничего не хочется. А это самое страшное, когда человеку ничего не хочется...

— Герр Кальберг, герр Нунбах...

Профессор читал в кресле у окна. Ему было холодно. Он укутывал ноги канареечным пледом в то время, когда вошла Берта.

— Ну?

— Герр Нунбах ушел.

В маленьком кабинете на шахматном столике еще дымился окурок. Грязный воротничок висел на спинке стула. Томик стихов Бодлера валялся возле дивана на ковре.

— Он ничего не сказал, а только сильно хлопнул дверью.

Кальберг покашлял в кулак и приказал принести себе чаю с коньяком. Берта исчезла. Он подобрал Бодлера, вдруг рассовирипел, скомкал ни в чем неповинный воротничок, швырнул его в угол, щелчком обил окурок и, бешено выругавшись, ушел к себе в лабораторию.

В белой шестиугольной комнате с огромными окнами, со стеклянным потолком он кое-как успокоился и даже пробрал себя за глупую раздражительность.

И все-таки ему было погано. Календарь. Он содрал сразу две недели — две субботы, две пятницы, два воскресенья — и попробовал подумать о том, что же, собственно, сделано за две эти недели.

Ничего.

В конце концов, он и не отдохнул, скорее устал за эти две недели...

Вторник, да.

Он старался припомнить: что же было во вторник?

Чем вторник отличается от среды?

Ничем.

Он стоял возле большого рабочего календаря — грузный, толстый, в просторной мягкой куртке, в туфлях, со стаканом чая в руке — и мучительно припоминал, что было во вторник.

Неужели во вторник он так же бродил по комнатам, пыльная от безделья?

Неужели он разучился отдыхать, работать, смеяться, рассказывать веселые истории, посапывать, читать какого-нибудь «Графа Монте-Кристо», есть цвибель-кlops, пить кофе?

— Цоо.

Телефонистка медлила, он пытался и длинно ругался. Он даже представил ее себе: какая-нибудь дочь бедных, но абсолютно честных родителей, жидковолосая, с белыми глазами.

— Герр Пирри!

И Пирри долго не шел, скверный мальчишка.

— Мальчик, что вы делаете?

— Собираюсь уезжать.

— Куда?

— На промышленную выставку.

— Я заеду за вами.

Он оделся и позавтракал честным шпинатом с рублеными яйцами. Ему очень хотелось ехать, скорее ехать. Шофер Краусон улыбался, натягивая жесткие перчатки.

— Как живете, старина?

— Отлично, герр профессор.

— А как ваша милая дочка? Мы вместе будем выдавать ее замуж. Хорошо, старина?

— Ей еще не скоро замуж, герр профессор.

— Конечно не скоро...

— Что я хотел вам сказать, герр профессор...

— Ну-ну, старина?

— Вы даром платите мне деньги, герр профессор. Вот уже две недели вы никуда не ездили, герр профессор.

— Две недели?

— Да, ровно две.

— Ничего, старина, возитесь со своей маленькой дочкой...

Он всегда садился рядом с шофером, даже если и не управлял машиной сам. Ему нравилось смотреть, как кувыркаются, отражаясь в сияющих фарах, люди, дома, трамваи. Он любил асфальт мостовых, ему нравились синие шуны на перекрестках — вежливые лица и руки-семафоры, он любил вздохи мотора под ногами, когда машина останавливается перед сигналом «стоп», и радостный рокот, когда сигнал «стоп» сменяется сигналом «вперед».

На промышленной выставке ему опять стало скучно —

до омерзения. Дурацкие мелкие идеи, дурацкие затеи! Он ходил и бранился. Вот, например, это. На кой чорт? А механического истребления дураков вы еще не придумали? Нет? Он плохо острил и залился сам на себя. Какие-то люди здоровались с ним,—он придумал себе развлечение—очень вежливо отвечать. Он кланялся как дрессированный слон и делал даже какие-то жесты рукой — огромной лапой. В павильоне бумагоделания возле него затрещал киноаппарат,—против обыкновения он не удрал, а повернулся к объективу лицом и принялся строить что-то вроде приветливой гримасы.

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал он благодарившему оператору, — я всегда рад, очень рад...

Конечно, тут околачивался и Пфээк — в какой-то необыкновенной вязаной жилетке. За ним лазил секретарь — коротконогий молодой человек с блокнотом в одной руке и самопишущим пером в другой. С Пфээком Кэльберг поздравлялся тоже чрезвычайно вежливо и сказал ему какую-то лицемерную фразу по поводу частной инициативы, какой-то комплимент и какую-то дикую дерзость. Пфээк позеленел, но профессор улыбнулся как ни в чем не бывало, и герр директору пришлось сделать вид, что ничего не произошло.

— Мальчик, обождите.

Он даже взял Пирри за локоть. Так вот что они такое, эти загадочные люди! Ему вспомнились Иван Карамазов и Смердяков, вытаскивающий деньги в жаркой комнате, и сама комната, и плачущий капитал, и Пьер, милый хороший Пьер в сожженной Москве,—вот что они такое.

Тут было очень тесно, в советском павильоне, масса людей набилась в небольшие комнаты. Кэльберг перестал здороваться вовсе, хоть здесь знакомых было больше, чем на всей выставке. Мигом он почувствовал, что ему некогда. Ему сразу понадобилось набить трубку, закурить, протереть очки. Диаграммы. Он не читал слов, которые были написаны внизу, его интересовали только цифры. Интернациональный, международный, всем понятный язык. Он хрюкал и разглядывал синие, желтые, голубые, зеленые кружки, квадраты, столбики. Он дымил трубкой, барабанил пальцами по витринам. Он кашлял и плевался.

— А пипифакс вы делаете? — спросил он у невысокого хмурого человека. — Делаете?

— Нет!

— Не делаете? — переспросил он почему-то грозно. — Не делаете?

— Нет, — хмурый человек улыбнулся, — нет, не делаем.

Кальберг отошел опять к витринам в дальний угол. Что он знал об этой стране? Наши войска победоносно... позорное бегство противника... Но его почти угнетали цифры. Прежде всего это было неправдоподобно. Он грыз мундштук трубки и считал в уме. У него была своя система счета — графическая, и каждая цифра имела, кроме того, свое лицо, свой голос, свои манеры. У цифры 103, например, был надломленный голос. Ноли не меняли сути дела. И у 103 и у 1030, и у 10 300 — был надломленный голос. Он не любил эту цифру. А вот пять он любил. 5, 55, 550, 505, 5000. Эта цифра танцевала. Она клала голову на бок, кокетка с кривыми ногами. Очень смешная цифра. Ноль напоминал ему еду. Ноль был знаком пиццы, обеда, кофе. Четыре он считал выскочкой, которая имеет не по заслугам. Римские цифры он просто третировал. Мелкая дрянь. Он никогда не пользовался ими. Больше всего он любил десятичные дроби. Весельчаки! Он обращался с ними запросто.

В его работе никогда не было ничего мертвого. Во все он вселял живую душу. Химические формулы и знаки, цифры, буквы, чертежи, инструменты, препараты, — все имсет свой характер, свое лицо, свой голос, и с каждым из них надо обращаться по-особенному, только тогда пойдет настоящее дело.

— Ложь! Сплошная ложь!

Он обернулся. Высокий человек в спортивном костюме тоже смотрел на диаграмму.

— Это правило их жизни. Они лгут как никто. Не верьте. Ложь.

— А почему я должен верить вам?

Высокий человек лениво поправил манжеты и ушел.

— Нет, послушайте, почему я должен верить вам? Кто вы такой?

Но высокий уже исчез.

Андрей Болконский, тихий и светлый Алеша Карамазов, Мышкин в пустой комнате, больной, измученный Мышкин, Раскольников, Николай Ростов едет домой. Он плакал когда-то вместе с ними... или, может быть, сейчас кажется, что плакал, потому что полагается так думать и так говорить о великих писателях: я плакал вместе с его героями.

— Я уезжаю, мальчик...

Краусон отвез его к Раддацу обедать, Кальберг слушал.

джаз, жевал и думал о всякой чепухе, о галстуках, которые когда-то покупал в Париже, о сипаях, о богах и о Ра — египетском боге. Он очень устал, его клонило ко сну. Наконец он вспомнил о выставке. Конечно, они лгут, всем подается лгать. Это было самым легким, самым простым решением. Теперь он не верил уже ни одной диаграмме. Да и какое ему в конце концов дело? Вот он, профессор Кэльберг, ест спаржу — и наплевать ему на весь мир. Именно — на весь мир, на весь земной шар с его идиотскими порядками.

Он уже уходил, когда чья-то сутулая спина напомнила ему Нунбаха. Нунбах? Плевать! — Каждый человек живет так, как считает нужным. Не правда ли, дружище Оскар, каждый человек...

Потом, отпустив Краусона, Кэльберг пешком отправился в кино и залюбовался просмотрев четыре отвратительных фильма. Зачем ему были эти фильмы, вся эта серенькая мелькающая дрянь?! Любвишки и воров, справедливость и девочка-крошка в светлой белоснежной постельке... Чудесные кокосовые пальмы, тигр со страшным именем «Амальгама», любовь в воде и завтрак знаменитых бандитов на крыше ресторана в Чикаго. Какая-то пара целовалась рядом с ним, он оживленно сошел — ему все время хотелось сказать: не толкайтесь, оставьте меня в покое, — но он так ничего и не сказал до самого конца, постеснялся.

А потом целых полчаса пришлось ждать такси.

После кофе доктор рассказал о своей затее.

— Через два часа я еду, — сказал он и улыбнулся. — Что ты об этом думаешь?

Они вышли на балкон. Солнце жарило во все лопатки. Берлинское веселое солнце. Автомобиль-дворник убирал мостовую. Гудели машины. Кэльберг набил трубку и попросил пять минут «на размышление». Через пять минут он уже звонил Пирри, на фабрику, опять Пирри.

— Мой мальчик, — говорил он, — нельзя же быть таким ослом! Альпы, подумайте, горный воздух. Забирайте Эллинонор и едем.

Без двадцати двенадцать они выехали из дому. Посильщик принял их маленькие чемоданы. Они смеялись и радовались, как ребятишки. Доктор нес на левой руке старомодный английский плед, а правой показывал им всем азбуку глухонемых. На вокзале Кэльбергу принесли две телеграммы, он рассердился и сказал служащему вокзала —

ного телеграфа, чтобы его оставили в покое. Он устал в Анни.

— Извольте оставить меня в покое, — сказал он и постучал кулаком по дивану, — да, да.

А когда служащий ушел, Кэльберг показал ему язык — большой красный язык человека со здоровым желудком.

У них не было паспортов. Им пришлось задержаться в Мюнхене от поезда до поезда. Никому не хотелось идти за паспортами, и доктор предложил тянуть жребий. Кэльберг завернул в платок три спички (Элли заранее освободили), оставив снаружи одни головки. Обломанная спичка досталась Рэджи, он притворно захныкал и сел в такси. «Это все подстроено». Кэльберг погрозил ему кулаком. У них было три часа свободного времени, и они отправились шататься, как провинциалы. В церкви св. Людовика они долго разглядывали «Страшный суд» Корнелиуса, но он не производил на них никакого впечатления — им было слишком весело. Потом они смотрели мраморную гробницу герцога Евгения Лейхтенбергского, потом пили пиво в Ховбой-хаузе и расхваливали Баварию, точно их наняли. Доктор помогал Элли взбираться на лестницы и выходить из машины. болтал всякую чепуху насчет ревнивых женихов и так острил, что Кэльберг даже несколько раз дернул его за рукав. Они успели попасть к Шаку и поглазеть на картины, которые видели уже много раз.

Всю дорогу до вокзала доктор рассказывал анекдоты и сам смеялся до слез. Они отлично пообедали, а Элли все сокрушалась, что Рэджинальд не успеет перекусить.

Утром они были в Пассау и пили чай с коньяком, пока таможенники проверяли документы. Всем хотелось спать, и от вчерашнего веселья не осталось и следа.

— На кой шут нам Вена? — говорил Кэльберг. — Мы могли бы побывать просто в баварских Альпах... Сороч: километров от Мюнхена и никаких границ...

В купе он курил и ругался. Элли спала, подобрав под себя ноги, укрытая пледом. Рэджи читал. Дроссель чистил ногти.

— Чепуха, — сказал он медленно, — ты говоришь чепуху, Оскар.

— То есть, как чепуху?

— Очень просто. Пока на востоке не перестанут рычать, мы не успокоимся. И англичане в Китае правы. Нельзя выпускать вожжи из рук в такое время.

Они посмотрели друг на друга, и Дроссель улыбнулся. Он вынул сигару из ящичка и не спеша закурил.

— Что ты называешь таким временем?

— Таким временем? Наше время я называю таким временем. Боже мой, Оскар, ты проповедуешь чорт знает что. Неужели ты думаешь, что если бы мы победили, то в Камеруне или на Апия был бы рай земной? Неужели ты в самом деле думаешь, что мы бы заботились о благополучии тех самых туземцев, которые только и норовят всадить нам нож в брюхо или запустить бумерангом в голову? А алмазы Людерица? А каучук Криби? А медь Виндгука? А золото, Оскар, золото Муанса? А Шандунь? Ты думаешь, мы бы считались с национальными чувствами китайцев в Кяо-Чао? Даром там было военное поселение, что ли? И в этом есть своя правда, гораздо более значительная и серьезная, чем все твои вопли вместе...

Дроссель замолчал и опять принялся за свои ногти. Кэльберг вышел в коридор. Ему было противно, физически противно. Он пытался засвистеть, но у него ничего не вышло. А за обедом в вагоне-ресторане разговор опять возобновился и уже совсем скандально. Дроссель рассказывал о перевороте двадцать третьего года в Мюнхене, о Людендорфе и Гитлере и о том, какую он произнес тогда речь против коммунистов. Кэльберг перестал есть, но доктор не видал его лица и все говорил. Он говорил о будущем Германии и о тех трупах, через которые придется перешагнуть. Разглядывая розовое желе и поворачивая пальцами блюдечко, он говорил о термине «жестокость» и о том, что этим термином принято было обозначать и что будет принято. Внезапно он посмотрел на Кэльберга и тотчас же прикусил язык. Профессор был красен. Сизые пятна выступали на его жирных щеках. Он старался набить трубку табаком, но гнев мешал ему, и руки у него дрожали. Коричневые стружки кэпстэна валились на колени. Он сбрасывал их на пол и вновь совал пальцы в замшевый кошелек-кисет. Наконец он не выдержал и сказал высоким, не своим голосом:

— Это все слишком подло, старина, для того чтобы ты мог говорить об этом всерьез. Верно?

Дроссель промолчал. Так щурились глаза Кэльберга под очками, так сжималась и разжималась его рука на столе, так шевелились его толстые губы, что перечить не стоило. И Дроссель не перечил.

В Вене они собрались у Кэльберга в его номере, чтобы обсудить маршрут и провести вместе вечер.

Спор загорелся сразу же, и Элли горячилась пуще всех. Она предлагала Гросс-Глокнер, а Дроссель считал, что совершенно достаточно Гросс-Ведингер, и они как следует сцепились, но уступить пришлось Дросселю. «Вы мужчина», — сказала ему Элли. Он плюнул, потому что отлично знал, каково в таких случаях спорить с женщинами, да еще с такими, как Эллионор.

Они купили себе рюкзаки — Кэльберг и Пирри выбрали зеленые, а Дроссель и Элли коричневые, альпенштоки из отличного бамбука с рогульками наверху, кошки, веревку и два ледоруба.

Все шло отлично. Потом Пирри ездил за консервами в дорогу и за коньяком и накупил всего целый ящик.

В автомобиле Кэльберг помирился с доктором — они вспомнили, как вместе убегали из Вормса в Америку, и как Рихард Шор набил кому-то в тот день рожу, и как побег из-за этого провалился.

Альпы радовали их всем: дорогой в предгорьях, по которой неслась машина, пестрыми коровами, какими-то совершенно невероятными шляпами на пастухах, чистым и холодным воздухом, ручьями и речками. Тут все было неправдоподобно и лубочно.

— Чорт знает что! — бормотал Кэльберг, блаженно моргая. — Чорт знает что. . .

Он готов был поверить в существование подлинной идиллии и поминутно хлопал Дросселя по спине.

— Каково, старина, а? Что ты об этом думаешь?

Он говорил о художниках и о живописи, о «старой честной живописи», о Деффрегере, который черпал свои сюжеты в Тироле, о его «Святом семействе», о «Переезде через Брентское озеро» Ботье, о водопадах и диких горах Диде Франсуа.

Они смеялись, спорили и жевали сухой скверный шоколад, купленный по совету Элли, как «исключительный».

На Эллионор была вязаная белая шапочка с помпоном и белый же свитер. Все чувствовали себя от ее присутствия подтянутыми и молодыми и наперебой ухаживали за ней. Даже шофер, огромный детина с крошечными глазами, угостил ее отличным яблоком.

Им пришлось почевать в крошечном пале, сложенном из какого-то дикого пористого камня, — всем в одной комнате, есть на ужин жареную красную форель и пить очень сквер-

поз виноградноє вино. Хозяйка была похожа на ведьму. Она все припихивалась, не горит ли где-нибудь какой-то пролитый бензин, и отчаянно всех смешила тем, что курила глиняную трубку, — настоящая Виттиха из «Потопнувшего колокола».

Они ели форель, пили вино, хохотали. Рэджи вспомнил шутку Флобера насчет того, что чем вино хуже, тем оно натуральнее, и Дроссель начал рассказывать анекдоты — он мастерски их рассказывал.

Поздней ночью Кальберг вышел из шале. Он стеснялся раздеваться при Элли, спать ему не хотелось. Тонкий нежный месяц — такой, что, казалось, если в него запустить камешком, то он непременно зазвенит и разобьется, — висел над высоким Тауером. Снежные вершины Гросс-Глокнера и Гросс-Ведингера казались отсюда снизу дикими, неприступными и страшными скалами.

Он спал в машине, подложив под голову кожаную подушку от сиденья. Они храпели рядом, он и шофер, а поутру поливали друг друга, умываясь.

Проводник — костлявый чех с желтыми усами и блестящим от пота носом — запретил им много есть и велел одеваться возможно быстрее.

— Вам не следует ходить, — сказал он Кальбергу, — полным особам горный туризм не рекомендуется.

— Убирайтесь к черту! — буркнул профессор. Он видел восход солнца в горах — эту штуку ни с чем нельзя было сравнить, и ему до сих пор мерещились потоки солнечных лучей, льющихся вниз в долину, огромные стада коров и сияние снега на вершинах.

В четыре десять (он посмотрел на часы) они вышли из шале. Шофер помахал ему рукою и вновь полез в машину спать.

Проводник шел спереди, за ним Элли, потом Кальберг, потом Рэджи. Доктор замыкал шествие. У них у всех был немного смешной вид в свитерах, в коротких брюках, в шерстяных чулках, в крепчайших, точно из железа сшитых ботинках, с альпенштоками...

Чорт возьми! Дроссель хохотал как помешанный. Смех сваливал его с ног, он отставал для того, чтобы очухаться, и опять смеялся. Действительно, Кальберг был невыносимо смешон в своем костюме альпиниста, с биноклем и термосом на боку, с рюкзаком за плечами. И он злился в довершение всего — он орал, что некуда спешить, и что Элли заслоняет ему виды, и что Рэджи наступает ему на пятки,

и что менее удобно идти, чем здесь, и что вообще все не ладится.

Через полчаса он заявил, что хочет жрать, но его убедили, что «жрать», поднимаясь на такую высоту, нельзя ни в каком случае. Он согласился и покорно опустил голову. Дроссель взбирался рядом с ним. Они миновали буковую рощу — Пирри снял ее своей «Лейкой», потом он снял пару елей и одинокий камень, потом овраг, потом всю группу с проводником во главе. Проводник подкрутил усы, сдвинул шляпу слегка на бок и выставил вперед левую ногу. Видимо, он так снимался не в первый раз. Кальберг втянул сначала живот что было сил в себя, но пока Пирри приготовлялся и заглядывал в видискатель, снова выпустил живот, а в самый момент съемки чихнул.

На привале он объявил, что решительно бастует, уселся, расстегнул рucksack, открыл консервы, налил себе коньяку и так здорово подзакусил, что его даже потянуло ко сну.

— Прошло?

— Что прошло?

Дроссель положил свою руку на его большое широкое плечо и посмотрел на него снизу вверх.

— Ах, Бревно, Бревно, ты ничуть не изменился.

Его голос был мягок и ласков, — разве можно, чорт возьми, не любить этого замечательного толстяка?

— Я спрашиваю про твою китайскую меланхолию, про твои отчаянные письма, про твои вопли о произволе, о насилии, о культурном варварстве...

Кальберг молчал.

У них у обоих скрипели ботинки. Они оба немного отстали и шли рядом, порой поглядывая друг на друга.

— Что ж ты молчишь?

И Дроссель улыбнулся углом рта, так же, как улыбался в детстве, когда они вместе крали виноград или удочки, или железо со двора у соседа Крафта и их не подозревали в воровстве, а просто сокрушались, что вот опять завелось ворье. В таких случаях Дроссель улыбался Бревну углом губ, и эта улыбка походила на подмигивание, — не правда ли, как здорово мы их обтягали? — говорила она.

— Что с тобой, Оскар?

— Я не желаю с тобой разговаривать.

— Оскар?

— К чорту!

Тогда доктор схватил его руку выше кисти. Мелкие ка-

мешки осыпались вниз с глухим шелестом. Облака были уже близко, совсем близко.

— Оскар, Оскар...

— Оставь меня в покое!

— Ты не имеешь права так разговаривать со мной.

Огромное бешенство сдавило его глотку. Он ничего уже не видел. Если бы он в состоянии был думать, то он толкнул бы доктора туда, вниз, за этими камелками — в пропасть.

— Ты писал мне, подлец... Ты писал, что понимаешь, что это ужасно. Вы все мне писали. И я...

— Оскар!

— Да, Оскар! Не смей подмигивать мне, подлец! Ты хочешь, чтобы я плюнул на все, да? Чтобы я обнял тебя, как тогда? Мне противно!

Кажется, он плакал. Его трясло, он бил своим альпенштоком по земле и ничего больше, совсем ничего не мог сказать. Они делали из него куклу, большого идиота, чудака. Не смейте! Они думали, что он ползает по горам, сподит в мюзик-холл, и все кончится. Они держали его комфортом, деньгами, чепухой. Блажь, думали они, корь. И лицемерили и ввали. Он никогда не лгал.

— Врешь!

Они стояли друг против друга — совсем одни в этих горах. Ветер шелкал как хлыст.

— Врешь!

У него дрожали губы — у доктора.

— Врешь! Ты притворялся всю жизнь. Ты делал вид, что ничего не знаешь. Ты отгораживался от людей и от улицы. Ты беспартийный, потому что так спокойнее и проще, что так можно ни на что не смотреть. Сколько врешь ты врал самому себе? А теперь ты больше не можешь. Ты взваливаешь все на нас. Мы виноваты. Мы честные, черт тебя возьми, сентиментальный немец. Пока ты за спущенными шторами читал Новалиса, мы — Са¹ — наводили порядок в стране... Тебе легко жилось в своем особняке, мы знаем это, и ты боялся выглянуть. Можешь не говорить со мною, ты мне не нужен.

Он ушел прочь, не оборачиваясь.

Профессор сел на землю. Ветер хлестал и бил его — он не мог сдвинуться с места.

Да, да, он видел, видел!

¹ Са-Шупабтефлунген — боевые дружины фашистов.

В Чикаго разгоняли демонстрацию, и огромный полицейский стегал сбитого на камни парня резиновой дубиной, и парень выл, но он из окна не слышал его крика. Только рот — огромный кусок еще дымящейся говядины.

А калеки?

Они шли по Унтер-ден-Линден, у них у всех было одно серое изуродованное тело, они шевелили обрубками своих рук и выкрикивали что-то, — может быть проклятие... Один ехал в колясочке, колясочка прыгала на резиновых шинах — ее толкали сзади двое безруких. У того, который сидел в коляске, не было ни ног, ни рук, ни глаз, и лицо, ровное и гладкое, походило на бильярдный шар...

А-а-а-а!...

Ему представился их крик, повисший между домами навсегда, их проклятие — кровавыми плевками — оно должно повиснуть на особняках...

Они ехали в колясках и шли пешком, а скрип их костылей и протезов долго плавал в кабинете, запах их тужурок и шинелей, гимнастеров и бинтов не одну неделю преследовал его.

Он хотел защищаться сейчас и не мог — у него больше не было портьер, он лежал на сырой земле, на мелком щебне, сжав зубы и страшно напрягась, — все хлынуло на него — люди, дни, — все неслось как вода, размывшая плотину, — он не сопротивлялся.

Он видел отца — отец чинил часы — и мать — мать считала пфенниги, чтобы выдти из марки и обед, и завтрак, и ужин на всю ораву, он видел человека, свалившегося от голода на асфальте Берлина, он видел Нунбаха и слышал его голос: «Триста способов любви. Только за десять марок», он видел очередь у штемпельштелле — голодные, иззябшие люди, он плакал, мелкие слезинки текли по щекам, и это были самые стыдные слезы во всей его жизни — самые стыдные слезы провокатора и негодяя.

Да, да, Дроссель со своей свастикой в миллион раз честнее его. Он никогда не загораживался шторами, он никогда не уходил в лабораторию, он никогда не брал Новалиса тогда, когда надо было брать дубину. Он шел и бил, и дрался, и натравливал — он защищал свой хлеб с маслом, свой ужин, свой скат,¹ будущее своих детей, свой дом, свои акции...

А Кэльберг?

¹ Скат — карточная игра вроде преферанса.

Он поднял голову. Он вытер лицо ладонями и постарался вдохнуть побольше воздуха.

Ему нечего защищать.

Ему наплевать на скат, на дом, на хлеб с маслом.

Он продал своего отца и Гуго Пунбаха, и человека, подошедшего на асфальте, и Ло-Сина, и...

— Ладно!

Он сбросил с себя рюкзак и выпил коньяку прямо из горлышка, чтобы согреться и взять себя в руки. Коньяк обжег ему глотку, и он долго потирал жирную волосатую грудь под курткой.

— Ладно!

Ему пришлось поморщиться, когда он вспомнил о слезах и о том, как он был только что, был и грыз пальцы. Он был противен себе — такая жирная баба.

Они возвратились за ним — Элли, Рэджинальд, проводник и доктор и обругали его так, что он не смог даже огрызнуться. Доктор стоял в стороне и смотрел вниз, под ноги.

Ему было жарко от коньяку, он попрежнему отставал, а на следующем привале он уже смеялся — для того, чтобы они не приставали к нему с расспросами.

Делалось все холоднее и холоднее, привал был не удобен — очень круто. Кэльбергу казалось, что он непременно скатится к чорту вниз в пропасть. Пирри опять их снимал своей «Лейкой» и смешно морщил нос, заглядывая в видоискатель.

Через несколько шагов началась крутизна — им пришлось карабкаться на скалу, и проводник продел в кольца их поясов веревку, они оказались нанизанными, как сушеные грибы. Дроссель был последним. Кэльберг сказал ему, когда они вместе перелезали через здоровенный растрескавшийся камень, что у него есть перочинный ножик, что он может перерезать веревку, толкнуть его, заорать, и получится занятная штука. Доктор помолчал, криво улыбаясь.

Они все лезли и лезли вверх. После скалы проводник приказал привязать кошки — дурацкие железные с шипами. Кэльберг долго возился с ними — ему отчаянно мешал живот. Понемножку он начал ругаться — какого чорта, хватит, пора назад, надоело. Дроссель разговаривал с ним, но очень уж вежливо — ему, видимо, не хотелось, чтобы Пирри заметил их ссору. Когда Кэльберг особенно захныкал, он сказал ему, что и в Са и в союзе Мозга и Кулака больше любят спортсменов, чем неженок. Кэльберг за-

сморщился и покашлялся. «Живее, живее!» кричал проводник. Он прокашлялся, стараясь перекрычать проводника, что его удивляет милый доктор: ведь, он назвал доктора давеча шире раз подлецом, а доктор продолжает разговаривать как ни в чем не бывало.

Облака плыли совсем низко, почти над их головами, и Кэльбергу порою казалось, что еще секунда — и он по самым плечи уйдет в душную мягкость «неба», но они лезли, а облака убегали от них. Все кругом было багрово и воспалено. Все походило на паршивые декорации в каком-нибудь театре на окраине. Кошки визжали, царапая камень, проводник кричал на Пирри гортанным голосом как на лошадь, живот тянул Кэльберга книзу, ему хотелось плюнуть на все и поваляться на диване.

Потом он попал в розовый туман и ни черта не видел, кроме пог Эллионор, камня и веревки. И только тут он вдруг сообразил, — может быть, потому, что доктор слишком уж тяжело дышал сзади, — что, ведь, собственно говоря, — все с Дросселем кончено, именно кончено, как говорят в дешевых романах, — «между нами все кончено». — и что никакой дружбы больше не будет. Никакой! На секунду ему стало больно, а потом он выругался и почувствовал, что очень доволен и что так должно быть, даже радость обуяла его, он заорал: «Веселее, веселее, ребятки, — и дернул веревку. — Веселее, Рэджи!..» — и тотчас же ослеп.

Кругом было солнце, уйма солнца, в сером камне блестящие какие-то серебряные крупинки, и сверху лился узенький, в сантиметр шириной ручей. Они все остановились и задрали головы, чтобы видеть вершину, а Пирри сфотографировал их в таком виде.

— Кошки можно снять, — сказал проводник, — и веревку...

Тут дул очень холодный ветер, и они решили не отдыхать — Элли боялась простудиться.

— Вперед! — закричала она. — Гэrr Кэльберг!

У него что-то неладное творилось с сердцем, но он побежал, потому что увидел рукав доктора, метнувшийся вперед. Дроссель не имел права обгонять его — он вдруг запротестовал злобно и радостно, он ненавидел сейчас эти полосатые чулки, эти толстые подошвы, эту розовую крепкую шею.

Он лез и чувствовал себя первобытным человеком, каким-то кромапьюнцем, ему хотелось свистать и размахивать руками или ломать что-нибудь, но сердце билось так стран-

по, что он весь покрылся потом и ослабел. «Выше, выше, — говорил он себе, — выше», и назначил границу, у которой он непременно отдохнет, но границы оставались сзади одна за другой, а он все лез до тех пор, пока вдруг что-то не обрушилось около ног. Он остановился и сразу же понял, что ему очень худо, открыл рот, застонал и сел боком, неловко на камни и даже еще слышал, как рвется куртка, а потом полосатые ноги перевернулись перед ним, он ткнул альпенштоком в пустоту и потерялся, пропал.

Все-таки он пошел дальше, когда очухался, пошел, плюнув на все — и на протесты Пирри, и на угрозы Эллионор, и на ругательства проводника. Он никому не отдал ни рюкзака ни кошек. Он карабкался и сопел. На ровных местах ему делалось лучше, но на крутых склонах он старался влезать в стороне или поотстав, чтобы никто не видел, как ему трудно и как он злится и, главное, чтобы не торжествовали розовая шея и полосатые чулки.

Сволочь!

И он лез.

Они прошли уже очень много и достигли полосы снегов. Мелкие ручьи талой воды сбегали вниз из-под белого, пемого покрова. Ветер стих. Через сорок минут они поднялись на вершину. Эллионор сдернула с себя шапочку и помахала ею в воздухе. «Ура!» крикнула она, но ее никто не поддержал. Доктор постукивал концом альпенштока по носкам своих ботинок. Пирри, видимо, понял уже, что произошел скандал. Он старался шутить, но остроты не удавались. Он злился. Ему надоела вся эта кутерьма. Два вечера он набрасывал с доктором план якобы неожиданной прогулки в Альпы — для того, чтобы развеселить патрона, для того, чтобы заставить его расплываться со всеми китайскими воспоминаниями. И какой толк?

Они двинулись назад очень скоро — и спускались молча. Разговаривали только Элли и Пирри да и то между собой. Кэльберг свистал. Он еще раз выпил коньяку и подумал о том, что действительно становится пьяницей. На обратном пути его опять скрутила горная болезнь. Пирри и Эллионор возились с ним очень долго, а доктор не стал ждать и отправился в шале один. Кэльберг крикнул ему вслед: «До свиданья, доктор!» — и помахал рукой.

Никакого Тауера не было. Это выяснилось через Эллионор. И тут его обманули. Просто была какая-то горка в

Лилих, малопьяная, дрянная горка. А Тауер — ледники, глетчеры, морены, на Тауер можно подыматься только челноком с абсолютно здоровым сердцем.

Он промолчал, узнав, что обманут.

Но в Берлине, на вокзале он сказал Пирри:

— Я не хочу вас видеть пока, мальчик. Не звоните мне. Все равно я не буду с вами разговаривать...

Его машина стояла возле ступенек. Шофер Краусон снял кепи и поклонился. Отличный старик. Замечательный старик. И какой шофер!

Пружины сиденья застонали, когда он сел.

— Куда, герр профессор?

— Домой, конечно, домой.

— Как съездили, герр профессор?

— Плохо, старина, очень плохо...

Возле цирка он велел остановиться и купил огромный букет резеды. Для кого? Разве он знал? Цветы лежали на коленях, он перебирал их пальцами. Наконец он придумал. В игрушечном магазине он купил игрушек — прекрасных смешных вещей, чудесной чепухи. В гастрономической лавке ему подали два огромных свертка — сласти, лакомства, вино, фрукты.

— Это вашей девочке, старина. Пусть она устроит себе праздник. Я сам зайду к ней.

Он боялся возвратиться домой. Он боялся диванов, портьер, добрых и сочувственных глаз Берты, он боялся оставаться наедине сам с собой.

Краусон жил в подвале особняка профессора. Здесь было серо и не очень светло. В маленькой передней пахло перегорелым маслом. Ленивая, толстая важная кошка грелась на солнце. Косоглазый парень читал «Форвертс» и сосал трубку.

— Где же ваша девочка?

Девочка пришла и уставилась на сласти.

— Это все тебе. Ты можешь это есть.

Краусон мыл руки и посмеивался.

— Герр профессор очень добр, очень... Кушай же, Марта...

Он смеялся невесело и недобро. Потом он принес Кэльбергу стул и позвал жену. Девочка осторожно тронула пальцем ангельски и отошла в сторону.

— Им не часто случается есть фрукты, герр профессор, да и пугливы они у нас не в меру... Ваш дворник однажды

здорово прикрикнул на нее за то, что она отправилась в сад, когда вы с герр Пирри там играли в кегли...

Так вот как делается тишина в его доме, вот как... О-о! Он им покажет!.. И потом Краусон... Он живет как нищий... Эта сырость... Эта отвратительная затхлость. Чорт знает что...

Уже дома он вспомнил глаза Краусона — почтительные глаза, в которых мелькает издевочка. Мелькнет и скроется. Мелькнет и скроется.

Прибавить ему жалованья, что ли?..

И резеда...

Зачем ему понадобилось покупать эту дурацкую резеду?

Нунбах возвратился ночью, пьяноватый, веселый, с огромным свертком в руке и с флягой виски в кармане.

— Все в порядке, — сказал он, расшаркиваясь в дверях, — долой законы божеские и человеческие! Все в порядке, Бревно, не унывай. О-кей, как говорит достоуважаемый герр Пирри, о-кей.

— Где ты пропал?

— Не все ли равно, старина, где я пропадал. Вот фляга. Будем пить...

Он болтал чепуху и пил один. Его серое лицо лоснилось. «Так, должно быть, потеют мыши, — думал Кэльберг, глядя на Нунбаха, — именно так». Нунбах побрился и причесался в парикмахерской, волосы лежали гладко, в них можно было смотреться как в зеркало — так они блестели от фиксатуара. Брови и ресницы стали заметно темнее. Он был густо напудрен, и пахло от него как от проститутки — скверным леденцом.

— Ты красишь брови.

— А почему бы нет?

Когда его спрашивали о чем-нибудь неприятном, он всегда отвечал: а почему бы нет? — и зеленые искорки смеха, отличного, совсем мальчишеского, презадорного смеха зажигались в его зрачках.

— А почему бы мне и не красить брови? Это нехорошо, да? Почему нехорошо? Дурак. Затопи своими истинами печку.

Потом, за ужином, — он показал Кэльбергу огромный белый фанерный щит.

— Вот, смотри...

Черные ровненькие буквы бежали по белому полю.

В углах доски была продета веревка, чтобы щит можно было печатать на шею.

— Эта штука кормила меня сорок дней и сорок ночей, если говорить библейским стилем. Я стоял в своем пальтишке, и мне подавали понемногу. Здорово. А потом я попал в тюрьму.

Щит лежал на столе, матовый, наглый, проломанный в середине.

— Меня били... И ему попало. Один добряк хотел ударить меня ногой в живот, но промахнулся и попал в доску. Видишь.

Он ходил по комнате, мямл свои маленькие мягкие руки, покашливал и посмеивался.

— Не читай сам. Слушай. Это из циклов гимнов родине. Слушай.

Гуго Нунбах. Возраст сорок лет.
Инженер архитектор. Адреса нет.
Предъявляю диплом. Нужна работа.
Голодаю ровно четыре года.
Биография проста: на войне воевал.
Когда строил дома, взятки не брал.
Жил как живется: хлебал свой суп.
Теперь хочу повеселиться: выбираю дуб.

Он налил себе вина и выпил жадно большими глотками. Попрежнему в его глазах бегали озорные огоньки.

— Чем не Гейне? Я тебя спрашиваю, чем не Гейне?

«Чорт, — внезапно подумал Кэльберг и похолодел, — дьявол, сатана». Ему стало страшно. Десятки дьяволов, вычитанных, книжных, замелькали перед ним — зеленые, гороховые, оранжевые. Он встряхнул головой, очки упали на пол. Он был пьян, безнадежно пьян. Он напился один, еще до прихода Нунбаха, он заливал апертивами пустоту, тишину, горечь. Что ж делать, что ж делать, как быть? О, Лотта моя, Шарлотта. Тяжелый коричневый медведь идет по лунной дорожке... Неправда. Нет никакого медведя. Чепуха. Белая доска с паршивым стишком висит на стене поверх копии Рубенса. Старик Рубенс. Все мы старики. Кэльберг трет виски ладонями.

— Подожди, Гуго...

— А?

— Я совсем пьян. Мне показалось, что ты — сатана. Добрый, рыжий сатана...

— Что? Сатана? Нельзя пить горячий кофе после виски. От этого делается добрый, рыжий сатана.

И опять, как тогда, до проклятого путешествия в Альпы, они сидели до зари за кофе и ликерами, и опять фрау Берта подходила к дверям и слушала, что делают герр Кальберг и герр Нунбах, и опять Нунбах бормотал стихи:

Жил, как живетсЯ: хлебал свой суп.
Теперь хочу повеселиться: выбираю дуб.

— Перестань! — Ярость перехватила ему дыхание. — Перестань! Ты все лжешь. Ты лгун и подлец. Зачем ты лжешь?

Нунбах сидел у рояля спиной к нему. Отвратительный желтый пиджак.

— Ты не имеешь права говорить о родине. Кто ты? У тебя нет отчизны. Мусорный ящик — вот твоя отчизна. Ты должен сдохнуть. Ты насквозь провонял ночлежками и публичными домами...

— Я должен сдохнуть. — Нунбах смеялся, вертясь на табуретке у рояля. — Я должен сдохнуть, потому что я мешаю тебе, да? Я беспокою тебя, да? Но я только часть. А целое? Разве ты убедишь подохнуть целое? Оно злое. Оно нехорошее. А я хороший. Я добрый. Посмотри на меня, Бревно. Я несчастный и веселый, а ты? Ты счастливый и грустный. Идиот. Весь мир принадлежит тебе. Владей. Ешь фрукты и пей вино. Покупай себе сосиски, добрый немец. И не обращай на нас внимания. Пошли нас к дьяволу...

Он играл на рояле веселые танцы, тоненькие и мелкие как весенний дождь. Струйки лились и изгибались, блестящие, взволнованные и все-таки степенные.

— У меня есть мечта, — говорил он, — мечта... — Он пел: — Мечта, мечта, мечта. — Струйки лились и лились, и вдруг на секунду выглядывало солнце, такое, как рисуют в детских книжках, — с носом и большими ушами. — Мечта, мечта. Слушай, Бревно. Я хочу построить стадион. Стадион. Стадион. Белый стадион...

— Что?

Нунбах встал. Его волосы попрежнему блестели. Он весь лоснился. Так потеют мыши — серые мыши из подполья. Он копался в своем свертке. Целая кипа чертежей вывалилась на стол.

— Вот здесь вода. Белый стадион. Тут гаражи. Тут гички и парусники. Семь лет я хочу построить стадион. Семь лет. Вот здесь и здесь, и здесь вода. Чертовски много солнца и воды. Вода. Кроты, слепые, глупые кроты, вы росте для себя — зачем вам стадион? Вам нужны квартиры — три ком-

пития, кухня и отдельный нужник. О-кей, как говорит уважаемый Пирри. Отдельный нужник. Семь лет я претендовал построить стадион. Ничего. Пусть все провалится в присподнюю. Мой тост за отдельный нужник. Я торговал порнографическими отрывками, я конченный человек, пусть все пропадет. Герр Грюнберг предложил мне, во имя человеколюбия, спроектировать семейный стадион для торговца рогами и копытами. Отдельный стадион, отдельный нужник, ура! Выпьем, Бревно!

Кальберг потушил электричество и поднял штору. Нунбах у стола пил коньяк. Бледный, почти синий, он чавкал на всю комнату, высасывая ломтик лимона.

— Гуго.

Он не ответил. Он растерянно улыбался и жевал лимон.

— Уже поздно, Гуго, уже утро. Пора спать.

— Что? Спать? Нет, я не хочу спать.

Он попытался засмеяться, но из этого ничего не вышло. Он заплакал и плакал долго, всхлипывая и подывая.

Кальберг смотрел в окно. Утешать? Нет, он не мог утешать! Ему было страшно. Он смотрел в окно и грыз мундштук трубки. Слепой продавец спичек шел по тротуару. Палкой он нащупывал дорогу... Лоток со спичками висел на его груди.

Женщина вошла и остановилась возле дверей. Рукой в светлой перчатке она поглаживала мохнатую портьеру как собаку или как кошку.

— Я разыскиваю герр Нунбаха. Не можете ли вы мне что-нибудь сказать о нем? Прежде он часто бывал у вас.

— Он живет у меня...

— У вас?

— Да, у меня.

Она села. Конечно, она была уверена, что Гуго здесь. Ее веселые карие глаза точно ощупывали комнату.

— Это ваш кабинет. Похоже на кабинет доктора, правда?

— Не знаю. Вряд ли...

Она сидела прямо и ровно в кресле и как будто бы не двигалась, но странно — шелест ее платья был слышен все время, пока они разговаривали тут в кабинете. Тонкий скрипящий звук дешевой материи, — пусть кажется, что это шелк.

— Вы — герр Кальберг?

— Да, Кальберг.

— Гуго мне говорил. Очень рада.

— Вы хотите его видеть?

— Да, разумеется.

Ее ослепцало, розовыми лучами, солнце. «Фарфоровая пастушка», — подумал Кэльберг, — глупая фарфоровая пастушка. Нехватает только свирели и Фавна. Хотя Фавн — Гуго... Все в порядке...» Зигрид причесывалась, сняв шляпку и встряхивая волосами. Кэльберг сопел. Причесавшись, она попросила папиросу и огня. «Пожалуйста». Постепенно ему стало не по себе. Через минуту он сбежал, чтобы позвать Нунбаха: эта женщина привела с собой наглую, шумную, полуголодную улицу. Ну ее к черту!

Зигрид? Нунбах поморщился и сплюнул, выслушав Кэльберга. Эту бабу надо гнать в три шеи...

Но вечером Гуго объявил, что она, Зигрид, останется тут на недельку-другую. Ее выгнали из комнаты за неплатеж. Не может же она, в конце концов, ночевать на улице, в то время когда у Кэльберга такой домина. Кэльберг согласился кивком головы: действительно не может, действительно домина.

Они поселились в двух комнатах, смежных с библиотекой. Гуго таскал туда коньяк и виски огромными партиями. Он раздобыл, обнаглел и все чему-то посмеивался. У него завелась губная гармоника, и вдвоем — он на гармонике, Зигрид на рояле — они постоянно устраивали концерты.

Кэльберг злился. Оттуда, из их комнат, гнусно пахло сладкими духами, пудрой, женщиной. То-и-дело они грызлись между собой, тогда Гуго рычал, а Зигрид визжала и ругалась, как самая отъявленная публичная девка.

Сотня ведьм!..

Он не мог спокойно читать в своей собственной библиотеке, по несколько раз в день Зигрид приходила к нему, улыбалась, шуршала своим платьем, ошупывала взглядом стены, книги, вещи...

— О, герр Кэльберг, — она всегда одинаково полуспрашивала-полуутверждала, — вы все читаете?

— Да, читаю.

— И вам не надоело?

— Нет, как видите, не надоело... — Кэльберг смущался и усиленно сопел. — Нет, совсем не надоело...

— Гуго тоже читает...

— Что же он читает?

— Меня.

Кальберг сопел еще больше, а Зигрид посмеиваясь уходила.

«Тысяча чертей! — про себя он всегда ругался, как пират или как ковбой. — Пусть вы поперхнетесь дохлой акулой».

Каждый день он давал себе слово выгнать вон этих мартовских котов и притворялся, что забывает: нехватало решимости.

«Пусть поживут, пусть поживут, им надо поесть По-больше витаминов, и все будет в порядке. Горох, бобы, шпинат. Только с упитанного человека можно что-то требовать...»

Однажды, поздним вечером, Зигрид без стука вошла к нему в кабинет.

— Читаете?

— Читаю...

— Что?

— Ссфокла.

— Интересно?

— Не очень...

— Зачем же вы читаете?

— Так.

— Так. Ну, прощайте.

Он растерянно пожал ее узкую горячую руку.

— Куда же вы?

— Там видно будет.

— А Гуго?

— Ему плевать на меня, мне на него. Пусть полыхает. Вы думаете, я ему нужна? Ему нужен он сам. Стадион... Торговал бы лучше своими открытками.

Напоследок она попросила денег. Молча Кальберг вынул полсотни марок и проводил ее до лестницы. Зигрид шла рядом с ним, зажав деньги в кулак, помахивая кожаным чемоданчиком, злая, накрашенная, почему-то похожая на лису.

— Бросили бы вы это дело, — фраза сказала сама Ссбей, он почти не подумал, — право, Зигрид...

— Какое дело? А кормить вы будете меня, господин жирный профессор? Вы?

Она повернулась к нему красная, взбешенная.

— Все профессора, которые спали со мной, говорили одно и то же... Проклятые сволочи! Вы, ведь, и не спали, так чего же лезете?.. О, когда вас будут убивать, жирных свиней?!

Может быть, она плакала. Он видел только, как она стучала кулаком в светлой перчатке по перилам лестницы.

— Жирная свинья, жирная свинья, жирная свинья!..

А он молчал. Он все старался сунуть трубку в карман, позабыв, что в этой пижаме карманов вовсе нет.

Улица сама вошла в его дом и сказала свое слово. И опять он ходит по кабинету, двадцать семь шагов туда, двадцать семь шагов назад. И мысли, мысли. От них нельзя спрятаться, от этих мыслей. Их нельзя выгнать потому, что они суть Оскар Кальберг. И они как репей виснут и цепляются. Оторвешь одну — другая прицепилась. Двадцать семь шагов...

— Гуго!

— А?

— Ты не спишь?

— Умный вопрос... Зигрид ушла?

— Да.

— И отлично. Дряпная баба. Пойдем, сыграем партию на бильярде, а?

Он не притворялся. Он действительно был рад ее уходу. Но перед ужином, в коридоре, он вдруг взял Кальберга за локоть и сказал ему хлюпающим голосом:

— Послушай, Бревно. После этой бабы обнаружилось, что я, Гуго Нунбах, абсолютно никому не нужен. Я не нужен. Я не существую — я вычеркнут. Я не нужен работе, я не нужен стране, я не нужен ей. Даже она отлично знает, что из меня ничего больше не получится. Скандал, прямо скандал... А, Бревно?

Кальберг промолчал.

Это произошло в субботу. Он запомнил день, потому что, лежа утром в постели, разглядывал календарь.

Суб-бо-та.

Так он читал в детстве.

Вормс... Синий Орел... Старый чорт-пастор...

Но ему не дали пометать: только-только он представил себе Синего Орла повисшим на заборе, как в дверь застучала Берта.

— Что случилось?

Синий Орел с испуганной рожицей еще висел на проклятом заборе...

-- Герр Кальберг... В лаборатории кто-то заперся внутри...

Синий Орел исчез. Исчезло детство, субботнее приключение с краденными яблоками, исчез пастор, в бешенстве потрясающий палкой.

Ударом ноги Кальберг сорвал дверь с петель. В углу, у сияющих никкелем штативов лежал Нунбах. Солнечные лучи золотили бутылку, валявшуюся неподалеку. Яд ~~с~~ запил коньяком. На табуретке возле банки с цианистым кали валялась записка, скомканная и грязная:

«Я плевал на все

Нунбах».

Сначала Кальберг попытался встать на колени около Нунбаха, но помешала внезапная слабость. Ноги решительно отказались служить. Тогда он просто сел на пол рядом с покойником и дотронулся пальцами до его лба. Лоб был холоден и липок... — Так потеют серые мыши из подполья. Нунбах лежал деловитый, гордый, неприступный.

Кальберг отвернулся и посмотрел в окно. Яркое, рыжее солнце висело на небе.

САМОЕ ГЛАВНОЕ ВПЕРЕДИ

Он лежал, натянув одеяло до подбородка и прижав ладони к мокрым от пота бедрам. Иногда он кашляет, и после каждого приступа кашля серебряные звонкие мухи плавают перед его глазами. Он думает, и в его голове все ясно и все просто, и мысли тянутся почти ощутимыми нитями. Такие мысли бывают у детей и у тяжело больных. Сумерки копошатся перед ним, и порою сумерки принимают неожиданные, странные и чуточку страшные формы.

Он закрывает глаза.

Он считает до ста, — для того, чтобы заснуть.

Он считает до тысячи, до двух тысяч, до трех, но цифры бегут параллельно мыслям, и заснуть он не может...

Там, за стенкой, за дверями, что-то происходит, он в этом уверен. Что-то тяжелое.

Отец ходит, бурчит под нос и отхаркивается. Не слышно послеобеденного шелеста газеты, и отец окончательно перестал шутить.

Он все ходит в сумерках по холодному линолеуму, по коврику с летящими чайками, по большому ковру с кора-

блем и волнами. И Готлиб вдруг вспоминает: он мальчишкой ложился животом на этот ковровый гибнущий корабль и кричал: «спасите!» Ему казалось, что он тонет, что волны захлестывают его, что он настоящий моряк. И Готлиб улыбается вялой улыбкой.

А отец все ходит, прихрамывая и ворча... Шаг его тверд и холоден — он ступает по линолеуму... Теперь шаг немного теплее, не так резок, шелканье прекратилось — это коврик. Шаги почти не слышны, скрипнула половица и все — это большой ковер с кораблем.

Готлиб перестал считать. Если он заснет сейчас, то не будет спать ночью. Если бы кто-нибудь знал, что такое хотеть и не мочь спать. Слушать, как бегут секунды. Вглядываться в жидкое молоко рассвета. Плакать без слез, закусив зубами руку для того, чтобы не выть... И ощущать, как здоровое, большое тело дряблеет, мякнет, почти распадается, как мускулы превращаются в тесто, как грузно и тяжело бьется сердце, как весь организм заживо разлагается... Думать о том, что с каждым сутками все прозрачнее и тоньше становится грань, отделяющая состояние жизни от состояния смерти, что с каждым сутками приближается огромная пустота, в которой нет ничего, кроме тишины и холода, и что та ненависть, благодаря которой он, быть может, еще не умер, его ненависть, выношенная и выхоленная им, умрет в ту же секунду, в которую умрет и он.

И он молод, в конце концов он молод. Ему смело можно было бы пожить еще сорок лет, но...

Сколько бы он сделал тогда... Он бы не спал ночами, каждую минуту своей жизни объяснял бы таким, как отец, что так нельзя, что мир существует не для Алоизиусов... О, он бы доказал, у него бы хватило умения и главное — ненависти...

Но он умрет, от него не останется ничего, он исчезнет вместе со своей ненавистью, со своими мыслями... Он распадается... Он знает, конечно, что ненависть принадлежит не только ему, что после его смерти Карл Бройр и еще тысячи таких Карлов будут жить и будут ненавидеть...

— Можно?

— Да, конечно.

Это Карл. Он всегда находит время для того, чтобы на-

вестить Готлиба. Он весел, Карл, и от него пахнет дождем и бензином.

— Я бы на твоём месте поел, Готлиб. Например, тарелочку горячего супа с вермишелью. А? Как ты смотришь на это? Даю слово, что тебе сразу станет веселее...

— Я поем с удовольствием.

— Фрау Анна, этот забавный ребенок просит тарелочку супу...

— Откуда у тебя столько веселья, Карл?

— От злости, Готлиб, оттого, что у меня достаточно количество злости. А злость вырабатывает веселье, потому что ей одной скучно... Ты никогда не думал об этом?

— Нет, признаться...

Карл зажигает электричество и жмурится. Фрау Анна приносит суп и сухари.

— Фрау Анна, — говорит Карл, — фрау Анна, что бы вы ответили мне, если бы я попросил у вас тарелку супа. Я не успел пообедать сегодня...

— Герр Бройр, герр Бройр... вы никогда не успеваете пообедать... Что станет с вашим здоровьем?...

— Буквально ничего, если вы изредка будете снабжать меня тарелкой супа...

Карл ест суп и подшучивает над стариком Ганцке и над стариками вообще.

— Вы все так же уважаете Пфэака? — спрашивает он. — А, герр Ганцке? Вы попрежнему верите в единение сил директора и рабочих и в общее благо?

Эрнст-Пауль Ганцке пыхтит вонючим дымом и не отвечает.

— Что же вы молчите, герр Ганцке? Я начинаю понимать... — Лицо Карла собирается в веселые морщинки. — Я начинаю понимать... Герр Ганцке уверен, что директор лишил его работы потому, что хочет, чтобы герр Ганцке вылечил свою твердую верхушку.

— Твердую верхушку? — переспрашивает Ганцке. — Твердую верхушку? Я не понимаю тебя, Карл... Мой возраст...

Ганцке поднимает палец вверх и произносит речь о том, как молодежь стала невозможно дерзкой и непочтительной и что в его время молодежь дерзкой быть не могла, потому что молодежь знала, что ввиду того, что...

Несожиданно Ганцке запутывается во всяких «что» и «потому что» и опускает грозный палец вниз.

— Бросьте, — говорит Карл, — бросьте, герр Ганцке,

дополню... Разве в этом деле? Почтительный, дерзкий... Вот наш Пфэек настоящий человек, но что толку?... Давайте говорить о деле. Стаечный комитет...

Карл сидит возле кровати Готлиба и рассказывает. Его конопатое лицо то покрывается морщинками от смеха, то напрягается. Готлиб слушает, закрыв глаза и временами переспрашивая. Фрау Анна стоит у двери, рядом с мужем. Слова Карла — как крупный град. От них даже больно. Хочется спрятать голову и залезть куда-нибудь. Но нельзя. От этого града нет защиты. Слова очень жестки и очень остры. Кроме того, у Карла прекрасное зрение. Он отлично попадает в цель. Его руки затягивают что-то в тугий клубок, и фрау Анна не может не смотреть на этот клубок. Неужели найдется человек, неспособный понять того, о чем говорит Карл? Его слова идут то шеренгой, то гуськом. Это не слова, а живые люди. Они иногда отступают, чуть усмехаясь, но потом с новой силой кидаются вперед. И клубок затягивается. Карл все туже замыкает, затягивает, сжимает... От усилий на его руке набухли жилы.

— Вы понимаете. Страшный путь, кровавый путь...

И слова бегут... Под ними гудит земля. Карл отбрасывает клубок в сторону и говорит фрау Анне:

— Вот Готлиб. Он лежит... Фрау Анна, когда у самки отнимают детеныша, то самка впивается зубами в руку обидчика. А вы лижете эту руку... Вы...

Эрнст-Пауль Ганцке выходит из комнаты сына задыхаясь. Но слова бегут за ним, слова настигают его в полутьме. Они бьют его. Они сваливают его с ног, они вырывают из-под него почву. Он слышит, как хрипло-бешено говорит Готлиб:

— Я не хочу умирать так. Я не хочу. Вы получите от меня наследство... Мою злобу. И вы будете жить с ней. Мать... Старик зажал себе уши... Он болен глухотой. Он слеп. Я подохну... Слышите, мать... Я говорил ему...

Готлиб кашляет. Он больше не может говорить. Бабушка несет чайник в комнату Готлиба. Фрау Анна сидит, сложив руки на груди. Она не хочет плакать, но слезы не считаются с ее желанием. Они падают на руки, на колени, на платье. И потом так болит палец... Выработка падает с каждым днем. С первого числа Эрнст без работы... И доктор сказал, что... Готлибу остался еще месяц... самое большее... месяц.

Герр Ганцке сидит в темной столовой. Он ни о чем не думает, но он спрашивает себя: что все это значит? Вот

этот клубок, который затянул Карл? Эти шеренги слов? Что это такое? Он хочет возражать, но ему нечем. Язык как полено, и мыслей нет. И вдруг герр Ганцке вскакивает. Он топчется в темпоте на своих кривых ногах. Он дергает скатерть, что-то падает и разбивается, но он не замечает. Оттуда, из комнаты Готлиба, идут слова. Карл еще там.

— Карл, — говорит Ганцке, — Карл! Чорт возьми, не согласишься ли ты со мной?..

Старик путается. Ах, какая противная вещь объяснять, как трудно, как мало есть настоящих слов в немецком языке...

— Ты понимаешь, Карл? Если мне было скверно, то я утешал себя... Ты понимаешь? Я говорил себе: Эрнст-Пауль Ганцке лучше быть не может. Я говорю себе...

Старик объясняет. Он говорит о войне и о контузии... Он говорит о заработке... Да, да, он согласен с Карлом. И пускай Карл не думает, что он согласен только потому, что его лишили работы. Нет, он просто не понимал. Таких людей, как Карл, не много, и он не встречался с ними. Что же поделаешь, не встречался... Нет ли у Карла спичек, он потерял свои, а хочется закурить. Есть? Отлично. Пускай Карл не беспокоится, он не сядет, он лучше стоит... И вот Готлиб... Спасибо Карлу, он очень хорошо растолковал. Эти социал-демократы... Они забивают головы рабочих. Конечно, он всю жизнь читал одну и ту же газету. Все это не так просто. Так, значит, теперь будет стачка? Рабочие не хотят, чтобы увольняли старика Ганцке, и из-за него будут голодать? Это называется солидарностью, не так ли?.. Все время тухнет трубка, она, наверно, не хочет дымить в комнате Готлиба... Ну, чорт с ней, он сунет ее в карман. А Карл не сердится на него за прароучения? И прекрасно. Конечно, молодежь теперь иная. Отличная молодежь. Есть и враги... «Стальной плем». Они ходят по улицам, да. Он видел их или не их... Младогерманский орден! Так вот это что. Нет, зачем же?.. Их можно убедить. И Алоизий Пфээк не так уж плох. Если ему растолковать как следует, он поймет... Может быть, все обойдется и без забастовки. Карл уверен, что без забастовки не обойдется? Возможно, возможно... Но нужно принять все меры... Зачем людям голодать? С какой стати? Да, да, конечно, но все-таки...

Готлиб улыбнется, закинув руки за голову. Отец не чудит. Ничего, перемелется — мука будет...

Уже почью фрау Анна перебинтовывает больной палец. Выше опухоли рассыпаны маленькие, темные пятнышки.

— Эрнст, ты не знаешь, что бы это могло быть?

Но Эрнст-Пауль Ганцке спит. Из-под одеяла выглядывает только борода. Тогда фрау Анна вновь одевается и идет к сыну. Карл еще не ушел. Он сидит попрежнему у кровати, обхватив колено руками.

— Герр Бройр, — говорит фрау Анна, — меня смущают эти пятнышки... Я порезала недавно палец на фабрике и, очевидно, загрязнила... Очень больно... Что это такое?

Карл разглядывает палец и недовольно морщится. Потом он поднимает усталые глаза на лицо фрау Анны.

— Я советовал бы вам, — бормочет он, — действительно бы советовал сейчас же пойти в ночную амбулаторию... Не хочу вас пугать, но, кажется, именно так начинается гангрена...

— Гангрена?

— Не ручаюсь, фрау Анна, но во всяком случае необходимо сейчас же... Пойдемте вместе... я провожу вас.

Фрау Анна выходит, а Карл на минуту задерживается. Он наклоняется над Готлибом и глухо говорит:

— Злоба, которую ты вылежал, прекрасная штука. Без нес не обойдешься. И она не пропадет, уверяю тебя, что бы ни случилось с тобой. Она останется нам. Главное же — не хныкай. Чем веселее больной, тем скорее он выздоравливает, я тебе говорил об этом не раз. Плюнь на все и спи...

Готлиб остается один... Он знает, что заснуть не удастся, но все же он считает до тысячи. Потом он встает и, цепляясь за стулья в темноте, добирается до окна. Пустой и теплый мрак громадной тяжестью цепляется к ногам, не позволяет дышать. За дверями посалывает отец. Карл с матерью, должно быть, уже в амбулатории. Сонный врач и очень белые стены...

Форточка открыта, но как дьявольски трудно стоять. От сырого воздуха Готлиб буквально пьянеет... Ветер возится во мраке, кружится по комнате, шевелит бумагой и дует в лицо, в грудь...

Лишь бы это удалось. Лишь бы кончить лежание, лекарства, вдувания... Бессмысленно, мучительно и не нужно.

Теперь он будет спать, он устал достаточно... Нужно закрыть форточку. Вот и кровать. Теперь он наверно заснет...

Его длинное лицо перекосила злоба, когда он говорил в сортировке женщинам. В нем было еще много от социал-демократии — и половинчатость, и какая-то неуверенность, и трусость, и даже фразы, он еще ценил фразу, сказанную с эффектом, с треском, но основные вещи он уже понимал, и в ячейке хоть его и хлестали коф за какие штучки, но он уже был своим — почти совсем своим парнем.

Он работал на фабрике давно, и его все отлично знали. Среди стариков он пользовался доверием и уважением — он принадлежал к той группе рабочих, чьи отцы и деды работали тут же. Он хорошо знал свое дело, был выносливым как лошадь и очень спокойным человеком.

В сортировке он сказал женщинам о волк-машинах и о двухпроцентном снижении и добавил, что пора бы женщинам и девушкам встряхнуться и как следует побеседовать на общем собрании с дорогим Ральфом Клинкорумом.

Ничего особенного.

На фабрике говорились не такие вещи.

Но в два десять ему принесли карточку с вызовом в расчетный стол. Очкастая девушка бросила ему книжку и маленькую пачечку денег, и он вдруг понял, что его уволили. Тогда он рванулся назад, но сторож потребовал у него контрольную карточку. Карточки не было, и сторож грубо выбросил его за ворота. Он хотел заплакать и закричать прямо тут на улице всем людям, что больше нет демократии, но встряхнулся, выпил кружку пива и пролез на фабрику через здание конторы.

Одна девушка сказала ему, что это дело Шванинга: он пришел со слесарем в то время, когда Брундель говорил.

— Ладно.

Эрман работал на рафинерах в шестом отделении, и пока Брундель шел к нему, его трясло, по дороге он вымылся у бочки, чтобы хоть немного приободриться. Как-никак двое ребят.

— Наши переходят в наступление... — Эрман вытер руки твистом и выпрямился — у него болела спина. — Будет большой скандал. — Он посмотрел на Брунделя и задумался: очень тяжело утешать человека, которому завтра нечего будет жрать. — Нос-то не вешай, — сказал он, — еще погоди нос вешать...

На собрании ячейки он поставил вопрос о Шванинге, о

том, что наци работают у директора в качестве быков и что нигде нельзя сказать ни одного слова — все становится известным Пфээку.

Бройр сказал о многотиражке: ее рвут на части, но очень легко засыпаться — быки залезают всюду. Потом говорил Отто Кнап, парень с древесномассного завода. Он имеет улики, и дело ясное. Заправляет Шванинг.

Зелингер и Штерцер в один голос высказались за «темную», но Эрман лишил их слова. «Этим мы только нагадим себе, — сказал он. — Нужно быть осторожнее — и точка».

Они прокурили всю комнату дешевым табаком и разошлись поздней ночью.

Остался один Карл. Он подождал Трауте, и они вдвоем взялись за работу. Трауте кончала в двенадцать ночи. До шести утра он накатывал краску и осторожно снимал готовые номера с доски. Он был голоден, от усталости у него кружилась голова, и ему нужно было очень широко раскрывать глаза для того, чтобы вся комната не превращалась в сплошной поток мелких золотистых мух. Он даже выругался под конец — ей-богу, нельзя целый год спать по четыре часа в сутки. В шесть часов они кончили, и в восемь он уже отдал ребятам экстренный выпуск. Номер посвящался снижению зарплаты, перевыборам фабкома и также наци. «В БОЙ» перечислял всех быков-фашистов, под шапкой: «Берегитесь этих мерзавцев».

Завтрак был явно скуден: стакан сурогатного кофе и пара ломтей хлеба с подкисшим грушевым мармеладом. Бройр ел и разговаривал. Добрая дюжина народу собралась возле него.

— У них там все кипит, — говорил поляк Ясинский, — как с пепи сорвались. Будет дело...

— А Ральф?

— Какой Ральф?

— Конечно, Клинкарум...

— О, Клинкарум... Клинкарум два раза уже побывал у Пфээка. Герр директор не тратит времени попусту. Генальная голова...

— Шванинг не хуже... У них тоже митинг.

— Где?

— В сортире. Заперлись и орут так, что мимо страшно пройти...

— Здорово!...

— Еще бы! Такой номер — не шуточка! Есть от чего орать.

Газету не только успели раздать, но даже развесили. Почти во всех цехах, на лестницах, во дворе — везде висели свежие номера «В бой». Мастера и наци бешено обдирали тоненькие листочки, но через час, через два газеты вновь появлялись. Рабочие читали молча, покачивая головами, посмеиваясь, подмигивая друг другу.

— Ничего себе подцепили.

— Да, уж у них язычок острый...

— А вот и Пфээк.

— Где?

— Да вон, вон Шванинга по головке гладит...

— Ох, уж этот Шванинг.

— Рыжая лиса.

— Кэльберг!

— Где?

— Сидит верхом на своем котле. А котел полон денег...

— Ему что... Ему знай получай деньги...

— Вот уже не понимаю, зачем вам вмешиваться в эту историю. Ну, герр профессор получает деньги, а вам-то что? Старый, почтенный человек и вертится так, будто иголку вам в мягкое место воткнули...

— Погодите, погодите... Кэльберг изобретет что-нибудь еще, и вы завертитесь. «Вам-то что». Вот так и рассуждают разные олухи...

— Ну, ну, вы полегче...

— Это уж мое дело, полегче или нет...

— Где мастер?

— О, боже мой, убирайтесь, пока вас не зацапали...

— Кто вывесил этот листок! И почему герр Зеберг столь внимательно изучает стенку возле газеты. Конечно, у нас свобода печати, конечно. Конечно, каждый рабочий нашей фирмы может читать все, что ему заблагорассудится, конечно. Но не в рабочее время, подчеркиваю. Не в рабочее. Для первого раза, герр Зеберг, я вам записываю взыскание за прогул и выговор... Для второго...

— Зачем же герр мастер срывает газету, раз в Германии свобода печати и каждый рабочий может читать все, что ему заблагорассудится?.. Что же касается времени для чтения, то мы будем читать эту штуку пошабавив, только и всего.

— Узнаю, узнаю герр Штерцера. Узнаю его голос. Раз-

ве вы еще не уволены, герр Штерцер? Как будто бы я видел что-то такое насчет вас...

Два раза в этот день к Эрману подходил Шванинг. Он все что-то собирался сказать, но так и не решился до шабаша. Уже в раздевалке, когда Эрман застегивал ботинки, собираясь уйти, его окликнул Шванинг. Эрман поднял глаза. Шванинг жестом приглашал выйти в коридорчик, туда, где стояли огромные цинковые умывальники.

— В чем дело?

— Герр Эрман... Вы... возглавляете организацию коммунистов на нашей фабрике.

— Ничего подобного...

— То есть, как ничего подобного?.. Нам известно...

— А раз вам известно, то зачем же вы спрашиваете?

На секунду Шванинг растерялся. Секретарь ячейки стоял перед ним чуть улыбаясь и молчал.

— Ну?

— Герр Эрман, будем говорить на чистоту. Что вы выиграете забастовкой? Абсолютно ничего. Вас разгромят. В случае чего директор объявит локаут. А ваша личная жизнь? Что вы получите?..

— Все это не по адресу. Я никакого отношения к этим делам не имею.

— О, герр Эрман, не будем препираться. Каждый, в конце концов, делает свою карьеру так, как считает нужным...

— Здорово сказано.

— А почему бы мне и не сказать здорово? Ужели я настолько глуп? Так вот, почтенный герр Эрман...

— Уберите, пожалуйста, руку, а то вы оторвете мне пуговицу...

— О!

— Я слушаю вас...

— Да... На чем я остановился? На вашей личной жизни... Именно, на вашей личной жизни. Что вы имеете? Скверный заработок, перспективу ареста и увольнения, а ведь пролетарская революция еще не скоро. Ох, как не скоро, достоуважаемый герр Эрман. Вы строите свою карьеру на очень плохом фундаменте. А у вас есть милая жена, интереснейшая женщина. Разве ей не хочется сходить к Тиду и купить себе немножко разной ерунды, дамских побрякушек, подвязок, чулок, кастрюль, варенья...

— Ну?

— Герр Эрман, дорогой герр Эрман, выслушайте меня спокойно, как деловой человек. Сейчас мы с вами идем к помощнику директора герр Вислингу и подписываем там небольшое соглашение. Вот оно. Читайте...

Эрман сел на скамью возле рукомыльника. Слышно было, как в раздевалке сторож отругивался, выдавая одежду. Кто-то дискантом пел грустную песенку. Рабочие стучали сапогами, шутили, смеялись. Он читал медленно, как бы не очень хорошо понимая, в чем тут дело. Шванинг курил папироску, держа ее двумя пальцами — большим и указательным — как держат сигару: ему казалось, что так курить очень оригинально.

— Ну?

— Прочли? Очень хорошо... Так вот к чему сводится наше предложение: вы, как глава коммунистической организации, ведете работу таким образом, что организация медленно разваливается. Понятно? Вы ведете работу на развал. Мало ли что в конце концов: тактика, стратегия, временные обстоятельства. И все. На нашей фабрике спокойствие, тишина, все благополучно. Мы же, со своей стороны, гарантируем вам полную личную безопасность...

— Это кто — мы?

— Дирекция фирмы.

— Так. Дальше?

— Полнейшую личную безопасность, хороший и постоянный заработок...

— Тут в этом соглашении названа точная цифра...

— Именно... Ну? Теперь ваша очередь...

Эрман помолчал. Он был спокоен, серьезен и, казалось, что-то даже взвешивал в уме.

— И вы думаете, герр Шванинг, что коммунистическая организация развалится, если я поступлю к вам на службу?

— Непременно. Вы блестящий организатор. А тело, как известно, не может жить без головы.

— Вы ошибаетесь, герр Шванинг. Мы гораздо сильнее, чем вы думаете. Сегодня предам я — завтра новый руководитель поведет массу... И отлично поведет. — Эрман встал, сложил бумагу, которую ему дал прочесть Шванинг, сунул ее во внутренний карман тужурки и, чему-то усмехнувшись, медленно пошел к дверям раздевалки. — Прощайте, герр Шванинг.

— А соглашение?

— Какое соглашение

— Которое я вам дал... Соглашение, напечатанное на бланке дирекции концерна... Герр Эрман!...

— Вы с ума сошли, старина. Нет у меня никакого соглашения...

В семь часов вечера соглашение было уже сфотографировано. В два ночи сто двадцать номеров экстренного выпуска летучки «В бой» под шапкой: «Методы их борьбы», каждая с фотографией соглашения, пошли по рукам.

Весь этот свободный вечер они — Бройр и Эрман — играли в шахматы, разговаривали и пили чай. Сусанна, розовая и милая, гладила белье, пристроив свою обтянутую войлоком доску между подоконником и кроватью. Уже совсем к ночи на несколько минут зашел Мюленц. Он написал статью о капиталистической рационализации на примере котла Кэльберга и принес Карлу просмотреть.

— Эта толстая свинья меня бесит, — говорил он, наливая себе чай, — буквально бесит. Сегодня приехал на фабрику и ходил с директором по цехам с таким видом, будто рабочие должны устроить ему оvation. Подумаешь! Из-за него мы будем подыхать с голоду, а он считает себя благодетелем. Жирный идиот!

Эрман, проводив Мюленца, улегся в кровать и, блаженно позевывая, принялся за Тиля Уленшпигеля Шарль де Костера. — Это вещь, — бормотал он изредка, — это вещь! Ах как замечательно, ах как здорово! — Иногда он хохотал так внезапно и так громко, что Сусанна вздрагивала...

— Тише, Лео, — просила она, — тише, миленький. Право, если ты так засмеешься еще раз, у меня разорвется сердце...

Карл уже снял с себя пиджак, когда постучали в дверь. «Ладно, я открою». Эрман сунул ноги в туфли и накинул пальто. «Кто бы это мог быть?» Карл посмотрел на часы. Половина первого. Действительно, кто это может быть? Он слышал голос Эрмана: «Кто там?» Но ответа не было. Почти в ту же секунду в коридоре что-то обрушилось, тонко звякнуло выдавленное стекло, и юный голос крикнул: «Двери не открывать, в коридор не выходить, иначе брошу гранату!» — «Ну, гранату-то ты не бросишь, врешь!» Выбегая, Карл видел Сусанну, — она почти посинела, утюг раскрылся, и на пол медленно сыпались горячие, красные угли. Потом всю жизнь он помнил ее лицо, при-

кушечную губу и поток багровых углей, с легким треском падающих на пол. В коридоре было почти совсем темно. Четыре тени что-то делали в углу возле окна. «Лео!» Эрман исчез. «Лео!» Тогда он поднял над головой железную штангу, попавшуюся под руку, — ею пользовался Эрман для гимнастики. «Эй, вы!» Ему не надо было кричать — расстояние до людей, копошившихся в углу, было слишком велико. Голубое облачко вспыхнуло перед ним, он покачнулся, но тотчас же понял — он невредим. И упал. Его ударили сзади, в затылок. «Вот и смерть». Ему стало почти легко. Круги, похожие на те, что разбегаются по реке, когда бросишь камень, плыли перед ним. Прозрачный звон многих колоколов сменился одним ровным, невыносимо высоким жужжанием. Он закрыл глаза.

Грузовик. Да, конечно, грузовик. Первым делом он попытался ориентироваться. Полная луна плыла над головой. Никаких домов, никаких трамваев, никаких автомобилей, ничего. Города нет.

Слева. Он отдернул руку. Мертвец. Холодное, тяжелое тело.

Справа. Щербатые доски машины.

Мотор клокотал в ногах. Значит, его положили ногами к шоферу. Он скосил глаза: люди сидели слева, на скамье рядком. Огонек сигары едва мерцал. Люди.

Что же случилось? Лео убит. Их везут. Куда? Зачем? Что будет дальше?

Кто-то засмеялся на скамье. Запахло пылью. Скрипнули тормоза. Опять кто-то засмеялся. Луна остановилась прямо над ним, широкая, жирная рожа. Кого она напоминает? Ах, да! Она напоминает герр профессора. Только он в очках. Луна в очках. Смешно. У луны нет ушей, не за что зацепить очки. А у профессора есть. У профессора есть уши. У профессора есть Лео. На-те, профессор. Вот вам плата за ваш котел. Лео Эрман. На-те! Ура, профессор, ура! Прекрасна жизнь. Чему они смеются? Лео Эрман, Лео Эрман! Почему так тянет сыростью?

Сильные руки хватают его возле колен и стаскивают на землю. Он опять теряет сознание.

Плыть! Во что бы то ни стало плыть! Плыть! Плыть! Плыть! Сотни колоколов звонят над ним. Сотни винтовок бьют по неведомой цели. Сотни глоток поют непонятную и темную песню. Плыть! Он переворачивается на спину.

Он вытягивается. Если это смерть, то еще раз увидеть небо. Черное небо в звездах. Плыть! Опять колокола. Плыть! Он не умрет, он никогда не сдастся, никогда, он будет плыть. Плыть! Плыть!

Берег! Он садится на песок. Он еще ничего не понимает. Плыть! Он смотрит на небо и видит белые, паршивенькие звезды. Плыть! Да нет же, не надо больше плыть. Кажется, он плачет. Нет, он смеется. О, как он смеется! Он проклинает и смеется. Зубами он грызет сгнившую, выброшенную водой на берег ветку и смеется. Как весело, как дьявольски весело, как безумно весело! Потом, через час или через два, или через три, он встает и кричит:

— Лео, Лео Эрман, Лео! Милый Лео! Старина Эрман! Дружище Эрман! Геноссе Эрман! Лео! Лео! Лео!

Он ходит по берегу, плачет и кричит хриплым голосом. Он сморкается в пальцы, падает, вновь встает, размахивает руками, как одержимый, лезет в воду, пытается плыть, искать в воде и опять плачет и зовет:

— Лео! Вылезай, старина! Дружище! Ну какого же ты чорта, Лео?

— Этого мы им не простим! Пусть мне рвут пальцы, пусть из меня делают отбивную — мы этого не простим! Так говорю я — Клаус — над его могилой, и если он, Лео, слышит, — пусть слышит! Работа наци, работа Шванинга. Я поднимаю кулак над его могилой, ребята, я говорю: «Рот фронт!» Рот фронт, Лео, дружище, старина!

— Мы придем прямо к нему домой, прямо в его вонючую нору.

Дядюшку Гуделя они поставили у дверей сторожить. Отто позвонил. У них у всех были тяжелые глаза в эти минуты. Им отворил Шванинг — он только что музицировал и был без пиджака.

— Я что-то вас не узнаю, — сказал он и прищурился, — (на лестнице было не очень светло), — право, я вас не узнаю...

— Не узнаете?

— Нет.

— Расскажите нам, как вы убили Эрмана.

— Я никого не убивал.

Зелингер квакнул по-лягушечьи и ударил Шванинга кулаком по подбородку.

— На! Ты никого не убивал, чистая девушка. На!

Шванинг свалился у шкафчика и закричал дурным голосом. Он никого не убивал. Он честный рабочий. Он даже музыкант. Никто не смеет его бить.

Отто ударил его ногой в живот раз и еще раз. На! Он бил и видел перед собой гроб и бинты, белые бинты. На! Исо Эрман, мы дали слово! На! Первый раз во всю свою жизнь Отто Клаус хотел убить человека.

Падали вещи, щетка, градусник, еще что-то. Шванинг вертелся на полу, как уж. Он визжал и кусался. Он все полз куда-то и тянул руку к шкафчику.

— Пустите меня, пустите!

Он извивался у их ног и целовал их грязные башмаки. Выстрел ошеломил их. Они не видели, как Шванинг дотронулся до шкафчика и схватил парабеллум. Он лежал на животе и стрелял по ногам, подвывая от боли и от страха.

— Подлец! Гадина!

Отто попытался выбить револьвер из рук, но это не удалось...

Им посчастливилось поймать такси тут же у подъезда. Клаус велел везти всех на квартиру к себе, но шофер ехал по вызову и высадил их в Веддинге, в глухом переулке. Зелингер не смог стоять. Стиснув зубы, он бормотал, что кость целая, — не так-то легко испортить кость.

Они втащили его в первую же маленькую пивную, и Отто заорал во все горло, на риск:

— Ребята, этого парня сейчас хлопнул наци, — выручай, ребята!

В пивной стало тихо, много лиц сразу повернулось к ним. Тогда Клаус во второй раз поднял руку и рассеек его воздух:

— Ребята, вы можете сдать нас зеленым или помочь, одно из двух, товарищи.

Тут сидели рабочие, одни рабочие — он видел это по лицам, по рукам, по глазам. Он молчал, и они молчали. У них, кажется, происходило собрание — оратор стоял возле окна, и Клаусу почему-то показалось, что оратор свой парень, — слишком уже простая рожа для чужака. Но, черт их возьми, почему они молчат?

— Ну же!

И в ту секунду, когда он уже собрался плюнуть и приготовиться к драке, все изменилось.

Сначала он увидел синее сукно. Шупо встал из-за

своего столика и шел к нему — спокойный и деловой человек.

И вдруг шупо упал. На ровном месте упал здоровый, крепкий парень.

— Скупали? — спросил чей-то вежливый и осторожный голос. — Мы ему дадим пиво и связанному, правда, Ганс?

Через секунду скрутили еще двоих ребят. Они пожелали уйти. У дверей стал старичок в синем кителе. Очень вежливо он говорил всем входившим, что тут собрание любителей канареечного пения и пивная абонирована на сегодняшний вечер вышепозванными любителями.

Хозяину пивной, во избежание разных мелких и крупных неприятностей, предложили молчать.

Погодя пришлось связать еще кое-кого.

Тут напелся и бывший фельдшер. Он очистил рану и забинтовал ее запасным фартуком хозяина пивной.

Зелингер морщился от боли. Дядюшка Гудель чесал в бороде. Ему было скверно. Он-то на своей шкуре знал, что значит остаться без ноги рабочему человеку.

Конечно, Отто объяснил все собравшимся тут ребятам, но, разумеется, не громко.

Оказалось, что они попали на собрание коммунистов и сочувствующих с электрозавода.

— Вам подвезло, ребятки, — сказал человек с курчавой бородой и носом как у филина, — вы могли здорово вляпаться.

У Отто блеснули глаза, он спросил у парня, который во время их прихода говорил речь, дадут им выговор или нет за это дело. Парень пожал плечами и обозвал их сукиными детьми, но потом замаялся, узнав, что Зелингер беспартийный, а Отто только год в партии.

Через час хозяину предложили одеться и проводить гостей до ближайшей остановки трамвая. Ему также предложили закрыть снаружи пивную вместе со всеми связанными, для того чтобы не было скандала. Втроем — Отто, фельдшер и хромой — они посадили Зелингера в такси. Он должен был приехать домой один. За такси тронулась толпа любителей канареечного пения во главе с хозяином пивной.

Дядюшка Гудель плелся последним.

Ему было очень тяжело и очень хорошо, и он удивился, как два таких противоположных чувства в одно и то же время могут уместиться в человеке.

Тяжело ему было потому, что он до сих пор был одинок.

Хорошо ему было потому, что он шел с любителями канареечного пения, которые вовсе не были любители канареечного пения.

Ему показалось, что он сейчас умрет.

Он уже давно не стрелял; кроме того, они изрядно набили ему морду.

Подвывая, он добрался до кухни и здесь свалился на пол, на холодный линолеум. Огромные сверчки с человеческими глазами вылезли из углов. Шванинг потерял сознание.

О, боже мой!

Четверо полицейских перенесли Шванинга на кровать. Большеротый вахмистр держал голову чуть набок.

— Пульс?

— Сорок два.

— У всех великих людей очень медленный пульс, — сказал вахмистр, — уверяю вас...

— О, боже мой!

Ральф Клинкорум вошел в квартиру вместе с полицейскими. На площадке лестницы уже собрался народ. Ждали врача. Он примчался с шестого этажа, бледный, в шерстяной вытертой пижамке, со стетоскопом в руке. Он спал, его разбудили, он не успел зашнуровать ботинки.

— В чем дело? — спросил он фальцетом.

— Вот!

— О, боже мой, — вздыхал Ральф Клинкорум, — о, боже мой!

Полицейские призывали публику к порядку. Один из них, рослый детина с печальным носом и бачками кофейного цвета, ходил по комнатам и разглядывал вещи.

— Да, да, — говорил он глубокомысленно, — да, да, я этого и ожидал.

Он долго возился с платяной щеткой, валявшейся на полу, и с катушкой для ниток, обнаруженной им между дверями.

— Я запрещаю трогать эти вещи, — сказал он Ральфу, — если вам угодно знать, это — немые свидетели. Что?

— Ничего.

— Если бы тут была глинистая почва, то на ней могли бы остаться следы...

— Да, но тут линолеум.

— На линолеуме очень трудно обнаружить следы...

Он был явным дураком, этот шупо с кофейными бачками. Он осмотрел все окна, хоть Шванинг и сказал, что преступники не вошли в квартиру, а дрались в передней. Он спросил, не было ли с преступниками женщины или ребенка, или веревочной лестницы.

— При чем тут веревочная лестница? — спросил Шванинг и отвернулся к стене.

Они уехали через час, осмотрев предварительно все шкафы, заглянув под кровать и за диван, побывав в уборной.

— Мы сделали свои выводы, — сказал шупо с кофейными бачками. — Можете быть уверенными — преступники далеко не скроются. Их было шестеро, мы знаем этих бандитов...

Доктор заявил, что вызывать скорую помощь лишнее. Прописал две примочки и одно полоскание и ушел. Он был брит, его мокрые глаза смотрели равнодушно: а хоть бы ты и умер, — говорил этот взгляд, — мне наплевать.

И только после ухода доктора Шванинг заметил Ральфа. Он подал ему руку и улыбнулся, как улыбаются роженицы после удачных родов, — немного устало, немного сконфуженно, немного гордо.

— Какие мерзавцы! — сказал он. — А еще бранят нас за то, что мы нападаем на них. Погодите, я встану и тоже начну ходить по квартирам, — наши ребята умеют это делать куда лучше, чем они. Знаете, постучали: Ганс дома? Ганс выходит — и Ганса бьют молотком в висок...

Клинкорума передернуло. Он был, в сущности, мягким человеком. Он никогда не воевал и слушался не только своей жены, но и своей дочери. Он носил старомодное пенсне со шнурочком и легкие воротнички. Он смахивал на филолога или на главного приказчика в шляпном магазине, или на провинциального провизора... «Мы, люди интеллекта, — говорил он в особенно патетические минуты, — мы, люди интеллектуального труда...» Чорт его знает, как он очутился в фабкоме. Кажется, в самом деле он имел аптеку где-то в Верхней Силезии, но аптека отошла к Польше, а Клинкорум «лопнул». Ему удалось устроиться лаборантом на фабрике. Несколько раз Клинкорум произнес неплохие речи. Он стоял за ассигнование

средств на бронепосец — первая речь, он стоял за все честное, принципиальное, искреннее, смелое, свободное, недумчивое, человеческое — вторая речь. Ему здорово хлопнули — он растрогал стариков-рабочих своим проникновенным, дрожащим от волнения голосом, совсем приличным сюртуком, шнурочком от пеньки, рукой, которую он изредка поднимал вверх...

Кроме того, Клинкаром умел негодовать. У него вибрировал и срывался голос, он разводил руками и тряс головой. «Ни-че-го не по-ни-маю, бес-прин-цип-но, отвра-ти-тель-но». И опять тряс головой.

Его выбрали в фабком.

И тут он сразу же показал зубки. «Я никому не позволю наступать себе на ногу, — говорил он, и голос его дрожал от волнения, — я никому не позволю швыряться принципами, уверяю вас...»

Он шел на все в драках с коммунистами и учил своих товарищей, что единственной мерой в борьбе с беспринципным является беспринципность же. «Мы должны драться их же оружием, мы должны знать своих врагов...»

Он передергивал и врал, этот человек интеллекта, он работал поистине не за страх, а за совесть... Но, конечно, он был против «физических» мер воздействия. «Это не борьба, — говорил он, — разве это борьба? Бить? О, боже! Нет, нет, я никогда не соглашусь с вами...»

Он вытягивал вперед руки и ставил перед собой ладони щитками, он закрывал глаза — весь его вид означал, что он не может слушать таких вещей...

Наци? У него не было к ним особых симпатий. Грубые и необразованные люди. Прежде всего партия должна иметь теорию, а какая теория у наци? Погромные антисемитские листки — разве это теория? То ли дело социал-демократия... Каутский и Маркс, Отто Бауэр и Карл Реннер, сколько книг и брошюр, какая теория! От эйзенхауэров до наших дней — сколько государственных умов!

Он подобрал себе отличную библиотеку и изредка копался в ней, — надо быть образованным, — но наука давалась ему трудно. Все было запутано. «Конечно, — бормотал он, — не нам хватать с неба звезды». В конце концов он положился на свое чутье, и оно его не подводило.

Шванинг слушал его молча. В спальне горела фиолетовая лампочка (приятно для глаз), Ральф сидел в кресле, вытянув вперед ноги. Дверь в столовую была открыта,

там посередине сиял всеми медянками изумительный оркестрион. Клинкорум вертел в пальцах брелок от часов и говорил своим взволнованным голосом о брожении на фабрике, о том, что он, «так сказать», потерял вожжи, о том, что «они», «эти» сумасшедшие люди, готовы бастовать, а вся фабрика безусловно из солидарности поддерживает их, — к чему это все может привести?

Шванинг молчал. Его голова, похожая на огурец, покоилась на подушках. Он был обвязан. Клинкорум ставил ему примочки и помогал поворачиваться — очень нежно, как настоящий брат милосердия. Потом Шванингу захотелось кофе, и Клинкорум пошел на кухню (отличная кухня), зажег газ и смолот на кофейной мельнице немного зерен. «Цикорий в левом шкафчике, — крикнул ему Шванинг, — в левом!» Клинкорум поджарил хлеба — все получилось отлично.

Они пили кофе в спальне, за маленьким столиком. Шванинг, весь обложенный подушками, кряхтел и стонал. Клинкорум делал ему бутерброды и размешивал сахар в кофе.

— Может быть, вам почитать? — спросил он у Шванинга, когда они напились. — У меня есть с собой романчик...

— Нет, не надо. — Шванинг говорил густым, медным голосом — они здорово стукнули его в грудь. — Я не люблю романчиков. Кроме того, нам нужно поговорить о делах...

— О делах?...

Они закурили папиросы.

— Да, о делах... Приподнимите мне, пожалуйста, герр Клинкорум, голову... Спасибо...

Шванинг оглянул комнату желтыми глазами.

— Вот видите, — сказал он, — моя квартира... Боже мой, листки, литература, антисемитизм... Вы наивный человек, герр Клинкорум... Неужели вы думаете, что эти четыре дурака, которые возились тут, разыскивая следы преступников, в самом деле спасут нас, когда начнется настоящее побоище? Спаси вас боже от таких мыслей... Сейчас нужны пулеметы, герр Клинкорум, сейчас нужны газовые бомбы, а не речи. Ваш сезон оканчивается. Понимаете. И дело, конечно, вовсе не в погромных листовках, а дело в силе убеждения. Должно быть, вы поняли это, если пришли ко мне. Правда?

Клинкорум закрыл глаза и выставил ладони щитками.

— Нет, нет, вы не поняли меня...

— Я хочу говорить о деле, — перебил Шванинг, — только о деле. Вот моя квартира. У меня есть пара галстуков и пара пфеннигов — на черный день. Что есть у нас? И что вы будете делать, когда эти ребята посадят нас на тачку и вывезут за ворота?..

— Этого не будет...

— Это будет завтра, в крайнем случае послезавтра.

— Герр Шванинг!

— Бросьте, ей-богу, вам верят только олухи... А когда нас вывезут на тачке за ворота, будет уже поздно. Понимаете?

Клинкорум молчал.

— У вас выгодная внешность, мы сделаем вам карьеру, настоящую карьеру. Нам нужны интеллигентные люди. Нам нужны люди, умеющие говорить. Пока что — надо уметь говорить. Но мы не любим людей, которые боятся револьвера... Что?

Клинкорум все время вертел пальцами брелок. Он был слегка бледен и смотрел в сторону в дальний угол.

— Зачем же вы пришли ко мне? Вы пришли ко мне для того, чтобы объявить себя банкротом. Именно банкротом. Социал-демократ пришел к национал-социалисту спрашивать у него совета. Что я вам посоветую? То, что в интересах вашей партии или моей? Вы так ставите вопрос? Ладно, отвечу. Я вам посоветую то, что в интересах родины. А родине довольно слов, речей, митингов. Родине нужны хорошие ребята, умеющие держать в лапах револьвер и бомбу. Понимаете? Револьвер и бомбу. О чем мечтает Москва? О всемирном союзе советских республик? Ладно. Посмотрим. К.П.Г. тоже научилась разговаривать. А мы? Мы должны научить их молчать. Понимаете? Иначе все это пойдет к чорту. Моя квартира и ваши сбережения. Вы хотите иметь свою аптеку, я хочу... Я тоже кое-что хочу... Вы считаете, что их можно убедить, я этого не считаю. Их можно убедить, имея систему подавления. Настоящую полицию. Настоящую армию. Настоящую партию. Настоящие пулеметы...

Они говорили до поздней ночи. Два раза Клинкорум варил кофе. Он менял примочки и водил Шванинга в уборную, он даже спустил за ним воду, потому что Шванингу стало дурно. Аптекарь, он считал себя близким к медицине и по собственному почину намазал Шванингу спину иодом. Он был мягок и добр — с политики они пе-

репли на искусство, в Клинкорум оказался большим поклонником грустной музыки. Они поспорили о Сен-Сансе и Шопене и расстались друзьями.

МОЙ ПОКОЙНЫЙ СЫН

Эрнст-Пауль Ганцке вошел в спальню на носках. Но все же Анна открыла глаза.

— Больно?

Это был дурацкий вопрос, но другого больным не задают. Анна улыбнулась углом губ.

— Ты каждые полчаса спрашиваешь одно и то же. Очень больно. Посмотри, как Готлиб.

По дороге к сыну Ганцке напился воды. От сумасшедших дней у него ныла голова точно после недельного пьянства. Готлиб бредил. Бабушка в кухне возилась с кислородным мешком. В мешке образовалось отверстие, и кислород выходил, тоненько попискивая. Старуха, растерявшись, хватала мешок то там, то тут, но без всяких результатов. Ганцке обозлился.

— В воду нужно, бабушка, в воду...

— Чего тебе?

— В воду, говорю, в воду...

Готлиб хрипел попрежнему, но от кислорода, видимо, стало легче. Он блаженно вдыхал газ из воронки, морщины на его лбу разгладились.

Вечером пришел доктор. Это был заморенный человек в галстукештопором. Он попробовал пульс и сказал мрачно:

— Крепитесь.

— Я... что же... — ответил Ганцке. — А вот жсна...

Доктор размотал повязку и посмотрел культипку пальца. Тут все обстояло благополучно, и доктор остался доволен. Перед уходом он еще раз зашел к Готлибу.

— Молодому человеку не следует унывать, — бормотнул доктор, — все идет своим чередом.

И доктор ушел.

Ночь Ганцке не спал. Он сидел в столовой и курил трубку. Бабушка бродила по комнатам, напоминая одновременно и мышь и привидение. Ганцке курил и думал о том, как сказать Анне, что Готлиб умер. Ему больше не нужны никакие подушки и никакие доктора. Ему все, все равно.

Ганцке был суров. Его трубка исходила вонючим и горьким дымом. У Ганцке осталась только Анна... Его сын умер. Ганцке привык к мысли о смерти Готлиба, и эта смерть не потрясла его. Он сидел на диване и шершавой ладонью гладил диванный валик. Готлиба отравила ртуть. И он погиб от ртути. Теперь Эрнст-Пауль Ганцке не может начать фразу так:

— Мой сын...

Он должен сказать:

— Мой покойный сын...

Готлиб лежал в своей комнате, очень длинный и очень худой. Одеяло натянуто до подбородка. И дверь в комнату Готлиба закрыта, и бабушка уверена, что мальчику необходим покой и мальчик спит. Да, конечно, он спит. Нельзя было сказать, что он умер, потому что старуха подняла бы крик, и Анна...

Он, выколов золу, снова набивает трубку темным вонючим табаком. Сын умер. Теперь их двое. Больше нет семьи. Ртуть... Кому они нужны — электрические лампы?

Старик думает и гладит валик дивана. Так он сидит до утра. Утром, тяжело волоча ноги, он идет в спальню и садится на стул возле кровати. Он молчит, но Анна понимает.

И вот в квартире Эрнста-Пауля Ганцке на короткое время повисает тишина. Затем начинают хлопать двери. В передней тоненько плачет бабушка. Ганцке ходит по комнатам, стараясь спрятаться от той нестерпимой, хрустящей пустоты, которая сомкнулась над ним.

«Я кривой человек, — думает он, — я кривой и контуженный человек».

Мастер варит тряпку...

Вдруг он вспоминает Алоизия Пфээка — и пустота исчезает. Все принимает прежние очертания. Теперь-то он знает, как надо поступать в некоторых случаях... Готлиб умер. Его похоронят... Ртуть... Отлично. Самое главное впереди.

Старик топчется посредине комнаты с потухшей трубкой в зубах.

— Отлично, отлично, — бормочет он, — отлично

Потом он бежит к Готлибу. Он рассматривает его лицо в упор и гладит его лоб...

Он вышел из дому и побежал к остановке автобуса.

Мимо промчалась мотоциклетка, и Ганцке упал. Дворник с тяжелым подбородком помог ему подняться и отряхнуть пыль.

— Что случилось? — спросил он.

Ганцке не ответил. Ему было холодно; он дрожал мелкой, слабой дрожью.

— Все равно... Пустите...

Он даже не поблагодарил дворника и заковылял дальше.

— Не важно, не важно, — бормотал он, — обойдется.

Автобус шел не в ту сторону, но Ганцке поехал. Ему необходимы были лица людей. Дама в яркой шапочке читала журнал. Старик сел с ней рядом. Наконец он опомнился и вновь очутился на тротуаре. Тут протекали сытые жизни. Люди улыбались спокойными и счастливыми улыбками. От людей пахло хорошим табаком. Старик сунул руки в карманы и пошел вдоль витрин. Ему вздумалось свистеть — и он насвистывал. Он не думал больше о Готлибе и о том, что делается сейчас дома. Он был беззаботен и молод. Он насвистывал «цесарок». Погода он постарался идти в такт с шагами высокого очкастого субъекта, но из этого ничего не вышло: у старика нехватило жизнерадостности.

Наконец он столкнулся с самим собой в витрине магазина зеркал. В громадное зеркало он увидел свои же корые и красные глаза и свои губы, перекошенные весельем.

— Мы еще потанцуем! — крикнул он зеркалу и замер, прислушиваясь к клокотанию слез в горле. Потом он поплыл в тумане, только солнечные лучи трепетали перед ним в граненых краях зеркал.

К вечеру он попал в Моабит и свернул в холодный переулок. Дома нависали над ним как скалы. Чистенькая девочка играла в серсо. Ее волосы сверкали золотым нимбом. Старик все шел, понурившись и бормоча, как помещанный. Задышавшись, он остановился около красных кирпичных стен завода. Тут работал Готлиб. Тут он заблел. Старик поднял руку над головой и сказал:

— Вы раскалите печи и сгорите в них. Самая страшная болезнь — проказа. Имеется еще чума и чахотка. Пускай вы умрете от этих болезней. У меня был один сын... Вам это все равно, вы его отравили. Он, конечно, еще хотел жить. И вы сгниете в собственном гное. Моя фамилия Ганцке, и я говорю это.

Старик улыбнулся. Он всю дорогу придумывал про-

клятво и вот сейчас сказал. Он думал, что от проклятья станет легче, но стало только тяжелее. Надвинув шляпу, он шагнул обратно подпрыгивающими и неверными шагами. На маленькой площадке он поднял голову. Горизонт был иссечен дымящимися копьями заводских труб. Строилось какое-то здание, и прожектора уже раскалывали сумерки. Где-то неподалеку тарахтело сверло. Мимо прошли рабочие. Они пели. Ганцке поклонился им и, не замечая удивленных взглядов, пошел дальше.

— Вон! Уходите вон!

Они смотрели на него круглыми глазами. Четыре человека, среди них — паренек с перебитым носом и тоненькими усиками.

— Герр Ганцке!

Не помня себя от гнева, он затопал ногами и замахнулся. Паренек с перебитым носом отскочил в сторону, остальные трое молча ушли. Он бросил им вслед их грязные деньги вместе с конвертом.

— На-те ваши деньги, подлецы, мне не нужны эти деньги!

Потом ему стало стыдно. Может быть, они так же обмануты, как был обманут он сам, как был обманут его Готлиб. Может быть, они не подозревают, какое грязное дело делается их руками. Но стыд очень скоро прошел: это заставит их подумать...

Он ходил по комнате и ничего не видел. Он натыкался на людей и курил свою трубку, с Брунделем он поздоровался два раза. «Я очень рассеян, извините, герр Брундель...»

Анна больше не плакала. Она стояла у окна, прямая, худенькая, в лиловом платье, и смотрела во двор. Он заглянул в ее глаза и испугался. Глаза молчали. Он дернул ее за руку, и она спросила спокойным голосом: «Что тебе, Пауль?» Он не нашелся и промолчал, жалко улыбувшись.

Люди приходили и уходили. Какие-то женщины возились в соседней комнате. Брундель сидел на подоконнике, морщась как от мигрени. Ребята с фабрики не умели выражать сочувствие. Зелингер и Штерцер привели с собой какого-то хорошего бродягу. Он был слегка пьян. Раньше всех пришел Карл. Желтый и измученный, он все делал сам и только изредка просил помочь. У него находились даже какие-то слова утешения, бодрые и про-

стые слова. Пару раз похлопал Ганцке по плечу и незаметно пожал ему руку.

Картонный гроб и жалкие цветы.

Гроб из картона.

Может быть, Ганцке плакал, может быть, нет. В памяти от этого дня осталось только одно: он все время терял свой табак и спрашивал: «Не видели ли вы мой кисет?»

Солнечный, теплый день, голубое яркое небо и крики ребятишек во дворе. Он видел голубей — они садились на цинковые подоконники, он видел старый асфальт двора. Он видел картонный, очень приличный гроб.

Потом появился человек в гладком сером пальто, приглаженный, спокойный человек. Он держал шляпу в левой руке, а правой помогал своим словам:

— Наш союз просит вас мужаться и надеяться. Мы, работники бумажной промышленности, твердо убеждены в том, что в эти тяжелые минуты вы, достоуважаемый герр Ганцке, все-таки...

Гроб из картона.

Жалкие цветы, и бабушка плачет где-то в углу, и этот серый, вполне приличный человек говорит свои достойные слова. Потом человек жмет ему руку, надевает шляпу, перчатки и уходит.

Опять голуби, опять двор, опять лиловое платье Анны, белый воротничок, чей-то сюртук и масса людей, среди которых колыхнется гроб, вполне приличный, картонный, выкрашенный под дуб и отлакированный гроб.

Он ищет свой кисет, но ему говорят, что сейчас курить не время. Он смотрит в окно. Он прогнал тех четверых и бросил им их деньги. Он пел песню, старую солдатскую песню:

Я не могу дать руку —
Я заряжаю вповь.

Его жена и его сын жрали картофельную шелуху. Он пил свое пиво и читал свою газету. Он будет пить свое пиво и будет читать свою газету. В сущности, ничего не изменилось. Ничего не произошло. Вполне приличный гроб. Вполне приличные друзья. Хорошо повязанные галстуки. Цилиндры. Котелки. Сюртуки.

Тишина.

Потом он слышит напряженное дыхание нескольких человек сразу — сколько людей, сколько людей! Но ведь комната маленькая, людей не много. Он чувствует, что

тяжесть наполняет все — голову, шею, руки, ширится — он не выдерживает. Он поднимает кулаки и кричит что-то в самую гущу, в лицо всем, может быть, Готлибу он кричит эти страшные, грузные, никогда не слышанные слова. По его лицу катятся слезы, он кричит хриплым, потерянным голосом, он проклиная свою жизнь и те песни, которые пел, и ту винтовку, из которой стрелял, и те машины, у которых работал. Потом он теряет лица и хорошо повязанные галстуки, и швейцара, и гроб, и Анну, у него подгибаются колени, и он садится на пол.

Всё. Больше ничего нет. Он поет песню. Он кружится на месте. Он заводит волчок. Он сам волчок. Лейтенант, смиренно!

Тишина.

Посыльный в форменной фуражке с двумя рядами сияющих пуговиц на груди говорит:

— ...выразить соболезнование одному из старейших рабочих фабрики номер один бис герр Эрнсту-Пауль Ганцке. Герр Пфээк считает своим долгом обратить орошенные слезами глаза престарелой четы Ганцке к престолу всевышнего, который один в своей великой милости может утешить их печаль...

Тишина.

Карл поднимает Эрнста-Пауль Ганцке, и старик видит губы Карла, толстые, некрасивые губы Карла. Они дрожат. Он видит слезинки на конопатых щеках, он поднимается, пьет воду, много воды и слышит, как целкают губы о стакан.

— Мы, люди интеллектуального труда, — говорит ему Ральф Клинкорум и поправляет одним движением и пенсне и воротничок, — мы, люди интеллектуального труда...

— Я рабочий.

Они поднимают гроб. И тогда появляется доктор Дроссель. Он во всем черном. Он протягивает руку Ганцке.

— Какое несчастье!..

— Убирайтесь вон!

Тишина. Люди стоят, подняв гроб, двери уже открыты, сквозняк мечется по комнате. Лейтенант, смиренно! Он сам запускает волчок. Может быть, он улыбается.

— Я не хочу оскорблять память моего сына! Вы не смеете присутствовать здесь! Ни вы, ни Клинкорум! Уходите отсюда! Уходите отсюда вон, убийцы моего сына!

Лейтенант, смиренно!

Два дурацких слова не дают ему покоя. Еще — волчок и песня:

Я не могу дать руку —
Я заряжаю вновь

Он стоит напряженный и вытянувшийся, кривой и бледный. Он прогнал их — доктор Дросель, представитель завода электротрубных ламп, и Ральф Клинокорум, председатель фабкома бумажной фабрики, ушли.

Тишина.

Лейтенант, смирно! Я сам заведу волчок.

— Анна! Анна! Анна! Анна!

Она не плачет.

Вполне приличный картонный гроб.

С похорон Готлиба они возвратились в пять часов. Старик вымыл руки и обошел комнаты, только вздыхая. Анна сидела на кухне, прижав ладони к коленям и закрыв глаза. Бабушка варила обед. Жизнь шла своим чередом, и бабушка отвечала за здоровье этих двух людей...

Я не могу дать руку —
Я заряжаю вновь.

Комнаты были пусты, и Ганцке заметил это только сейчас. Вдруг он вспомнил об умывальнике. Умывальник исчез. Буфета тоже не было. На месте пианолы стоял кругленький столик. Исчез и диван. Анна подняла на мужа усталые глаза и негромко сказала:

— Ты не замечал, Эрнст... Они узнали, что мы без работы, и прислали агента. Агент предложил выплатить все немедленно. Я отказалась, и он позвонил по телефону. Оказывается, мы погасили только спальню, стулья, столы и ящики в передней. Когда унесли Готлиба, они приехали...

Анна замолчала. В окно пробирались солнечные лучи, и в комнатах стояла тишина. Старик долго вычищал трубку ногтем. Потом он закурил и сел на стул.

— Мы должны уехать, — сказал он, — Анна, ты слышишь? Мы должны уехать. Тут совсем пусто и холодно. Мы можем поселиться в одной комнате... Как твой палец?

— Ничего!

— Отлично! Мы переедем второго числа. Первого мне не нужно будет идти на фабрику, и я узнаю в бюро

насчет комнаты. Мы устроимся, Анна... Я умею недурно лепить... Статуэтки или еще что-нибудь.

Эрнст-Пауль Ганцке говорил вздор и прекрасно сознавал, что говорил вздор, но что-нибудь нужно было говорить, потому что в квартире стояла тишина.

У Ганцке не было перспектив. У них не было денег, у них не было вещей и не было работы. Им следовало молчать и ни о чем не думать. Старик знал, что рабочих-бумажников на бирже больше чем достаточно и знал, что работы они не получают. Он знал, что работать не в бумажной промышленности ему не удастся, так как и там квалифицированных рабочих хватает с избытком, а избыток этот нуждается в работе не меньше, чем Эрнст-Пауль Ганцке.

Я не могу дать руку —
Я варяжаю вновь.

Говорить было не нужно, но старик говорил до ночи. Порою он шептал, порою кричал. Он даже угрожал кому-то, ковыляя по пустым комнатам. Эти комнаты необходимо было населить жизнью, движением, словами. Старик прогонял тишину вон и швырял стулья на пол в темноте. Ему чудились крысы, он топал ногами. Он зажег все лампы и бегал из комнаты в комнату. Он кричал, что на страшном суде *их* будут судить так страшно, как до сих пор не судили еще никого. Вслед за этим он кощунствовал и плевал на молитвенник. Он смеялся над богом и говорил, что бог поглупел или нанялся в услужение к *ним*. До сих пор он не знал, насколько ему дорог был сын. Теперь он понял это.

— Все равно, все равно, — шептал он в исступлении, — все равно... Я понимаю, чего они хотят. Я понимаю...

В комнате Готлиба еще лежала кислородная подушка, наполовину пустая, и он прижал ее к груди как ребенка. Его слезы высыхали на скользкой резине.

— Мой мальчик, — бормотал старик, — мой мальчик... Мой Готлиб... О, мой мальчик...

Он мля в руках кровавые простыни и целовал их. Перед его глазами бились молнии холодных судорог. Он плакал, обессиленный и слабый старик. Потом он рылся в книгах сына, ища ответа на ежесекундно возникающие вопросы. Но книги были написаны сухими, непонятными и тяжелыми словами, и книги были слишком велики.

ЖИВОТ, КОТОРОГО ЕЩЕ НЕТ

Еще у ворот фабрики Карл Бройр встретил Гюббе, парня из «отряда» Шванинга. Гюббе курил черную сигару, сидя на груди черепицы. Увидев Бройра, Гюббе поднялся, сдвинул шляпу со лба на затылок, с затылка опять на лоб и пальцем дернул воротничок так, точно тот давил ему шею.

— Как живешь, старый сухарь?

Карл остановился. Тяжелое веселье мешало ему говорить простыми словами. Он долго молчал, прежде чем ответить.

— Два раза в меня стреляли эти подлецы. Потом они попытались проломить мне голову поленом. И, решив, что я уже сдох, они швырнули меня в Шпрее, но я еще жив.

Гюббе молчал.

— И, кроме того, я, кажется, знаю, кто работал в их шайке. Кажется, знаю.

— Неужели знаешь?

— Знаю. Например, я совершенно уверен, что твои грязные лапы здорово воняют кровью после той ночи. Кровью Эрмана.

— Что?

— Не делай страшных глаз. Теперь я стал умнее и положил себе в карман вот эту штуку. — Он показал Гюббе полукилограммовую гирию и, криво улыбаясь, повернул в контрольную будку. Гюббе опять потрогал воротничок, сдвинул шляпу на затылок, засвистел и отправился разыскивать своих — Шванинга, Дорна, Кисельгофа.

Секретарем работал теперь вместо Эрмана Мюленц. Он еще больше зарос серой шерстью, нос совсем исчез в седой щетине. За это время в партию приняли еще девятнадцать человек, и Бройр долго вчитывался в их заявления. После больницы ему так отлично было сидеть в этой кампатушке и медленно влезать в жизнь ячейки. «В бой» редактировала теперь Трауте. Газета выходила раз в три дня, наци ее влияли, но почти без толку.

Потом, оглядевшись и разузнав все новости, он пошел по пехам. Штернберг, Брейн, Вернер, Эсвальд, Штиленг, Адольф. Они все трясали ему руку, хлопали его по спине, и у каждого из них находились какие-то особенные штуки, которыми они его угощали. Брейн извлек из кармана печеное яблоко. «На, старина, подкрепишься, у тебя такой вид, будто ты только что вылез из могилы». Вернер напоил его молоком, а Эсвальд похвастался какими-то необыкновен-

ыми сигарами из каптановых листьев. — «Отличное изобретение, — бормотал он, задыхаясь страшным, рыжим дымом, — прямо настоящий табак...»

Стачечный комитет поместился в маленькой пивной против фабрики. Трауте принесла туда пишущую машинку, ротор и пачку восковок. К вечеру стало нечем дышать — так много набилось людей. Накануне объявления забастовки в стачком пришел Ральф Клинкорум — в костюме песчаного цвета и с цветком в петлице.

— Мы вынуждены, — сказал он и помолчал, для того чтобы все подумали, что же именно вынуждены, — мы вынуждены объявить забастовку дикой, так как она не согласована с выше стоящей профорганизацией. Никакой нашей поддержкой бастующие пользоваться не будут. Никакой — ни материальной, ни моральной. Это все, что я могу вам сказать...

— Не интересно.

— Кому не интересно?

— Мне, Отто Клаусу, не интересно.

Ральф Клинкорум растерялся и ушел, позабыв свою палку с набалдашником — серебряным филином, но вспомнил о трости, еще не затворив за собой дверь, и, конфузясь, возвратился.

— Тут осталась моя палка...

Ему никто не ответил.

Котел пока еще не работал. Но он хотел работать. Он смотрел на запасные скрежещущие котлы, и его сияющая рожа была преисполнена завистью. Его брюхо было еще пусто, но пища уже подвозилась специально для него. Это были деликатесы, яства, шедевры, этот котел потреблял только высокосортное тряпье: для него приготавливались дерга без перестык, мешковина, полотно, брезент.

Обжора пускал уже слюни. Его цилиндрическое грандиозное тело предвкушало пищу.

Маленькие людишки копошились внизу. Они выстукивали и проверяли тело котла, как врачи. Они смазывали механизмы и обтирали паклей каждую деталь. Их лица были озабочены.

Эрнст-Пауль Ганцке тоже стоял внизу. Он смотрел на котел, ладонью поглаживая его скользкие, етые бока, и думал о том, что динамит и пироксилин не продаются в магазинах. Было бы очень просто. Он взрывал на фронте даже

мосты, а такую чепуху... Сегодня он работает последний раз. Завтра ему уже незачем будет приходить на фабрику.

Эрист-Пауль Ганцке в уме подсчитал количество лет, проработанных на этой фабрике. В каких только цехах он не работал. Он был резчиком и подручным сушильщиком, был сушильщиком и обер-сеточником, был мастером в цехе самочерпок и со всем справлялся неплохо. Шесть лет он варил тряпку, четыре года он был мастером в этом цеху. Теперь он нигде...

Старик оглянулся. Пожалуй, ему будет скучно без этих сырых стен и темных груд готового тряпья, без сладкой вони и без тучных котлов, без гудка и даже без лисы Шванинга.

Сзади подошел Карл и взял старика за локоть. Его конопатый лоб был покрыт морщинками, а брови хмурились. Четыре человека пришли вслед за ним, их Ганцке не знал. Понемногу, почти незаметно, цех наполнялся.

Люди, работавшие на установке котла, ушли. Они все проверили, все отрегулировали, их дело было кончено.

Из шестого котла рабочие второй смены в последний раз вынули тряпку. Глухо скрежеща, проехала мимо Карла вагонетка, доверху наполненная мокрым тряпьем.

— Стоп!

Это крикнул Карл. Ганцке обернулся, но ничего не понял. Народу было уже так много, что невозможным казалось протолкнуться. Заныли хриплые звонки.

— В чем дело?

— Дело в шляпе, — отшутился чей-то тяжелый бас. Походя бас прибавил: — Идите к чорту!..

Вопрос задал, очевидно, Шванинг. Несколько грязных рук подняли щуплого мастера и, под общий хохот, потащили его к дверям. На дворе Шванинг упал ладонями в грязь. Но опасность миновала, и человек-оркестр побежал к контору. Там было уже пусто. Тогда Шванинг сорвал телефонную трубку с рычага.

— Директор? Герр директор, немедленно... Они начали забастовку. Все цеха остановились... Все стоит...

— Боже мой!.. — заревел в мембране голое директора, — Боже мой!.. Вы врете?

— Герр директор...

— Да, да, вы молодчина!.. Я сейчас приеду. Немедленно... Слушайте, Шванинг!.. Выясните, кто у них влияет... Алло?

— Но...

— Никаких но! Я все должен знать. Мы выбросим вон этих подлецов. Вы слушаете? Я согну их вот так. . .

— Герр директор!

— Никаких директоров! Мне должны быть известны имена. Иначе. . .

— Туда невозможно попасть. . .

— Возможно, — взывала мембрана, — возможно, возможно, возможно! Я вобью вам голову в плечи. . . Алло?

— Да.

— Повторите!

— Вы вобьете мне голову в плечи. . .

— Не то? На чем я остановился?

— На голове в плечах. . .

Мембрана опять завывала и защелкала. Шванинг швырнул трубку. Все это слишком хорошо организовано, тут ничего нельзя было предугадать. Слишком хорошо. . .

Шванинг снова очутился на дворе. Косой, весенний дождик сразу измочил его лицо. Человек-оркестр чихнул и, разбрызгивая лужи, побежал к главному зданию. В тряпко-варочную нужно было проникнуть, несмотря ни на что, но у всех дверей стояли хмурые люди.

— Патруль, чтоб им! . .

Добежав до шестого подъема, Шванинг сам себе подмигнул и, забравшись в лифт, повернул рубильник. Кто-кто, а он, Шванинг, знал фабрику идеально. . .

Во втором этаже было пусто, пусто было и в третьем и в четвертом. Остановив лифт, Шванинг побежал мимо темных столов сортировщиц к центру цеха. Тут был сквозной лифт до тряпковарочного отделения. Этот лифт подавал отсортированную тряпку прямо к котлам. Теперь стоило только спуститься по запасной лестнице, которая находилась в пролете. . .

Человек-оркестр схватился за перекладину и пополз, прислушиваясь. Его, Шванинга, не проведешь, чорт возьми. Он достаточно умен и достаточно хитер, уж во всяком случае похитрее этих олухов. Поставили патруль, подумашь. . .

Снизу неслись голоса все яснее и яснее. Шванинг спускался. Внезапно у него заболели плечи и закружилась голова. . . Минуту он прислушивался к шуму. Нет, все благополучно. И вдруг Шванинг понял: его заметили, когда он входил в подъем, там на дворе. И теперь тот, который заметил, садится в лифт. Сейчас он спустится, и лифт превратит Шванинга в кусок мяса. . .

И Шванинг закричал хриплым, диким криком. Он кричал о том, что он еще хочет жить, о том, что он любит жизнь и пополз сюда только потому, что любит эту жизнь. Он кричал о том, что он хочет играть свою «Негритянскую любовь» и хочет ходить в дансинг. Он кричал, прижимаясь всем телом к сырým камням пролета, о том, что в банке у него есть текущий счет и много денег, и крик его был уже нечеловеческим воем, а его не слышали. Лифт скрежетал, внизу было шумно, и Шванинг замолк, до крови раздирая пальцы о камни. Через секунду лифт сжал его руку и раздавил череп.

Человек-оркестр упал на бетонный пол, и даже тут лифт не пощадил его. Он прижал труп к холодному и мокрому полу, и никто не заметил этого. Клеевар, который спустился в лифте, посмотрел, нет ли шпика в толпе, и, убедившись, что шпик исчез, присел на фундамент котла.

Герр директор уехал, не кончив обедать. Огромная его машина остановилась у ворот фабрики. Тут происходило смятение...

— Что случилось? — спросил директор.

Толпа, собравшаяся у проходной конторы, весело и нахально молчала. Молодой парень жевал свой ужин, глядя прямо в глаза директора.

— Я просил бы!.. — заорал директор и осекся, вдруг сообразив, что просить, собственно, не о чем, а нужно приказывать. Пауза вызвала смехок, и кто-то тоненьким голоском даже мяукнул по-кошачьи. Толпа опять гулко посмеялась.

Пфээк, прикидываясь спокойным, слез с подножки машины на тротуар, высморкался и вытащил из кармана сигару. Отрезав аккуратно щипцами кончик, он извлек из футляра шприц и загнал в сигару порцию вещества, обезвреживающего табачный дым, потом вставил сигару в особый, тоже обезвреживающий мундштук и, только проделав все эти операции, закурил.

Он чувствовал себя начинающим актером, вышедшим на сцену первый раз в жизни, и играл, переигрывая. Исполнялось им в эту минуту холодное и до некоторой степени презрительное спокойствие.

Осторожно держа сигару, так чтобы не уронить пепла, герр директор сделал шаг вперед и спросил:

— Что желают рабочие от своего директора?

Толпа паникестела и стала почему-то похожа на большого, почесывающегося зверя.

— Что желают рабочие? — переспросил тоненький голосок, и герр директор узнал в нем недавно мяукнувшего па-ренька. — Что желают рабочие?

— Да!

— От своего директора?

— Именно...

Толпа опять засмеялась. В сумерках белели только лица, директор не мог никого узнать, и им овладело бешенство.

— Ну?

— Чего ну? — удивился тоненький голосок, и герр Пфээк вдруг понял, что обладатель голоска вовсе не мальчик, а взрослый, очевидно, притворяющийся человек. Пальцы директора задрожали, и так долго сохранявшийся на сигаре пепел свалился. Еле сдерживая бешенство, директор заговорил:

— Я требую, — он подчеркнул это слово, — я требую, чтобы со мною говорил взрослый человек, без всяких ужимок и кривляний. Я требую, чтобы с возможной ясностью изложили ваши просьбы...

— У нас просьб нет, — прервал директора чей-то взволнованный голос, — у нас есть требования. Просить должны вы...

— Что?

— То, что слышали.

— Так, — пропищал герр директор, захлебываясь слюнями бешенства, — т-а-а-ак. Кто же возглавляет предприятие — я или вы?

— Пока мы не возглавляем, — буркнул кто-то.

Директор швырнул окурок и заорал:

— Молчать! Что-о?

В толпе опять засмеялись, но не так добродушно, как прежде. В эту минуту над проходной вспыхнул фонарь, но тотчас же потух.

— Молчать! — опять закричал директор.

— Молчать! — закричал тенорок из толпы и неистово захохотал. Директор попятился.

— Я прошу, — сказал он, — я прошу...

— Попроси, попроси...

Герр директор вытер лоб платком. Улица наполнялась народом, но как назло не являлся ни один шуцман. Прохожие лишь сочувствовали рабочим, и положение директора с каждой секундой становилось все глупее.

— Дело в том, — заговорил директор, — что я не отдаю себе отчета в том, что происходит... — Фраза вышла идиотской, и директор сделал вид, будто поперхнулся, но ему не поверили, и толпа смешливо зашевелилась.

— Я не знаю ваших требований, — продолжал директор упрямо, — я не знаю, чего вы хотите. Фабрика стоит. Спрашивается: почему? Очевидно, потому, что какая-то просьба рабочих не разрешилась в соответствующую сторону. Так?

— Так...

— Предположим...

— Дальше...

— Но я не знаю, чего вы хотите, — заорал директор, багровея, — вы понимаете, чорт вас возьми? Я не знаю, не знаю...

— Наше требование такое, — перебил директора тоненький голос. — Во-первых, мы требуем, чтобы директор не врал, что он не знает наших требований; во-вторых, мы требуем, чтобы директор сел в свой прекрасный автомобиль; в-третьих, мы требуем, чтобы директор велел шоферу ехать, а в-четвертых, мы требуем, чтобы директор не приезжал на фабрику до тех пор, пока директор не согласится на наше требование.

Пфээк выслушал молча. От бешенства его трясло.

— Хорошо! — крикнул он и захлопнул дверцу автомобиля. Шофер улыбнулся.

— Куда?

— Полицейское управление...

В полицейском управлении директор курил обезвреженную сигару и рассказывал хныкающим голосом. Против герра директора сидел герр инспектор и молчал, изредка помаргивая белесыми ресницами.

— Будет сделано, — сказал герр инспектор, выслушав рассказ директора до конца и переговорив по телефону с соответствующей инстанцией. — Герр директор может быть спокойным. Все кончится благополучно.

Пфээк встал и откланялся, но инспектор задержал его.

— Одну секунду, — сказал он, вдруг веселея и поглаживая ладонью подбородок. — Одну маленькую секунду. Что-нибудь уголовное?..

— О, да, — просиял герр директор, — конечно. Если даже материальный ущерб...

Инспектор стал вновь серьезным. Герр Пфээк улыбался, покачиваясь на подушках машины.

Тряпковарочное отделение набилось до отказа и все-таки не смогло вместить всех желающих.

Говорил темнолицый пергаменщик в кожаных штанах.

— Я работаю на масленке. Да. Я могу обжечься? Да. Серная кислота, товарищи. Дома я ем свою брюкву, и она пахнет серной кислотой. Я весь провонялся серной кислотой. А волосы? В один прекрасный день я обожусь. Да? Серная кислота разъедает мясо до костей, от меня останется вонь... Что? Не смейтесь, не смейтесь, я знаю, что такое серная кислота. Предположим, я уже обжегся и я уже инвалид. Я прихожу к директору. Здравствуйте, — говорю я. Он тоже отвечает: здравствуйте. Да! Но через пять минут директор уже доказал мне, что в своем убожестве виноват только я и никто больше. Через пять минут я уже убежден, что я нарочно облил себя кислотой для того, чтобы не работать больше, а получать пенсию. Директор имеет закон, но он имеет также адвоката, а Бройр только что сказал, что нет такого закона, который бы нельзя было обойти при надобности. Да, Бройр?

— Правильно!

Пергаменщик сплюнул в платок и помолчал. С каждым словом он темнел, и каждое слово все больше походило на щелканье циркового бича.

— Бройр сказал: правильно. Да! Я тоже говорю: правильно. Я хочу иметь настоящий закон. Настоящий. Я не хочу адвокатов, мне нужен закон, простой и твердый, как камень. Да! Я не хочу умирать с голоду, слепым или безногим. Да! И настоящий закон...

Пергаменщик нерешительно спустился с мостков вниз и уже на лестнице уступил дорогу Ганцке. Старик прыгал через две ступеньки, бормоча и подсмеиваясь. Добравшись до площадки и оглядев добрую тысячу голов, сгрудившихся в тряпковарочной, старик смутился. Схватив себя за бороду, он простоял молча изрядное время. Потом, точно спохватившись, хрипло закричал:

— Меня зовут Ганцке, Эрнст-Пауль Ганцке. Я честный человек и я зарабатывал свой хлеб трудом. Мой дед работал на этой фабрике еще тогда, когда Коллер только что вводил древесную массу и над древесной массой смеялись. Мой отец сорок два года стоял у самочерпки. И я тоже. Теперь меня выгнали, потому что установили новый котел. Я хочу сказать. Посмотрите, какой я красавчик. Правда? Это сделала пойна. Я воевал — меня контузили. Я бежал бегом, и в это время сверху зажужжало это. Я упал. По-

том мне говорили, что докторам очень хотелось, чтобы я умер. Они бы меня засолили и отправили в Берлин, а в Берлине бы меня посадили в банку со спиртом и поставили бы в музей. Но я воспротивился их желанию и не умер. Я хотел еще жить, у меня был ребенок и жена. Я вернулся и стал работать. И Пфээк советовал мне лечиться. Почему? Доктор объяснил: у вас затвердение верхушки. Теперь меня выгнали — инженер Кэльберг изобрел котел. Он получил за котел наше жалованье, а мы будем голодать. У него такой живот, у Кэльберга, все знают эту пивную бочку. Но это еще не все. Я хочу рассказать до конца. У меня был сын, он работал на заводе электрортутных ламп и отравился, потом у него сделалась чахотка, и он умер. Вот Карл Бройр знал Готлиба, пускай он скажет — Готлиб был плохим парнем? Ну-ка? Он умер, а когда он еще только заболел, я судился из-за пенсии для него. Конечно, ничего не вышло. Он, видите ли, отравился нарочно, он хотел лодырничать, мой сын. У меня осталась жена, она работает на этой же фабрике, в сортировочной... Незадолго до смерти сына она порезала палец и не пошла к врачу в амбулаторию, потому что боялась экспертизы и безработицы. Знаете, что случилось? Заражение крови. Ей отрезали палец, больше работать она не сможет. А суд сказал: Анна Ганцке порезала себе палец и не захотела идти к врачу. Надсмотрщица ей предложила пойти, но Анна Ганцке отказалась. Остальное нас не касается. И теперь Анна может умирать с голоду... Я хотел сказать...

Но старик не кончил, ему не дал кончить большой человек со шрамом через все лицо. Человек был бледен, и от него пахло горячим, едким потом. Он сдвинул железный брус так, что рука его побагровела.

— Я!.. — крикнул он. Но толпа смяла его фразу. Толпа взвыла, и мостки зашатались. Потертый старик лез на площадку задыхаясь... Перила, площадка, лестница, все трещало. Человека со шрамом узнали. Толпа выла так, что ни одного слова нельзя было разобрать. И Ганцке не понимал, приветствуют или освистывают этого пахнущего потом детину. Но детина уже кричал, навалившись на перила:

— Съезди, чорт вас возьми... Знаете теперь, что такое мирный путь и сотрудничество... Грязные свиньи, а вы верили им! У них нет честности, у них есть петля. Стачка, вы понимаете? Забастовка! Рабочие пикеты! Никаких уступок!.. Социал-демократия... подлецы и шлюхи. Пота-

скушны. Кто больше даст. Мы считаем их честность на
мирыш...

Толпа молчала, жадно и взволнованно.

— Ну? Шлюхи... мир между классами и постепенные
реформы... Лига наций — эта гнусная комедия, цирковое
представление дрессированных собак... К чорту! Мы гово-
рим...

Человек кричал, вытянувшись над толпой, огромный,
скуластый, бешеный.

Ганцке стоял сзади, раскрыв рот и оступело моргая. Он
знал этого парня. Парень работал на древесномассном за-
воде, потом что-то случилось, и он исчез. Об этом долго
говорили на фабрике...

— Стачка! Стачка! И гнать этих плутов к чорту!..
С каждым годом мы имеем все больше и больше безработ-
ных... А в Советском Союзе больше нет безработных. Слы-
шите! Больше нет безработных...

Толпа задыхается. Бройр уже на ступеньках, и Бройр
кричит:

— Рот фронт!

И толпа подхватывает:

— Рот фронт!

Это не крик счастливых и свободных людей. Это вопль
людей, на которых надевают петли, у которых нет другого
пути, которые испробовали все средства.

— Рот фронт!

— Да здравствует Москва!

— Рот фронт!

— Долой республиканский флаг!

— Рот фронт!

— К чорту Гитлера!

— Рот фронт!

Человек, пахнувший потом, вновь поднимает руку:

— Бастуем! Пикеты для борьбы с штрейкбрехерами! То-
варищи рабочие, мы объявляем забастовку протеста. Мы
требуем пенсии или работы для сорока восьми человек. Са-
мый молодой из этих сорока восьми двадцать три года про-
работал на фабрике. Их прогоняют потому, что они, якобы,
стары. Они менее активны, они замедляют темпы, их воз-
раст является обузой! Вы слышите? Они обуза, потому что
их возраст не позволяет обращаться с ними так, как хоте-
лось бы этого Пфээку. Старики чаще подвергаются не-
счастливым случаям, а калекам нужно платить... Подлецы!..
Их грошевая пенсия, кому она может дать хотя сколько-

нибудь сносное существование?.. Старики дают меньшую производительность... Чорт бы их взял, для получения пенсии необходим непрерывный рабочий стаж. А война? Война это перерыв. Война не касается герра директора... Война избавляет герра директора от необходимости выплаты пенсии...

Человек со шрамом замолк. Шум помешал ему говорить.

— Что случилось?

В полутьме за котлами ничего не было видно. Через минуту на мостки поднялся Бройр.

— Внимание, — сказал он негромко. — Очевидно, случайно, лифтом убит Шванинг, мастер. Никто не знает, как это произошло. Но обстоятельства складываются так, что случайная смерть Шванинга может иметь неприятные для нас последствия... Поэтому я предложил бы...

Шванинга положили на брезент, и Ганцке нагнулся к трупу. Рабочие молчали. Человек со шрамом тихо разговаривал с Карлом. Ганцке все смотрел в мертвые глаза Шванинга. Потом он сказал очень тихо и надтреснуто:

— Жаль, что его убили случайно. Я убил бы его нарочно...

На ночь были выставлены усиленные рабочие пикеты: опасались нашествия штрейкбрехеров. Во втором часу помощник директора герр Вислинг приехал на фабрику. Пикетчики пропустили его без всяких препятствий. Все шло благополучно, но Ганцке почему-то чувствовал себя так же, как в окопах.

Он сидел на вагонетке, подобрав ноги и раскуривая трубку. Пахло каолином и терпкой смолой от баланса. Рабочие негромко разговаривали, далеко на юге гудел ночной Берлин. Подстанция фабрики не работала, и потому окна и двор были темны.

Ганцке раскуривал вонючую трубку и бережно затягивался, стараясь подольше задержать дым в легких, но Ганцке не только курил, а еще и думал, и поэтому дым не казался ему особенно вкусным.

Ганцке думал о том, что каждая марка имеет чрезвычайно определенное количество пфеннигов, и о том, что больше этого определенного количества из марки не извлечь, как бы ни стараться...

Старик выбил трубку и зевнул.

Дома спала Анна, он ясно представил себе ее спящей: немного открыт рот, и забинтованная кисть лежит поверх одежи. Ей больше не о чем беспокоиться, кроме еды на

валявшийся день, но, и беспокоясь, ничего не сделаешь. Впрочем... конечно, Анна волнуется за мужа. В эту пору он всегда спал... Что же предпринять?

Ганцке приподнялся на своей вагонетке, вытащил табак и опять набил трубку. Но даже дым не помог, и старик ничего не придумал. Пойти домой — решат, что он сбежал... Сходить на телеграф?... Но деньги... У него нет даже пфеннига, чтобы дать телеграмму... А если?..

Эрнст-Пауль Ганцке повеселел и отправился в контору...

Помощник директора дремал в своем кабинете. Потухшая папироса торчала из его рта, как чудовищный клык.

Ганцке снял шляпу и поклонился.

— Добрый вечер, — сказал он, выждав для приличия, и стал на скрипучую половицу. Половица взвизгнула, и помощник директора открыл один глаз, но не двинулся ни одним мускулом. Белок глаза блеснул янтарем.

— Добрый вечер, — повторил Ганцке.

— И дальше?

Герр Вислинг говорил дискантом кастрата, имел большое сердце и сварливую жену. Его постоянно мучила бессонница, в кресле он задремал и очень обозлился, когда его разбудили.

— И дальше?

— Дальше ничего, — замылся Ганцке, — прошу прощения...

— Так. Для чего же вы приперлись в контору? Скандалить?

— Нет, герр Вислинг. Я хотел просить вас...

— Я не хозяин. Потом для чего же вам просить? Вы делаете, что угодно. Например, поджечь фабрику или развратить продукцию со склада. Какого вам чорта от меня надо?

— Герр Вислинг, развратить мы ничего не можем, так как у ворот стоит полиция... Я хотел...

Помощник директора внезапно вскочил и замахал руками. Окурок, прилипнув к губе, судорожно прыгал.

— Чего вы ко мне пристали? — кричал герр Вислинг. — Что вам от меня нужно? Я такой же, как вы, чорт подери, мне Пфээк платит жалованье, и я смотрю ему в глаза, как собака. Я нанят так же, как вы. Ну, понимаете? У меня нет акций, но есть полдюжины бабушек, дедушек, детей и теток, которые хотят есть. И оставьте меня в покое.

От крика у Ганцке звенело в ушах, но все же он спокойно сказал:

— Я не хочу говорить об этих вопросах. Мы бастуем, вы представляете интересы герра директора. Я пришел попросить разрешения дать за счет фабрики телеграмму жене, чтобы она не беспокоилась. Стоимость телеграммы дискркия вычитет потом из моего жалования.

Старик говорил и рос в собственных глазах с невероятной быстротой. Незаметно для себя он даже надел шляпу и заложил руки в карманы. Теперь вся его фигура изображала крайнюю степень независимости. Через минуту он выпятил насколько можно живот и отставил правую ногу.

Герр Вислинг прищурился.

— Скажите, Ганцке, — спросил он вдруг мягко и так тепло, что старик мигом вытянулся по-военному (руки по швам, подбородок вперед, живот не показывать, глазами есть начальство), — скажите, Ганцке, вот вы, старики-рабочие, зачем вы вмешиваетесь в это, так сказать, грязное дело? Ну, допустим, ваши требования будут удовлетворены, но отношения с администрацией испортятся вконец, а, ведь, не только вы, но и ваши отцы. . .

Ганцке поднял глаза и опять заложил руки в карманы. Внезапно и остро он понял незамысловатую игру помощника директора и вынул из кармана жилетки свою глиняную трубку. Теперь он вновь выставил живот, и это доставило ему огромное неизведанное наслаждение.

— Вот трубка, — сказал Ганцке и ткнул ею почти в лицо помощника, — видите, трубка, очень простая. Ее курили мой отец и мой дед. Ее должен был курить мой сын, но вы убили моего сына. Он лежал и умирал, а я верил вам. Он умер, это так и должно было случиться, но я перестал вам верить. Вы мерзавцы, — не таращите глаз, я не испугаюсь, — вы мерзавцы все до одного, и вы врете, герр Вислинг, у вас есть акции, я ручаюсь за свои слова. Да, мой дед и мой отец работали и молчали, но это ничего не значит. Я старый человек, вы убили моего сына, и я молчать не буду. Мой сын. . .

Ганцке помолчал, разглядывая будто бы трубку. Его крикое и щетинистое лицо сморщилось, но он сдержал себя.

— Мой сын. . . Он умирал полгода, вы знаете, что это такое? И он был молод, ему, наверно, хотелось пожить. Вы отравили его. А теперь вы хотите, чтобы я мирно ушел домой подышать с голода, потому что мой отец и мой дед работали у вас и ни разу не скандалили. Я должен подышать, для того чтобы сохранить хорошие отношения с герром Шферком и герром Вислингом. Так?

Ганцке жестко ухмыльнулся. Вся его щетина встала торчком, и косые глаза наполнились мутной влагой. Помощник директора попрежнему стоял прищурившись и растирая мундштук папиросы лошадиными зубами.

— Вы глупый человек, — сказал он, ежась точно от холода, — вы глупый и старый человек.

Ганцке не ответил. Он знал теперь, что с «ними» не стоит разговаривать даже по поводу телеграммы. Выставив вперед живот и нахлобучив шляпу, он подошел к аппарату.

— У вас нет живота, — буркнул помощник директора, — Зачем вы его выставяете?

— Когда-нибудь у меня будет живот... — И помощнику показалось, что Ганцке засмеялся.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

АДАМОВО ДЕЛО

— Георг Шор, герр Кэльберг.

— Рихард, милый Рихард!

Он почти свалился с дивана. Синий Орел! Сто тысяч дьяволов, ведьма и сатана, Синий Орел!

— Ну, рассказывай!

Шор потолстел. Весенний серый костюм отлично обтягивал его тело. И галстук, неплохой галстук.

— Где ты остановился?

— Отель «Адлон», попрежнему...

— Ну, рассказывай! Я писал тебе. Почему ты не ответил?

Рихард кашлял, прижав платок к губам. Его глаза улыбались.

— Ты покормишь меня? Целый день заседание в испытательной, а оттуда я прямо поехал к тебе.

— Конечно же, покормлю! Фрау Берта... Ну, рассказывай же, старина, рассказывай. Как твои трагические ключатели? Что ты делаешь сейчас? Чем кончилась эта замечательная история с Фойгтом и Реффенсром? Ну! Помнишь, как ты мучился тогда, на вилле... Мы катались в моторке...

Они чокнулись, высоко подняв бокалы, и выпили за встречу старых друзей. Шор сунул салфетку за воротник и принялся за еду, шевеля ушами. Такие штуки он проделывал еще в детстве.

— погоди, я сначала утолю голод, благородно выражаясь, а потом расскажу. Да, собственно, и рассказывать

нечего. Мой папа умненький, как говорит дочь, только и всего. Папа должен быть умненьким, ничего не поделаешь! Ну? Что ты так вытаращил глаза, Бревно?

— Нет... просто так...

Кэльберг пил один, молчал и изредка хрюкал.

— Рассказывай же!

— Я тебе сказал, что рассказывать нечего: Фойгт и Реффнер меня уволили, а Сименс принял. Он платит мне неплохие деньги. У меня толстая, хорошая дочь, и я стал прозаиком. Бывают такие штуки. Слишком уж неприятно смотреть на хвосты у штемпельштелле. Папа должен быть умным. Теперь твоя очередь рассказывать. Что нового?

— Что нового? Отравился Нунбах. Слышал?

— Это я знаю.

— Я стал пить.

— Вижу.

— У меня никого не бывает... Я не принял Хольца и Клинке, они попытались как-то зайти ко мне... И... честно говоря... мне бы хотелось, чтоб ты поскорее ушел.

— Я?

— Ты.

Шор поднялся, сился улыбнуться. Он еще жевал, и салфетка болталась на его широкой груди.

— Что с тобой, Бревно?

— Ровно ничего. Просто я представлял тебя несколько иным. Во всяком случае не умным папой. Пожалуй, я ждал тебя. Я думал, ты все-таки человек. А ты умный папа. Доедай свой ужин, я пойду спать.

Он притворно зевнул и вышел из столовой, запахнув халат. В столовой было тихо. Шор, наверное, так и стоял посредине комнаты, с салфеткой на груди и с непрожеванным мясом во рту: Кэльбергу стало весело. «Ну их всех к чорту!»

Зазвонил телефон. Он взял трубку и сказал, чеканя слова:

— Если вам угодно знать, то меня нет дома. Я отсутствую. Если вам угодно...

Почь.

Часы пробили одиннадцать. . .

Пробили двенадцать. . .

Час. . .

В дверь осторожно просовывается голова фрау Берты.

— Герр Кэльберг... Может быть, вы покушаете?.. Ча-печку кофе, совсем небольшую...

— Да, фирму Берта, благодарю вас...

— И почему вы не надеваете халата, герр Кэльберг? На-
перно, очень неудобно сидеть в этом пиджаке и в жилетке?
Боже мой, вы даже не сняли воротничка. Он так давит
шею...

— Пусть его, фрау Берта...

— Я сегодня вошла в лабораторию, герр Кэльберг. Так
пусто, так холодно. Вы не заходили туда с отъезда в
Азию... И герр Пирри, он так давно не был у вас...

— Пустяки, фрау Берта.

Прожевав холодную телятину и выпив кофе, он опять
возвратился в кабинет и открыл дверь на балкон. Весенний
воздух ударил в лицо, и он задохнулся. Внизу, очень да-
леко, в аллеях урчали и пофыркивали автомобили. Тонко
и въедливо пахли набухшие почки. Берлин переживал
чуть ли не пятисотую весну, но был попрежнему молод.
В черном небе трепетали молнии реклам. В том месте
где должен был пролегать Млечный путь, каллигра-
фические буквы орали о новых пилюлях «нет больше на-
сморка».

Кэльберг улыбнулся. Было нечто смешное и трагическое
в этой рекламе.

Он курил, присев на перила. Кроны деревьев, раскачи-
ваемые ветром, сплетничали шопотом, и ветер относил в
сторону табачный медовый дым.

Проведя рукой в воздухе черту, Кэльберг подводил итоги.
Он вычитал, складывал, умножал и делил, тяжело улы-
баясь. Потом очень медленно он пробурчал:

Вне дома кто раскроет рот,
Расстрелян мигом будет тот.
Посредством жестов объясненья
Карается как преступленье.
Доверьтесь нам, и будет рад
Вас защищать ваш магистрат
Высокомудрый; вы же сами
Язык держите за зубами.

Он засмеялся нехорошим, щелкающим смехом. Кровь би-
лась в висках, и руки его были холодны. Он остался один,
совершенно один. Ему некуда было ходить и не с кем раз-
говаривать, потому что везде царствовало благополучие, то
самое, которому он не мог и не хотел верить. Люди посе-
щали клубы, завтракали в ресторанах, засунув салфетки
за борты пиджаков, глотали патентованные средства, ку-
рили, спали в колпаках, работали для того, чтобы посе-

пать клубы, завтракать в ресторанах, спать в колпаках и т. д. Крутилось бессмысленное и бестолковое колесо. Он вылез из лаборатории и снял халат. Китай лег между ним и бестолковым колесом. Куда бы он ни ходил, везде он подымал вопрос о колониях. На него смотрели сначала как на чудака, потом как на маниака. Скоро на него махнули рукой, и он засел дома, чтобы курить и думать. Ему страшно было приглядываться к жизни фабрик Берлина, потому что он перестал верить в человека. Ему гадко было здороваться даже с теми людьми, которые были когда-то его друзьями. Он презирал их за то, что они могли спокойно жить в то время, когда в Китае уничтожали людей. Он презирал их за то, что они жили, спали и ели, за то, что они аплодировали девочкам в мюзик-холлах, любили своих жен и своих детей, играли на бильярде...

Он читал очень много, и его сон, в среднем, не превышал четырех-пяти часов в сутки. Он изучал старые газеты, все столы в кабинете были завалены пожелтевшими, как стариковская кожа, комплектами. Он делал выписки, поджав губы и похрюкивая, и его лицо в такие минуты напоминало лицо пухлого и очень старательного школьника. Порою его одолевала ирония, но все же он работал, не отходя от стола. Ему не хотелось никого видеть, ему были противны людские голоса, и однажды он снял телефонную трубку, для того чтобы больше ее не вешать. Но и в страданиях он оставался снобом и любил свои страдания, разводя теории о самоусовершенствовании и о познании неизблемой истины. Незыблемость же истины менялась с каждой новой книгой, с каждой газетной строчкой. Во лжи он ощущал закономерность и доискивался до причин закономерности. Скоро он расстался с теорией самоусовершенствования и вечных истин. Непредложной оказалась ложь, вечной — драка за равновесие. Пышнобородый соотечественник с холодными глазами математически точно и математически же неоспоримо доказывал, что люди стремятся достигнуть равновесия, а те, кто не желает равновесия, которым это равновесие не выгодно, всячески ему противятся. В книгах были формулы, и язык этих книг был остро точным языком человека, мыслящего математически. Вечные истины в схватках с математикой лопались и шлепалились, и Кэльберг радовался этому.

Он плевал на все, кроме науки, а книги о вечных истинах, о блаженстве мира и о взгляде в нечто были шепелявы, и для них достаточно было одного крепкого удара.

Маркс же был тверд и прям, его можно было понимать только как определенную математическую формулу и не иначе, потому что всякое иное понимание было бы ошибкой, а следовательно и ложью.

Кэльберг понимал Маркса математически и не мог читать его без карандаша. Он работал нетерпеливо, жестоко и легко. Гуманизм рушился и рассыпался в пыль, человек, как таковой, перестал существовать, осталась драка, и непременно было нужно присоединиться к какой-то стороне дерущихся. И Кэльберг присоединился и дрался уже в книге, хрюкая от ярости.

Маркс прогнал сноба, вышиб его со страшной, хрустящей силой. Сноб вылетел так, точно им выстрелили из винтовки. Кэльберг был почти счастлив тем, что подобно огромному большинству дерущихся торговал своим трудом.

— Да, да, — хрюкал он, — конечно... Только так, только так...

Он изумленно разглядывал свои руки, но вдруг осознавал, что не ими он торгует, и шел к зеркалу. Из зеркала вылезали большущая голова, обода очков, несколько улыбающиеся мясистые губы.

Фрау Берта по утрам приносила газеты целыми ворохами и улыбалась, глядя, как Кэльберг рылся в них.

Он наверстывал прожитую жизнь, задыхаясь от бега. Порой ему казалось, что он ловит собственную тень, — так горьки и так многочисленны были ошибки. Но и эти состояния оказывались временными и преходящими. Он не раскаивался ни в чем, потому что совершал ошибки, не зная, что можно их не совершать, просто не задумываясь над жизнью. Теперь его день был равен по крайней мере неделе прежней жизни. Утро казалось ему целой эпохой, день разделялся на несколько дней. То, что было сделано час тому назад, казалось ему сделанным позавчера.

— Труд, труд, труд, — вопил он в бешенстве, — орудие производства!..

Эти слова звучали совсем иначе, чем раньше. Вероятно, он считал себя Колумбом, бегая по комнате и сваливая животом стулья, но у Колумба, открывшего Америку, вряд ли было столько радости, сколько у Кэльберга. Иногда огромный человек почти безумствовал. Стоя на балконе, он плевал в проплывающие мимо открытые машины и был счастлив.

— Вот, — говорил он, — вот я плюю на них. И еще раз. Теперь на шляпу.

Сочные плевки летели вниз, рассекая воздух, а большой детеныш блаженно хрюкал.

Разгуливая по городу, он заглядывал в самые нищие районы и ликовал. Теперь ему было известно, отчего нищенствуют люди, теперь он не мучился бесполезными муками, теперь для него не существовало несправедливостей, хороших людей и плохих. Теперь все было подчинено науке, и газетные слова о забастовках звучали для него почти музыкой.

Мир вновь стал приятным и простым, хоть и достаточно страшным. Все было подчинено определенным законам, в которых не было отведено места добротѣ, порядочности, честности, человечности.

Первоначальное представление о жизни опрокинулось, покатилося и разлетелось на мелкие осколки.

— К черту! — сказал Кэльберг и раздавил осколки в порошок, морщась от боли. Ему все-таки было больно: человечность, родина, угли в камине, Новалис...

Но Гейне он стал читать иначе и научился наслаждаться им так, как никогда ничем не наслаждался раньше:

Господь отец и сын и дух, святая.
Вся троица, тебя благословляя,
Стремится ввысь, где жизнь так хороша,
Несчастная немецкая душа.
Туда, туда, в надзвездные селенья,
Где вечные укрылись наслажденья;
А здесь, внизу, все грех, печаль, труды,
Мучения и кислые плоды.

И он хохотал до слез, до судорог, до боли. Он вытравливал из себя созерцательность и тишину, вытравливал любованье, глумясь над всем, что когда-то читал. Это было необходимо ему, это было антитезой для нового синтеза, быть может, вызревающего в подсознании.

Он хотел действовать и был одинок. Он мечтал о людях, но ненавидел тех, с которыми мог встречаться, а куда пойти для того, чтобы встретить новых людей, не знал и варился в собственном соку.

Встречаясь со старыми знакомыми, он смотрел им в глаза и не здоровался. Черные обода его очков, казалось, горели:

«Мы не желаем вас знать, ни мы ни наш хозяин. Пропаливайте.... позволяем думать, что угодно...»

Однажды Кэльберг получил письмо от американской фирмы, приглашавшей его заведывать всеми лаборатория-

ми. В ответ он написал на листочке блокнота три ругательства под померами.

Сидя на балконе, он подводил итог, и оказывалось, что необходимо было что-либо предпринимать. Сидеть в одиночестве он больше не мог, а кроме этого многомесячное безделье и неустойка, которую пришлось выплатить в Шанхае Ван-Шин-вею, сильно пошатнули его материальные дела...

На балконе он просидел до зари...

Заря наплывала на Берлин, грузная, холодная, вперемжку с дождем...

Пришлось лечь.

В девять часов он уже успел принять ванну и, завтракая, просматривал газеты. На второй полосе «Форвертса» он прочел о забастовке на фабрике Алоизия Пфээка и, не доев, спустился вниз и вывел из гаража машину. На Унтерден-Линден пошел такой дождь, что Кэльберг, задержав движение других машин и нисмало этим не смущаясь, поднялся верх.

У фабрики дождь превратился в ливень, но толпа не расходилась. По середине улицы мокла громадная машина Пфээка и рядом с ней пепельный автомобиль скорой помощи.

Толпа рабочих угрюмо молчала.

Кэльберг, хрюкая, вылез из машины и стал столбом, сложив руки на животе.

На фабрике, очевидно, разворачивались какие-то события. Через минуту полсотни шуцманов в непромокаемых плащах подъехали на грузовике и исчезли в воротах. Вслед за ними улицу запрудили полицейские мотоциклы с каретками.

Сдвинув шляпу на затылок и протирая на ходу очки, Кэльберг полез в толпу. Фабричный двор был полон. Краснорожий шуцман, распахивая локтями рабочих, очищал дорогу двум санитарам с носилками. Человек, лежавший на носилках, был прикрыт простыней.

— Что случилось? — спросил Кэльберг у кривого старика. Старик подергал носом.

— Шли бы вы домой, — сказал старик вместо ответа и злобно почесал заросшую щетиной щеку. — Вам сюда лезть нечего, вы дома изобретайте... Сразу такую машину, чтобы мы все подошли... Чем так жить...

Кэльберг вдруг оскалился.

— Вот я вас ударю, — сказал он, — ударю, вы и умрете. Что я вам плохого сделал? Ну?

Старикашка даже зажмурился от удовольствия.

— Что? Ничего, конечно, если не считать безработицу. Вы изобрели — меня прогнали. Машина работает, вы деньги за нее получаете — мы палец грызем. А больше ничего.

Старикашка помолчал, глядя снизу вверх на Кэльберга и подбирая слова. Его хилое, маленькое тело находилось в непрерывном движении, и трубка прыгала в черных, стариковских зубах.

— Уходите лучше, — заговорил он опять, — а то вас тут... Начнется сейчас.

Кэльберг ничего не мог увидеть, хоть и был выше других на целую голову. Люди мокли под дождем и молчали точно в ожидании. Администрации не было видно, люди стояли плечом к плечу, почти в лад дыша и вглядываясь в открытую пасть ворот. Кривой старикашка исчез, толпа вдруг подалась вперед, и над толпой взвился острый и предупреждающий крик:

— Идут!

И сразу же тишина прорвалась:

— Предатели!

— Назад!

— Осторожно!

— Вперед, к воротам!..

У ворот, очевидно, шла борьба. По толпе плыли как будто волны, толпа колебалась.

— Рот фронт!

— Они не посмеют!

— Вперед!

Старикашка опять появился возле Кэльберга. Он кричал, раскрывая волосатый рот, и походил на задыхающегося сома.

— Вперед! — орал старикашка. — Вперед, вперед, чорт возьми, давите!..

Крик то замолкал, то вновь поднимался над толпою, подобный поднятому, еще не опустившемуся кнуту.

— Вперед!

— Подлецы!..

— Вперед!..

За воротами шумели моторы, полицейские получили подкрепление...

— Уходите, — вдруг захрипел старикашка под самым ухом Кэльберга, — уходите, вы, пивная бочка... Слышите?

— Не слышу, — ответил Кэльберг...

Над воротами поднялся Пфээк.

— Прошу разойтись! — заорал он, раскачиваясь на по-

жарной лестнице. - Я не допущу подобных безобразий...
(Закрываю).

Больше Кэльберг ничего не слышал. Толпа ринулась вперед, воюя и ругаясь. Посыпались стекла, кто-то отчаянно и ломко крикнул, где-то гроыхнул выстрел.

— Еще! — орал старикашка. — Еще!..

Кэльберг тоже кричал, давясь слюной и размахивая руками. Кто-то сбил ему очки, он плохо видел, толпа казалась ему ржавой стеной...

— Вперед!

— Подлецы, убийцы!..

— Вперед!

И, расталкивая людей, Кэльберг лез все вперед и вперед. Ему хотелось кусаться и бить по лицу, а для этого нужно было попасть в первые ряды.

— Вперед! — хрипел он. — Вперед, олухи, вперед!..

И вдруг все пошло к чорту. Толпа дрогнула и, точно раненый зверь, осела. На секунду все стихло, кроме тоненьких щелканий за воротами. Потом толпа с воsem ринулась назад. Это был конец. Люди уже бежали, толпа таяла, и через минуту перед Кэльбергом образовалось пустое пространство. Какое-то время он колебался, не зная, что делать, куда бежать....

Карре полицейских острым ножом врезалось в ворота и застыло. Тоненькие пощелкивания вдруг оглушили Кэльберга. Он понял, что полицейские стреляли, и, нагнув голову как бык, бросился бежать, падая и вновь подымаясь.

Теперь он понял. По его лицу текли слезы, он плакал и бежал, вытянув руки вперед и защищаясь от выстрелов розовыми ладонями.

— Не смейте! — кричал он. — Не смейте, мерзавцы!..

Сзади рабочие бросали камни в полицейских. За полицейскими по-военному, строем стояли штрейкбрехеры.

Кэльберг все бежал, асфальт был бесконечным...

— Не смейте, не смейте!

Полицейские стояли не двигаясь, по их плащам стекали струйки воды. Кэльберг вдруг вытянулся во весь рост. Камень попал ему в хребет. Это было крепкий, круглый и ладный булыжник, приготовленный для мощения двора. Сознание потухло и вновь вспынуло для того, чтобы сказать: «Тебя ударили рабочие». Кэльберг упал лицом в грязь, раскинув руки.

Зеленый остановился и потрогал прикладом винтовки

старика, валявшегося на камнях. Старик лежал лицом вниз. Сквозь дырку в башмаке выглядывала грязная пятка.

— Его имя?

Пикетчики молчали. Отто Клаус нагнулся к мертвому. Подошли Зелингер и Штерцер. У Вернера лицо было измазано кровью.

— Ну?

Отто Клаус выпрямился. Его скулы пожелтели. До сих пор он еще сжимал камень.

— Я спрашиваю имя покойного?

— Покойного звали Хромым. Можете записать: убит Хромой пятидесяти двух лет. Ранены...

— Молчать!

Отто Клаус поклонился. Все видели, как он согнул руку в локте и как ссутулилась его спина. Он поклонился очень низко.

— Вы хорошо сделали, что убили его,—сказал Отто Клаус глухим голосом,—очень хорошо. Вы добрые. Мы любим вас. Не правда ли, ребята?

Он очнулся скоро и тяжело поднял веки-гири. За дверями поминутно верещали телефонные звонки, по линолеуму топали ноги, кто-то тоненько смеялся.

Кэльберг набрал в легкие побольше воздуха, но от вдоха стало больно до того, что он скрипнул зубами.

— Ч-чорт!

Теперь он вспомнил все и приподнялся.

На мгновение ему стало страшно: шум за дверями был веселым шумом победителей.

— Не дам, — выдавил он, — не дам...

Уже можно дышать!

— Меня спас жир...

Сейчас же ворвался в комнату Пфээк. Он был весь в поту и сиял. Казалось, что у него улыбаются даже уши.

— Герр Кэльберг, вам лучше? Мы так испугались... Эти бандиты... Доктор сказал — неопасно... Что это было, что это было! Убийцы!

Кэльберг уже стоял.

— Чем кончилось?

— Прекрасно, все прекрасно... Но как вы попали туда? Экспентричность?

— Я спрашиваю, чем кончилось?

— Прекрасно, герр Кэльберг. Дали несколько выстрелов. Полицейские — крайне невыдержанные люди. Конечно, это

пехорошо. По, с другой стороны, не могла же фабрика стоять? Убытки, колоссальные убытки!.. Сначала они стреляли вверх, а потом пришлось выстрелить в упор... Бандиты, герр Кэльберг. У меня был прекрасный рабочий — Шваппинг — золотые руки, даю слово. А каким он был артистом, какая сила воздействия!.. И, можете ли себе представить, эти разъяренные разбойники убили его. О! У него сжат череп, разбита рука. Звери, сущие звери! Что же нам оставалось делать? И фабрика стояла... Я обратился на биржу, мне дали рабочих, но эти бастующие мерзавцы сами лодырничали и другим не давали работать. Тогда мне пришлось обратиться к помощи полиции. И вот они стали швырять камни... Можете себе представить?

— Дальше!

— И вот мы работаем... Правда, не все машины, но завтра пустим все...

От невыразимого восторга Пфээк поцеловал кончики своих пальцев.

— Завтра... завтра.. мы пускаем в ход ваш котел... Никаких эксцессов. Все спокойно. Ка-а-ак они издевались надо мной, герр Кэльберг, как издевались!.. Такой тон... эксплуататор, угнетатель... Скажите, пожалуйста! Я целые дни верчусь как белка в колесе, я не знаю отдыха, я не сплю ночи... Да, я владелец фабрики, но ведь я работаю. Я знаю каждого рабочего, и меня знает каждый... Я демократ, и ко мне может приходиться кто угодно — я предложу стул и сигару...

Демократ поднял штору и всадил иголку шприца в сигару.

— О! Но бандитизмом заниматься я не позволю. Убийств, расправ, скандалов я не потерплю. Прежде всего свободная человеческая личность! Прежде всего, герр Кэльберг, внутренняя свобода, но непременно чувство чести, самосознание... Мы слишком культурны для того, чтобы разрешать суды Линча над нашими рабочими...

— Прощайте!

— Куда вы, герр Кэльберг, куда вы? Вам нельзя еще ехать...

— Ничего. Дайте мне шофера, я потерял очки и не справлюсь с машиной... Прощайте...

Рука герра директора, его пухлая ладошка с сияющими ногтями повисает в воздухе...

— Ах, вот как? Хорошо же...

Но Кэльберг не слышит угроз. Сгорбившийся, постарев-

ший, держась за перила и грузно переставляя ноги, он добирается до автомобиля. Но у машины, вспомнив что-то, поворачивается и идет в проходную. Его пропускают. Вот и фабричный двор. Да, фабрика ожила, и никто бы не мог сказать, что пару часов тому назад тут было побоище. Трещат вагонетки, ухают еловые бревнышки, повизгивает кран

Все обстоит прекрасно!

Фабрика работает...

Дома дверь открывает фрау Берта.

— Что с вами, герр Кальберг?

— Пустяки... Дайте мне вина... и, пожалуйста, не входите!

В кабинете он снимает пиджак, жилетку, рубашку и вынимает из ящичка письменного стола браунинг. За несколько часов его щеки обвисли как у бульдога. Закрыв револьвер рукой, он садится в кресло и откидывает голову назад, как в парикмахерской. Потом он спускает предохранитель и очень долго, тупыми, почти не видящими глазами разглядывает ствол.

— Пустяки, — бормочет он, — ерунда...

Он дремлет и видит себя на берегу Рейна, под огромным капитаном, цветущим пирамидальными соцветьями. Он слышит песню, горькую песню со словами, тяжелыми как чугун. Но он смеется над этой песней и смеется над всем, даже над прозрачным воздухом и над мощными черными скалами, и он кричит этим скалам:

— Ого-о-го! Ого!

Все проваливается. Однако камень здорово расквасил спину, — хребет ноет, а кожа саднит.

И как это смешно получилось. Он бежал от них к своим, под защиту полицейских штыков. В них стреляли, а в него нет. Но камень был брошен сзади и ловко брошен...

Он упал *на половине*. В некотором смысле это даже символично, чорт возьми, но только в некотором смысле, не больше. Скажите, пожалуйста, — он положил револьвер на стол, — какая идиллия! Покончить самоубийством! Как звучит-то: в ночь с такого-то на такое-то выстрелом из револьвера покончил с собой известный ученый Оскар Кальберг. Покойному принадлежали следующие труды...

Нет, прошу прощения! Пока что, он еще жив. И он купил себе браунинг не для того, чтобы репортер мог подработать на некрологе. Браунинги нужны для других целей. Жаль, что у кривого старикашки не было браунинга, он, должно быть, подыскал бы ему подходящее применение...

Четыре тысячи рабочих. Четыре тысячи браунингов. Два миллиона патронов. Нет, не четыре тысячи браунингов, а больше. Браунинги всем, патроны всем. А герру Пфээку булыжник и полицейским — булыжники. Красивое бы получилось зрелище.

Полицейские бегут... рабочие стреляют. Полицейские взмолились от пота, падают на колени, молят...

Бах, бах!..

В браунинге новая обойма.

Бах, бах!..

И герр Пфээк валится на тротуар. Он еще жив, еще моргает...

Большой, жирный человек продирается сквозь клубы табачного дыма и, расчесывая поросший шерстью живот, бешено хрюкает. Потом, не одеваясь, он хватает браунинг и бежит в лабораторию. Дверь закрыта. Удар ногой, и замок вывернут. В передней прыгает насмерть перепуганная гусыня, ленты ее чепца развеваются от прыжков.

— Герр Кэльберг!.. о, герр Кэльберг!.. Он сошел с ума, мой бог! Герр Кэльберг!

Гусыня зажигает и тушит свет, тянет с вешалки зачем-то шарф, раскрывает зонтик, у гусыни такое ощущение, будто горит дом.

Кэльберг в лаборатории. Он очень спокоен, возбуждение улеглось, но руки дрожат. Тут все попрежнему. Шеренги пробирок, пузатые уроды-реторты, полчища колб с длинными шеями, великолепные микроскопы. Тончайшие переплетения трубок и трубочек, термостат, фарфоровая посуда, колпаки, маленькая динамо, электромотор, бюретки, стеклянные градуированные цилиндры, весы, хронометры и секундомеры и, наконец, миниатюрное производство бумаги, целиком уместающееся на одном громадном столе: крошечные роулы, расчесывающие нежное древесное волокно, аппараты для сгущения бумажной массы, похожие на ведра с сетчатыми днами, мешалки для примешивания в массу клеев, глиноземов и красящих веществ, сложнейшие приборы, заменяющие самочерпки с вакуум-насосами, маленькие медные и бронзовые сушильные цилиндры — целая фабрика для рабочих гномов расположена на столе.

Кэльберг стоит с браунингом в руке. Тут прошла его жизнь, среди этих препаратов, за этим письменным столом. Для чего он работал? Для чего напрягался его мозг, зачем он радовался, стоя над спиртовой горелкой, замечая, что опыт удался.

Зачем?

Для чего?

Вот висит его халат, первый халат. Он прожжен кислотами, он в желто-зеленых пятнах пролитых реактивов...

Зачем?

Техника?

К чорту такую технику! Там справа, у вытяжного шкафа стоит модель того самого мартеновского котла, из-за которого Пфээк прогнал сорок восемь человек рабочих, из-за которого рабочие забастовали, из-за которого полицейские расстреливали рабочих.

Старикашка!

Он попросил изобрести машину, которая убила бы всех сразу... «чем такая жизнь»...

Пожалуй, ты прав, кривобокий старик!

Кэльберг рубильником включает в сеть электромотор и садится на высокий полированный стул. Минуты текут безумно. Греется вода — пар поступает в цилиндр, машинально Кэльберг включает цилиндры. Они вращаются и глянцевито сверкают.

Браунинг лежит на мраморной доске, от мотора идет едва ощутимый восток.

— К чорту!

Стынет вода, замер бег цилиндров, умолк мотор.

Кэльберг поднимает браунинг и спускает собачку. Пронзительно орет гусыня в передней.

— Замолчите, фрау Берта! Я жив и не думаю кончать самоубийством. Некоторые лабораторные опыты не проходят бесшумно. Идите в свою комнату и не пугайтесь грохота.

Кэльберг почти абсолютно спокоен, ему только немного холодно. Он принохивается... Так вот как пахнет порох?

В идеальном порядке на мраморной сероватой доске лежат патроны, их очень много.

Он близоруко целится.

— Прекрасно!

Но микроскоп упорен и не хочет сдаваться. Еще раз!

Хлоп!

С микроскопом кончено. Теперь другой. Третий! Полки с препаратами!

Хлоп!

Горячая гильза валится на пол. Изумительная вещь — браунинг. На полки можно было бы расставить полицейских, в кронштейнах зажать сэра Гоодна, сэра Тэйби, сэра

шанхайского редактора, сэра шанхайского судью, сэра Ван-Шин-пел, герра Пфээка, всех.

Хлоп!

Гооди!

Хлоп!

Пфээк!

Хлоп!

Судья!

Хлоп!

Закон, право, литература, наука, искусство, церкви, все то, что создано для унижения, для мук, для гибели огромного большинства человечества...

Как это?

«В пороховом дыму и криках...»

Хлоп!.. Хлоп!.. Хлоп!..

Изумительная вещь браунинг! Фарфор, стекло, металл, реактивы, препараты, приборы, сложнейшие сооружения. реторты, измерители — к чорту!

Он устал стоять... От дыма ничего не видно, в ушах шум. Стрелять можно сидя.

Хлоп!.. Хлоп!.. Хлоп!..

Весы... секундомеры... динамо... приводы... насос... варочный котел...

Во славу мировой бессмыслицы, во славу бунта и мятежа, во славу пустоты, которая всеми четырьмя лапами влезает в его тело и когтями раздирает сердце, во славу одиночества и надвигающейся мглы, во славу того дня, когда он, Кэльберг, так же сидя на стуле, так же методически и размеренно, как сейчас, будет уничтожать Гооднов и Пфээков...

Он один...

В лаборатории перьями плавает дым, и в лаборатории едко пахнет серной кислотой.

Он один...

Он остался «между», и вокруг него почти непроницаемая типина...

Он захлебывается слезами, очень страшными у мужчины, слезами одиночества и пустоты, но, проходя через переднюю, в которой неистовствует гусыня, он улыбается.

— Я здоров, — говорит он, — и я хочу есть.

Логики и математика больше не было, они исчезли в сумбуре и хаосе онцунений, а не мыслей. Человек существовал в каком-то неведомом до сих пор измерении, и измере-

ние это называлось одиночеством. То, что произошло в лаборатории, было теперь непонятно Кэльбергу и дико. Через несколько дней он назвал лабораторный погром «террористическим актом, направленным против остатков самого себя».

Он смеялся, рассказывая по кабинету. Открытая зеленая тетрадь лежала на столе, ее листы были мелко исписаны. Стыло кофе, в балконную дверь бежал утренний холодок вперемежку с шумом огромного города...

Через час Кэльберг был у Пфэака.

— Герр Пфэак, — сказал он, садясь и подтягивая брюки на коленях, — герр Пфэак, я приехал по крайне важному делу.

Директор шевелил усами и молчал. Его красные губы, пухлые и точно позреватые, напоминали Кэльбергу греческую губку.

— Дело имеет не совсем обычный характер, но я думаю, что мы договоримся, — продолжал Кэльберг, глядя на крутой директорский пробор и причмокивая. — Договориться по этому вопросу не трудно. Итак... сконструированный запатентованный мною котел... одним словом... котлом пользуется ваша фабрика... Мне бы хотелось вернуть права на эксплуатацию котла себе. Вы понимаете?

Директор переложил сигару из левого угла рта в правый и двумя пальцами потер лоб.

— Говоря откровенно... не понимаю. Юридически право пользования вашим изобретением вы передали нашей фирме Так?

— Предположим...

— Я не хочу предположений, герр Кэльберг, у нас имеются соответствующие документы, составленные и засвидетельствованные по всем правилам.

Директор позвонил, и молчаливый служащий конторы принес толстую папку.

— Вот, герр Кэльберг, обратите внимание, параграф девятый пункт «а». «Мною предоставляется право...» Так?

— Так...

— В чем же дело? Соответствующая сумма вами получена, котел установлен и работает. Я не понимаю...

Директор даже развел руками, показывая этим, как он ничего не понимает.

— Может быть, вы объясните?

Кэльберг широко улыбнулся.

— Тут нечего объяснять. Пункт семнадцатый говорит о

том, что автору изобретения предоставляется возможность без объяснения причин вернуть изобретение себе, но не передавать его в эксплуатацию другим лицам. Примечание к этому семнадцатому пункту требует выплаты автором лицу, осуществлявшему изобретение или проект, сумм, затраченных на это изобретение, и, конечно, сумм, полученных автором за эксплуатацию его изобретения...

— Ну-с?

— Это все, герр Пфээк. Я требую возвращения мне...

— Требуете?

— Да, герр Пфээк.

Директор встал и прошелся по комнате из конца в конец. Глаза его взмокли.

— Боже мой, — сказал он тихо и проникновенно, — боже мой, что делают с людьми деньги... Зачем это вам, герр Кэльберг?

— Договор не предусматривает объяснений, а я не считаю нужным давать их.

Директор вдруг мелко засеменял. Казалось, что ноги его вытанцовывали какой-то замысловатый танец.

— Мне крайне жаль, герр Кэльберг, но все-таки вас придется разочаровать. Вчитайтесь в параграф тринадцатый...

Директор уже танцевал. Его ноги выписывали на темном узоре ковра мудреные вензеля.

— Вот, вот... немножко ниже... Нашли... Пара-аграф тринадцатый... пара-аграф...

Директор плясал. Даму заменяла сигара. Натужась, завизжал телефонный звонок — директор не слышал.

— Па-ара-а-граф... аф...

— Я прочел, герр Пфээк...

— И что же?

— И остался при старом мнении...

— Объясните...

— Параграф тринадцатый обязывает меня объяснить побуждения исключительно суду...

— Ах, вот как, вот как... Прекрасно, чудесно, изумительно... Па-ара-а-граф... Что? Быть может, вы подумаете, герр Кэльберг... Не стоит, не стоит... Нужно очень много денег...

— Ченуха... У меня хватит денег...

Директор сел в свое кресло и повернул ручку.

— Вы думаете, что у вас хватит денег? Вы убеждены в этом?

— Да...

— Вы ошибаетесь, герр Кальберг, ужасно, катастрофически ошибаетесь...

Ноги директора плясали в воздухе.

— Ошибка, глубокая ошибка... Вы знаете, во сколько обошелся ваш котел? Постройка его? Установка? Проверка на месте, испытание? Вы видели калькуляцию?

— Нет!

— Очень жаль, очень жаль, очень жаль. Сверх всего неустойка — изрядная сумма... Затем адвокаты, затем консультация... и в результате нуль. Герр Кальберг, параграф тринадцатый говорит о техническом жури. Вы должны будете доказать, что ваш котел можно переконструировать в сторону повышения коэффициента полезного действия. А котел представляет собой законченный шедевр...

— Итак, герр Пфээк, вы не хотите решить вопрос мирным путем. Я вам даю чек на оплату всех...

— Простите?

— Я вам даю чек...

— О нет, зачем же, герр Кальберг. Жури подбирается обыкновенно из достаточно компетентных людей... Я не могу считать себя эрудитом в вопросах теории, хотя, как практик...

— ... по вопросам ликвидации забастовок...

— О, герр Кальберг... Если не ошибаюсь...

Кальберг встал. Его правая щека прыгала.

— Вы не ошибаетесь. Я не желаю, чтобы по моей вине люди дошли от голода. Сорок восемь человек по вине моего изобретения обречены на голодную смерть... И я...

— И вы? — Директор внезапно рассвирепел. — Бросьте глупости, уважаемый герр Кальберг. Через неделю после того, как вы отберете ваш котел, я, Алоизий Пфээк, изобрету такой же, и вы ничем не докажете, что это плагиат... Но... я вас сделаю... нищим... Я сомну вас и брошу вот так, как использованный пипифакс. В клозет! Я не желаю иметь дело с беспокойными людьми, не желаю. Вы изобретаете, я плачу вам деньги, остальное вас не касается...

Кальберг густо побагровел. Очки мешали ему, он снял их и сунул в карман.

— Молчать!

Пфээк поперхнулся. На секунду повисла в комнате напряженная тишина.

— Замолчали? Очень хорошо... Я мог бы придушить вас и выбросить в окно двумя пальцами. Гнусная гадина!...

Хлопнула дверь. Пфээк напился воды и лег на кушетку.

Потом, не глядя, он сунул руку в ящик и наощупь выбрал сигару, и, докурив ее до половины, он вспомнил, что не обезвредил табак впрыскиванием, но зевнул и отправился разговаривать по телефону.

Кэльберг подошел к дверям и остановился. Ему стало смешно.

— Плевать!

Сейчас ему посоветуют, что надо делать, он объяснит им все. Он отдаст рукопись о Китае, он расскажет о себе «Роте Фане»! Там, наверно, другой редактор, чем в шанхайской газете. Он расскажет об этом ужасном полугодии, о котле, о расстреле рабочих, о том, что он хочет отобрать договор, о том, как он искал правосудия, и о том, как казнили китайцев. . .

Да, да, непременно. Даже о том, как он громил лабораторию. . .

Коммунистическая партия.

С ними не очень считаются, с этими коммунистами, и их не очень любит правительство. . .

Сейчас. . .

Кэльберг остановился. Против него стояли парень с лицом, изрытым оспой, и маленький, кривой, косоглазый старик. Старик улыбался.

— Что вам здесь нужно?

Он хотел ответить, он знал, что именно нужно ответить, но рука парня висела на черном, сложенном углом платке, и лицо парня морщилось от боли.

— Что вам здесь нужно?

Ответить, скорее ответить, но что? Слова исчезли, обрывки их, несвязные, глупые обрывки бродят в голове. Старик улыбается мохнатыми губами, он, наверно, вспоминает, как бежал этот громадный пузатый человек от рабочих к полицейским.

— Что вам здесь нужно?

Но, ведь, он хотел защитить их от пуля, он хотел? А не испугался ли он этой крови, не испугался ли он этого молчаливого отступления со сжатыми губами. Старик прогонял его тогда, и старик был прав, пожалуй. Нужно было сразу уйти!

— Что вам здесь нужно?

Он хотел. . . Он должен был. . .

— Видите ли. . . Дело в том, что. . .

Не договорив, он поворачивается и уходит. Ведь, они

смеются над ним, они ненавидят его, он им враг, он помощник Алоизия Пфэека. Ложь!

Шуцман поднимает палочку. Асфальт, витрины, гудки...

Он идет к своей машине. Нет, чорт возьми, они правы. Перестрелял свою лабораторию. Дурак!

ЗАКОН

Эрнст-Пауль Ганцке возвратился домой поздно. Он был голоден и зол.

— Что нового? — спросила Анна.

— Ничего...

Старик пошарил на кухне, но еды не нашел и, нахмурившись, сел в углу.

— Я хочу есть...

Анна отвернулась. Ее плечи вздрагивали.

— Не надо, Анна... Я совсем не так сильно хочу есть... Я даже могу потерпеть... В конце концов, на фронте бывало хуже... Однажды мы голодали четверо суток, и только на пятые нас накормили чечевичным супом. Но что это был за суп!.. Вместо мяса там плавали сношенные подметки...

Ганцке хотел казаться веселым, и немного погодя он запел песню:

Виноградарь давит виноград,
Хорошее будет вино.
Кузнец, его старший брат...

Но голос у старика сорвался, и Ганцке замолчал.

Сон его был легок. Он просыпался часто и ходил пить воду, потому что от голода его тошнило. Он не ел со вчерашнего утра.

Виноградарь давит виноград,
Хорошее будет вино...

Анна совсем не спала. Она лежала, подложив руки под голову и глядя в густую тьму. Будущее представлялось ей медленным умиранием и тишиною. У нее не было никаких желаний, кроме желания сытно накормить мужа и самой сытно поесть. Горькая слюна наполняла ее рот.

Утром пришел Бройр. Изумленно оглядев пустые комнаты, он засмеялся жестким, колючим смехом.

— Хорошо живет германский рабочий!

— Отлично, — улыбнулась Анна.

— А что думает по этому поводу герр Ганцке? Он по-прежнему верит в трогательное единение интересов хозяина и рабочего?

Ганцке мотнул головой.

— Герр Ганцке, — сказал он, — хочет жрать. А когда человек хочет жрать, он плохо верит даже в силу своих кулаков. Кулак выбьет витрину, но шуцман появится раньше, чем я успею запихнуть сосиску в рот. Не так ли?

Карл перебинтовывал руку, держа один конец бинта в зубах. Анна ему помогала.

— Главное — не унывать, — засмеялся он и вздрогнул от боли. — Главное — не унывать. Когда вы ели в последний раз?

— Позавчера.

— А где ваша старуха?

— В богадельне.

— Так. Спасибо, фрау Анна, теперь лучше. Последний раз вы ели позавчера? Я в последний раз ел вчера утром. Следовательно, вы больше нуждаетесь в еде, чем я. Тут марка и двадцать пфеннигов. Сегодня вы будете сыты, чорт возьми.

Рябое лицо Карла сияло.

— Верно? А дальше? Дальше нас накормят... Стаечный фонд и рабочая солидарность прекрасные вещи, правда? Отлично живет рабочий в Германии...

— О, да...

Через полчаса Эрнст-Пауль Ганцке набивал свою трубку черным табаком и философствовал, подняв палец вверх:

— Мы были голодны, но сейчас мы уже сыты. У Карла была марка и двадцать пфеннигов, а теперь у Карла нет ничего. Верно?

— Верно, — смеялся Карл, укачивая больную руку как ребенка. Пуля не задела кости, но рука ныла.

— Пойдем дальше, — орал Эрнст-Пауль Ганцке, — пойдем дальше! У меня была обстановка, ты помнишь, Карл? Тут стоял диван, тут стоял граммофон. Направо был буфет — орехового дерева, великолепной работы. В передней находился ящик, гениальное изобретение — ящик с отверстиями для обуви, которую мы надевали на работу. Роскошный умывальник. Так?

— Так, — не понимал Карл, — но...

— Положди, положди. Это все было. Но этого больше нет. Пустая квартира, за которую не уплачено и из которой нас выирут очень скоро. Тогда можно будет прибавить,

что у нас была квартира, а теперь ее нет. Улавливаешь мою мысль?

— Нет.

— Глупый ты, — вздохнул Эрнст-Пауль Ганцке, — очень глупый. Ничего, поймешь. Раньше я работал и получал деньги, а теперь не работаю и денег не получаю. Какой можно сделать вывод?

Карл улыбнулся.

— Что Эрнст-Пауль Ганцке в настоящее время безработный? Так?

— Не так, — обозлился Ганцке, — не так. Глубже смотри. Ну?

— Не знаю, герр Ганцке...

Старик встал и поднял палец настолько высоко, насколько позволяла длина руки.

— Слушай, — сказал он торжественно, — слушай, Карл. Все то, что я сказал, означает, что мною, Эрнстом-Паулем Ганцке, открыт закон: директор Пфээк, не все вечно. Директор Пфээк, помни, что все в жизни случается наоборот. Директор Пфээк, ты можешь обеднеть, и тебя выгонят из квартиры, как старика Ганцке...

— Кто выгонит? — спросил Карл.

Ганцке ответил не сразу. Посмотрев на Анну и точно ища в ней сочувствия, старик зажмурился как перед прыжком в холодную воду и крикнул:

— Я выгоню Алоизия Пфээка из его квартиры. И, пожалуйста, не думай, Карл, что мне хочется выгонять, но жизнь имеет свой закон. Все наоборот. Только сейчас еще рано.

Карл сидел, опустив голову. Он был серьезен. Ганцке чувствовал это, хоть и не видел лица Карла.

— Почему вы думаете, герр Ганцке, что сейчас еще рано выгонять Пфээка?

— Почему?

— Да...

Ганцке опять зажмурился. Ему было страшно. Всю свою жизнь он веровал в незыблемость одного, теперь он верил в другое. Жизнь имеет свой закон: все наоборот.

— Мне кажется, Карл, что сейчас еще много таких рабочих, каким был я раньше... Я думаю...

— Их нужно переделывать, герр Ганцке, этих рабочих...

Карл опять замолчал. У него очень болела рука. Молчание тянулось долго. Потом Карл поднял голову.

— Вам нужно работать, герр Ганцке... Вы слишком

слабы для того, чтобы голодать. Я уверен, что забастовка уже кончилась...

— Как?

— Просто кончилась. Котел работает, также как и вся фабрика. Алоизий доволен, больше ничего не надо. А социал-демократы... — Карл махнул рукой. — Социал-демократы... Они мирным путем идут к социализму, им хорошо платят за этот мирный путь. Проще говоря, забастовка со-
рвана.

— Что же делать?

— Пока делать нечего. Мы говорим: через поражение к победе. И мы выселим Алоизия Пфэака из его квартиры, будьте покойны, герр Ганцке. Придет такая минута, и герр директор узнает открытый вами закон жизни...

Карл все укачивал руку, скулы его двигались под конопатой кожей.

— Сегодня солнечный день, очень хороший, теплый, не правда ли?

Ганцке посмотрел в окно, щурясь от едкого табачного дыма, и недоумевающе кивнул головой.

— Так вот, герр Ганцке, — продолжал Карл, — так вот, вы, наверно, убеждены, что солнце светит не последний раз и не последний раз в Берлине хороший день. Правда?

— Правда.

— Я же убежден, что мы добьемся победы, не меньше, чем вы убеждены, что увидите солнце еще раз, а, может быть, я убежден еще больше...

Ганцке выколотил трубку в пустую банку от консервов и подергал бороду.

— При чем тут солнце? — спросил он обиженно. — Ты что, думаешь, я не верю в свой закон? Я знаю все очень хорошо, меня не надо пугать. Не только у Анны умер сын, но и у многих других, а матери не прощают виновников смерти своих детей. Это тоже закон. И еще есть один закон — закон еды. Когда люди голодны, они отправляются искать хлеба и за хлеб могут убить. Тут тоже проявляется мой закон — все наоборот. Человек был сыт, и он был тихим человеком, но человек стал голоден, и поднял крик: я хочу есть! Меня не надо убеждать, я сам знаю. Не сегодня — так завтра, а не завтра — так послезавтра. Тут не может быть другого пути...

Карл поднялся и подошел к окну.

— Вы здорово поумнели, герр Ганцке, — сказал он, помолчав. — Потасовка вас многому научила. Но я хотел

предложить вам... Между прочим, что вы знаете о России?

Карл поглаживал больную руку и смотрел на пыльную стену соседнего дома. Ганцке пошевелился и почему-то подмигнул Анне, задремавшей после еды.

— Что я знаю о России? Я знаю, что там нет безработных.

— И только?

— И только, дорогой Карл. Раньше, когда у меня не было закона «все наоборот», я знал больше. Я даже знал очень много. Но теперь я придумал закон «все наоборот», а раз все наоборот, то я ничего не знаю. Раньше я знал, а теперь не знаю. Все наоборот.

— Неправда, — засмеялся Карл, — тут, герр Ганцке, вы запутались. Раньше вы знали одно, знали так, как писала та газетка, которую вы читали. А теперь вы должны знать, но знать наоборот. Понимаете?

Старик подумал и вдруг улыбнулся. Вся его щетина встала торчком, губы, нос, глаза и лоб мигом исчезли под серыми волосами.

— Ты все-таки умный парень, Карл, — сказал Ганцке и еще дважды улыбнулся как игрушечная, улыбающаяся кукла. — Правда, умный и очень умный. Все наоборот. Если так, то газета врала. Значит...

Ганцке шевелил губами и молчал. Он выворачивал свои знания в области текущей политики наизнанку. Это было трудное занятие. Ему, например, было известно, что в советской России существует принудительный труд. Газетка печатала статьи «от собственного корреспондента» о том, что в советской России людей заставляют выполнять работу насильно. Конечно, газетка возмущалась, а вместе с нею тот старый Ганцке, который еще не голодал и не был уволен...

Но если бы произошло «наоборот» с Алоизием Пфээком, то его пришлось бы выбросить из квартиры, потому что...

Старик Ганцке запутался и перестал шептать. Ему показалось, что в советской России совсем не плохо, если газета пишет, что там очень плохо, и он сказал об этом Карлу.

Карл ответил, помолчав:

— Советская Россия это советская Россия, герр Ганцке. Там... одним словом, там управляют те, кто трудятся... Мы даже не можем себе представить... Рабочие — хозяева своих фабрик и заводов. Представляете себе?

— Нет... Карл, там все наоборот?

— Верно, герр Ганцке. Вы прекрасно сказали: там все наоборот, именно наоборот. И это «наоборот» великолепно. Вы увидите все сами...

— Как же я увижу?

— За этим я и пришел, герр Ганцке, только за этим. Советской России нужны рабочие, квалифицированные, знающие рабочие, и советская Россия предлагает хорошие условия.

Ганцке встал, дергая свою бороду.

— Карл... ты... Нам нечего есть, а ты говоришь о поездке... У нас нет денег, ты знаешь... На какие деньги мы поедем?... Зачем болтать попусту...

— Я не болтаю попусту, — почти крикнул Бройр, — я никогда не болтаю попусту. Советская Россия оплачивает дорогу и все расходы, связанные с ней.

— Но, ведь, это очень много денег?

— Им нужны рабочие, герр Ганцке, они строят и пускают в ход тысячи новых фабрик и заводов, а знающих рабочих там мало...

— Ты мне предлагаешь?... Слушай, ты... ты говоришь... Ганцке расстегнул жилетку и вновь застегнул ее. Он не знал, что делать с руками. Потом он схватил Анну за плечо.

— Анна... Карл... Карл предлагает... он скажет тебе сам... я воевал с ними, они контузили меня... Глупости, я умру тут от голода, но я не поеду к своим врагам... Варвары... Сколько убитых!...

Карл улыбался. Солнце светило ему в глаза, его волосы блестели...

— Герр Ганцке... очень недавно вы говорили мне о законе «все наоборот». Я думал, что старые ваши враги...

— Да, да, Карл, ты умный мальчик, и я согласен с тобой... Слушай! А может быть, они дадут денег на дорогу, а там, в России, заставят работать и платить не будут... А? Раз там всех заставляют...

— Все наоборот, герр Ганцке, не отпирайтесь от закона, изобретенного вами.

— Что случилось, Эрнст?

Анна ничего не понимала. Мужчины громко говорили, старик кашлял, не то поперхнувшись, не то смутившись чего-то.

— Что случилось, Эрнст?

— Видишь ли, Анна... Карл предлагает... — Руки старика попрежнему возились с жилетными пуговицами. Не

договорив, он повернулся на каблуках к Карлу и пылливо заглянул ему в глаза.

— Откуда ты знаешь, что в России нужны рабочие? Может быть, там нужны инженеры. Я не знаю такой страны, которая бы нуждалась в простых рабочих... Я не знаю. Все государства рады сплавить своих рабочих, но ни одно никогда еще не приглашало. Это все глупости.

Бройр всерьез вспыхнул.

— К чорту, — сказал он, надевая шляпу, — к чорту! Можете умирать с голоду, если вам так хочется и если вы мне не верите. Объявление висит в союзе, можете прочесть сами. Все очень просто. Сорок два человека едут, оставайтесь, если угодно...

И Карл шагнул к дверям.

— Герр Бройр!

Карл остановился. Анна подошла к нему, взяла его за руку.

— Герр Бройр, не сердитесь на мужа и объясните мне, в чем дело. Я ничего не слышала.

Когда Карл рассказал все, фрау Анна спросила:

— А вы поедете?

Бройр сложил шляпу и сунул ее в карман. Он улыбнулся широкой и очень мальчишеской улыбкой.

— Во-первых, я плохой специалист. Если бы не герр Ганцке, то я бы не удержался на фабрике и месяца. А во-вторых... во-вторых, фрау Анна, у меня есть профессия... как бы это сказать... профессия, слишком нужная в Германии...

— Таких профессий в Германии нет, — сказал Ганцке угрюмо, — вот разве шуцманы...

Карл все улыбался.

— Шуцманы с одной стороны... А я делаю революцию, и это моя специальность. Я нужен тут больше, чем в России.

Через час Бройр был у Мюленца. Ему открыла дверь фрау Мюленц, но он не вошел, а остановился на пороге.

— Есть новости?

— Его взяли.

Карл попросил воды — здорово хотелось пить

— Давно?

— Вчера ночью.

Трое ребятшек играли в поезд; самый старший изображал паровоз. Он отчаянно пытался и стучал босыми ногами,

как лошади. Его сестренка молчаливо и покорно держала брата за плечи: что может делать тендер? Младший был гудком. Он вопил, когда его шипали. Сзади на веревке ехала бельевая корзина. Она изображала все остальное: вагоны, кондукторов, пассажиров.

— Он крепко держался старик, а?

— Ничего. Он похлопал меня по спине и сказал: «Не унывай, жена, когда-нибудь это кончится».

— А дети?

— Дети спали.

Стаечный комитет разгромили в два дня. Штерцера и Клауса взяли утром, вечером Трауте. Зелингер попался на квартире у Вернера. Быками и наводчиками работали наци.

Через полчаса Карл Бройр вышел из квартиры Ганцке. Над Моабитом плыло огромное черное облако дыма, и дым копотью осаживался на крышах и стенах домов. По улице тяжёлым шагом очень уставших людей шли рабочие.

На перекрестке Бройр остановился и, оглядевшись, зашагал дальше.

— Мерзавцы! — бормотнул он.

Ему нужно было наконец зайти к себе домой. Неделю он ночевал у приятелей. Подымаясь по лестнице, он ничего не заметил, а когда ключом открыл дверь, было уже поздно. Сильные руки сдавили его кисти, кто-то зажег электричество.

— Вас зовут Бройр?

— Бройр.

Выворачиваться не имело смысла. Костлявый шущман с бельмом на глазу щёлкнул наручниками.

— Нельзя ли без этого?

— Не разговаривать...

От шущманов сильно пахло чесноком. Самый толстый из них сидел на сундуке и, ковыряя в ушной раковине, пел.

— Наконец-то мы вас дождались, молодчик. Четыре дня пришлось играть в карты от скуки. Где вы шлялись?

— Так... небольшое путешествие... Африка, Азия. Америка, немного Австралии.

— Не разговаривать!

— Можно мне взять чистое бельё?

— Обойдетесь!

— И чорт с вами!

В автомобиле пахло пивом. Карл вдвинулся в угол си-

денья и молчал. Но, когда его вели из машины в тюрьму, он не выдержал и изо всех сил лягнул костлявого шущмана ногой в живот. Шущман охнул и присел на корточки, а на голову Карла в ту же секунду обрушилась страшная тяжесть.

Комнаты опустели совершенно. Ничего не оставалось, кроме двух стульев, кухонного стола и постели.

Безработица!

Ганцке обошел квартиру, заглянув в каждый угол. Он продал даже бритву. Изумительно глупая вещь человеческий желудок — каждый день его нужно снабжать пищей.

Анна спала. Теперь она очень много спит. Пусть. Меньше мыслей, меньше горя.

Потом он сел у окна. Завтра все это кончится. Завтра они сытно поедят, он выпьет свою кружку пива и свезет на могилу. Готлиба венки. Может быть, они никогда больше не вернутся в Берлин...

И отлично! Слишком плохой город для человека, потерявшего работу. Он не может таскать кули и бревна, он стар для этого, а квалификация не нужна!

Проснулась Анна и по-детски протерла кулаками глаза.

— Как ты себя чувствуешь, Эрнст?

— Не очень плохо, Анна. Завтра я буду чувствовать себя отлично.

Анна вздохнула и пошла на кухню. Если бы у него был табак, немного табаку для трубки. Он выбил бы золу, ногтем выковырял остатки и, накрошив длинные черные стружки, затянулся бы.

Чорт его!..

Завтра он покурит...

Ганцке открыл окно и прислушался. Еще рано... Через час-два он отправится в союз и узнает, куда исчез Карл. Мальчик так часто заходил и вдруг точно провалился сквозь землю. Что могло случиться? Пошал под такси или под грузовик?

Улица еще тонет в нежном, утреннем розоватом тумане...

Ганцке шел пешком. У него не было денег ни для подземки, ни для автобуса. У него не было ни одного пфеннига. Подошвы его ботинок щелкали по асфальту. Он добрался до союза к одиннадцати часам и открыл дверь в насквозь прокуренную комнату.

— Добрый день!

— Здравствуйте...

Широколицая женщина сидела за столом, положив голову на руки. Бронзовые пряди волос падали на ее крутой и белый лоб.

— В чем дело?

Женщина морщилась как от зубной боли. Вдруг Ганцке споткнулся.

— Осторожнее, — улыбнулась женщина, — они никогда не убирают за собой...

— Кто?

— Полицейские...

Женщина встала и так потянулась, что хрустнули позвонки.

— У вас очень пыльно, — сказал Ганцке.

Постепенно его глаза привыкли к полумраку, и он разглядел, что в комнате все было разворочено и разбросано в разные стороны как после взрыва. Даже штукатурка на стене была сбита, и доски пола выломаны.

— Я сяду...

— Садитесь...

Ганцке сел и по привычке извлек из кармана трубку, но, вспомнив об отсутствии табаку, сунул ее назад.

— Не знаете ли, фрау, — спросил он медленно, по непонятной причине стараясь оттянуть ответ, — не знаете ли, фрау, где в данное время находится... Карл Бройр?

— Вы его знали?

Женщина беспокойно передвинула чернильницу.

— Да... Я его немного знал, фрау... С ним случилось что-нибудь?

Женщина ответила не сразу.

— С ним не случилось ничего особенного. То, что случилось, то должно было случиться. Бройр арестован.

— Арестован? — поднялся Ганцке.

— Да... Он арестован и обвиняется в убийстве. Но арестован не он один, а целиком вся головка, весь стачечный комитет и, главное...

Старику показалось, что он ослышался. Громадный человек со шрамом? Тот, который так говорил, что дух захватывало... Он арестован?

— Послушайте, фрау... Но это же...

— Это должно было случиться...

— Фрау, но никто из них не причастен к этому делу. Я даю голову на отсечение, я готов поклясться. Шванинга убил лифт... Я знаю, фрау, я был там...

Женщина тяжело улыбнулась. Зубы ее холодно блеснули.

— Вы думаете, что следователь уверен в том, что они убийцы? Ничуть не бывало. Следователь уверен в обратном. Но иначе полиция не смогла бы арестовать стачком, не имела бы права... Впрочем... — женщина махнула рукой. — Не все ли равно? Им нужно было разгромить, и они разгромили. Убийство — приписка.

— Чем же это кончится?

— Тюремным заключением, конечно. А, может быть, и бдльшим. Комитет разгромлен. Вчера тут был обыск. Они искали оружие, а забрали адреса и фамилии. Разве можно о чем-нибудь говорить?..

Помолчав, женщина прибавила:

— Во время обыска рабочие устроили демонстрацию... Улица была так запружена рабочими, что полицейские не знали, как их разогнать...

Ганцке слушал, посасывая пустую трубку. Его пальцы были холодны, и голова у него кружилась... Наконец он не выдержал:

— Фрау...

— Да?

Старик вытащил документы и разложил их на столе.

— Фрау... Я старый рабочий, я не попрошайка... Вот посмотрите. Клеевар... Рольщик... Обер-сеточник... Года... сеточник... И теперь я...

Старик всхлипнул. Тягучая, липкая слюна наполнила его рот, и руки задрожали так сильно, что он испугался.

— Что с вами?

— Ничего, фрау... Я просто очень устал... Мне пришлось пешком... и потом я не ел...

— Сядьте!

Голос женщины был почему-то холоден и строг.

— Почему вы до сих пор не пришли сюда?

— Я... фрау... Я считал раньше все эти фонды пустыми затеями и даже тогда, когда неплохо зарабатывал, отказывался вносить. Наша газета... она-то... и вот...

Старик заплакал. Его жалкая, маленькая, давно не стриженная голова упала на край стола. Он плакал, захлебываясь и задыхаясь. Женщина молчала. Ее глаза сухо и вло блестели.

— Перестаньте плакать. Стачный фонд имеет деньги. Вы получите денег, не плачьте.

Внезапно старик поднялся. Пальцы его мяти шляпу, маленькие глаза сразу просохли от слез.

— Если вы, фрау, считаете, что я плачу из-за денег, то вы ошибаетесь... Завтра я буду сыт... и сегодня к вечеру доберусь до своей квартиры. Я хотел накормить жену и хотел доехать... Я боялся, что упаду по дороге... Но плакать? Фрау, я плакал о своей жизни. Разве так нужно было жить? У меня был сын, они убили его, и я поверил в убийство только после смерти мальчика. А сколько времени он мучился? Я жалел свою кружку пива, фрау, и ни одного пфеннинга... А люди голодали и шли домой, шатаясь от голода... Они падали... но у меня была мебель... квартира... обед... Фрау...

— Перестаньте!—Голос женщины потеплел.—Перестаньте... Вот деньги... Десять марок... Больше мы не можем дать... Подпишитесь. Получил такой-то. Вы уезжаете?

— Да!

— В СССР?

— Да... Фрау, мне не надо десяти марок... Мне хватит три...

— Чепуха... — Кажется, что женщина злится, но глаза ее теплеют с каждой секундой. Пальцами она откидывает со лба бронзовые волосы.

— Чепуха! Вы возьмите все десять марок, все десять. И вы возвратите их, когда получите возможность. Когда вы едете?

— На следующей неделе.

— Прекрасно!

Ганцке сморкается. Ему не по себе. И он говорит, от сморкавшись и отплевавшись:

— Я придумал закон... Карлу он очень понравился; закон называется «все наоборот». Я сейчас объясню. Напрям, если раньше...

И старик объясняет, размахивая руками и заглядывая в смеющиеся глаза женщины. Он встает на цыпочки и приседает.

— Все наоборот, — кричит он хрипло, — все наоборот! Здорово?

— Великолепно.

Потом Ганцке прощается и уходит, но, купив табаку, бежит назад.

— Фрау, — говорит он, задыхаясь от беге, — фрау... Я решил... Знаете, это...

Но женщина не одна. Целая группа людей в комнате, и среди них Ганцке узнает своих товарищей по работе. Вон Рафке, бородатый гном, за ним стоит рольщик Брундель...

— Герр Брундель, — говорит старик, — герр Рафке, я знаю, что вы тоже едете в Россию. И я предлагаю следующее: мы все вместе будем писать письма в Берлин для «Роте Фане». Мы будем описывать нашу жизнь, как она есть. Там хозяева рабочие. Всякие газетки врут про Россию, а мы будем писать правду. Я придумал закон, фрау знает. Закон называется «все наоборот»...

И старик опять объясняет. Фрау посмеивается глазами, отвернувшись. Рабочие слушают старика внимательно. Рафке дымит как паровоз.

— Как вы смотрите на мое предложение, фрау? — спрашивает Ганцке. — Нравится оно вам? Аккуратно раз в месяц мы будем собираться и писать вам письма, то есть не вам, а в газету. Идет?

— Идет, — говорит фрау и протягивает руку. Старик пожимает крепкую ладонь женщины и, набивая трубку, говорит:

— Мой закон называется...

В магазине Ганцке покупает консервы, хлеб, маргарин и запас табаку на ночь. Ночью он не будет спать, ночью придется думать. Еще не все подверглось обработке законом «все наоборот». Еще много предстоит дела.

Перед самым отъездом Ганцке еще раз идет в союз. Комнатка набита народом до отказа. Рафке сияет.

— Ну, как, приятель? — гудит он сипло. — Как твои дела?

— Прекрасно, прекрасно... Я уже все упаковал. Там-то мы не останемся без работы, а?

— Надо думать, надо думать...

Рафке хохочет, точно стреляет из пулемета. Он так мал, что даже Ганцке смотрит на него сверху вниз.

— Что мы оставляем в Берлине? — спрашивает Рафке. — Что? Приятные воспоминания? О том, как мы голодали?

Рафке очень доволен. Он выкупил из ломбарда золотые часы и запонки — наследство от отца.

Старик Ганцке протискивается дальше. Он наконец сыт. Его желудок полон, в кармане бренчат деньги, и кисет набит табаком.

Рольщик Брундель тоже в отличном настроении. Он сидит на подоконнике и мечтает.

— Как ваше самочувствие, герр Брундель? Как супрута?

Брундель смеется. Он еще спрашивает — «как»? Что значит как?

— А как ваше самочувствие, герр Ганцке?

— Очень хорошее.

— Почему же мое самочувствие может быть плохим? А моя супруга? О, она напекла таких кушенов на дорогу... И Брундель достает из кармана пакетик. — Не желаете ли? Я сам чистил изюм...

— Нет, благодарю вас... Моя Анна тоже напекла... Могу предложить... — И Ганцке вытаскивает пакетик и развязывает веревочку. Потом он поднимает глаза на Брунделя и смеется.

— О, герр Брундель!

— О, герр Ганцке...

Отдышавшись от смеха, Брундель вытирает лицо платком и говорит:

— Вы знаете, герр Ганцке, у них не бывает кризисов. У них все по плану. Я читал, там идет такое строительство... У них нехватает даже чернорабочих...

— Чернорабочих?

— Да, герр Ганцке, чернорабочих... Конторщиц...

— Конторщиц... — Ганцке не выдерживает, Ганцке хочет. — Все наоборот, все наоборот... Вы, может быть, скажете, что там нехватает женщин-работниц?

— Конечно, нехватает, герр Ганцке...

— О!?

— Вот, вы смеетесь. Но я знаю это.

Ганцке берет двумя пальцами Брунделя за ладкан пиджака и наклоняется к его уху.

— Вы знаете, — говорит он, — вы знаете, герр Брундель... Мне смешно. Даю вам слово, что мне смешно. Моя Анна тоже смеется. Нам оплачивают дорогу, нам выдают подъемные, как будто бы мы какие-то бароны. Сколько лет я работаю и не знаю никаких подъемных... А туг? Что это такое, герр Брундель?

Теперь смеется Брундель. Около его глаз собираются бесконечные морщинки, он весь трясется от смеха. Наконец он говорит:

— Во-первых, там рабочие управляют государством. Сами рабочие. Это раз. А, во-вторых, разве у нас не существует подъемных, разве у нас не оплачиваются железнодорожные расходы? Все это оплачивается, но все это вычитается потом из заработной платы. И вы напрасно, герр Ганцке, обвиняете наших хозяев. Они делают то, что могут.

Брундель смеется и ест свой кухен. Его подбородок обсыпан крошками. Он ногтем извлекает из теста пухлую изюминку и показывает ее Ганцке.

— Вы видите?

— Вижу.

— Смотрите внимательно, очень внимательно. Я разрываю толстую изюминку. Что внутри?

Ганцке тщательно разглядывает. На темных крепких пальцах Брунделя лежат два кусочка прозрачной сморщенной кожицы.

— Видите, герр Ганцке? Вот что осталось бы от наших подъемных, если бы наш переезд был организован Алоизием Пфэаком. Если бы! Но этого если бы нет. Стоимость переезда рабочее государство не будет вычитать из нашего заработка.

Ганцке моргает, но его щетина не встает дыбом, потому что он купил себе отличную бритву и выбрился начисто. Он тоже ест свой кухен и облизывает жирные пальцы.

Бронзоволосая женщина попрежнему сидит за столом. Ганцке подходит к столу вплотную и поправляет воротничок

— Добрый день, фрау...

— Здравствуйте, товарищ Ганцке!

Это что еще за новости? Почему «товарищ»? Но старик не подает виду, что он озадачен. Он вытаскивает бумажник.

— Я принес свой долг, товарищ...

Ганцке оглядывается. Не слышал ли кто-нибудь этого слова. Но каждый занят своим делом, и никто не обращает внимания на старика.

— Давайте!

Ганцке отсчитывает деньги и передает бронзоволосой женщине. Женщина заглядывает в толстую книгу и удивляется.

— Вы даете мне тридцать марок, а за вами числится десять.

Только одну секунду Ганцке жует губами. Одну, совсем маленькую секунду. Потом он сморкается...

— Ну?

— Я хочу... Внести в фонд... За себя и за сына... Видите ли...

И Ганцке опять сморкается.

— Все наоборот, все наоборот, — бормочет он, — все идет вниз головой.

Женщина совсем не удивлена. Она протягивает старику приходный ордер и прощается с ним.

— Прощайте, товарищ Ганцке. Мы будем ждать ваших писем.

Целая толпа рабочих выходит на улицу. Они уезжают. Прощай, Берлин! Прощай, родина! Шущманы, прощайте! Алоизий Пфээк, прощай!..

И вдруг Ганцке хлопает себя по ляжкам, Он совсем обалдел на радостях.

— Подождите меня!

Старик бежит по тротуару, болтая руками и расталкивая прохожих, но, не добежав до союза, возвращается назад

— Герр Рафке! не можете ли вы мне сказать, что слышно о Карле Бройре и о всех?..

— Ничего нового, — вздыхает Рафке, — ничего нового, дорогой Ганцке. Они сидят в тюрьме и, наверное, просидят долго. Но... — Герр Рафке медленно сжимает кулак и прячет его в карман. Потом он говорит: — Я спрятал свой кулак в карман, дорогой Ганцке. Я маленький человек, и у меня небольшие кулаки. Но даже небольшие кулаки нужно прятать. Когда мы вернемся в Берлин...

О стекло витрины Рафке зажигает спичку и раскуривает трубку

— Когда мы вернемся в Берлин...

Рафке не успевает договаривать. Компания загорачивает в кафе. Ревет и грохочет джаз-банд, снуют кельнеры. Кто-то заказывает завтрак.

— Последний завтрак в Берлине! — кричит Ганцке и поднимает свою кружку пива. — Я пью за «наоборот». Я пью за Карла! Я пью за кулаки, которые им покажем. Правильно, Рафке?

— Правильно, — хрипит Рафке, — правильно, чтобы меня чорт взял!

Вечером Эрнст-Пауль Ганцке и Анна едут на вокзал. Старенький такси при каждом толчке так скрипит, что делается страшно. Анна плачет легкими и тихими слезами, Ганцке молчит, надувшись как сыч.

В вокзальной сутолоке на мгновение мелькает борода Рафке. Он что-то говорит и здоровается с Анной. Потом подбегает Брундель. У него трое детей, и он очень озабочен.

— Как ваше здоровье?

— Отлично, герр Брундель,

Поезд отходит. Эрнст-Пауль Ганцке чистит яблоко ножом, оставшимся с фронта.

— Очень хороший нож, — говорит старик соседу, — отличный нож. Имеется шило, штопор, ножик для консервов и пожницы. И какая крепость... Умели раньше делать вещи...

Сосед туго дышит и покашливает.

— Да, да...

Старику непременно нужно говорить с кем-нибудь. Наконец Брундель освобождается и зовет Ганцке выкурить трубочку. Ганцке вскакивает.

— Не скучай, Анна, — говорит он, — я только...

Анна кивает головой.

— Вот мы и едем, — бормочет старик, затягиваясь, — вот мы и едем. Что-то будет? Берлин остался позади, Готтлиб...

— Ну, ну, герр Ганцке, что у вас в Берлине? Бросьте...

За окном мелькают огни...

— В Киле мы будем в шесть часов, — высчитывает Брундель, — из Кили пароход отправляется утром. Значит...

Огни за окном исчезают, поезд проваливается во тьму.

— Ленинград — это бывший Петербург, — сообщает Ганцке. — В путеводителе написано, что это очень большой город, вроде Мюнхена...

ПАТЕНТОВАННАЯ МЫШЕЛОВКА

Он остановил машину и вытер платком грязные руки. Скудный сторож в ветхой тужурке пропустил его в ворота парка.

Кружевные тени от листьев лежали на геометрической прямой дорожке, но Кальбергу казалось, что тени бегут, перегоняя его. Он прошел мимо павильона для плавания, построенного в строгом стиле, мимо грандиозного белого поля, мимо футбольной площадки, мимо розовых вод пруда. На пригорке шла киносъемка, он попал в снимаемую зону, и на него заорала дюжина клетчатых мужчин сразу.

Кальберг остановился. Двое актеров дремали на солнышке, девушка расставляла закуски на белой скатерти, посланной прямо на пушистой траве. Долговязый молодой человек сидел на складном стуле и орал в мегафон, хоть было так тихо, что его отлично слышали бы и без мегафона.

Режиссер спимал благополучие и требовал от актеров безмятежных и спокойных глаз.

Если бы эту идиллию Кэльбергу довелось увидеть полгода тому назад, то вышел бы скандал: он потребовал бы от режиссера картину о зверствах европейцев в Китае, затопал бы ногами, а, может быть, учинил бы и кулачную расправу. Но теперь Кэльберг только улыбнулся.

Улыбаясь, засунув руки в карманы пиджака, он поднялся на мостик, повернул налево и, заслышав голоса, перешагнул через легкий, дощатый низенький барьер.

— Рэджи!

Пирри, в белом костюме, с ракеткой в руке, подбежал к нему.

— Добрый день, Рэджи... Я искал вас, и мне сказали, что вы на теннисе.

— Герр Кэльберг... мы столько времени...

— Да, Рэджи, но это не важно. Где Элли? Не хотите ли поужинать втроем сегодня? А?

— Конечно, герр Кэльберг... Я только доиграю...

Кэльберг садится на нагретую солнцем скамейку, откидывает голову и курит. От белых фигур играющих рябит в глазах.

— Элли! как вы живете, милая девочка? Когда наконец свадьба?

Элли болтает мускулистыми ногами. Ее шея успела загореть, ее пальцы ломают ветку на маленькие кусочки.

— Рэджи жалуется на вас, герр Кэльберг. Он говорит, что вы порядком разленились и абсолютно не работаете. Почему?

— Я очень много работаю, милая девочка. Рэджи забыл меня и ничего обо мне не знает. А я скучаю без вас обоих...

В ресторане они рассаживаются на маленьком балкончике, и Кэльберг заказывает шампанское. Внизу плавают смутный гул, амфитеатр ресторана наполняется, оркестр играет тягучую и томную восточную мелодию.

— За что мы будем пить? — спрашивает Кэльберг, пока лакей возится с бутылкой.

Рэджи и Элли отвечают почти в один голос:

— За работу!

— Отлично! Мы пьем за работу! За настоящее, осмысленное дело, за настоящую работу. Так?

— Так...

— Элли?

- Одобряю, герр Кэльберг!
- И Рэджи будет со мной работать?
- Конечно...
- Пьем!

Чуть-чуть кружится голова. Лакей не желает ходить по полу, он летает.

— Великолепно. Пирри, мне необходимо сказать вам одну вещь. Вернее две: во-первых, я убедился, что в Германии творится то же самое, что и в Китае. Ура, Германия!

— Герр Кэльберг...

— Дайте мне кончить. Во-вторых, Пирри, я стал нищим.

— Что-о?

— Я стал нищим. У меня нет больше денег. У меня нет виллы в Смаргендорфе, нет автомобиля, нет... Я нищий. Я не знаю, принадлежит ли мне этот костюм, или нет.

— То есть, вы...

— То есть, я нищий. Ничего больше. Я нищий и, кроме того, я несостоятельный должник. Я сделал такую глупость...

Кэльберг сжимает виски ладонями и качается из стороны в сторону минуту, две, три. Элли смотрит на него широко открытыми глазами. Пирри утонченно вежлив и холоден, но воротничок мешает ему — жмет шею.

— Герр Кэльберг, вам худо... Я отвезу вас домой...

— К чорту! — рычит Кэльберг. — Мне вовсе не худо, я отлично себя чувствую. Просто шампанское... Что, собственно, итак? Ах, да...

Внизу между столиками танцуют. Пары медленно двигаются, сверкают проборы мужчин, сверкает посуда, сверкает крахмальное белье, сверкают скатерти, сверкают кольца...

— К чорту, к чорту!... Между прочим... знаете, Пирри, у меня нет больше денег, я подарил их досточтимому директору Алоизию Пфээку. Он выбросил меня в клозет, как использованный пипифакс... Простите, Элли. Он вышвырнул меня и растоптал подошвой... Понимаете?

— Герр Кэльберг...

— Я не видел вас четверть года, Пирри, но вы попрежнему педантичны и... благонамеренны. А я не педантичен и не благонамерен, я просто старый, лысый, крикливый осел. Мне жалко денег. Я никогда ничего не жалел, но сейчас мне жалко, до боли жалко денег. Знаете, что случилось?

— Нет.

— Слушайте! Я пожелал отобрать мой котел у Пфээка, и мне удалось это. Я получил патент назад, котел сняли, а я заплатил за адвокатов, за жюри, за чрезвычайный со-
зыв комиссии, за рабочих, за материалы, еще за что-то. Какие-то убытки, какие-то несогласованности. Я заплатил за это двести тысяч марок, не только за снятие котла, но и неустойка и возврат гонорара... Потом две западных фирмы. Неустойка по контракту с Ван-Шин-веем. — Кальберг помолчал, постукивая рюмкой по столу. — Концерн опротестовал контракты, заключенные на консультацию, на анализы, на... шестьдесят три тысячи марок. И все. Больше у меня ничего не было. Вы понимаете что-нибудь, Элли? Нет? Я тоже не понимал. Страшно просто! Я опасел, я зол, а, следовательно, я негоден... Но это не все. Достойным директором герром Алоизием Пфээком запатентовал котел, очень похожий... но что я могу поделывать? У меня же нет больше денег для того, чтобы созывать комиссии и жюри. А герр директор подработал на моей глупости.

Кальберг опять замолчал, наклонив голову, он, казалось, слушал грохочущую и бурную музыку. Но музыка плыла мимо его ушей, не доходила до него. Он думал. Пирри курил, разглядывая ногти и слегка улыбаясь. Элли глядела на залитую светом прожекторов сцену: Там кувыркалась добрая сотня несмешных клоунов. Огромный картонный огнедышащий конь на полном скаку рожал сверкающих блестками балерин. Зеленые и оранжевые шары с грохотом лопались в воздухе, волосатый великан вопил, размахивая копьём посередине всего этого непотребства. Лились каскады настоящей воды, выл оркестр.

— Это искусство? — спросил вдруг Кальберг. Он повернулся к сцене, его пухлые щеки покрылись испариной.

— Вы считаете это искусством, Элли?

Через минуту он встал и потребовал счет.

— Весь ужас заключается в том, — сказал он, — что мой поступок бессмысленен. Были дни, когда я терял математическое чутье... События шли страшными и странными путями, и я опять запутался...

Кальберг говорил в пустоту, ему безразлична была аудитория...

— Но я запутался в последний раз. Больше я не буду делать глупостей, довольно. Я, видите ли, пожелал умыть руки, пожелал не считать себя виноватым в тех чудовищных происшествиях... И я отобрал свой котел, я отпра-

вился воевать в одиночку. Герр директор воспользовался моей тактикой для приумножения своего основного капитала, а котел... Котел он изобрел сам, без моей помощи... — Кэльберг погладил щеку ладонью и помолчал. — Все. Теперь я, как будто бы, нашел выход. Если вы хотите, Пирри... Одним словом, я предлагаю вам, вполне официально, ехать со мною в Россию. Подумайте... Там, по всей вероятности, я буду работать по-настоящему. Вы знаете русский язык, вы бывали в России. Завтра я позвоню вам. Что?

— Я слушаю, герр Кэльберг.

— Отлично. Когда будете решать, положите на чашку весов и то обстоятельство, что я ваш патрон... имею... вернее, имел... большое имя и что от меня вы все-таки многому научитесь... Относительно смысла труда я не буду вам ничего говорить, вас, кажется, эта сторона дела не очень интересовала... Прощайте... Веселитесь, я ухожу...

Кэльберг спустился вниз и пересек центральный зал по диагонали. Он не замечал толчков и не извинялся сам, наступая на ноги танцующим.

Дома в кабинете он открыл рояль, но играть ему не хотелось.

— Чорт вас возьми! — сказал он, рыгая. — Чорт вас всех возьми с начала до конца.

Фрау Берта принесла чай, он строго на нее посмотрел, снял пиджак и жилетку и, набив трубку кэпстеном, сказал:

— Фрау Берта... я попрошу вас не задавать мне вопросов, а отвечать: да или нет. Потом я объясню вам все, а сейчас мне трудно.

Фрау Берта моргнула и, подумав, согнала с кончика красного носа муху. Часы пробили одиннадцать, фрау Берта привычно пересчитала и подытожила: одиннадцать! Она всегда и во всем отдавала себе отчет.

Кэльберг говорил и отхлебывал чай.

— Первое, фрау Берта, к чему вы должны привыкнуть, это к бедности... Я... может быть, я проигрался в карты, или... знаете... женщины...

Внезапно и густо Кэльберг покраснел и отвернулся. Он захохотал даже для того, чтобы скрыть смущение.

— Значит, у меня больше нет денег... В Смаргендорфе у меня была вилла, правда, дешевенькая и простенькая, но она продана... И мои сбережения... — Кэльберг прошелся по комнате и погладил ладонью полированный бок рояля... — Мои сбережения... Их тоже больше не суще-

ству... То есть, они существуют, но я не являюсь их владельцем... Понимаете?

Фрау Берта кивнула головой и, скосив глаза на кончик носа, дунула, но упрямая муха продолжала сидеть, как ни в чем не бывало.

— Я понимаю, — сказала фрау Берта.

— Очень хорошо. Вы умная женщина, фрау Берта.

Экономка опять кивнула головой в знак согласия и одернула фартук.

— Пойдем дальше. Мы остановились на том, что у меня нет больше денег, но это, к сожалению, не все. Я не могу работать в Германии. Германия...

Кальберг покашлял.

— Германия... Во всяком случае Берлин... Он... такой, знаете ли... Недавно я был пьян, очень пьян, и пришел в клуб... Я снял костюм... и я...

— Зачем, герр Кальберг?

— Фрау Берта, я просил вас не спрашивать...

— Но, герр Кальберг, это очень странное происшествие. Пожалуйста, не рассказывайте мне ничего, я не могу верить таким вещам, потому что я слишком давно знаю вас...

Фрау Берта рассердилась и, поймав муху, оторвала ей крылья.

Кальберг курил, закрывая глаза под очками, чтобы не было так стыдно. Он вовсе не умел врать и не понимал сам, зачем он это делает.

— Хорошо, — сказал он, подумав, — хорошо я не буду рассказывать. Коротко: на днях я уеду в Россию, очевидно, навсегда. Понимаете?

— Понимаю...

— Мне бы хотелось... Я думаю...

— Я тоже думаю, герр Кальберг...

— Вы решите, фрау Берта, и, может быть, завтра или послезавтра, или...

— Я уже решила, герр Кальберг.

— Отлично. Вы...

— Я поеду с вами, герр Кальберг. У меня нет родных... Почему же мне не поехать?

Перед сном Кальберг разложил на столе карту. Огромная страна раскинулась перед ним.

— Волга, — сказал Кальберг, и его палец двинулся в речное плавание. — Волга... Каспийское море... Много... Дон... раз, два, три, четыре... тоже много... Чорт!

Он бормотал, склонившись над картой и пыхтя трубкой.

— Сясь... Кондопога... Архангельск. Архангельск, Архангельск... Какое строительство, какое строительство!.. Ленинград... Одесса...

Палец Кэльберга путешествует со страшной быстротой с севера на юг и с востока на запад. Ростов-на-Дону и Нижний-Новгород. Какое-то затерянное в степях Дерюгино и Иваново-Вознесенск.

— Странные названия, очень странные названия... Почти невозможно запомнить...

Кэльберг завален справочниками и журналами, но они так мало дают, эти немецкие справочники и немецкие журналы. В них почти ничего нет о СССР.

В кровати Кэльберг читает Гейне и вдруг неистово, хрипло хохочет.

Крыс на нашем свете два различных рода:

Сытый и голодный. Первая порода

Дома пребывает в холе и тепле,

А вторая бродит - бродит по земле...

— Именно, — орет Кэльберг, — именно! Совершенно верно, совершенно верно...

Он засыпает почти счастливым.

Берлин

Халензе Кайзераллее 94/8

Профессору Оскару Кэльберг

Условия согласны тчк Уведомите срок
выезда тчк Документы препровожаем тчк
Явка Ленинград Гострест БЦП

Елкин

Кэльбер прочел и посмотрел телеграмму на свет. Ему хотелось убедиться в подлинности факта. Потом он пощупал бумажку.

Пирри приехал только вечером.

— Рэджи, вот!

— И что же?

— Да, вы видите, они согласны, высылают документы... Вы понимаете?

— Герр Кэльберг, они слишком умны для того, чтобы не согласиться на ваши условия. Разве так вас должны оплачивать? Вспомните прежние контракты. Канада...

— Мне платят достаточно, Рэджи, а вы поставили такие

условия, которые пожелали. Что же, мой помощник будет получать больше меня. Вы едете один?

— Да.

— Отлично, отлично...

Кальберг подошел к столу и протянул Пирри блокнот. Его глаза смеялись под очками.

— Посмотрите мой баланс.

Пирри сел в кресло и закурил. Прочитав, он грустно сказал:

— Этого следовало ожидать, герр Кальберг. Вы упорно добивались потери авторитета в промышленных кругах. Вот и добились. Никто из германских промышленников не пожелал бы сейчас иметь с вами дело.

— Вы говорите мне комплименты, мой мальчик. Если они действительно не любят меня, то, значит, я этого достоин, а если я этого достоин, то я — порядочный человек...

— Следовательно, я? — улыбнулся Пирри.

— Вы? Вы... с вами хуже...

Ночью Кальберг думал о России. Она представлялась ему огромной степью, окаймленной чудовищными горами и иссеченной мощными реками. Он знал Россию по Федору Достоевскому, но Федор Достоевский писал о русских ночах, о русских дождях и о русских преступниках. По Достоевскому, существовали в этой огромной стране или мошенники, или монахи, или убийцы, но такая Россия Кальберга не удовлетворяла, и он сам создавал себе другую Россию.

Утром шел дождь, и утром прибыли документы. Фрау Берта укладывала в сундук патентованную мышеловку с особым, очень замысловатым механизмом и тихонько плакала. Дочь мясника фрау Смурсен сказала ей, что в России голод и ничего нельзя достать, даже крему для обуви, и поэтому фрау Берта брала с собой пять дюжин баночек...

Кальберг разбирал библиотеку. Ему было немножко грустно после того, как он побывал в лаборатории. Целым остался только пирометр и потолок, все остальное истребили пули.

Кальберг насвистывал Мендельсона.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

БЛЕДНАЯ НЕМОЧЬ

У Лыгина была скверная мелкая походка и белые глаза в белых же ресницах. А, вообще, человеком он слыл столь

непримечательным, что когда его пужно было найти лицу, незнакомому с ним лично, то Лысенкова, техсекретарь, безнадёжно говорила:

— Не найдешь, товарищ. Незаметный он...

В райкоме его частенько не узнавали и разглядывали, педоумевая, кто бы это мог быть. Он невесело и несмешно отшучивался. Впрочем, последнее время к нему присматривались и о нем говорили не только в райкоме, но и в горкоме.

В четверг он вышел из райкома удрученным и почти побегал мелкими, подпрыгивающими шажками на фабрику. Секретарь же райкома, затворив за ним дверь, разложил на столе газетку и разгладил ее большой волосатой рукой.

— Ну стерва, — говорил он, читая, — ну сволочь рыба...

В фабричной газете было:

«Встречный план, выдвинутый рабочими нашей фабрики, представляет собою план, не имеющий никакого крепкого под собой фундамента. Встречный план, обещающий стране тысячи с лишним тонн бумаги против плана трестовского, не учитывает тех самых «объективных причин», которые являются по существу непреодолимыми препятствиями (аварии машин, «шалости», наблюдающиеся в подаче тока, колебание уровня воды в реке, котлы Шкода, предполагаемая плановая установка перемотно-резательных станков по 4-й и 5-й буммашинам и т. д.). Сокращение простоев по смене одежды буммашин, намеченное некоторыми ретивыми «встречниками», не вызывает никакого доверия, потому что не имеет под собой почвы. Достаточно поговорить с любым старым производственником для того, чтобы убедиться в этом. Требования, которые предъявляются рабочими-встречниками к администрации, не выдерживают никакой критики как по тону, так и по характеру. Рабочие должны знать, что громадное большинство оборудования ввозится нами из-за границы и что расплачиваемся мы за это оборудование валютой. Встречники же, не согласовав ничего с администрацией, выдвигают требования. Можно ли так ставить вопрос? Так вопрос ставить нельзя. Безусловно, встречный план должен на нашей фабрике среди рабочих, комсомольцев и ИТР найти живейший отклик.

«Встречный промфинплан должен собою означать: новое повышение темпов; новые сдвиги в строительстве промышленности; наивысшее выполнение коптрольных заданий пятилетки.

«Громадное общественно-политическое значение встречного промфинплана заключается в том, что, исходя из цеха, смон, он строится на подлинном знании обстановки, на всестороннем использовании всех возможностей цеха, смены, машины.

«Его значение в том, что рабочие сами его составляют.

«Огромное значение встречного промфинплана требует максимальной поддержки и внимания к нему и со стороны хозяйственных организаций и со стороны профессиональных, а также и со стороны комсомольской организации.

«Где же реальная база встречного плана, выдвинутого рабочими нашей фабрики? Ее нет! При возможностях нашей фабрики мы с трудом справляемся с планом трестовским, где же нам выдвигать встречный. Выдвигать же для того, чтобы не выполнить? Хорошо ли это будет? Не лучше ли заново проверить возможности каждой машины, прощупать все слабые места, выяснить причины тех или иных неполадок для того, чтобы ликвидировать их и сомкнутыми дружными рядами пойти на штурм промфинплана, держа курс на победу».

Статья напечатана была на второй полосе под самыми безобидными и невинными шапками:

ВНИМАТЕЛЬНО ОБДУМАВ КАЖДУЮ

МЕЛОЧЬ,

КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ,

ВЫДВИНЕМ ВСТРЕЧНЫЙ И ВЫПОЛНИМ

ЕГО

ДАДИМ СТРАНЕ ТЫСЯЧУ ТОНН БУМАГИ СВЕРХ
ПЛАНА, А БУМАГА — ЭТО КНИГИ, ЖУРНАЛЫ,
БУКВАРЬ, ГАЗЕТА...

Секретарь райкома прочел и недоумевающе оглядел комнату. Потом он потянулся к графину с водой и, не найдя стакана, напился из горлышка.

Секретарь райкома был спокойным человеком. Удивляться и возмущаться по пустякам он не умел, но статья повергла его в панику на несколько секунд.

Через минуту он очухался и взял телефонную трубку.

— Коммугатор? Редколлегия... Да... Редколлегия? Это кто? Гитес! Из райкома, да... Немедленно приостанови

распределение газеты по цехам. Чего? Вот я тебе покажу папину маму — чего. Лыгина пришли ко мне сейчас же. Понял?

Секретарь повесил трубку и опять выпил воды. Лицо его сморщилось, точно он сразу постарел на двадцать лет.

В коллектив ввалилась бригада с третьей машины. Под огромным сеточником Дюкиным слабо пискнул стул.

— Ненормальности наблюдаются, — сказал Дюкин и поглядел на секретаря медвежьими глазками. — Ненормальности, да...

— Именно?

— Именно, именно, — вспыхнул сушильщик Егоров, — именно!.. Нормальность это, ежели мы месяц по сто двадцать процентов гоним? Ра-асселись, барины-ы...

— Чего?

— Барины, говорю, расселись, чорт вас всех! Давай сюда директора!

Лыгин смотрел на сушильщика искоса и не понимал, чего от него хотят.

— И хорошо, — сказал он, — и отлично, что больше плана. Другие отстают, а мы впереди идем.

— Липа!

Дюкин выплюнул окурочек на пол и растер искры ногой. Его медвежьи глаза точно щупали хилое тельце отсека.

— Липа!

В коллектив приходили и уходили рабочие. Лысенкова, техсекретарь, тоненько ругала бородача за неявку на пленум. Бородач сконфуженно оправдывался. Бригада третьей машины, оцепив стол Лыгина, кричала так громко, что отсекр только жмурился. Скоро пришел директор и плюхнулся в кресло.

— Устал!

— Ишь ты...

— Прокоп Прокопыч, — молвил Дюкин, залезая пальцами в директорский портсигар, — Прокоп Прокопыч, хотя ты две недели как у нас работаешь, но машина для тебя дело известное. Скажи нам, за ради бога, правильный план по нашей машине?

— Неправильный...

Дюкин хоть и был уверен, что план по третьей машине преуменьшен, но такого ответа от директора не ожидал и потому смутился.

— Неправильный, говоришь?

— Неправильный!..

— А почему неправильный?

— Премуеньшен!..

— Вот! — заорал Дюкин, дергая отсекра за рукав рыжого пиджачка. — Вот, слышь чего директор!..

Большоголовый рольщик Максименко перебил Дюкина.

— Суешься, — сказал он мрачно, — суешься, старый чорт, в пекло!.. Кто тебя просил? Я? Чи хто?

— Волон четыре, кабанчики малесеньки, — подмигнул Дюкин, — коров дви та червонцев обэрэмок. Уй-уй, куркуль чортов!

Совсем обалдев, Лыгин застучал кулаком по столу.

— Организованней, товарищи, организованней. Товарищ Дюкин, дисциплинка.

— Бедняк, каже, — хохотал Дюкин, не слушая отсекра, — бедняк!.. А волы, каже, на Украине вроде как у вас овцы или бараны!..

Директор курил и смеялся вместе с Дюкиным. Он любил этого большого, косолапого хохотуна и задиралу.

— Ну?

— Позвольте высказаться!

— Слово предоставляется кулаку Максименко, — фыркнул Дюкин, — кулаку, значит, Максименко для оправдания. Ох, вола вертеть будет, не вол скаже, а баран. Цобэ, ну!

— Шпана чортова!

— Чего?

— Шпана чортова!

— Будет, — озверело крикнул Лыгин, — будет ругаться! Дело говорите!..

— Я, товарищи, нэ то чтобы образованный, но практику маю!.. Я кажу вот чего: Дюкин трепло ест по сущности. Робим мы на совисть!..

— Огошеньки, — хмыкнул Егоров.

— На совисть работаем, и план превышаем совитскому государству. Чи цо? Га? Не превышаем?

— Дальше!

— А что получится, если другой план надумает? Кто работать будет?.. Вот, скажем, на Малинской фабрике!..

— Заткнись!..

— Сам заткнись, товарищ Дюкин!.. Я тоби!..

— Змей, — поморщился Дюкин и сплюнул на чей-то желтый ботинок. Ботинок добавил Дюкину злости и се-течник пнул его ногой, что было сил.

— Чего ты? — пискнул Лыгин. Ботинок приналежал ему, и на мизинце отсекра была мозоль. По этой-то мозоли и съездил Дюкин тяжелым сапогом.

Ни до чего не договорившись, бригада ушла. Перерыв на обед кончился, выл гудок. Директор подъехал вместе с креслом к столу отсекра.

— Товарищ Лыгин, — сказал он, поглядев на злые отсекровы брови, — товарищ Лыгин, я нахожу, что так работать нельзя.

— Нельзя?

— Да, нельзя. — Директор рассердился и смял целую папиросу в кулаке. — Ты болен, что ли?

— Я? Нет, я не болен, кажется...

Директор был очень спокоен снаружи, но внутри у него кичело...

— Ты, да и всё бюро плететесь в хвосте... Целиком и полностью плететесь в хвосте... Распустить вас нужно к чортовому батьке...

Лыгин внезапно всполошился.

— Товарищ Арефьев... ты, как член партии...

— Я, как член партии, имею право высказывать свое мнение. Фабричный треугольник болен! Моего предшественника сняли за почти вредительство, пассивное, конечно... Что?

— Товарищ Арефьев!

— Товарищ Лыгин, не бузи и не филонь. Бюро не смогло возглавить движение рабочих против курых цифр, и быть тебе за это битым. Ты не смог ничего ответить бригаде. Ты... трепаться на предмет международного положения ты можешь, а дело у тебя из рук валится. Почему ты не опротестовал плана? Ну?

— Товарищ Арефьев, необходимо учесть...

— Катись ты к... матери с учетом. На машину тебя поставить стыдно. Сопля ты на проволоке!

Директор швырнул кепку в угол и замолчал. Лыгин тоже молчал, оскорбленно вздыхая. Потом он сказал, накуксившись и сморщившись, как печеное яблоко:

— Товарищ Арефьев, за твои слова, знаешь чего?

— Чего?

— А того, что...

— Ну?

— Нечего говорить, потому что райком меня спимает.

— Скажи райкому спасибо...

Директор хмыкнул, Лыгин тщательно высморкался и посмотрел в платок.

— Портрет смотришь? — спросил директор и вышел вон, хлопнув дверью.

Лыгин аккуратно сложил платок и сунул его в карман. Потом он сказал техсекретарю:

— Товарищ Лысенкова, имейте в виду, что меня отзывают отсюда... На днях, наверно, я уйду...

Лысенкова не ответила. Ее, видимо, это известие не очень взволновало.

Редактор фабричной газеты «Бумажник» Абрам Гитес сидел в пустой комнате редколлегии и разглядывал очень пристально и очень внимательно собственные ладони. Так Гитес сидел с утра. Нужно было сказать Лыгину, что его вызывают в райком, но двинаться мучительно не хотелось, и он продолжал рассматривать руки. Шорохи за дверью выводили его из терпения, и, немного поразмыслив, он повесил в коридоре плакатец:

Гитес уехал верстать.

Материалы и прочее —

кладите в ящик.

Гитес.

Потом Абрам снял с полки газетную подшивку и принялся рыться в ней. В газете все было благополучно, но каждый номер все больше и больше волновал Гитеса. Пересмотрев подшивку, Абрам злобно сунул ее в шкаф и прислушался: за дверью было тихо. На носках он подошел к двери, открыл ее и выскочил в коридор.

— Стоп!

В потемках ничего не было видно. Кто-то держал Абрама за руку и невесело посмеивался. Пришлось отступить.

— Что ты?

Перед Гитесом стоял невысокий парень и стряхивал с макинтоша воду.

— Дождь?

— Дождь, товарищ редактор!

— Сильный?

— Сильный не сильный, а зачем записку повесил, что тебя нет, когда ты тут. Устал больно, заработался?

Гитес не отвечал. Ему хотелось драться или спрятаться с головой под одеяло, но и то и другое было невозможно, и Гитес постарался улыбнуться.

Парень снял макинтош и аккуратно развесил его на спинке стула.

— Сохни, — приказал он весело и, подпрыгнув, уселся на стол.

— Слушаю тебя, Абрашка...

— Я собрался уйти, но не ушел, а объявление позабыл снять...

— Ты все об этом... Я про новости спрашиваю... Новостей-то нет?

— Нет...

— И хорошо, что нет...

— Что же тут хорошего?

— А так, — засмеялся парень рассыпчатым, но не очень веселым смехом, — а так: были бы новости, как бы ты с ними справился?

Гитес понял намек. Все шло против него сомкнутым строем, даже Матросов, который никогда не злобил и никогда не говорил загадочками.

— Почему же мне с новостями не справиться?

— Труслив больно.

— Это я?

— Ты...

Матросов болтал ногами и высвистывал что-то залихватское.

— Вот я тебе принес новость, — сказал он, оборвав свист, — фельетончиком обработал. Поместишь? Тут и шапка сверху есть... читай!

Матросов вновь засвистел.

Абрам разложил бумагу на столе и, подперев голову руками, принялся читать.

ПОДВОДИМ ИТОГИ! СТОТЫСЯЧНЫЙ РЕМОНТ, ИЛИ КАК РАБОТАЕТ ТРЕСТ И БОРОВОЙ

Беседа по душам

Котлы Шкода разговаривали грустно:

— Вот, — сказал котел № 1 и вздохнул, — вот развернулось соревнование... хлопчут, работают... даже машины и те подтянулись, а мы что?

— Уже и не говори, — мрачно усмехнулся котел № 2, — прямо

болобрание... На меня так и хлещет... Теку и теку. Барабан у меня клочкотый, сколько ни чекань, ни черта не будет... И течь и пропа-
ринише...

Котел № 3 вмешался в разговор больных приятелей. Он сердито поныхтел, слопал телёжку угля и спросил:

— Да что с вами такое? Все работают, а вы лодырничаете. Тоже, лапем мы эти болезни. Вот я — ничем от вас не отличаюсь, а работаю... хоть не на все 32 атмосферы, а все же...

— Все же, все же, — передразнил котел № 1, — все же... ты на полтора года моложе нас, и у тебя внутренняя накладка продольного шва под поперечный не подходит...

Помолчали.

Котел № 2 ехидно улыбнулся и заговорил:

— На барабанах у нас зацепки неправильной формы и в опасном состоянии... Водоподготовительное устройство — липовое, бар баны все язвой изъедены — живого места нет. Хоть ложись и помирай.

— Да вы и так дохлые, — съязвил котел № 3, — За два года ты 43% времени простоял, а № 1 — 56%. Работнички, нечего сказать! Должны на 32 атмосферы работать, а на двенадцати язык высовываете.. А вот я и на восемнадцать могу...

— Мы пробовали на 32 работать, — вздохнул № 1, — да трубы у нас дефективные, авария, простой... Такая мура — прямо ужас... А денег на нас угробили вот сколько: стоили мы 374 000 да установка 169 000, и суммы капитального ремонта выше сумм амортизационных... Плынут на нас денежки... Эх! дела. А почему все?...

Внезапно котел № 1 умолк.

По цехам плыл рассерженный бас турбины Шкода.

— Черти, — кричала она на всю фабрику, — мерзавцы вы, котлы!.. Я из-за вас в 1930 году 7 месяцев простояла и в 1931 г. 4 месяца... 330 000 убытку из-за меня заводу....А стою я 325 000.

Котел № 2 окончательно вышел из себя.

— Мы не виноваты, — крикнул он турбине, — мы что... кирпич да железо... А вот трестовские спецы, которые нас закупали, те о чем думали, заплатив за нас деньги до испытания? Да и не только они, а и главный инженер нашей фабрики, гражданин Боровой. И он входил в состав закупочной комиссии. Правда, — прибавил котел № 2, — правда, гражданин Боровой был крайне занят: он покупал себе костюмы, платья жене и т. д. Но мы, котлы, не виноваты в том, что гражданин Боровой производил закупки по чертежам.

Турбина ничего не ответила котлу № 2.

Ответим мы:

Довольно волынки. Пора одернуть спецов, промышленяющих «бытовыми» закупочками вместо дела. Пора как следует взяться за трестовских чинуш, растрачивающих валюту на непригодное оборудование. Пора выбросить котлы, из-за которых стоит фабрика, из паро-силового цеха и пора выбросить кое-каких спецов и чинуш, из-за которых приходится выбрасывать валюту.

Абрам прочел и покосился на Матросова. Тот, насвистывая попрежнему, болтал ногами и разглядывал альбом с фотографиями.

— Не думаешь ли ты, товарищ Матросов, что тут у тебя немножко перегнута палка? Правда, не очень сильно, но все же...

— Не думаю, — ответил Матросов и спрыгнул со стола. Он смеялся, глаза у него были злые. — Не думаю, — повторил он тоном выше и осмотрел Абрама с ног до головы.

— Тут, видишь ли...

— Вижу... вижу и знаю...

— Осложнения, Ивая, могут выйти. Газета должна бить в набат, но бить в набат по проверенным материалам. А твой фельстон может вызвать последствия...

— Газета должна вызывать последствия, иначе она не газета. Понял? — Голос Матросова становился все суше, а слова звончее. — Понял, Абрам?

— Я это знаю.

— Знаешь?

— Да.

— Напечатаешь?

— Нужно посоветоваться с Лыгиным!

— А с Боровым ты советоваться не будешь? В трест, может быть, смотаешься? Или на общем собрании ИТР прочитаешь до напечатания. А?

Матросов стоял против Абрама, заложив руки в рукава пиджака и выбивая ногой чечетку. Губы у него по-детски дрожали.

— Ты трус, Абрам! Я поставлю вопрос о твоём руководстве фабричной газетой на бюро коллектива. Тебя следует выкинуть из партии к чорту... Мне кажется, что ты... — Матросов опять оглядел Гитеса с головы до ног. — Мне кажется, что ты... Я знаю, кто ты. Ты — «благополучник»!

И, сдернув по дороге со спинки стула макинтош, Матросов исчез за дверями.

В цеху он снял пиджак, сапоги, рубашку и остался в полосатой майке. Потом он надел мягкие кожаные туфли-спортсменки. Смена еще не пришла, только один Машка позевывал у наката.

— Как делишки?

— Неважно!

Они сидели вдвоем на ящике с новой австрийской сеткой. Матросов был курчав, черен лицом и силен. Упругие бицепсы как бы переливались под смуглой кожей его рук. Дома на стенке висела у него гитара, и он играл на ней виртуозно. Он любил работу, за ним бегали девчата, но он

точно не замечал их. Он много читал и для всего находил время, и хоть был еще очень молод, но в своей бригаде орудовал сунильщиком. В коллективе комсомола говорили, что он парень с авторитетом, парень что надо, парень на большой палец с присыпкой, парень в доску свой, и все это было правдой, несмотря на то, что частенько его называли сволочью, задавакой собачьей и прочими нелестными именами.

Он секретарствовал в пеховой ячейке, и дело спорилось у него так, как не спорилось у других ребят.

Матросов, кроме других качеств, наделен был еще удачливостью. Его любила машина — так говаривал Сережка Башкатов, и Башкатов, очевидно, был прав, потому что бригада Матросова давала браку меньше других бригад.

У Матросова были вьедливые глаза, он видел все и везде. Однажды у валика загорелась пыль, а Иван был на другом конце машины, почти у наката. Машина работала хорошо и спокойно, ребята отдыхали, но Матросов вдруг поднялся, постоял на одной ноге, выругался и, перепрыгивая через горы неубранной выдерки, помчался по цеху.

— Горит! — крикнул он пожарнику на ходу. Пожарник был молод, перепугался (пожар на бумажной фабрике дело не шуточное) и, схватив брандсбойт, потребовал остановки машины. Несмотря на серьезность момента, Иван не вытерпел и показал пожарнику острый и красный язык.

— Воду!

Остановка машины была бы лучшим средством для распространения пожара, и Матросов знал это. Он отпихнул пожарника и сам направил струю воды в огонь. Сукно прогорело, но пожар прекратился, а Иван обжег себе руку. Возведен был после этого случая Иван в герои.

Седин был худ, длиннонос и точно поперчен веснушками. Для отличия Ивана Седина от Ивана Матросова Седина прозвали ребята Машкой.

Машка был менее удачлив, чем Иван, но голосистее, смешливее и веселее. Бицепсы у него отсутствовали, по крайней мере их никто не мог прощупать, но Машка без труда клал Ивана на обе лопатки. И ходил Машка носками внутрь, но нимало этим не смущался.

— Мамаша поперхнулась чаем на пятом месяце, — говаривал он, подмигивая. — Понятно?

Если Матросов был мозгом бригады, то Седин был ее душой...

Такой афоризм изрек однажды Сережка Башкатов, и афоризм этот крепко прилип и к Машке и к Ивану.

— Эй ты, мозга, — кричали Матросову, — вали сюда полным ходом!

Или:

— Душа чортова, дергай!

И «мозга» валил полным ходом, а «душа» дергал, что полагалось.

— Опять в корзинке? — спросил Машка и подтянул штаны.

— Опять, — ответил Матросов. Он сидел согнувшись и поплеывая через зуб со свистом. Машка, сочувствуя и стесняясь этого своего сочувствия, старался заглянуть приятелю в глаза, но заглянуть не удавалось, потому что приятель отворачивался точно назло.

— Почему же все-таки? — упорствовал Машка. — Стайка правильная, Нейман цифры давал и все такое прочее. Чего он дуру-то валяет?

Матросов извлек из кармана пачку папирос и тупо разглядывал блеклый синева-серый рисунок. Он говорил медленно, и Машка видел, как двигаются его челюсти — точно пережевывает резину.

— Есть такая болезнь, Машка, называется болезнь бледной немочью. При болезни этой белые кровяные шарики, или как их там зовут, заедают красные. Делается белокровие, и человечина вытягивает лапы...

Матросов показал, как человечина вытягивает лапы, скоротился и застонал. Лицо его хранило выражение печальной и репительной серьезности.

— Во! Понял? А на нашей фабрике есть сейчас такая эпидемия — бледной немочи. Ходят все, точно стеклом пережавшись, морды гнилые. Разве это жизнь?

— Не жизнь, — согласился Машка. — Куда уж тут жизнь?.. Дрыхнут...

В эту минуту задребезжал звонок, и вместе со звуком звонка, бегущим по цеху словно маленький человечек в бубенцах, явился Сережка Башкатов.

— Честь-почтенье!

Смена приняла машину, и разговоры временно прекратились. Матросов метался возле сушильных цилиндров, почесывал пяткой одной ноги другую, поругивался и посвистывал.

Башкатов, обливаясь потом, возился с копьём. Машина

рился, что-то не ладилось, и Машка разглядывал шестерни на приподнятой стороне машины. Причиной обрыва могло быть слишком сильное натяжение бумаги, а такое натяжение вызывало отклонение цилиндров, хотя бы очень небольшое...

— Мерзота!

Матросов вчитывался в корявые строчки дежурного журнала. Грамотей писал так, точно его щекотали. Запись дохнула на Матросова злобным и тяжелым сарказмом.

Шашнадчатый цилиндр который возле щербатого кафели бьется в гнезди сальник в беспорядки парит, жаловалси я Федороз Степан папироски курять сказали пришлют а пришли—поговорили и ушли ухажу я с этой работы к черту браку, гнали с 1 ч. 20 м. до 3 ч. 40 м. Сколько тон спрочю.

А еще жди покуда пришлют менять цилиндр не дождешься вовси пускай все читают чего написано сволочи какие и все промфинплан сполнен и все не как у людей.

Бригадир Федоров.

Башкатов попрежнему пытел, срезая закругленным ножом копыа бумагу, которая наматывалась на цилиндр. Он подсовывал острое копыа под край бумаги, жирно ругаясь, проталкивал его возможно дальше. Наконец ему удалось разрезать бумагу по всей длине цилиндра.

— Дашь!

На мокром прессе уже оборвали бумагу и замедлили ход сушильной части.

— Дашь, чортова стучолка!

— Чего?

— Чего? — Клюква. Гони, говорят...

Но, несмотря ни на что, бумага, добравшись до «большого» цилиндра, рвалась. Матросов крикнул, чтобы выключили сушильную часть, и побежал по цеху, сверкая еще не успевшими загрязниться подошвами спортсменов.

Нейман сидел в стеклянной конторке и пил чай, дуя на ложечку.

— Товарищ Нейман!

— Что у вас случилось?

Инженер был молод, мал ростом и очень хил. Он, несмотря на свои двадцать четыре года, не брился и носил то самое белье, которое чинила ему мать тогда, когда бегал он по улицам тринадцатилетним огольцем. Материя была добротной, мать пробовала нитку на зуб, покупая полотно.

— Что у вас случилось?

— Пойдем...

Инженер ходил бочком, а по лестницам прыгал совсем по-воробыиному, всплескивая руками и задыхаясь. Сейчас он еле попевал за Матросовым.

— Что же, в самом деле, случилось?

Матросов обернулся, и Нейман увидел его лицо, обозленное, в красных пятнах с дрожащими губами.

— Извольте, товарищ Нейман, извольте шествовать. Побеспокойтесь!

— Что?

— Не время сейчас штокать...

Вновь спортсменки Матросова мягко затопали по лестнице.

За мертвой, остановившейся машиной, у больного цилиндра, толпились рабочие. Мастер волновался и обрадованно уступил место Нейману.

— Глядите, — затарахтел он, — глядите, чего наделано. А? До чего же мерзавцы люди...

Мастер опустил на корточки и смотрел на инженера снизу вверх собачьими озлобленно-ласковыми глазами.

— Молоток!

Кто-то услужливо подал вместо молотка гаечный ключ, и инженер сунул руку по самое плечо между цилиндрами.

— Я так думаю, — заговорил мастер, почему-то тонким голосом, — думаю, что в литье тут дело, не больше, не меньше. Обработка неправильная, сняли наружную корку литья, вот цилиндр-то и того... Как?

— Так, — ответил инженер, — правильно. Провал там, на полмиллиметра вогнулось, если не больше. Бьет?

— Бьет, — крикнул мастер, — как же не бить...

— Заведывающему производству?

— Докладывал, Геннадий Борисович, непременно докладывал. Обещали прислать из ремонтного, а прислать не прислали...

Нейман покрутил носом. Близко, почти перед инженером, в сухом, горячем воздухе плавали злые темные глаза Матросова.

— Что же будем делать?

Матросов хрустнул пальцами.

— А лишнуть этого заведывающего, да еще с Боровым на пару, и с конфискацией всего имущества.

Ришачи засмеялись.

— Будет рыготать-то, — не выдержал Башкатов, — раскорячились! Сейчас шесть часов, ремонтно-механический начист работает в восемь утра. Четырнадцать часов остается, шуточки? Четырнадцать лишних часов машина стоять будет...

Нейман передвинул фуражку на глаза и вдруг рассердился.

— Машина стоять даром не будет... да... нужно начать ремонт. Нельзя позволить, да. Звоните Боровому кто-нибудь... да... немедленно... звоните! — инженер поперхнулся и оплевал мелкими брызгами слюны Матросова. — Звоните Борового...

— Как же это его звонить? — поддел Машка.

— Звоните, я иду в клуб моментально. Чорт знает что, редкое безобразие!...

Неумело и злобно выматерившись, Нейман исчез. Его корявая фигурка с большим, женским задом мелькнула еще раз за накатом и скрылась. Башкатов побежал звонить в конторку мастера.

— Борового! — заорал он в трубку коммутаторше. — Главинжа, слышь?

— Даю группу «а» 1-01-3, — хрипнула мембрана. — Вы слышите?

— Алло!

Башкатову представилось: главинж спит на диване, уткнувшись носом в подушку, на столе кипит самовар, и в чайнике, под красной вязаной салфеткой с зеленым помпоном, настаивается чай. Точно в подтверждение его мыслям, сонный голос тихо и как бы предубежденно спросил:

— Ну-ну?

— Квартира Борового?

— Ну, квартира.

Башкатов опешил: главинж, видимо, был не в духе, мембрана вздыхала и посапывала.

— В чем дело?

— Говорят с фабрики.

— Ну-ну, — одобрил голос, и мембрана щелкнула.

«Зевает, стерва, — подумал Башкатов, — я вот тебе позеваю...»

— Да ну же! Алло!

— На седьмой машине сработался цилиндр, литье паршивое, вам Федоров заявлял... Чего?

— Ну, заявлял.

— Машину остановили, менять цилиндр...

Чья-то рука вдруг выхватила у Башкатова трубку. Это был мастер.

— Спали? — спросил он. — Спали? А у нас тут несчастье, машину остановили. Ремонтная в одну смену работает, вал нужно менять, а некому. Приехали бы, товарищ Боровой, ума не приложим чего делать...

В это время Нейман поднимался по клубной лестнице. Злоба вязкой мокротой засела в его горле.

— Ах, мерзавцы, — бормотал он, сжимая посиневшие от холода кулаки в карманах протертого пальто, — ах, мерзавцы!... Ну какие, ну какие...

С этими мерзавцами на губах он вошел в зал. Со сцены говорил Арефьев. Фразы его речи были так' неимоверно длинные, что слушатели почти сладострастно ожидали точки, боясь, что Арефьев непременно зашъется насмерть, но Арефьев выплывал без запинки из самых сногшибательных периодов. Говорил новый директор просто и достаточно зло для того, чтобы быть убедительным. Руками он не размахивал напропалую, но в случае надобности подчеркивал слова такой жирною чертою, что слушатели только восторженно прищмокивали.

Перебивать было неудобно — директор приближался к концу доклада, слова звучали все злее и решительнее, и Нейман, потирая озябший нос ладонью, притулился у двери.

Зал был не очень полон, последние скамьи пустовали, но впереди народ сидел густо. В президиуме грустил Лыгин, посасывая карамельку. Его песенка была спета, Нейман знал это так же, как и вся фабрика. Рядом с отсеком мерцали медвежьи глазки Дюкина.

Нейману разом стало спокойно и весело от присутствия в президиуме этого большелобого человека с красными ручищами. Как все физически слабые люди, он питал какую-то особую симпатию к сильным и большим, а Дюкин, кроме силы и роста, славился еще добродушием.

Директор кончил, и Нейман, поглядев на часы (ого, четверть часа деликатничал), побежал к сцене.

— Товарищи! — крикнул он, стараясь вытащить из кармана левую руку, — товарищи! Дело в том, что седьмая машина остановлена по недосмотру, а, может быть, и по халат-

пости администрации. Необходимо срочно заменить цилиндр. Товарищи... не стоит терять полсуток.

Рабочие молчали. Нейман наконец вытащил руку из кармана, но рука вывернула карман наизнанку и на пол упали платок, пустая папиросная коробка, копейки, яблочный огрызок и еще какая-то дрянь...

— Подбери! — крикнул веселый голос.

— Товарищи!...

— Подбери, подбери! — опять крикнул тот же голос. — Чего добро раскидываешь?...

Краска прилила к лицу инженера, он еще никогда не говорил со сцены...

«Дура, дура, — думал он, хватая выскальзывающий огрызок, — дура, все дело провалил...»

— Ну что ж, братва?

Нейман поднял голову. Это сказали в углу, в потемках, и голос был спокойным голосом прожившего человека.

— Кто тут с механического?

— Я!

— А кто ты таков «я»?

Белолицый парень с ямочками на щеках поднялся со скамьи первого ряда.

— Да я жа, Малявин. Не узнал?

— Во чорт!

Затрещала скамейка, и человек со спокойным голосом вышел из темноты.

— Давай, пошли!

Рабочие гуськом тронулись по проходу к дверям. Спокойный сыпал прибаутки, его кепка-блин была измазана ржавчиной и маслом. Нейман кивнул директору и, прыгнув со сцены, побежав за кепкой блином. На улице моросил косой, препротивный дождь, в темноте красным светился табачный киоск. Нейман хотел подумать о пафосе и энтузиазме, но не успел.

— Митрошенко? — спросил спокойный человек, и в его голосе слышалась ирония. — Митрошенко? Ты что же это, друг, раком, извиняюсь, прешь? За заборчик, а?

— Да я оправиться...

— Вон оно что, — язвила кепка блином, — ну, прости, брат Иван Дементьевич, я думал — смыться хотел...

Нейман опять попытался подумать «о пафосе и энтузиазме реконструктивной эпохи», но и на этот раз подумать не удалось. Люди шли работать, отработав уже одну смену, и люди вместе с кепкой блином, настроенной явно-ирони-

чески, поругивались. За два года работы на фабрике Нейману, к величайшему его прискорбию, ни разу не удалось видеть того энтузиазма, о котором каждодневно читал он в журналах и даже в книгах. Телячий восторг, как правило, у рабочих отсутствовал, и как раз наиболее подверженные телячьему восторгу наименее хорошо работали. Работали люди, правда, напористо, подчас зло и остервенело, но улыбаться в работе что-то не улыбались, а если и улыбались, то только из уважения к деликатным намекам кинооператора, накручивающего очередной номер Совкино-журнала...

У машины уже стоял Боровой в кожаном пальто и в форменной инженерской фуражке. Он походил на козла и, казалось, нарочно подчеркивал это наружное свое сходство тем, что, разговаривая, выставлял вперед серую бороду, хмэкал и мэкал на все лады, делал мутные, непонимающие глаза, когда не хотел чего-либо понимать, и, наконец, тем, что ходил, опираясь на палку и горбясь сильнее, чем заставляло отсутствие левой ноги. Главинж был хром и вместо ноги имел протез, выписанный из Германии.

Завидев Неймана, Боровой сказал:

— В чем тут беда? Я ничего не знаю, мне никто ничего не говорил. Что случилось?

Откуда-то из-под сетки вылез потный, разгоряченный работой мастер и злобно, точно в аварии повинен был оуок, растоптал его ногой.

— Я вам дважды заявлял, Адольф Викторович, давеча заявлял и вчерашний день заявлял. Да и Федоров к вам ходил, вот прочтите, чего написано.

Боровой ловко вскинул на нос пенсне.

— Ну, прочел?.. — Глаза у главинжа округлились и помутнели, но мастер знал этот маневр и еще больше рассвирепел:

— Я вам заявлял, Адольф Викторыч, я вам заявлял, а вы меня по инстанции наладили в ремонтный. Там што? Подождите, говорят, у нас с глезерами волынка. Вот и дождались.

— Чего дождались?

Мастер на мгновение отупел.

— Как чего дождались?

— Я спрашиваю: чего дождались? Я спрашиваю: кто виноват? Я спрашиваю: что вам от меня угодн-с? — почти взвизгнул главинж. — Что вам от меня угодно?

— Мне, Адольф Викторыч...

— Вам-с, товарищ Кнорин, вам-с, товарищ Кнорин. Я

вам служебную записку написал об экстренности, а вы мне-с про глзеры говорите. Я спрашиваю: при чем тут глзеры-с?.. И спрашиваю...

— А я вас спрашиваю...

Главинж осекся и проглотил не сказанное еще слово. Перед ним, покачиваясь на тонких, кривоватых и слабых ногах, стоял Нейман. Он был красен, и нос его лоснился.

— А я вас спрашиваю, гражданин Боровой, на каком основании вы позволяете себе повышать голос на мастера? Я вас спрашиваю, гражданин Боровой, на каком основании вы позволяете себ ограничиваться бумажечками, — Нейман надавил на эти «бумажечки» с такой силой, что если бы он писал, то непременно сломал бы карандаш, — ограничиваться бумажечками, когда под угрозой находится выполнение плана? Имеете ли вы право, гражданин Боровой, писать служебные записочки, вот эдакие двусмысленные бумажечки, — Нейман, заикаясь, совал в лицо главинжа листок из блокнота, — бумажечки с улыбочкой, с улыбочкой, да...

Тут главинж не выдержал. Цепкая его рука метнулась в воздухе удавом; и быть бы листку проглоченным или задушенным, если бы не Матросов.

— Не место, — сказал он негромко, — не место, товарищи, скандалить, не место. Дело нужно делать, довольно бузы... — И, говоря так, Матросов, как бы невзначай, протянул руку и взял листочек из вдрагивающих пальцев Неймана.

Рабочие оцепили место происшествия тесным кольцом, и Боровому не легко было пробраться через это кольцо. Выкарабкавшись из кольца, Боровой перевел дух.

— Мальчишка! — сказал он громко. — Мальчишка какой, а?

— Выкусил от мальчишки-то? — хмыкнул Башкатов, глядя в главинжевы глаза. — Выкусил?

Боровой смолчал, подавившись собственной слюной, и вышел из цеха. Два десятка холодных арчаков смотрели на его вихляющую спину.

— Смылся, — опять хмыкнул Башкатов и пошел в ремонтную смотреть, как идет работа. Новый цилиндр только что вытащили из ящика, цилиндр блестел и немножко напоминал самовар.

— Здорово! — поразовался Башкатов и присел на верстак, но кепка-блин тотчас же согнала его.

— Поди к чорту! — сказала кепка, — Развалился фонбарон... Наверну вот кувалдой...

— Слабо!

— Нам не слабо, — обозлилась кепка, — стучать только не велят... А то б навернул, за милую душу...

Через полчаса выяснилось, что с цилиндром дело затянется не меньше чем на две недели.

Нейман сказал:

— Завтра бригаду поставим на вторую машину... до окончания. Показать надобно, как комсомольцы работают.

Оба они ездили на одном трамвае, и случилось так, что Матросов и Нейман попали в один и тот же вагон.

Иван лениво протянул кондукторше гривенник и, увидев Неймана, хитровато улыбнулся.

Кривоногий инженер, ухватившись за ремень и покачиваясь на стыках, читал книгу.

— Товарищ Нейман!

— Аички?

Инженер вопросительно моргал.

— Ты, товарищ Нейман, на меня, часом, не в обиде?

— За что?

— Да вот... на лестнице я тебя... облаял.

— Пустяки, — махнул Нейман книгой, — говорить не стоит.

Складывались у Матросова с Нейманом странные отношения. Хилый инженер в протертом пальтишке любил и ценил Ивана, его крепкие руки, его горячие глаза и напористость, его настоящую, всамделишную боль за дело. Иван же уважал в Неймане голову и малосильные, но ловкие пальцы и уважал еще «своего парня». Нейман только-только перешел из комсомола в партию, а Иван еще был в комсомоле.

Но инженер был слаб, вспыльчив, нервен, застенчив и болел какой-то странной несогласованностью желаний и дел. Он частенько каялся уже тогда, когда каяться было бессмысленно, постоянно, задумав одно, под влиянием минуты делал другое и обидно себя потом ругал.

За эти-то «выказывания» и недолюбливал Иван Неймана.

Трамвай остановился на разъезде (к фабрике проложена была в некоторых местах одноколейка), и Нейман сел.

— Пальтишко бы купить следовало, — сказал Матросов, — ордерок достань.

— Обойдусь...

— Возможно, — согласился Иван и зевнул. Разговор явно не вязался. Погодя он спросил: — Чего ты на козла

пустился? Его пугать не стоит — смоемся прежде времени...

— Положим...

— Вот тебе и положим. Через коллектив нужно действовать...

— Это через Лыгина? — Инженер захлопнул книгу и сунул ее в дрянненький портфель. — Я через Лыгина действовать не буду. Это не работник, а дура. Он мир проповедует.

— Какой такой мир?

— Да такой: я с ним не раз говорил, он мне отвечал, что я склочник и бузотер. С планом тоже...

— Чего с планом?

Трамвай дернулся с места, пьяненький инженеров сосед всплеснул руками и горько спросонья заплакал.

— Чего с планом?

— Плохо с планом, очень плохо.

— Знаю.

Нейман говорил не громко, кепка ему была велика и лезла поминутно на брови. Слабыми пальцами передвигал он ее назад, но безуспешно. План был преуменьшен, и фабрика, несмотря ни на какие события, из месяца в месяц давала сто с хвостиком процентов. Нейман злился. Даже безобразия со шкодовской турбиной и котлами не отражались на выполнении плана настолько значительно, чтобы снизить сто процентов. Ударничество и соперничество разбивались о стенку бессмысленности усиления темпов. «Выполняем же, — говорили в случае чего представители треугольника, — превышаем же...»

Фабрика выполняла и превышала, план был доведен до станка, старички у станков посмеивались, а кое-кто и зло радовался:

— Вон он финплан-то... Инженеры-то, спецы, коммунисты... Хо-хо!

Нейман говорил, тиская пальцами порыжевшую кожу портфеля. Иван заглядывал в инженеров блокнот.

— Вот наши ресурсы, — злился Нейман, — вот наши возможности. Видишь? Надави только, отожмешь... Это раз. Теперь смотри первую машину. Старая она, правда, печаткинская еще. Теперь ее перенесли, а шахта мала, крыша низка. Что получилось?

Нейман нарисовал в блокноте гроб.

— Угробили машину. я не раз Боровому говорил. Крыша деревянная от скопления влажного воздуха гниет — ему на

это плевать. Но главное не в этом, главное — в подвальном этаже. Вентиляция главное. Для поглощения влаги нужен сухой воздух, а машина работает вовсе без воздуха, потому что подвал такой. Перенесли и спохватились. Была бы хорошая конструкция подведения воздуха, удалось бы увеличить количество бумаги и качество, конечно. А теперь сидим.

— Сидим, — согласился Матросов. Ему вдруг стал мил корявый Нейман, и слово «сидим» получилось ласковым и теплым. — Сидим, а план выполняем...

Нейман сделал гримасу. Все ему было противно и омерзительно.

— Другие работают, лопаются от работы, а мы что? Федоров написал: «и все не как у людей», — правильно написал. Без ГПУ тут не разберешься.

Матросов не ответил. Он сидел насупившийся и суровый. Потом попросил записку.

П. С.

Убедительно прошу послать людей на седьмую машину. Там что-то стряслось, кажется, с цилиндром. Пришли ко мне и скандалят, ужасно любит публика скандалить, а я тут при чём? Проехались бы со сквозной бригадой к поставщику своему и намылили бы ему шею соответствующим образом, чем меня от дела отрывать. Все идет отлично, а такая спешка, будто землетрясение.

Пошлите, все-таки, людей...

— Все-таки, — сказал Матросов, — все-таки. Вот пойдем завтра с тобой к директору и потолкуем соответствующим образом, и намылят Боровому шею соответствующим образом. Как ты на это смотришь?

— Арефьев парень крепкий, — ответил Нейман, — поймет. Разрисуем ему обстановочку.

Ночью Матросов читал свою записную книжку и делал из нее заметки в тетрадь. В открытую форточку клубами вваливалась холодная сырость. Иван вздрагивал. Ему не хо-

телось думать, по мысли лезли в голову, как эти поганые клубы, с тою лишь разницей, что от сырости можно было избавиться, закрыв форточку, а голова форточки не имела. Потом Иван ужинал и курил, щурясь на лампочку; ему хотелось спать до той минуты, пока не лег на кровать, а как только лег, сон рассыпался и исчез...

Натянув одеяло до подбородка, Матросов засвистел «Варшавянку», но в стену застучали, и свист пришлось прекратить.

— Мелкобуржуазная сволочь, — нехотя обругался Иван. За стеною обитало семейство зубного врача, и Иван был вселен на жилплощадь, которая освободилась после уплотнения. Врач уплотняться не хотел, и Ивана вселили со скандалом.

«Придирается, — думал Иван, засыпая, — придирается гад. Вот я ему придерусь шваброй по кумполу...»

Снилась Матросову всякая дрянь: швабра, козлоподобный Боровой и будто ему, Матросову, пьяный отец дерет уши.

ЕВГРАФ АНДРЕЕВИЧ — БУЗОТЕР

Машка Седин спал на левом боку, тихо вздыхая, и не сразу проснулся, когда захрипел репродуктор.

Сначала репродуктор откашливался, сопел и кряхтел. Диктору, видимо, трудно было начать. Потом закричала кукушка — очень весело и очень беззаботно:

— Ку-ки... ки-ку... ку-ки...

Машка подтянул одеяло и закрылся им с головой, но под одеялом было трудно дышать.

— С добрым утром, — сказал диктор невыспавшимся, хриплым голосом. — Как вы себя чувствуете?

— Тебе какое дело? — Машка открыл один глаз и с ненавистью посмотрел в темный угол. — Тебе какое дело? Пар-р-разит...

Глаз закрылся сам собою, и Машка на мгновение нырнул в теплоту сна. Но диктор опять разбудил его:

— Откройте форточку...

Теперь голос у диктора повеселел, вернее — это говорил уже не диктор, а инструктор физкультуры.

— Не встану, — сказал Машка, — ни в коем случае не встану. Что хочешь делай, а не встану. Пожалуйста, валяй дурака...

Но инструктор Машку слушать упорно не хотел, и заня-

тие шло своим чередом. Рупор изрыгал презлой рокот инструкторского баса и слабенькие, жиденькие звуки рояля.

— Там-та-ти-ти, там-та-ти-ти...

— Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два три, четыре...

— Чортово четыре, — вконец разобиделся Машка и запустил кожаным портсигаром в репродуктор, но промахнулся; портсигар сбил с этажерки нечто стеклянное, и это стеклянное разбилось вдребезги.

Терпение Машкино истощилось. Придерживая одной рукой подштанники, Машка двинулся к приемнику и вытащил штепсель. Теперь-то он сможет поспать по-настоящему, без всяких дикторов и инструкторов. Но, улегшись, Машка сделал открытие, что спать ему уже не хочется и что напрасно, следовательно, разбил он бутылку с гумми-араби-ком. Пришлось одеться. Младший Машкин брат спокойно спал на сундуке, никакие шумы не действовали на него.

В соседней комнате занавески были опущены, и Машка зажег свет. Отец Машкин Евграф Андреевич Седин, мужчина тяжелый и неповоротливый, спал, сидя на стуле верхом и положив голову на стол как на подушку. Полулитровка, на половину опорожненная, стояла на тарелке, при-мывая доньшком жалкий хвост замороженной селедки.

Мать возилась на кухне, на лице ее очень аккуратно посажены были синяки.

— Дрался? — спросил Машка.

Мать, высыпая в кастрюлю соль из пригоршни, кивнула головой.

— Больно дрался?

— Не видишь, что ли?

— Ну, вижу...

Машке было обидно. Мать стояла перед ним, и губы ее сжимались что-то сказать, но вместо слов получалось непонятное пришептывание.

— Ваня... Ванька, голубчик, — различил наконец Машка.

— Чего тебе?

Он привык к домашним дракам и пьяному и требовательному отцу, но даже привычка не помогла относиться спокойно к вечным отвратительным побоищам. Отец в драке выл, швырялся стульями, похабничал и бил не только жену, но и детей.

Он был лыс, угрюм и во хмелю гневен. Мать защищалась как могла, дети разбегались, и в их числе Машка. Но од-

пашды Машка, заведя в дверях комнаты мокрые, точно слюнявые отцовы глаза, никуда не побежал, а, загородившись предусмотрительно стулом, сказал:

— Вали-ка ты, батя, из дому домой вон, либо спать ложись. А колобродить — Алеша-ша, возьми полтоном ниже. Понял?

Старик скинул ватник, картуз и снял с себя пояс. Пьяная слеза мешала ему разглядеть сына.

— Выпорю, — пригрозил он, — ей-богу, выпорю, взвоешь!

— Еще кто взвоеет, неизвестно...

— Чего?

— Того. Глухому две обедни не служат.

От страха у Машки холодок бежал по коленям, но он не сдался, хоть и было ему в то время четырнадцать лет. Отец, тщетно протирая глаза, разыскивал сына. Покорный и не раз битый под пьяную руку Ванька вовсе исчез, стоял перед стариком худой, белобрысый и нескладный парнишка. Лицо у парнишки было злое, брови клочкастые, а слабые, с обкусанными ногтями парнишкины руки держались за спинку стула. Хоть и спьяну, но старик сообразил, что связываться с таким опечерившимся пащенком не стоит, а сообразив, пошел на кухню требовать у жены денег на продолжение выпивона: пьяненькие гуляки поджидали старика у ворот.

Машка все стоял. С уходом отца по коленкам побежал совсем нестерпимый холод. Младший Машкин брат Сашка, закрыв грязную рожу кулаком, подвывал, но подвывал он для виду, на самом же деле события страшно его интересовали. На кухне орал пьяным басом отец и плакала мать.

Подавляя страх, Машка пробрался на кухню и попал туда в самый раз: старик готовился уже стукнуть мать огромным кулаком.

— Не смей — крикнул Машка и сам удивился крепости и силе своего окрика.

— Это почему же не сметь? А? Это почему же не сметь?..

Слюна кипела на губах старика, он был взбешен и зол до предела, но удивление мешало ему приступить к действиям.

— Это чего же не сметь. сволочь ты рыжая?

Машка рыжим не был, был он блондином, а отцово ругательство оскорбило его до крайности.

— Милиционера позову.

— Ты?

— Я!

Старик охнул и, размахнувшись, ударил мать кулаком в грудь.

— Зови! — заорал он неистово. — Зови, сукин кот, ну, зови!..

Мать, синяя и яща опоры перемазанными сажей руками, в полубомороке садилась на пол. Отец пнул ее сапогом и опять что-то закричал. Что именно — Машка не понял. Его губы скривились, он шел на Машку грузными шагами битья.

— Не смей! — опять крикнул Машка. — Не смей, шпана...

— Шпана?

Машка отступал к дверям очень осторожно, чтобы не упасть. Но двери были закрыты на ключ, и Машка застрял как в мышеловке. Мозг его напрягся, отец в пьяной злобе мог ахнуть сапогом до смерти, и Машка нашел выход. На стенке висели щипцы для углей...

— Не подходи, — сказал Машка тихо, — не подходи, убью. Слышь?

Старик слышать не хотел, и Машка сплеча саданул старика щипцами по лицу. Старик воя свалился на пол, ударившись предварительно головой об угол плиты.

С тех пор прошло пять лет, отец пить не перестал, но дрался реже. Нос у него был Машкиными щипцами перешиблен пополам.

— Отцеубивец, — говорил Евграф Андреевич сыну спяща, — бандит рыжий...

Но дальше этого дело не шло. По фабрике злейшими врагами слыли отец и сын Седины. Машка хмуро посмеивался. Из номера в номер фабричная газета печатала Машкины ядовитые заметочки, а иногда и частушки, главным героем которых являлся первый фабричный бузотер Евграф Андреевич Седин.

— Рап-кор рыжай, — поругивался старик, читая сыновьи заметки, — отцеубивец чортов...

Дома отец с сыном почти не разговаривали, но сейчас Машка не выдержал.

Старик попрежнему спал за столом. Грязная рука его папала спертый воздух. Машка открыл форточку, потом тронул отца за плечо. Старик нехотя открыл глаза и с треском зевнул.

— Батя...

— Чего тебе?

— Не орп — не в пивнухе, люди спят... — Голос Машки был спокоен и крепок.

— Учить пришел?

— Учить, если у тебя ума нехватка...

— Ну-ну, поучи...

Старик поскреб черными ногтями спину и, сплунув под стол, возрился на сына.

— Что ж ты без щипцов учишь? Проломал бы батьке башку, коли нос проломал. — Старик явно шел на мировую, он даже похлопал сына по спине ладонью. — Будешь ломать башку, или погодишь?

— Ломать я тебе башку не собираюсь, но колобродить и мать калечить — не дам. Заруби на носу на своем на ломаном.

— То есть это как же?

— Да уж как-нибудь, инструмент подыщешь.

— Да если она мне денег не дает, а на руки мне не платят... Ну?

— Правильно, что не платят. Нарожал детей — корми.

— Ишь ты... А жизнь какая?

— Чего жизнь?

— Книжки, ордера... Кусать нечего — вот такая жизнь. Старик от волнения даже порозовел. Порозовели у него и уши и лысина.

— Работаете, работаете, а жрать нечего. Жизнь это?

— Несчастные вы, — пожалел ядовито Машка, — уж такие несчастные. С голоду подыхаете, куда дальше...

— А то нет?

— А то да?

— Ты мне невежливо не говори, — заорал внезапно отец. — рап-кор рыжай!

Машка посмотрел на старика с ухмылкой. Ему приятно было его бесить. Погодя он медленно сказал:

— Ты, батя, воешь, а по пятерке в день на водку трапишь. Мать вон два раза мясо не брала, деньги у нее ночью спер. Не стыдно? Голодаю, караул! Сашка да я, да вы по семьсот грамм в пятидневку мяса, да мать о Ленькой по триста. Почти семь фунтов мяса на пятидневку, а ты и я, и Сашка в столовой шамаем. Что ты мне арапа-то заправляешь? Кусать нечего! Много ты у старого хозяина жрал?

— Побольше теперешнего...

— А пил меньше?

Старик взял с тарелки селедочный хвост и, причмокивая, обсосал его.

— Молчишь? Нечего сказать?

— Сказать у меня есть что...

— Что?

— Вали-ка ты, рап-кор, на белом катере...

— Поумнел ты, батя, э-эх! А теперь я тебе скажу. Слушай, да не морщись. Машка встал и отодвинул от себя стул. — Если ты еще хоть раз мать пальцем тронешь — точка! Разведется с тобой, да еще принудилровку отработашь. Понял? Без тебя проживем, мать целее будет...

Старик все сосал селедочный хвост...

— Позволь, — сказал он хрипло и проглотил, не заметив, хвост, — позволь.. Как это разведется? Как она может развестись, ежели я не хочу?

— Уж тебя-то не спросит. А кроме всего прочего на улицу вылетишь — разговор у нас короткий. Понял? — И, не дожидаясь ответа, Машка ушел из комнаты.

Евграф Андреевич проводил сына взглядом и поглядел на бутылку. Крякнув, он налил полчайного стакана и проглотил водку таким коротким глотком, точно это была не водка, а маленькая пилюля. Потом он поднялся и, достав из горки газетный сверточек, развернул его. В сверточке хранились заметки, стихи и статьи, подписанные то Ижицей, то Зубилом, то Рабкором, и заметки эти посвящались целиком и полностью ничем не примечательной персоне Евграфа Андреевича. Проще говоря, крыли эти заметки Евграфа Андреевича и за пьянство, и за рвачество, и за дебоши во время работы, но, как ни странно, старик собирал газетные вырезки и иногда в одиночестве наслаждался своей с каждым днем растущей популярностью. Он знал, что не все написано «рап-кором рыжим», т. е. сыном. Сын писал простенько, без заковык и мало ядовито, и старик презирал Машку за отсутствие яду, но какая-то «Ижица» писала так хлестко, что Евграф Андреевич даже умилялся:

— Вот это да! — вопил он в восторге. — Вот это наступил на хвост. Ай да Ижица чортова!..

Но к этому наслаждению своей популярностью прибавлялось иногда некое чувство, смутно схожее с завистью: в то время когда Евграф Седин служил мишенью для Ижицыных острот, находились люди, вовсе, по мнению старика, «незначительные» и «никудышные», люди малознающие и неопытные, о которых Ижица писала

столь хорошо и так трогательно, что старик, читая, шмурыгал носом.

— Чорт-ти што! — говорил он. — Прямо действительно лишнет собака.

Людей «нестоющих» и «никудашных» хвалили, а его «протирали с наждачком» из номера в номер только потому, что он стеснялся отступать, на старости лет, с занятых по дурости позиций. Хулиганство ему уже удовольствия не доставляло, а хулиганить и бузить приходилось потому, что в противном случае о нем бы говорили как о результате газетного продергивания, популярность его мигом бы разлетелась, и сын вышел бы победителем. Рабочие знали, кто собирает материалы о Евграфе Седине и кто эти материалы обрабатывает.

Старик извлек из кармана просаленную газету и принялся за чтение. В этом номере ему посвящался целый подвал.

ПОТРАСАЮЩАЯ ХРОНИКА

16 мая известный рабочим нашей фабрики Евграф Седин, раб. № 1023, сеточник 2-й буммашины, вваливается в цех, обводит всех мутным взглядом и заявляет:

— У меня грудная жаба, работать не буду, промфинплан для мене плюнуть и растереть, коли жаба.

Затем Евграф Седин гулко плачет, воем заглушая шум машин, и садится на пол в лужу.

2 июня тот же Седин, работая в ночь, пронесит с собой на производство полулитровку и, спрятавшись от любопытных взоров за пожарный ящик с песком, выпивает сначала немножко, а потом опоражнивает бутылочку до конца. Последствия чрезвычайно грустные: сушильная часть начинает рвать бумагу. Седин поет и веселится. Никто ничего не понимает до тех пор, пока Седин случайно не обдаёт прессовщика парами сорокаградусной. Веселый сеточник спяна так установил линейки, что уровень массы со стороны фартука был ниже, чем на стороне, обращенной к гауч-прессу. Масса давала зыбь и мелкие волны, которые возрастали по мере обезвоживания. Результаты ясны сами собой.

23 июня Евграф Седин роняет на сетку перочинный ножик и, стремясь поймать его, роняет на сетку же пачку папирос. Общие крики восторга. Бурные аплодисменты бригады грозят перейти в овацию. Если бы имелся оркестр, то он, по собственному почину, сыграл бы туш.

29 июня

ОРЕЛ ИЛИ... ПРОМФИНПЛАН

Все десять машин нашей фабрики программу выполняют, кроме одной машины № 2. На второй машине работает в числе других и «прославившийся» Седин. Человек он обыкновенный, особых примет, кроме «особого» пристрастия к водке, не имеет.

И вот в один прекрасный весенний день «бедный» Седин (средний заработок 280 рублей) решил подработать и, не долго думая, предложил прессовщику с 1-й машины игрануть. Гурьев согласился, игроки забрались в угол, и Седин, попробовав на зуб добротность серебряного пятиалтынного, подкинул монету вверх. Играть Седин умел. Гурьев проигрывал получку рубль за рублем...

— Орел!

— Решка...

— Решка...

— Гони пятирик.

— Орел...

Вторая буммашина шла без сеточника, первая без прессовщика. Кое-как, едва-едва. После «работы» Седин с Гурьевым пошли выпить.

Вторая машина за май дала 97,8% плана, а за последнюю десятидневку июня 87,5%.

Орел или решка?

Орел или... промфинплан.

14 июля Евграф Седин, получив зарплату в черной кассе и несколько не волнуясь и не смущаясь (привычка вторая натура), тащится за целлулозный склад. Там он «опрокидывает» мерзавчика в глотку и, чудом попав в цех, уже на вводе становится к сетке.

Мастер делает Седину какое-то замечание, Седин бьет мастера поленом, оставшимся от ремонта, по голове.

Затем Седину начинает казаться, что у него вырастает еще две пары ног. Даже фабричная охрана не может его разубедить.

19 июля.

Самокритика по-седински:

— Советская власть! Веника банного в субботу достать не мог, так и не попарился. Ко-операция, скажи пожалуйста. Разве можно рабочему человеку жить?

С мая 1909 года по сентябрь 1930 г.

Почти ежедневные побои жены и детей главою семьи почтенным Евграфом Андреевичем Сединым. Пьянство. Уличные скандалы.

6 сентября. Пьянка.

7 сентября. Пьянка.

11 сентября. Пьянка и драка.

12 сентября. Довольно! Требуем от администрации снятия с работы дезорганизатора трудовой дисциплины и рвача Евграфа Андреевича Седина. Требуем!

Абрам Гитес вернулся домой поздно и, для того чтобы не разбудить ребенка, поужинал в кухне. На чайнике сидел рыжий спокойный таракан. Гитес обозлился и облил таракана горячим чаем.

— Подыхай теперь, — сказал Абрам, закуривая.

Редактору было плохо: он понимал отлично, что песенка его, благополучника и молчальника, спета и что вся «заводилка», созданная с такими трудами и с таким риском, лопнет, как лопнуло гнилое и насквозь пропрзвшее фабричное руководство.

Абрам Гитес был «интеллигентом», но семь лет тому назад он пошел на производство, вступил в партию, работал в цеху, потом его выдвинули в фабуправление, избрали в фабком, перебросили на редакторскую работу.

Абрам Гитес думал так: «По существу я маленький бухгалтер, папа мой имел табачную и колониальную торговлю. Какая у бухгалтера может быть карьера? Ну, глав-бух — не дальше, потому что я рассеянный».

Гитес любил хорошую жизнь, любил иметь в кармане липший червонец, любил такие вещи, которые приятно держать в руках: самопишущая ручка с золотым пером, книга в сафьяновом переплете, дорогое ружье, часы со светящимся циферблатом, лаковые туфли, джемпер необычайной масти, фотоаппарат, пишущая машинка. Гитесу не нужны были эти вещи, он никогда не печатал сам на машинке, никогда не увлекался фотографией, никогда не читал серьезных книг, но тем не менее он жадно покупал.

У него был шкаф, и в шкафу стояли вещи. Он любовался ими и пальцем трогал клавишу машинки. Машинка сердито тявкала, и Гитес закрывал свой шкаф.

— Маня, — говорил он жене, — Манечка, детка, я куплю тебе каракулевый сак. Какой каракуль, если бы ты только могла себе представить!.. Роскошь!..

И Абрам покупал жене сак в комиссионном магазине для того, чтобы, купив, повесить сак в шкаф. Из шкафа пахло нафталином, в шкафу светился циферблат часов и блестяли холодные носки лаковых ботинок.

Абрам купил себе письменный стол по случаю, прекрасный тяжелый стол мореного дуба с резьбой и поющими замками. Он долго поглаживал его рукой и пальцем дразнил оскалившегося дубового льва. Лев добродушичал и, даже оскалившись, не кусался.

На фабрику Абрам ходил в синей толстовочке, латаных ботинках и протертых штанах. Он получал сто восемьдесят целковых и не мог себе позволить приобрести костюм.

Хорошие же вещи...

Заведывал типографией жучок Сергей Сергесвич Циклин, дальний Абрамов родственник. Однажды Циклин сказал:

— Товарищ Гитес, — глаза его называли Гитеса Абрашкой, и разговор велся двумя Циклиными: первый был официален и добродушен, а второй говорил хриплым шопотцем и хамил, — товарищ Гитес (Абрашка), я хочу предложить вам комбинацию, чрезвычайно для вас вы-

годную (дураком будешь, если не согласишься, — знаю я вас, бухгалтерских коммунистов!), чрезвычайно выгодную. Вы знаете, конечно, какой голод стоит сейчас на бумагу (понимаешь, прохвост, вижу, что понимаешь). Наша типография получает жесткую норму, и нам приходится не брать тех заказов, которые мы могли бы брать (идет, Абрашка?). Комбинация такова: вы, товарищ Гитес, оплачиваете стоимость газетного набора, печати и прочего бумагой (ну, ну, не делай таких глаз, я тебя насквозь вижу!), а типография, в свою очередь, выполняет ваши заказы вне очереди на льготных условиях; мы можем оплачивать художника, переписку, всякие мелочи (понимаешь, какие именно мелочи?).

Абрам Гитес сходил к директору и ловко объяснил ему положение дел. Прежний директор был человеком тихим, болел геморроем, двигаться и волноваться по пустякам избегал. Дело выгорело.

Сергей Сергеевич Циклин получал бумагу по 200 рублей за тснну, но слыл дельцом и на этом не остановился. Он пустил бумагу на рынок, она шла по 900 рублей за тонну. Абрам Гитес купил себе две пары шелковых носков и написал Большую Советскую Энциклопедию.

На работе Абрам жил тихо. Ходил по цехам, собирал заметочки и предпочитал со злыми рабкорами дела не иметь. Злые заметки Абрам Гитес с присущим ему тактом не печатал, отговариваясь «чрезвычайной сложностью обстоятельств» и «политической нецелесообразностью». Стиль его фраз был, примерно, таков:

— Дорогой товарищ, ты требуешь от меня невозможного. Учитывай настроение технического персонала, не озлобляй излишними нападками. Зачем скандалить, если все можно урегулировать мирными путями? Безусловно печать, являясь оружием в руках победившего класса. в данном случае класса пролетариата...

Рабкору становилось трудно дышать, и он уходил из помещения редколлегии, позабыв дефицитные гапирсы.

Газета поругивала прогульщиков и лодырей, печатала международные обзоры, стихи из журналов:

От Белого моря до Черного моря,
От Польской межи до Сибирского края
Ведет перекличку, в усердии спора,
Крестьян и рабочих семья трудовая...

Газета нравилась даже Боровому, и он писал в нее бесконечные «технические странички» с продолжениями

в следующем номере. Технические странички рабочие не читали — Боровой не жалел формул.

Весь материал в перепечатанном на машинке виде подавался отсеку коллектива Лыгину на предмет прочтения. Лыгин читал и дергал по-заячьи носом.

— Это нельзя, — говорил он, комкая заметку. — Авторитет подрываешь...

В заметке рабкор очень робко писал о том, что фабричный автомобиль существует не для пикников и маевок инженерских и директорских жен, а для каких-то иных целей. Другая заметка намекала на то, что при некоторых усилиях машины могли бы оставить программу далеко позади и что вообще программа составлена странно. Эта заметка секретаря вывела из себя, он накричал на Гитеса и велел ему таких заметок больше на просмотр не приносить. Крик у Лыгина был мерзкий, слюна билась в его горле, и Гитес вдруг понял, кто такой Лыгин и какую линию он ведет. Гитесу стало страшно, но отступить было некуда: сам он шел все время по дорожке, указанной отсеком.

— Вот оно что, — бормотал Гитес, возвращаясь домой, — вот оно что...

Совсем недавно благополучие дало трещину: на бюро разгорелся скандал, и Лыгин не смог поймать выпущенные из рук вожжи. Директора сменили, в цехах длинно и злобно матюкались. Отсек на фабрику не выходил, рабочие смеялись ему в глаза.

Гитес же окончательно запутался. Он решил в начале заварухи переменить позиции и взяться за печатание подборок, составленных по материалам злых заметок, но потом ему пришло в голову, что слишком резкая перемена позиций обратит на себя внимание и вызовет неприятные последствия. — Он смиренно стал ждать, махнув на все рукой.

В эту ночь он плохо спал. Мелкие и отвратительные по своей нелепости кошмары мучили его. Ему казалось, что его засыпают картофельной шелухой, и он кричал.

Утром Гитес зашел в коллектив и опешил: Лыгина не было, а за его столом сидел белолицый человек лет тридцати и чинил карандаш. Глаза у белолицого человека были темные и веселые, и пахло от него душистым мылом. Запах показался Абраму вкусным, как и все в человеке, даже его манера чинить карандаш. Человек чинил карандаш вкусно.

— Здорово, — сказал человек так, точно был знаком с Гитесом по крайней мере десять лет. — Тебе кого?

— Мне Лыгин нужен.

— Лыгин? Он, братец, в райком поехал.

— В райком?

— Ну да, в райком, чего же тут удивительного? — И человек опять принялся чинить карандаш, но другой. Видимо, не мог человек сидеть без дела.

— А ты кто будешь?

Гитес ответил не сразу.

— Я... я редактор многотиражки...

— Вон оно что... Ну, ладно, будем знакомы. Щеглов я, на место Лыгина меня прислали. Так, так...

Щеглов замолчал и любопытно оглядел Абрама. Слышно было, как в соседней комнате Лысенкова щелкала на машинке и как ругались в фабкоме два голоса: один пудный и скрипучий, а другой бас. Гитесу стало жарко.

— Что же это ты, братец, по двое суток не являешься? — спросил Щеглов лениво. — Не годится, не годится...

— Я был в типографии... газету верстал.

— Чего верстал?

— Газету...

— Так, так. — Щеглов был настроен враждебно, глаза его больше не улыбались, и карандаш он нехотя бросил на стол. — Сел бы, товарищ Гитес... А скажи мне, пожалуйста, по-товарищески, почему ты дельный материал не печатал в многотиражке в своей вот в этой?

Новый отсек ловко выдвинул ящик стола и извлек из ящика подшивку.

— Звенит у тебя газетка, — сказал он погода, — насквозь звенит. Рассказики производственные печатаешь, а рассказы плохие, дырявые. Откуда брал?

— Из журналов...

— А стихи?

— Тоже из журналов...

— Худые стихи, худые. Трепня, а не стихи. Разве такое рабочему нужно? — Щеглов пустил в форточку тоненькую струйку дыма. — Ты в райкоме, в секторе печати чего вкручивал? — продолжал он. — Вкручивал, что материалу нет, план выполняем, все такое прочее. А план-то ваш...

В райкоме Гитеса встретили холодно, но ему было безразлично. В райкоме же ему сказали:

— Редактором утверждаем Матросова Ивана. Объяс-

нили ему пока технику — макет там, верстку как и что. А затем в распоряжение райкома. Понятно?

— Да, понятно...

— Ну, вали...

Вечером того же дня Лыгин был исключен из партии и направлен на производство. По специальности он был рольщиком.

В протоколе заседания актива значилось:

... оппортунизм на практике, зажим рабочей самокритики...		... исключить и направить на производство...
---	--	--

Пошабашив и сдав машину, Матросов сказал Машке и Сергею:

— Ничего не значит, что в газете буду работать. В случае надобности сюда приду. Одно другому не мешает.

Подошел Нейман, фуражка попрежнему лезла ему на глаза, но сдвинуть ее назад он не мог, потому что руки его были перепачканы мазутом.

— С повышением, — сказал он, — с тебя, Матросов, могорыч.

Могорыча не было, но чай был, и не пустой, а с какими-то огромными и тяжелыми, но отвратительными на вкус конфетами. Возможно, что от этих конфет стошнило на другой день некрепкого Неймана.

Этой же ночью в табачном дыму Матросов, маленький Нейман, Сергей Башкатов и Машка писали статью в областную газету. Дирижировал Матросов, цифровые данные сообщал Нейман, и писал Машка. На примусе слабо прыгала крышка чайника, и в стену через равные промежутки времени постукивал зубной врач. От стуков толку не было, и врач проклинал комсомол, как таковой. Статью кончили очень поздно — трамваи уже не ходили, и все трое остались ночевать у Матросова. Общими трудами на кухню выпихнули кровать и прямо на полу разостлали зеленое одеяло Ивана, два блина, называвшиеся матрацами, пиджаки и пальто. С подушкой получилось хуже. На одной матросовской думке четыре головы не уместались. Иван предложил бросить жребий: кому спать на березовых чурбаках, прикрытых двумя парами брюк, а кому на подушке. Счастливыми оказались Нейман и Сергей Башкатов. Ночью по ноге инженера пробежала мышь, и инженер завопил. Машка зажег свет. Инженер

сидел бледный, с трясущейся челюстью и разглядывал палец на ноге; спросонья ему показалось, что «мыши (две-три, не меньше) грызли ноготь, или что-то в этом роде».

Началась охота вперемежку со смехом и шуточками. Зубной врач в женином пальто, с дрожью в голосе, потребовал тишины. Нейман ему ответил:

— У вас мыши. Не можем же мы отдаться мышам на съедение, подумайте сами.

Врач подумал и, извинившись, ушел.

Нейман больше заснуть не мог. Его тошнило, он встал и оделся — в сумерках северного рассвета.

Ребята спали.

Инженер взял со стола лист мелко исписанной бумаги и близоруко прищурился. Прочитав несколько строчек, он подумал о том, как хорошо и как весело жить, как чудесно смотреть на человека, который растет...

Нейман читал:

Река выгнула хребет. Под дождем она похожа на прозябшего, скверного пса.

Фабрика стоит на реке. Река нужна фабрике — на баржах подвозятся еловые чурбаки, основное сырье.

Они вкусны на вид, эти чурбаки — они совсем как мед. Их везут на гремучих тачках. Их складывают штабелями...

Сама же фабрика выглядит тюрьмой. Она построена в виде буквы «П». Ее оконца малы и всегда слезятся — фабрика должна была быть тюрьмой. На ней работали двенадцать часов и считали себя счастливыми:

Только двенадцать часов!!!

Мастера дрались, инженеры дрались, сторожа дрались. Мастер Хрупкин носил с собой оловянный кастет. Мастер Хрупкин обклеил стекла своей конторки бумагой и водил в конторку приглянувшихся работников. Потом он давал им по двугривенному медью. Работницы-девушки рожали. Хрупкин ходил по начальству, и работник-девушек «за блуд» изгоняли вон.

Был слух: мастера Хрупкина убил в восемнадцатом году его же сын (незаконный) моряк-балтиец Адам Прищепа.

Хозяин фабрику проиграл в карты спьяна и для того, чтобы напугать нового владельца, инсценировал бунт рабочих. Новый испугался до икоты и, получив вексель, исчез.

Хозяин пил донское шампанское (дешевле) и сам учил детей арифметике.

Один из хозяйских сыновей до сих пор шалит где-то в Париже. Между прочим, недавно ему посчастливилось: продал отцовы фабрики за четыреста франков. И то хлеб!

На Пасху хозяин ставил угощение, причем за угощение с рабочих высчитывались сумасшедшие деньги. Рабочие ели на неделю — жалко было денег, но хозяин все же оставался в барыше.

Итак, чурбаки...

В сочное, смолистое мясо ели врезается топор. Ель падает. Ничего интересного. При чем тут бумага?

Корообдирочные ножи чавкают как жадная свинья, и ель сияет ослепительной, медовой наготой.

Это уже чурбаки.

Жернов из песчаника делает 240 оборотов в минуту, один дефибрер дает в сутки двадцать тонн древесной массы, рыжеватого крепко пахнувшего киселя с комочками. Если бы такие комочки попались в клюквенном киселе, то посетители нарпитовской столовой, учинив скандал, потребовали бы жалобную книгу.

Это уже бумага.

Вез пяти минут...

Десять дефибреров круглые сутки жуют поленья. Они выверены идеально, они работают как часы. Эти безукоризненные челюсти не знают усталости.

200 тонн в сутки.

12 000 тысяч пудов в сутки.

Мы еще не привыкли к тоннам — мы еще не ощущаем поступи тонн, нас восхищают еще пуды.

Кисель ползет в щеполовку для изъятия щепок; миновав щеполовку, он попадает на металлические сита.

Непригодные частицы домалываются в раффинерах.

Чужие люди проникаются к машинам почтительностью. Если бы у чужих людей были хвосты, то они непременно завиляли бы ими.

Машины молчаливы и уравновешены. У них прекрасный характер, у них нет ничего лишнего...

Затем масса сложными путями трубопроводов, насосов, чапов попадает в массные роллы...

Небольшие железобетонные сооружения, в которых можно сварить бульон из трех коров разом. Правда, бульон получится наваристый...

Рольщики пахнут кислинкой.

Счастливыцы — им можно курить!

(Другие лишены этой тихой радости во время работы.)

Но рольщики не только курят, как предполагают некоторые завистники. Рольщики — боги бумажного производства.

В огромных чанах плывет кисель. Древесная масса состоит из волокон, и роллы обрабатывают каждое волокно. Для этого масса пропускается между планкой и особым барабаном. Волокна расщепляются на тонкие волокна — фибриллы. Волокна укорачиваются.

А рольщики боги, — потому что если разбол массы произведен неправильно, ее нужно выбросить.

Потом в массу добавляются целлюлоза, каолин, «смоляное мыло», синька...

Каолин заполняет промежутки между волокнами, клей помогает чернилам не расплываться.

Инженерам нельзя читать этого очерка. Обидятся, обвинят в упрощении вопроса, в отсутствии точных цифр.

Инженерам можно ответить, что очерк еще будет, а это только предисловие. Рабочие других фабрик и заводов должны представить себе, каково производство бумаги. Сам же очерк об оппортунистическом руководстве.

Дальше масса, разбавленная водой, черпаками подается на сетку. Сетка бесконечно движется и имеет боковое сотрясение. Вода стекает, а волокна, благодаря тряске, сплетаются друг с другом. Обезвоживается масса и сосунами, расположенными под сеткой, и гауч-прессом. После гауч-пресса лист попадает на сукно и, пройдя еще через ряд «мокрых» прессов, сушится цилиндрами, обогреваемыми изнутри паром.

Потом бумага режется, глазируется, взвешивается...

Но иногда машина начинает рвать.

Матросов схватил Неймана за ногу.

— Кто тебе позволил читать? — спросил он нетвердым спросонья голосом. — Я тебе позволял?

— Нет...

— Положи на место...

Нейман положил листки в свой поганенький портфельчик Иван, сидя на полу, шнуровал ботинки, потом мылся под краном на кухне. Холодная вода била в его затылок, курчавые волосы перестали виться, на плечах от холода высыпали мелкие пупырышки.

— Инженер, у тебя деньги есть?

— Есть!

— Ну, гони!

Разбуженный Машка, суля неведомо кому всяких чертей, отправился в булочную. Нейман смеялся глазами.

— Ванька, — сказал он, — ты писатель. У тебя всякие эти... тонкости... Но про оппортунизм на нашей фабрике ты пишешь рано. Лыгин и его свора пустили корешки...

— Корешки повидержаем, — молвил Иван.

— И пиши, когда повидержаем...

— Дергать начали — и я начал, дергать кончим — и я кончу. Так-то, друг...

Пили чай. Машка макал ситный в стакан и хрустел сахаром. По кухне топали мягкие туфли.

— Зубоврачебная жена, — сообщил Матросов. — Кофий варит. Будет каждому по потребностям, и мы кофейку попьем. Правильно?

— Правильно.

НАРЫВЫ ВСКРЫВАЮТСЯ ЛАНЦЕТОМ

Евграф Андреевич Седин четверо суток просидел дома, а на пятые не выдержал — щеткой почистил картуз и отправился на фабрику воевать.

Председатель фабкома Гулярная ответила Седину так:

— Пил. Скандалил. Прогуливал. Теперь знай молчи.

В фабкоме звонил телефон, переругивался с кем-то коопуполномоченный. Евграф Андреевич снял картуз и поклонился, блеснул лысиной.

— Не оставь, товарищ Гулярная. Детипки имеются и все такое прочее. Кусать нечего детишкам-то будет. Положенне-то какое...

— Шапку не ломай, — окрысилась Гулярная, — а про детишек раньше бы думал. У сына бы поучился,

— Че-е-его?

— У сына, говорю, работе бы поучился...

— У Ваньки?

— Да...

Старик натянул картуз до ушей и принялся хохотать. Смеялся он до пота, потом плюнул и, разобидевшись, ушел. Из голенища сапога торчала сиреневого цвета портянка. В редколлегии шел спор между двумя рабкорами с одной стороны и Иваном Матросовым — с другой. Старик присел в уголку возле плевальницы и смиренно пододбрал коленки, но глаза его злились.

— Чего тебе? — спросил Иван.

— Мы подождем, нам не к спеху, мы люди безработные, фабрика и без нас обходится...

— Выперли?

— Выперли.

— Ладно, кончу сейчас с ними, поговорим.

Евграф Андреевич сидел, жадно поглядывая на незнакому обстановку.

«Рапкоры чортовы, — думал он, — беседуют как порядочные. Взял бы я метлу да метлою бы вас, рап-коров. по сахарнице — не бухти больно много...»

Старик был уязвлен. Он отлично знал, что сеточников нету на бирже, как и, вообще, всяких рабочих, а его уволили. Он старый сеточник, знающий, с большим стажем — и вот, извольте, выкинули... Конечно, работу он найдет, конечно, и двух недель не будет он без работы, но...

— Давай, Евграф Андреевич, выкладывай.

Старик пересел поближе к столу и угостил Матросова папирсой.

— Я до вас, товарищ редактор...

— Что ты, Евграф Андреевич, первый раз меня увидел, что ли? Какой я тебе товарищ редактор? Звал Ванькой и зови Ванькой.

— Че-е-его? Может, мне и товарища красного директора Арефьева Сенькой называть?

— Зачем?

— Дык как же зачем? Четыре года на печаткинской работали вместе — раз. Теперь тут барабанили до шестнадцатого года — вплотную.

— Ну?..

— Ну, ну — занукал, не с жеребцом беседу веду. Слушай дальше: Арефьева, товарища красного директора, я по пьяному делу головой об скамейку бил — зубы ему выламывал на спор. Понял?

— Понял...

— Хорошо, что понял. Четыре зуба ему тогда выломал — этот вон, потом задний и еще два. Пьяные были — не дай, господи. Могу я красного директора товарища Арефьева Сенькой называть, если я в трамвае езжу, а он в автомобиле, ты вот что мне скажи? —

Матросов потянулся и ответил:

— Можешь.

Старик опешил и искоса посмотрел на Ивана — не смеется ли?

— Зачем же я его буду Сенькой звать, когда он человек всеми уважаемый и за советскую власть безухий. Ухо ему начисто беляки сняли, а потом простреленный он в двух местах.

— Ну и что же?

— Зачем мне его Сенькой называть, когда он мне честь-почтение говорит, Евграф Андреевич, — как твое драгоценное здоровичко и почему норму не выполняешь. Люди мы на возрасте. Я Евграф Андреевич, он Семен Семеныч. В чем дело? Демократизм? — Старик помолчал, тщательно стараясь стряхнуть с папироски пепел.

— Зачем пришел?

— Зачем?

— Да.

— Видишь, дело какое... Выперли меня, а я работать хочу... Не хочу я дома сидеть или на другую фабрику отправляться. Тут я начал, тут я и кончу. Письмо я тебе принес для газеты, возьми...

Старик протянул клоч бумаги и отвернулся. Лысина его покрылась испариной. На клочке бумаги было написано:

Я, сеточник второй буммашины Седин Е. А. р. № 1023, обязуюсь перед лицом трудящегося класса работать на совесть и прогулы свести до нуля, по рассеянности на сетку ничего не ронять и смену одежды по недосмотру довести до нуля, а также смазка будет мною производиться в срок экономно и аккуратно. Пьянствовать я не буду на работе вовсе и обязуюсь перед лицом всего пролетариата показать класс работы, чтоб не задиралась всякая мелочь, которая сопли себе не просохла, а тоже учит, не указывая пальцем, чтоб нас, стариков, в магилу загнать. А также оппортунисты.

К сему сеточник Е. А. Седин.

Матросов поднял глаза, но старик исчез. Он шел по

улице, размахивая руками и поругиваясь. Машке он сказал:

— Меня выперли, так я вам покажу, как рыба разговаривает. Сопляки, рап-коры чортовы... Выкусили шиш, страшно, да не дюже...

Машка не ответил, вихры его торчали каким-то нелепым белобрысым сиянием.

Еще три дня старик промучился в ожидании.

— Помру я без вина, — жаловался он жене, — подохну — вот поглядишь...

Вечером в субботу Машка сказал:

— Становись к делу. Но только если мало-мало толкнешь — выкинем.

— Это кто же выкинет?

— Мы.

— А кто это вы?

— Да уж мы...

Ночью старик опять перечитал все газетные свои вырезки, вымылся на кухне и сам разыскал чистое белье. Хотелось ему на фабрику явиться иным, чем раньше. В трамвае он не матюкался, не наступал нарочно на ноги и не отрывал, злобясь, соседям пуговицы. Ездил он так разве на исповедь или на причастие двадцать лет назад или в тех редких случаях, когда, напившись, не буйствовал, а умилялся.

— Ладно, ладно, — грозился он, — поглядим, кто кому выражение испортит...

Старик вспоминал Арефьева и совместные пьянки под гармонику. Вспоминал, как колбасу пили. «Пить колбасу» нужно было так: выцарапав из кишки начинку, паливали кишку водкой и пили. Получалось не смешно, но было это мсдно, и потому пили.

Потом Арефьев пить бросил разом и крепко, от компании отшилсЯ и подмигивать на работе перестал. Подмигивание означало: «дернем?»

Осенним днем по цеху прошел слух: Сеньку Арефьева арестовали.

И пропал Арефьев, вынырнув только в четырнадцатом году, — говорил, что кормил вшей.

В гражданскую бился он где-то на Урале и вот, пожалуй-ста, — директор. Сенька Арефьев — директор.

В пех Евграф Андреевич вошел нарочно с нахальным лицом, для того чтобы, сохрани бог, не подумали всякую ерунду, но нахальное лицо мигом вытянулось,

— Чье-его? — спросил старик сам у себя, шумно втягивая носадриями теплый воздух, — чье-его?

У шкафчика, очень спокойный, переодевался Машка. Он позевывал, видимо, не выспавшись...

— Давай, батя, становись...

Чье-его?

— Одевайся, говорю, звонок сейчас...

— К лешаму! — сказал старик. — К лешаму! Я со всякой чертовней работать не желаю.

— Не желаешь?

— Не желаю.

— Ну, так вали домой, коли не желаешь...

— Чье-его? — старик побледнел и весь точно сморщился. — Я домой не пойду. Это моя машина — вторая, я тут работаю, это моя...

— Богатый! — пошутил Сергей Башкатов. — Дай нам, Евграф Андреевич, кусок.

— Вас сюда какой чорт принес?

— На нашей машине новый цилиндр ставят. Пока вместе поработаем.

— Как это вместе?

— Вместе!

Старик вздохнул и поглядел Машке в лицо. Потом щипнул его за нос и пошел к сетке. Машка старика подразнивал все восемь часов, строил ему рожи и спрашивал, не пора ли дернуть черепушку. Старик отмалчивался. Работали сушильщики отлично, и, как ни старался Евграф Андреевич уличить комсомольцев в какой-нибудь недобросовестности, уличить не пришлось. Но все же он сказал, когда пошабашили:

— Лодыри вы есть.

— Сам пьяница, прогульщик! — огрызнулся Машка.

Старик вскипел.

— Пил на работе и буду пить! — заорал он, неистово брызгаясь слюной. — И прогуливать буду — тебя не спрошусь.

— Вышибем!

— И чорт вас дери, испугался очень...

Прямо с работы старик отправился в пивнуху и выпил кружку.

— Пил и буду пить! — сообщил он официанту. — У меня натура страшная, мне на хвост наступать нельзя.

Но дело кончилось двумя кружками пива и треской. Старик даже не опьянел. Ему, конечно, было страшно: а

вдруг вышибут? Работу он, конечно, найдет, но машина же... И люди тоже — во всех цехах знакомые рожи. Один кум, другому морду бил по пьяной лавочке. И главное — года. Сколько лет на фабрике работал.

На следующий день бригада заседала по случаю встречного. Заправлял Матросов, по другим сменам и бригадам фабкомщики и члены бюро.

Евграф Андреевич сидел, развалившись на стуле, и курил. Высказывался Машка.

— Пар нам нужен держать по манометру, — говорил он, — по контрольному, а не как-нибудь тяп-ляп, и не ниже трех с половиной атмосфер. Потом устранить у бумаговедущих валиков вкладыши деревянные и веревочки. Какая может быть работа с веревочками?

Зажгли электричество, и в комнате поуютнело. Матросов пальцами расчесывал шевелюру как гребенкой. У печки сидел похудевший Абрам Гитес и жевал булку. Слово получил Евграф Андреевич. Он говорил долго и путанно о том, что материал не отвечает стандарту, что и горячие и пресовые сукна никуда не годятся. Потом он сказал:

— Но я, конечно, ручаюсь, что это мы перевыполним, и предлагаю еще семьдесят тонн... Как смотрите?

Глаза у старика были спрашивающие, и Машка растерялся.

— Ты бы, батя, объяснил как и что — толком, больше нашего в деле-то понимаешь.

Старик пососал ус и поглядел в грязный потолок. Еще бы он меньше ихнего знал! Покажет он им, соплякам, Кузькину мать. И, усевшись поудобнее, он принялся растолковывать.

— У вас принципа того нет, — говорил он, — у вас морды грубые, а машина обхождение любит. Вот, к примеру, я. Напился мало-мало — точка! Пошел брак. Возьми ты декельную раму или ящик напускной, или еще эгутеры. Нежные организмы, детские организмы.

— Завертывай скорее, батя, — попросил Машка: — на счет организмов мы знаем.

Евграф Андреевич не обратил на Машкины слова внимания. Он поучал, и лысина его сверкала. Алел перебитый нос... Через десять минут выяснилось, что семьдесят тонн действительно выгнать можно, но Башкатов нарочно подкусил:

— Можно-то можно, да вот кабы сеточник наш не того...

— Того по того, — сурово покосился Седин. — Сопли ринные подогри.

Когда бригада ушла, Матросов подсел к Гитесу. Лицо у Ивана было непонятное. Бывший редактор поднялся.

— Пойду, — сказал он

— Иди Нет, впрочем... Я тебе сказать хотел кое-что...

Иван рукой разогнал табачный дым и резко спросил:

— Чем ты за газету платил?

— Бумагой...

— Лавочка! — Матросов швырнул табуретку. — Ты что же думаешь? Ах, ты...

Говорить не стоило, но Матросов не мог сдержаться. Слова скакали без его желания, он не управлял собой.

— Иди в райком... Больше тут нечего делать... Вали...

И Гитес ушел, но не в райком, а домой. Дома он открыл дверцу шкафа. На полке стояли туфли, машинка, аппарат Гитес сказал жене:

— Манечка, заваривается каша. Не отнесешь ли ты эти вещички к тете Жене. На днях или меня арестуют, или я устроюсь бухгалтером.

Гитес и устроился бухгалтером, и его арестовали.

Вначале Евграф Андреевич балдел от ругани, подковырок, насмешек и, главное, от неистовых темпов работы, но потом ко всему притерпелся и привык. Старик был самолюбив и тешился тем, что на него смотрели по-иному и разговаривали с ним иначе, чем раньше. Однажды он явился на производственное совещание и сел в уголку. Арефьев смежно покосился на него и под шумок придвинулся поближе.

— Как жизнь-то?

— Да как, Семен Семеныч... Помаленечку...

Директор разглядывал Седина любопытно и скалил темные зубы.

— Машинка-то поползла?

— Поползла, Семен Семеныч...

После совещания, на котором Седин посчитал долгом выступить и произнести речь о заграничных сетках, директор сказал:

— Потопаем, Евграф Андреевич, побалуемся,

— Чем баловаться-то?

— Пивком, Евграф Андреевич.

— Че-е-его?

Директор размахивал портфелем, а старик несъеден-

ным, по причине спешной чистки шаберов, завтраком. По улице бегал мокрый ветер и гонял сырость, колючую как песок. В пивнушке директор снял кепку, и Седя увидел директорскую бритую голову. От затылка к виску полз перекрученный канатик шрама, уха не было вовсе.

— Любуешься? — спросил директор. — Любишься, брат, любишься. Машина кренче поползет, коли часто такими картинками любоваться будешь.

— Это как же?

— Долбанули. Баловались, видишь, беляки. Привязали к дубочку в парке и постреливали в комиссара. Комиссарил я тогда, да не успел во-время партбилет выкинуть. Снапали...

Арефьев говорил медленно, пожевывая соленый бублик. Лицо его темнело, и глаза вдруг перестали блестеть.

— Ну вот... Ухо мне пулей оторвали, а оно висит на коже. Один и вызвался: предложил, без вреда для моего здоровья, пулей кожу перерезать. Я стою, конечно, а он, сука, парабеллум водит. То сюда, то назад. Потом и заявляет: «Не могу, — говорит, — в живого человека стрелять. Кончите его кто-нибудь, я тогда сделаю». А тут другой подвернулся. «Я, — говорит, — жаворонка в лет бил пьяный, а этого с завязанными глазами кокну». Поспорили! В сторонке стоял парнишка и поставил такое условие, что, дескать, ежели тот мазу даст, то меня парнишке отдадут на особую расправу, а ежели нет — парнишка часы теряет. Завязали глаза тому, приказывают мне: «Кричи!» — чтоб тот целиться мог на крик. Я заорал, а парнишка тоже чего-то заблажил. Тот и промазал. Отдали меня парнишке...

Директор отпил пива и потрогал рукой то место, где когда-то было ухо.

— Ну?

— Парнишка свойский оказался. Махнул со мной ночью к красным, да вот, когда перебегали, пулей башку поцарапало мне...

Евграф Андреевич молчал, потупившись, Арефьев посмеивался.

— Вот какие дела-то, брат... веселые... А потом узнал я. Начитался офицерик нашей литературы, которой мы ихнюю армию разлагали... А был он желторотый еще, дурной, пошел с беляками сдуру...

Директор говорил долго. Были в его рассказах и этапы, и вши, и казачество, и взятие Оренбурга. Седя слушал,

поглаживая ладонью плешь и потягивая носом потный дух пивной. Потом он промолвил хвастливо:

— Сын у меня есть, Ванька. До чего, Семен Семеныч, стерва-парень — сказать невозможно. Он мне нос щипцами угольными напополам расколол. Видишь?

— За что же такая печаль?

— За дело, Семен Семеныч. Старуху я свою бил по пьяному делу. Он и саданул.

— Это сушильщик-то?

— Сушильщик. Рап-кор рыжай! В пионерах ходил, а сейчас комса.

Больше Евграфу Андреевичу хвастать перед Арефьевым было нечем. Не похвастаешь же, в конце концов, беспробудным пьянством и пачкой газетных вырезок, которые только крыли его, Седина.

На прощание директор заговорил о выполнении плана, и Седин прослушал все директорские нарекания на нерадивых, лодырей и пропойц, поддакивая и соглашаясь.

— А ты-то сам как? — спросил Арефьев неожиданно.

— Чего как?

— Как справляешься, спрашиваю? Гуляешь, или перестал?

Седин нагнулся к директору и сказал хрипло:

— У меня принцип имеется для жизни, серьезный принцип: сопли соплякам утирать. И хотя он и комсомолец и рапкор, стерва, на отца пакости пакостит, я его в грязь втопчу. Понял, Семен Семеныч? Я его учил и учить буду, и ежели он мне нос перебил, то есть он вроде Хама, как в священном писании сказано: и посмеялся над наготой отца своего. Но и я над ним, Семен Семеныч, посмеюсь. Вот поставят на ихней машине цилиндр, я ему, сукину сыну, покажу класс работы. Я его и сейчас, в пот вгоняю, а что дальше будет, то это никому неизвестно.

— Ой ли?

— Неизвестно, Семен Семеныч.

Директор встал.

— Известно, Евграф Андреевич. Известно, что забьешь ты своего сына в доску со всей его бригадой, потому что ты сеточник во!

По дороге Арефьев говорил негромко и устало:

— А про офицера я тебе рассказал не даром: начался нашей литературы офицерик и перешел к нам, да и меня тово... спас, одним словом... а литература на бумаге отпечатана, а бумагу, может, Евграф Андреевич изгото-

вил. Понятно? Мелочь это, — возьми букварь или книжку любую...

Дома Седин разбудил Машку и присел к нему на кровать.

— Вот чего, — сказал он внушительно, — вот чего, рап-кор рыжай: я тебе сопли-то утру. Очумеешь.

— Бали-ка спать!

— Я тверезый — я с директором Сенькой только и выпили, что бутылочку пива. И на Сеньку твоего мне чихать с высокого дерева, потому что я его порол ремнем, когда он шкетом был. Во! И хотя предлагает он мне мастером становиться сменным, но я ни в какую...

Машка спал, Старикуну хотелось соврать еще чего-нибудь, и он сказал жене:

— Директора сейчас домой отвозил на извозчике пьяного. Ничего парень, уважительный, но пьет — умереть мало.

— Ложись, колоброд!

— И лягу...

Встал старик спозаранку и стащил с Машки одеяло:

— Проспишь, рап-кор... Будет задувать-то, прогулы займешь.

Из последнего номера фабричной газеты:

ПРАВЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

В прошлом номере «Бумажника» была напечатана статья бывшего отсека коллектива гр. Лыгина, в которой Лыгин откровенно высказывался против выдвинутого ударными бригадами встречного плана. Лыгин прикрывался «объективными трудностями».

Лыгинщина свила себе гнездышко и в фабкоме, и в редколлегии (редколлегия подменялась одним отв. редактором Гитесом), и среди части членов бюро, и, наконец, в старом директоре.

Неверие в работу ударных бригад, неверие в темпы индустриализации и в выкорчевывание корней капитализма, неверие в результаты большевистской самокритики породили лыгинщину. Лыгин и его компания скатились в болото оппортунизма и гордо прикрылись кличкой «правые».

Рабочая общественность Лыгинник вскрыла и обнаружила не только разговорчики и статеечки, но и дела. Блок лыгинских приспешников заключил негласный союз с контрреволюционной группировкой старого, заматеревшего в ненависти к нам инженерства.

Лыгинцы имели поганую идейку и какими угодно способами хотели эту свою идейку воплотить в жизнь.

Лыгинцы мечтали «доказать» партии и рабочему классу, что темпы непосильны, и плацдармом для своих опытов избрали нашу фабрику. Опыты продолжались недолго — полгода, но опыты эти достаточно обокрали нашу страну. Были составлены заведомо

преуменьшенные планы, против встречных велись упорные и чудовищные по своей подлости бои. Преуменьшенный план выполнялся в первом полугодии, но во втором, по предложениям лыгинцев, он (даже преуменьшенный) не должен был выполняться. Газета вместо организатора рабочих масс стала органом зажима рабочей самокритики, и газета не на жизнь, а на смерть билась за срыв плана.

Рабочие предложения клялись под сукно.

Лучшие ударные бригады объявлялись лжеударными, лучшие производственники-общественники — рвачами и загибщиками. Все это проделывалось для того, чтобы всячески дискредитировать перед лицом рабочей массы ударничество и соревнование, и для того, чтобы отбить у ударников охоту ударничать.

Но лыгинцы ошиблись в своих расчетах и поскользнулись, едва разбежавшись.

Лучшие партийцы, комсомольцы, рабочие, молодая часть ИТС сомкнутым строем двинулись на предателей. Лыгинцы были разогнаны, и руководство обновлено на 100%.

Планы пересмотрены и, конечно, увеличены по всем машинам, но задолженность наша велика, и мы должны ее покрыть во что бы ни стало. Встречный план, выдвинутый рабочей массой на особый квартал, по всем машинам выражается в цифре — 2 200 тонн.

Засучив рукава, за работу!

Дадим нашему Союзу газету, учебник, книгу! Ударим по корням оппортунизма выполнением и перевыполнением плана.

Щеглов,

Под статьей Щеглова карикатура:

Дядя, не оставляющий сомнения в том, что он является Лыгиным, прижат к стенке рулоном бумаги. Развеселые лица рабочих. Руки напирают на рулон. Лыгин орет.

МЫ ОТВЕЧАЕМ ОПОРТУНИСТАМ.

Рабочие 1-й смены Андронов, Яновлев П., Сергеев, Цибулька (10 лет пр. стажа), Ярич (23 года пр. стажа), Чекулаев, Храпов (25 лет пр. стажа), рабочие второй смены Машканец, Шафир, Полешко (10 лет пр. стажа), Сайкин П. Р. (20 лет пр. стажа) и рабочие третьей смены Зайчун, Рамм, Циммель (15 лет пр. стажа) в ответ на вылазку классового врага подали заявление о приеме их в ряды ВКП(б)

ВРЕДИТЕЛЬСТВО?

Установленные месяц тому назад на новой фабрике крупно-ские мощные самочерпалки, оборудованные по последнему слову техники, являющиеся самыми быстроходными (триста метров в минуту), работают на среднем ходу и при ускорении хода даже до двухсот оборотов — рвут.

Сотрудник треста, покупавший машины, не узнал в Германии не только состава массы, потребной для работы машины на полном ходу, но не узнал даже состава смазки, так как (по объяснениям треста) и то и другое является секретом фирм. Старый план был рассчитан на работу машин на половинной мощности (150 метров в минуту) и являлся нерентабельным.

Новый план рассчитан почти на полную мощность (280 метров), а предпосылок к этой мощности фабрика не имеет.

Техн. Горбов.

ВСТРЕЧНЫЙ

Заданье такое
Понятно?
Есть!
Бежит по цехам
О задании
Весть.
Газета,
Журнал,
Учебник,
Книга.
Культурную
Революцию,
Бумажник,
Двигай —
Столько-то тысяч
И столько-то сот.
Сеточник
Предложение
Свое
Несет...
Я предлагаю
Вот, смотрите;
Что и как
Потом сообщите...
Сушильщику слово:
— Я за!
Крепко блестят
Молодые глаза!
Встречный
Из цеха
В цех
Идет.
Товарищи!
А-рац-поход?
Плечо к плечу,

Рука к руке,
Дашь бумагу
Нашей стране!
Тсина за тонной
Встречный
Вперед!
Твое предложение,
Древесный завод?
Рвач; прогульщик;
Лодырь — долой!
Встречный идет,
Вой — не вой!
Встречному — место,
Встречному путь.
С широкой дороги
Его не свернуть.
Тонна за тонной,
Еще три.
Нытик! Маловер!
Цыц! Замри!
Тонна за тонной,
Еще пять
Господа буржуи!
Будет врать.
Сотня
За сотней,
Это —
Нетто
Тысяча есть!
Бежит весть:
Две тысячи двести с лишним.
Стоп!
Встречный
Заданью
Разбил

Лоб.
Вот это
Да! —
Склизали в тресте. —
Эти не топчутся
На месте.
Заданье сопит,
Лечит шишку,
Заданье бурчит:
Ну и делишки!
Бумажник!
Даешь
За работу

Зубами.
Бумажник!
Тряхни
Своими
Годами!
Газета,
Журнал,
Учебник,
Книга.
Культурную революцию,
Бумажник,
Двигай!

И. Матросов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Конечно, мы не боги, но и мы предложение свое можем дать ввиду крайней сложности сложившейся конъюнктуры. На второй машине сильно греются полые валы, масло идет, и горит поминутно резина. Внес я, конечно, предложение две недели назад, чтобы воду пускать внутрь валов во избежание порчи резины, и вижу, что на предложение мое нет последующего результата.

Обратите внимание — утрите сопли!

Ран-кор Черный,

НА ХОДУ

Комсомолия нашей фабрики зовет его Валькой, в списках он значится солиднее:

Валентин Сергеевич Мальцев, токарь — год рождения 1911.

Плановый ремонт дефибрера намечен был на двадцатое, а когда дефибрер остановили, оказалось, что болен и мотор. Его кольца сработались, и щетки плохо передавали ток. Болезнь мотора значила в лучшем случае двенадцать сверхплановых дней простоя.

Каждому ведомо, что такое простой в теперешние дни.

Валька Мальцев, токарь, решил:

— На ходу. Пустить мотор, вхолостую заставить вертеться вал дефибрера и проточить два кольца на ходу.

И Валька Мальцев, комсомолец, пошел к заведывающему цехом просить разрешения. Заведывающий цехом не разрешил. Инженер Пасоцтринимусен не имел права посылать человека на смерть.

— Вы сошли с ума, — сказал инженер, — или не понимаете, за что беретесь. Вы сошли с ума.

— Я отлично понимаю, что мне грозит. Я буду работать в резиновом переднике и в резиновых перчатках.

Но инженер категорически отказал.

Валька Мальцев работал ночью. И Мальцев соврал мастеру, что разрешение на ремонт от инженера им получено.

Установили суппорт, вместо резаца приделали карборундовый камень, два монтера стали у выключателей.

— Пошел!

Напряжение 6000 вольт.

Ночью инженер Пасоцтринимусен приехал на фабрику и застал Вальку за работой. Валька был в поту, он работает уже три часа.

Валька был бледен. Инженер Пасоцтринимусен оттащил Вальку за руку от станка и сказал:

— Отдыхайте, я кончу. Дайте мне фартук и перчатки...

Пасоцтринимусен кончил начатое Валькой дело и попросил:

— Не разбалтывайте, за это может влететь. Нельзя же рисковать жизнью.

Запомните, товарищи, эти имена:

Мальцев Валентин Сергеевич, токарь, год рождения 1911, комсомолец.

Пасоцтринимусен Касьян Сигизмундович, инженер, год рождения 1883, беспартийный.

Группа рабкоров.

ВЩЕ О КОТЛАХ ШКОДА

В третий раз мы поднимаем вопрос о «знаменитых» в своем роде шкодовских котлах. На все запросы фабрики трест отписывается отношениями, которые сулят приезд инженера шкодовской фирмы, но «улита едет»... На рекламацию, посланную нашей фабрикой фирме, Шкод ответил, что работать на высоком давлении можно.

На днях произошла, как известно, авария с котлом № 2. Кочегары, для того чтобы не вызвать простоев, работают на двадцати восьми атмосферах. Это является опасным для жизни...

Трест пишет отношения.

Шкодовского инженера нет.

Планам грозит срыв.

Игла.

В Ленинград прибыли: крупнейший немецкий инженер-бумажник Кэльберг и 48 человек квалифицированных рабочих-бумажников. Г. Кэльберг будет работать в тресте. Рабочие в ближайшее время будут направлены на Кондопогу, Балахну, Сясь, Краснородку, Володарку, Зиновьевскую фабрику, в Архангельск и на нашу фабрику.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ТОВАРИЩ ГАНЦКЕ

Эрнст-Пауль Ганцке вышел из треста и выбил золу из трубки о стену дома.

Над городом висело серое, мокрое, точно затоптанное грязными ногами небо, и небо сочилось мелким дождем. Набив трубку, Ганцке зашагал по тротуару. Люди были скверно одеты, Ганцке чувствовал себя франтом. По улице погрехотывали извозчики. Он с удовольствием посмотрел на извозчиков — сколько времени он не видел грустных лошадиных глаз. У большого дома стоял автомобиль, и Ганцке решил посмотреть, кто «в рабочем государстве» ездит в автомобиле.

Ожидать не пришлось: маленькая женщина в рыжем пальто и в красном платке села рядом с шофером, и автомобиль исчез в серой мути тумана.

На фабрике Ганцке прошел прямо к Арефьеву и остановился в дверях. Директор улынулся. Через минуту в кабинет влетел розовощекий Горбов и крепко пожал руку Ганцке. Он знал немецкий язык и гордился тем, что может быть переводчиком.

— Садитесь!

Эрнст-Пауль Ганцке сел на кончик стула.

— Как вы устроились?

— Я устроился очень не плохо, благодарю вас... — И немец поклонился.

— Достали стулья?

— Да, я достал стулья, благодарю вас...

— Вежливый чорт...

Этого Ганцке не понял. Директор попросил Горбова перевести немцу, чтобы завтра он становился на девятую крупновскую машину сеточником, и Ганцке весело закивал головой. Он изнемог от безделья.

— Очень хорошо, благодарю вас...

Евграф Андреевич Седин встретил новых соседей миролюбиво. Дом был фабричный, и Ганцке вселили в одну из комнат, принадлежащих Седину, но старик скандала не учинил, даже отдал «немцам» кровать и стол. Через неделю после въезда он постучал в дверь и, услышав «битте», вошел, хоть и не понял, что, собственно, означает «битте».

Ганцке, скорчив страшную рожу, брился перед зеркалом, а фрау Анна, стиснув зубы, истребляла сединское наследство — клопов. Пол в комнате был чисто вымыт.

— Эрнст Павлыч, — сказал Седин и погладил от смущения плешь ладонью, — Эрнст Павлыч... как мы с тобой незнакомые и все прочее, так я считаю...

Ганцке любезно предложил Седину стул и, показав, что он еще не кончил бриться, намылил щеку. Седин чувствовал себя преглуно, потому что его не понимали, но все же сказал:

— Даа... Погодка у нас... тово...

Фрау Анна жгла клопов спичками, давила подопной башмака, шпарила кипятком, а конца им не было видно.

— Вредные какие, — посочувствовал Евграф Андреевич, — и норовят всегда в живот жалить — мочи нет... Чего?

Фрау Анна покачала головой. У нее раньше была тихая,

приветливая улыбка, но после смерти Готлиба улыбка эта стала скорбной и болезненной. Наконец Ганцке вытер полотенцем лезвие, сложил бритву и сунул ее в футляр. Потом он, посмеиваясь, поздоровался с Сединым.

— Вот чего, Эрнст Павлыч, вот чего... Слышал я, что немцы пиво потребляют. Пиво. Понял?

Немец моргал, не понимая и, очевидно, не пытаясь понять.

— Пойдем! — Седин взял немца за руку и повел его к себе. Вырвав из Машкиной тетрадки листочек, он нарисовал на нем кружку с пивом и ворохом кудлатой пены, подмигнул и показал, как пьют пиво и как пьянеют. Выпучив глаза, он хрипло заорал и, покачиваясь, двинулся к кровати.

— Понимаешь?

Ганцке робко отступил назад. Евграф Андреевич, изображая пьяного, был достаточно страшен.

— Ну и дурак, ежели не понимаешь. Тут понимать-то нечего... Пойдем, одевайся!

Седин надел на немца пальто и оделся сам.

— Потопали.

В пивной Ганцке наконец понял. Он понимал и раньше все вплоть до изображения пьяного. Пиво никак не вязалось в его голове с рычаниями, воплями и рвотой... Евграф Андреевич ткнул пальцем себя в грудь и сказал:

— Седин!

— Седин, — повторил Ганцке.

— Во! В точку.

— Фо! Ф точку...

— Понятливая сволочь, — умилялся Евграф Андреевич.

— Шволиць, — повторил Ганцке и хлопнул ладонью Седина по плечу. — Шволиць.

Ночью Евграф Андреевич говорил Машке, позевывая и почесываясь:

— Далеко пойдет человек. На лету хватает, чего объясняю, хотя и кривой весь. Свой парень — рабочая кость. Пить только не умеет. По кружке лягнули, я водки ему предлагаю, а он головой трясет: дескать, нет, не могу. Душа слабая.

— Не все пьяницы, — поддел Машка.

— Не в пьянстве дело, а в уважении...

— Не в уважении дело, а в пьянстве.

— Цыц! — огрызнулся старик. — Стукну — прольешь-ся... Рап-кор рыжай...

В это же время Ганцке говорил Анне:

— Очень странные люди. В пивной они так кричат, так кричат... Я думал, что у меня лопнут барабанные перепонки. И если он разговаривает, то непременно стучит кружкой по столу. Зачем это? Кружка выделяется для того, чтобы из нее пить, а не для того, чтобы ею стучать.

Рафке работал рольщиком, и, проходя в цех, Ганцке весело с ним поздоровался.

— Как дела?

— Дела идут отлично, но мой помощник все время плюется и сморкается. Очень плохо, когда у людей нет привычки к носовому платку.

— Очень плохо, — согласился Ганцке.

В цеху к немцу подошел Нейман в синей куртке из чертовой кожи.

— Товарищ Ганцке, — сказал он по-немецки, — вы се-точник с большим стажем, поэтому мы поставим вас на эту машину. Вместо трехсот метров она дает полтораста.

Ганцке слушал, вытянувшись перед инженером по-военному. Нейман покраснел.

— Зачем вы так?.. Мы все одинаковы... .

— Но, герр Нейман...

— У нас нет господ, товарищ Ганцке... Вот ваша бригада, — лучшая бригада нашей фабрики — комсомольская. Вот ваш подручный, он еврей, ему не очень трудно будет вас понимать, вот — прессовщик, вот сушильщик и подручные. Сушильщика вы знаете...

— О, да... герр Седин?

— Теперь посмотрите журнал, композицию. Видите, сколько тонн дала вторая смена, сколько третья. Хорошо было бы, если бы вы смогли их перегнать в выработке... Вам известно, что такое соцсоревнование?

Ганцке слушал, покачиваясь на кривых ногах. Машка покуривал, любопытно разглядывая прозодежду немца. Завизжал звонок.

— Даешь!

— Сме-ена, принимай!..

Ганцке расписался в приеме машины и мелко зашагал к сетке. Его глаза были светлы и спокойны, он был уверен в себе. Неожиданно в цех ввалился Евграф Андреевич Седин. Он не мог усидеть дома, так мучило его желание посмотреть, как работает немец.

Ганцке стоял у сетки, цепко следя за работой спрысков.

- Ничего работает, — сказал Седин...
- Получше тебя-то, — поддразнил сеточник Шлык.
- Ну, это как сказать...
- Да уж так...

Разговор шел перед началом заседания. Шлык сидел верхом на стуле, в углу у печки и намеренно поддразнивал Седина. Седин злился.

— Допустим, он образованнее меня, допустим, он понимает много, и стаж у него большой, но только я его в калошу посажу.

- Слабо!
- Мне?
- Тебе.
- Мне слабо?
- Тебе слабо.
- Ух ты...
- Что ты? Ты да ты. А ты?
- Чего я?
- Слабо тебе...

В зале было полутемно, и сумерки прибавляли почему-то Седину раздражение. Шлык был смугл, в глаза не смстрел, и несло от него чесноком.

— Нажрался, — сказал Евграф Андреевич злобно, — нажрался зелья, дьявол...

Постепенно рабочие наполняли помещение. Пришли женщины из окончательного цеха, у окошка собралась комсомолия.

— Товарищи, брат-тишечки, не напирать, организованней, рояль сломаешь! — кричал Машка. — Имей терпение, братва!...

- Твой? — спросил Шлык.
- Мой...
- Комсомолец?
- И што?
- Да ничёто... Мой тоже был...
- Выперли?
- Сам ушел.
- Ну это — ах, оставьте...

Евграф Андреевич был не на шутку расстроен, а чем — не знал и сам. Может быть, тем, что считался он по всей фабрике лучшим сеточником с тех пор, как бросил бунить, а вот теперь явился немец и посадил его в лужу, может быть, тем, что сегодня его злобно подначивал Шлык.

— Ты чуждый элемент, — сказал внезапно Седин, — обормот ты, а не сеточник.

— Трещелешься, — ответил Шлык.

— Обормот и есть. Напел давеча в фабкоме и то и другое. Контра.

— Это кто же?..

— Да ты все. Кромку у сетки кто испортил? Пушкин?

— Пушкин испортил, — подтвердил Шлык. — О ваших олухах еще не того напортишь. Темпы... Ты мне скажи: можно сетку за три часа сменить?

— Можно!

— Ну и меняй, коли можно, а я менять так не могу. Мне спокойствие нужно, я под часы работать не желаю. Уда-арник!

Евграф Андреевич обиделся:

— Я не мальчишка, меня не обзывай. Но только сетку и за два часа сменить можно, коли захочешь. Я рабочий человек и дело знаю, винта мне не вкручивай.

— Пьяница ты! — вскипел Шлык. — На морду на свою на прекрасную посмотри. Разве это морда? Нос переломанный...

— Чё-его?

— Того...

— У меня характер тяжелый, — сказал Евграф Андреевич медленно, — я алкоголя в жизни сглотнул поболее цистерны, я жену свою убивал.

— Ну?

— Убивал. Тебя тоже стукнуть могу. Запомни раз и навсегда. А что я бузотер — так у меня характер такой с детства, и ты моего характера бойся, а то стыд произойдет.

— Какой такой стыд?

— Да уж такой: стукну между глаз и снимут с довольствия.

Шлык поджал губы и отодвинулся от Седина вместе со своим стулом. Евграф Андреевич закурил папиросу и па окрик пожарного, что в зале курить не разрешается, заявил:

— Я анархист, катись!

— На анархистов диктатура найдется, — молвил пожарник строго. Шлык не выдержал и съязвил:

— Съели анархию?

По залу, вихляясь и разыскивая кого-то глазами, прошел Боровой, за ним длинный и усатый как таракан Па-

соптринимусен, за инженерами ввалился квадратный Дюкин.

— Евграф Андреевичу почет...

— Вам то же...

Совещание открыл Щеглов. Он на фабрике обжился быстро. «Обследующие», «налетающие» и прочие бригады его не любили по той простой причине, что в коллективе сидел он очень редко, а пребывал преимущественно на производстве, не в пример Лыгину, который сидел в кабинетике и сонно согласовал все по телефону.

— Порядочек, — говаривал бывший отсекр, — порядочек должен быть, и никаких болтологий. Приходит рядовой партиец — секретарь на месте. А там пленум, а там актив, а там и в цех смотаться надобно — неприятность вышла.

И действительно, непримечательное, как оберточная бумажка, личико отсекра бывало в цехах только в случаях каких-либо особых неприятностей. Щеглов же шатался по цехам и без неприятностей, подолгу простаивал возле машин, держал в обеденных перерывах речи, ругался с одними и шутил с другими. Сам бумажник, он отлично во всем разбирался, и вежливых, но напористых его «слов» терпеть не мог главинж Боровой. Отсекр ничего не бросал на половине. Заходя к главинжу, он доводил разговор до той самой последней и самой жирной точки, после которой никак нельзя было сказать, что «вопрос был не достаточно увязан». Спокойные отсекровы глаза, его руки с сильными пальцами, его крепко сбитое тело гимнаста и спортсмена, его уверенность, все, вместе взятое, доводило главинжа до осатанения.

— Почему вы называете меня «гражданином»? — спросил однажды Боровой Щеглова. — Почему я для вас «гражданин»?

Отсекр едва заметно улыбнулся, уголком губ.

— Почему? Как же вас рабочие могут называть товарищем, если вы были совладельцем фабрики до революции?

— Но это же... было... Теперь я служу у вас, и вы не скажете, что служу плохо...

— Служить одно, а работать другое, — вывернулся отсекр.

— А какая разница?

Но Щеглов уже исчез.

С Матросовым у Щеглова состоялась дружба. Ему нра-

вился Иван, соленные его шуточки, зверская работоспособность, даже то, что Иван писал стихи.

— Пиши, пиши, — говорил отсекар, — пиши. Надо стихи писать, песни надо писать. Один вот тоже написал: «Кто не выполнит промфин, того сошлем на Сахалин». Так не пиши. Сам сахалинский, поехал бы туда работать, да обком не пускает. Молод, говорят, не годишься. А он — сошлем.. Народ... И веселые пиши стихи... Про Борового напиши, чтобы почесался...

И Матросов писал.

После истории на древесномасленном заводе отсекар вызвал к себе Пасоцтринимусена. Инженер курил папиросы собственной набивки, носил кожаные дедовские галоши и собственноручно, соской выкармливал паршивого щенка. Щенок был инженеру не нужен, но он его выкармливал просто потому, что не знал куда девать.

— Садитесь, товарищ Пасоц...

— тринимусен, — привычно подсказал инженер и угодил отсекара страшной толщины папиросой. — Курите...

Отсекар рассказал инженеру все то, что напечатано было про него и Мальцева в газете, и спросил, правда ли это.

— А вам зачем? — осведомился инженер.

— Да так просто...

— Так только вороны каркают. Вот вы, коммунист, скажите лучше, почему мужика силой в колхоз гонят? У меня приятель есть в Тамбовской губернии — упирался, упирался, а его загнали.

— Загибщики загнали, если это так, как вы говорите.

— Загибщики?

— Да.

— Брежете, — нахмурился инженер, — брежете. Мужик дурак — своей выгоды не понимает, его силой надо гнать, кнутом.

— Ишь ты, лихой!

— Ну, прощайте.

И Пасоцтринимусен, шевеля тараканьими усами, пошел к дверям. В дверях он остановился и сказал:

— Если я вам еще раз понадобится, благоволиите сами ко мне зайти. У меня камни в печени, и дела достаточно. Трепаться мне некогда. Довели страну до ручки — дрови угатника нигде нету. Разве так можно?

Ночью Щеглов записал в тетради:

«Пасоц... чортова фамилия — в доску свой. Обратить внимание».

На другой день отсеку довелось зайти во время перерыва на древесномасный завод. У распределительного щита на табуретке спиною к дверям сидел Пасоцтринимусен и говорил завтракающим рабочим:

— Вот на «Электросиле», там кампанию провели по-настоящему. Приятель мой рассказывал — техник. Там четыре тысячи рабочих предложений поступило, и из помойки триста тысяч рублей выволокли. Анкеты были — красная, зеленая и синяя.

Руки у инженера были грязные, и плешивая голова перепачкана маслом.

«Почему я его раньше не заметил?» подумал Щеглов.

— Да... А я вот сколько времени толкую: соберемся как-нибудь, обмозгуем способ сокращения этого... времени для смены камней...

Инженер отломал кусок копченой рыбы и сунул в рот.

В этот же день Щеглов сказал Пасоцтринимусену:

— Мы вас в БРИЗ выдвигаем.

Инженер промолчал.

— Будете работать или нет?

Инженер опять промолчал.

— Вы слышите?

— Я политически не выдержанный, — ответил наконец Пасоцтринимусен, — я загибщик, у меня отец полковником был, и я водку пью раз в четыре года — до победы.

— Почему же раз в четыре года? — обалдело спросил отсекур.

— Потому что меня зовут Касьяном, а так как Касьяны рождаются двадцать девятого февраля, то и именины и день рождения мои случаются раз в четыре года. Вас жена бьет?

— Я холостой.

— Не женитесь. У меня жена, доложу вам, ведьма. Бекасинником раз в меня на охоте ахнула — весь заряд в лядицу всадила.

— За что?

— За фамилию. Не нравится, видите ли, ей фамилия. Она аристократка, а я нет.

Щеглов совсем обалдел, но от инженера не отвязался. Рабочие в Пасоцтринимусене души не чаяли, и Пасоцтринимусен засел за работу в БРИЗе. Работал он крепко, и Дюкин говорил про него так:

— На во с присыпкой! Класс работы показывает. Наворачиваем теперь делов. Усами завертит, аж страшно — живини, подвинься, морда зверская. Я с ним охотился однажды — так он, дьявол, в трясину попал. Крик такой поднял — мужики с хутора сбежались.

На заседании Щеглов срезался с Боровым в четвертый раз, и глаза его потухли.

— Вы про невозможности, гражданин Боровой, не заливайте, — сказал отсекар, сился подавить вспыхнувшую вдруг злобу, — вы дело толкуйте. Нас никакими такими не пушку не возьмешь — стреляные. Просим дело говорить.

В зале кто-то свистнул.

— Тише, товарищи!

— Пускай не заливают. Хозяин!

— Главинж — костюмчики за границей покупать. Мы тут с турбиной мучаемся.

— Пускай про шкодовские котлы расскажет, как он их покупал.

— Ну-ка, отвечай-ка!

Боровой встал.

— Товарищи, дело в том, что котлы эти изготавливаются только сейчас. В то время, когда трест командировал меня за границу, они еще не изготавливались, но фирма представила мне чертежи, из коих было ясно, что котлы будут работать очень хорошо. Правление ставило вопрос через Наркомторг, вам это известно...

— А костюмчики?

— Товарищи...

Горбов сидел между Ганцке и Рафке, потя и неверно перевирая немецкие слова, но все-таки поспекая за ходом заседания. Эрнст-Пауль Ганцке был подавлен. Он не понимал происходящего. Рафке дыхтел как паровоз и думал о том, что вся эта история плохо кончится, когонибудь да арестуют за скандальное поведение. Потом Рафке спросил у Горбова:

— Этот господин — главный инженер?

— Да!

— И он купил себе костюм?

— Да!

— Что ж тут плохого?

— Я вам потом объясню все толком.

— Котлы сами по себе имеют ряд изъянов, — говорил Боровой, — но изъяны эти по существу могут быть устранены...

- Довольно!
- Товарищи!
- Заткнись!

Щеглов зазвонил, но и звонок не помог. Опять засвистели.

— Вывести свистуна! Не в цирке.

Свистуна вывели, и свистуном оказался Евграф Андреевич Седин. Шлык злорадно сказал:

- Добузился, старый чорт!
- Продолжайте!

Но Боровому говорить упорно не давали. По рядам бежал грохот.

— Что же, товарищи, — Боровой развел руками и снял с носа пенсне, — что ж, товарищи, не хотите слушать, не надо...

Слово попросил Дюкин.

— Я извиняюсь, — сказал он, — у меня дело мелкое, но заковыристое. У меня имеется один вопросик к товарищу Боровому и, надо сознаться, вопросик на все сто. Например, я про шабера интересуюсь... Сработались шабера, брак получается, сеточник почтительно просит шабера сменить. Мастер ходит, бригада мучается, а все без толку. Ремонтно-механическая заказ имеет срочный, и, как мне потом известно, четверых слесарей недохват в смене. Что такое? Где слесаря? Почему слесарей нет, где тут веревочкин кончик? К табельщику бегу, туда бегу, сюда бегу. На фабрике слесаря... Ах ты, думаю, в господа зеленый цвет...

Щеглов смеялся, спрятавшись за портфель, он знал, в чем дело. Смеялся и Арефьев. Неожиданно фыркнул кто-то под окошком, и смех вместе с шопотом пополз от человека к человеку, со скамьи на скамью.

— Ну, ладно, — говорил Дюкин, — ну, ладно, пойдем дальше гулять. Приближаюсь я к мастеру с ремонтной, так и так, говорю, Левон Левоныч, не понятно, куда люди делись, делай тревогу, в охрану звони, а то я сам позвоню. Верно, Левон Левоныч?

— Верно, — отозвался густой голос из глубины, — точка в точку верно...

Дюкин очень хитро посмотрел на Неймана и подмигнул немцу. Эрнст-Пауль Ганцке хихикнул, хоть и плохо понимал доморощенный немецкий язык Горбова. Рафке пыхтел попрежнему.

— Но пойдем дальше. Машина, конечно, рвет, а Левон

Левонич сообщает мне под строжайшим секретом, что слесари гражданину Боровому, главному инженеру, не больше и не меньше, как ванну устанавливают в квартире и душ делают по его чертежам. Комедия?

Рабочие хохотали. Боровой грыз бороду и неистово скрипел протезом.

— Понятно, какая лавочка? Ему, видите ли, ванна понадобилась, а у нас машина простаивает. Конечно, товарищ Мелин говорил про бережное отношение к спецам, но только спать к каким спецам? Дальше про котлы, я хочу сказать коротенькое. Куплены, конечно, котлы, и надо те котлы выбросить к чорту — одна тоска с этими котлами. Куплены котлы не проверенные в работе, негодные. Валютой платили. Чего теперь делать будем? Чижики!

— Делать нечего! — крикнули из зала. — Делать нечего до тех пор, пока своих спецов не разведем.

— То-то не разведем. Свои есть, да не густо. И молоды еще — практики нехватает.

— Положим! — обиделся Горбов и толкнул Неймана коленом в спину, — дескать, возражи. Но Нейман возражать не хотел, он был согласен с Дюкиным.

После Дюкина говорил Федоров — сеточник, лохматый, с оттопыренными ушами. Кончил он так:

— Если бы товарищ Боровой хозяином был, то не покупал бы он неиспытанных котлов, пожалел бы денежки. Точка.

Щеглов поднялся и объявил:

— Перерыв для покурить!

В фойе на подоконнике сидел Евграф Андреевич и переругивался с пожарником. Завидев немцев, он подошел к ним:

— Эрнст Павлыч, — молвил он, — давай оудем уходить отсюда, — тут рабочему человеку жить нельзя.

Ганке недоумевая поглядел на Горбова. Техник погрозыл Седину кулаком.

— Опять за старое...

— Хочу свистеть и буду свистеть, никто мне не указ. У меня свобода чувства имеется. Главинж — скажи, пожалуйста, — свистеть нельзя! Пойдем, Эрнст Павлыч, в пивнуху, ляпнем за здоровье государей императоров Николая и Вильгельма.

Горбов перевел немцам. Ганке улыбнулся.

— Я вывернутый человек, — сказал он, — я был безработным и голодал два месяца. Вы когда-нибудь голодали?

Беседа шла через Горбова.

— Голодал, — озлился Седин, — кояину лопал, блины на олифе жарил и политуру вместо водки пил.

— А кто-нибудь тогда у вас ел сытно?

— Нет...

— Очень хорошо. А в Берлине витрины были завалены снедью — я ходил, и вот герр Рафке ходил, и мы смотрели на эту снедь. У нас много безработных...

Вокруг немцев и Седина образовалась толпа. Дюкяч, со стаканом чая в руке, сердито подначивал Евграфа Андреевича.

— Пожалуйся, — говорил он, пережевывая бутерброд, — пожалуйся... Пьяница чортова...

Горбов старательно переводил:

— Вы не умеете жить, вы очень много пропиваете. Разве можно? Два дня назад я ходил с одним русским товарищем в баню. Русский товарищ взял третий класс, я взял первый, но после бани я пошел домой, а русский товарищ пошел в пивную и потом жаловался, что пропил десять рублей. Вы знаете, как живет рабочий в Германии? Мой сын — он был квалифицированным рабочим и работал на вредном предприятии — получал пятьдесят марок в месяц — двадцать пять рублей на ваши деньги.

— На зе с присыпкой, — хмыкнул Дюкяч.

В круг влез Пасоцтринимусен и остановился, заложив руки в карманы. Пахло от него псиной и кислятиной.

— Вы видели у нас очереди? — спросил он по-немецки. — Целые хвосты... Вы получали хлеб по карточкам? Вы получали папиросы по карточкам?

— Да... я получал... и я... не совсем... это, конечно...

— Что это? Что конечно? Пожалуйста, не вытягивайтесь во фронт, я тоже умею вытягиваться не хуже вас...

Ганцке окончательно смутился.

— Я еще многого не понимаю, — сказал он тихо, — но я вижу, что у вас нет безработных. Пока для меня достаточно.

Горбов перевел, и толпа зааплодировала. Даже Седин хрипло заорал:

... Бис-браво — ура!

— И я еще вижу, — приободрился Ганцке, — я еще вижу — вы ругаете своего инженера. Перед нашим инженером мы молчим, а вы своего судите. Он один, а вас три тысячи, и он у вас служит, вы его судите за то, что он

служит, а не работает, — мне так говорил этот человек. — Ганцко показал на Щеглова. — Я тоже вижу. . .

Толпа слушала молча даже то, что говорил Ганцке, хоть и не понимала, Горбова же буквально разрывали на части.

— Спроси про Первое мая. . .

— Сколько у них часы стоят?

— Сколько лет он работал?

— Сколько билет до Берлина стоит?

— Почему у них пиво?

— Спроси — он в Музее Революции был?

— Скажи, пускай в дом культуры сматается с бабой со своей. . .

Горбов, ничего не понимая, отмахивался и как собака скалил зубы.

— Товарищи, — предложил Машка, — давайте встречу организуем немецких товарищей и наших рабочих в клубе по-семейному с женами там, с чаем. Выскажемся мало-мало, а комсомол со своей стороны. . .

— Комсомол — два вершка от горшка, — съязвил Евграф Андреевич. — Под столом пешком ходит комсомол твой. . . Лодыри. . .

— Закрыв бы плеватьницу, — посоветовал Шлык, — хулиган старей. . .

— Я вот тебе закрою. . .

Перерыв «для покурить» окончился. Евграф Андреевич, изловчившись, опять проник в зал для того, чтобы свиснуть при первом подходящем случае. Слово по вопросу о массе для новых машин получил хмурый грузин — заведывающий лабораторией.

НЕКОТОРЫЕ КОНТРАСТЫ

Он обошел комнаты тяжелым шагом и, потирая руки, сказал:

— Фрау Берта, не мешало бы затопить печки. Я не нашел парового отопления. . .

Комнаты еще пустовали, фрау Берта едва начала распаковывать багаж. Свирепо пахло мочалой и иодоформом, извозчики вносили сундуки и чемоданы.

— Отлично, — сказал Кальберг, — великолепно.

Отличного, по существу, не было ничего. Две недели эп прожил в гостинице, и только сейчас трест предоставил ему квартиру. В комнатах было холодно, электричество

почему-то не загоралось, на кухне нагличала голодная крыса, и фрау Берта сразу же использовала свою патентованную мышеловку. Крыса не замедлила соблазниться коркой швейцарского сыра, и почтенная экономка торжественно спустила крысиный труп в уборную...

Кальберг чувствовал себя хорошо. В тресте его сразу завалили работой, он ночами изучал систему союзного хозяйства и умилялся.

— Вы понимаете, Рэджи? — спрашивал он. — Вы понимаете? Единый план. Никакой анархии...

— Но много дураков...

— И мерзавцев, — поддерживал Кальберг, — и мерзавцев, я согласен с вами, милый Рэджи... Но какие грандиозные возможности дает специалисту единый план, вы представляете себе?

— О, да...

Пирри улыбался.

— О, да...

— Что да?

— Неужели вы не видите, герр Кальберг, что страна голода-ет, неужели вы не замечаете этого? За хлебом у них стоят очереди...

— Очень скверно. Но очередей не будет. Мне сейчас вспомнилось: муравей лезет по статуе Венеры Милосской. Муравью (очень трудно — мрамор скользок, и муравей ругается: «Чорт бы побрал эту Венеру! Что люди находят в ней хорошего».

— Сделать выводы, герр Кальберг?

— Они не обрадуют вас, милый Рэджи.

— Почему знать? Вывод прост: муравью Венера не нужна, а тот, кому она нужна, не муравей. Только и всего.

— Я думал о вас лучше, Рэджи.

— Почему же вы стали думать обо мне худо, герр Кальберг?

— Вы слишком делец. Рэджи, вы бизнесмен. Однажды вы заменили мне. Правда, я был больше чем наивен тогда, но все же...

Пирри отмалчивался и, уходя к себе, писал письма в Берлин и переводил деньги на имя Элли. В Берлине приобреталась обстановка — они выбрали спальню в английском вкусе, темную, под дуб столовую, кабинет, гостиную... Квартира была уже куплена... Еще немного поучиться с этим выжившим из ума человеком...

Утром Кальберг поехал в трест и прошел прямо к Ел-

пишу. В большой комнате за очень большим письменным столом сидел головастый Елкин и, разболтав в стакане простоквашу, крошил туда сухарь.

— Питаюсь, — сказал он через переводчика, — проголодался — умереть мало.

Кальберг сел в кресло. Елкин обтер платком усы и бо-
роду и многозначительно сказал:

— Нда-с-с...

Он не знал, как разговаривать с этими «зарубежными специалистами», и беседа с ними портила ему настроение.

— Чорт их разберет, — жаловался он. — Сидят, молчат, морды любезные, глаза эдакие вот такие, галстучек — умереть мало. Что делать — неизвестно, говоришь переводчику точно в стенку. И папиросами угощают экспортными — затянешься, и начал разлагаться.

— Я просил бы, — сказал Кальберг, раскуривая трубку, — я просил бы направить меня на северный комбинат. Мне хотелось бы побывать на вашем советском строительстве или, в крайнем случае, если направить меня на северный комбинат не представляется возможным...

— А вам что у нас не нравится?

— О, нет, нет... Мне хотелось бы посмотреть, как работают... производство... Я много слышал, и мне очень бы хотелось...

Елкин отвечает не сразу. Ему мил и близок этот пузатый, очкастый детина. Чорт его знает, что в нем такое, в этом слоне, а вот хочется дернуть его за пиджак или попить с ним чайку где-нибудь на просторе, на рыбалке или на маевке. Сидит — живот свешивается, очки блестят, нос блестит, и весь дымится приторным дымом. Такого и обматерить можно — не обидится.

— Видите ли, товарищ... э-э, погоди, погоди, не товарищ, — гражданин... Видите ли, гражданин, дело такое... (Ну, как ему откажешь, чорту рябому?) Конечно, гражданин... Но только мы бы настаивали на скорейшем вашем возвращении. У нас тут столько фабрик имеется, и дела на них хватает. Консультировали бы эти пока что. Человек вы полный, ездить вам трудно... Стой, стой, не переводи, выдержанность с ними нужна...

Кальберг кланяется.

— Очень хорошо, — говорит он, — очень хорошо, благодарю вас. Я не поеду на строительство, но буду работать на местных фабриках... Прекрасно...

— Ничего себе мальчик, — говорит Елкин, когда Кальберг уходит, — пудов на девять мальчик. ..

Он читает уйму и поглощает чудовищное количество книг, он изучает русский язык и уже может сказать: «Я хочу есть. Я хочу пить. Я хочу выкурить папиросу. Дайте мне обед. Дайте мне возможность. Товарищ. Фабрика. Контора. Стул. Стол. Вход. Выход».

Но он упорно и очень упрямо называет себя женщиной:

— Я вышла в вход. Я имела предъявить. Я делала чертеж. Я буду вчера спать.

Учительница улыбается.

— Здравствуйте!

— Штраст...'

— ... вуйте.

— ... вуйте...

— Вы делаете большие успехи, Оскар Брунович...

— О?

Фрау Берта приносит чай и печенье. Ее возмущают эти уроки:

— Глупая затея, глупая затея, сумасшедший язык. Зачем?

— По отешке протягивай весь, — отвечает Кальберг «русской» пословицей.

Учительница переводит ему газеты, и он записывает кое-что в тетрадь. Получается неплохая коллекция противоречий. Между переводами из русских газет Кальберг вклеивает вырезки из немецких, английских, американских, французских.

«Говорить о подыскании какой-либо работы бессмысленно и так же смешно, как говорить о том, что на Бродвее обнаружены золотые россыпи. Агентства по подысканию работы ежедневно осаждаются толпами в 7 — 8 тысяч человек, получают же работу максимум 200 человек. В Боуэри люди живут на уликах.

«Народ должен знать, каковы причины нынешней депрессии: легко доставшиеся деньги, игра на бирже, абсолютно не контролируемые производство и труд. В связи с кризисом следовало бы использовать многие мероприятия СССР — шестичасовой рабочий день, пятидневную неделю.

«Коммунизм! Угроза нашему строю?

«Всякий иной путь — опаснее».

Теодор Драйзер.

«На сегодняшний день наша страна насчитывает свыше 22 миллионов безработных. Это резервная армия, которой ничего более не страшно и которая является грозным доказательством тупика, а из тупика есть, как известно, один выход...

«Ротв Фанс».

«Ввиду быстрого естественного прироста населения и невозможности эмиграции мы должны будем постоянно содержать все возрастающую армию бездельников, которые или ничего не дают государству, или дают ему несравненно меньше, чем получают. Всю тяжесть расходов по содержанию государства несет один класс — буржуазия. С этим позором надо покончить. Все бездельники должны в принудительном порядке нести трудовую повинность на таких же условиях, на каких они несут воинскую повинность.

Варшава. «Правда».

«Для скорейшей ликвидации этой язвы необходимо сформировать из безработных рабочие батальоны, подчиняющиеся военной дисциплине...»

Вильна. «Слово».

«Нефтяной концерн «Малопольске», объединяющий около 30 предприятий, предупредил свыше 1000 рабочих о предстоящем их увольнении.

«Концерн согласен заключить с рабочими новый договор на условиях снижения заработной платы».

«Курьер польский».

Красными чернилами:

«Что же такое принудительный труд? Чорт бы их всех побрал с начала до конца».

Клякса.

Среднеозерскому н-ту требуются на постоянную и временную работу плотники, столяры, бурщики, кузнецы, каменщики, каменотесы, щебнебойцы, токаря, слесаря, фрезеровщики, литейщики, монтеры, маляры, автогено- и электросварщики, весовщики, конторщики, машинистки, медники и чернорабочие. Зарплата по тарифной сетке. Подъемные в размере месячного оклада, стоимость билета и 100 кг багажа для лиц, обязующихся проработать на строительстве не менее шести месяцев.

Дирекция.

«После двухнедельной голодовки повесился молодой инженер-текстильщик Артур Шонгэ. Безработица охватывает все большие слои населения...»

«Пти Паризьен».

**ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА
ИМ. «ИЗВЕСТИЙ»**

Приглашает инженера-текстильщика. Оплата по соглашению, иногородному будет предоставлена квартира и соответствующие подъемные.

Тел. 6-06-05 и 5-23.

Карандашом:

Три вопросительных знака, удивленная рожица с волосами, торчащими дыбом, и по-русски печатными буквами:

«Я хотела скушать».

«Нужно ли на время отменить машины потому, что у нас так много безработных? Некоторая часть инженеров уже дала ответ в пользу ручного труда. Миннеаполис намерен использовать для зимнего строительства только рабочих с кирками и лопатами. Бостон прекращает использование снегоочистителей. Нью-Арк начал ручную выемку земли...»

САСШ. «Новости машиностроения».

«Дадим Союзу машины».

«Правда», Москва.

Карандашом:

«В России пятидневная неделя. Семьдесят три дня в году они отдыхают. Много фабрик работают семь часов».

«Континент представляет собой котел чародея, в котором кипят недоверие, ненависть и страх. Переговоры о разоружении были широко задуманным надувательством. Ни одна страна не намерена серьезно сократить свои вооружения.

«Когда советский представитель внес предложение о сокращении военных сил и уничтожении накопленных резервов военного материала, он был призван к порядку действительно глупым председателем, и занесение этого предложения в протокол заседания было отклонено.

«Поистине председатель, какого заслуживает эта пустоголовая комиссия!

«Русские не замышляют милитаристских, завоевательных планов. Они не могут себе этого позволить, ибо такое предприятие привело бы к провалу пятилетнего плана. Это очень хорошо знают

государственные деятели России, и поэтому всеобщему миру на многие годы не угрожает никакая опасность со стороны советского государства. Их сил хватает как раз на то, чтобы превратить всякое нападение на них в сомнительное предприятие. Поэтому в нынешней обстановке, при которой они сами неспособны к наступлению, единственно чего они могут добиться, — это обеспечить себя против нападения».

Ллойд-Джордж («Пестер Ллойд»).

«Мировая продукция чугуна понизилась на 16,1%. Мировая продукция стали понизилась на 19,3%, угля — на 8,1%, машиностроительная промышленность в Америке понизилась на 24% по литейному оборудованию и на 49% по станкам».

Рост продукции промышленности по годам в СССР в неизменных ценах:

1928/29 г. 13,1 миллиарда рублей

1929/30 г. 15,8 миллиарда рублей

«Красная газета».

Карандашом:

«Неужели Рэджи так потрясаяще туп? Неужели факты не ломают ему черепа? Он, очевидно, не хочет видеть. Но факты же, факты!»

Русскими печатными буквами: ✓

«Товарищ Елкин Ф трест зашел

О. Б. Кэмбера».

Тетрадь разбухла от этих вырезок настолько, что не закрывалась. Вперемежку с газетными сухонькими телеграммами, вперемежку с аккуратными столбиками цифр очень по-детски были вклеены скверненькие, тусклые, затертые портреты Либкнехта, Маркса, Ленина...

Он стыдился этой своей тетради и запирал ящик письменного стола на ключ, но вклеивать в нее все новые и новые материалы было для него радостью. Высунув язык и прищурив под очками глаза, он большими сияющими ножницами крошил по ночам пачки газет, засаривая ковер, стол, курил, посмеивался и ругался. Он искренно и долго хохотал, разглядывая колючие карикатуры Моора, Ефимова, Розе... Большие животы, цилиндры, зубастые рожки, оскаленное, мерзкое и до пределов благополучное житие, завтраки, пилюли — он слишком хорошо знал это все, чорт возьми! Карикатуры тоже попадали в его тетрадь — он прочитывал под ними надписи с помощью словарей и подписывал их по-немецки.

Пасмурным, нудным утром он поехал с Пирри на шест-

надплатую фабрику. Трестовский фтордик колесами разбрызгивал лужи и нестерпимо выль на поворотах.

— Запустение, — сказал Пирри, — извозчики... Ужасно. Если бы мне пообещали миллион фунтов...

Кэльберг разговора не поддерживал. На фабрике их встретил технический директор — мужчина военного вида с глазами на выкате и сиплым голосом. Мужчина по-английски говорил плохо, и Пирри предложил объясняться по-русски.

— Очень рад, — сказал мужчина, — очень рад. Мы так отвыкли от культурных людей...

Кэльбергу стало скучно. Он не так представлял себе эту страну. Технический директор сипло ныл, шелкали винтили отопления, на столе лежал грязный чертеж. Пирри участливо расспрашивал. В лаборатории возился с мезуркой мальчик в крахмальном воротничке, с бельмом на глазу. Ничего интересного не было — фабрика как фабрика... Сняв пальто, Кэльберг просмотрел анализы. Русской системы записей он не понимал и, поморщившись, сказал Пирри первую русскую фразу:

— Какой лабиринт...

Пирри разобрал анализ при помощи подоспевшего заведывающего лабораторией. Мальчик с бельмом заворуженно смотрел на огромного иностранца. Погодя Кэльберг уселся около прибора Вильямса для определения размола и концентрации. Заведывающий вложил сетку в центрифугу и, подождав, пока вытекла вода, вставил нагреватель.

— Гут!

Больше делать нечего, и технический директор пригласил осмотреть фабрику. Кэльберг отказался за недостатком времени и, попрощавшись, открыл дверцу авто. Садясь, он сказал по-английски:

— Если я действительно буду нужен, сообщите телеграммой.

В автомобиле он молчал и думал о том, что из-за этих «технических директоров» ему не удастся ничего увидеть и узнать по-настоящему. Бородатый и крикливый Елкин, проливающий простоквашу на официальные бумаги и развезжающий по фабрикам на отвратительной мотоциклетке, Елкин был тем, что он хотел найти, но Елкин не мог ничего показать и объяснить ему, потому что считал его, очевидно, чужаком.

— Ф трест, — сказал Кэльберг шоферу, — ф трест, ви слышит, я ф трест.

Елкин в кабинете не было, два стакана от простокваши стояли на столе, и в пепельнице дымился окурок. Кальберг сел и по складам прочел две строчки объявления о перемене фамилии. Пирри зевал. Пятясь, ввалился Елкин, за ним шел невысокий человек в мохнатой бобриковой куртке.

— Приехал? — спросил Елкин. Он казался суетливее, чем всегда, и, разминая пальцами папиросу, разорвал ее, табак вывалился на пол. — К чорту! Говори!

Человек в бобриковой куртке говорил негромко, фразы его речи были неимоверно длинные, и Елкин горячился.

— Ну! Дальше? Ну! Я читал в газетке в вашей. Ну! Чего, чего?

Когда человек кончил, Елкин сказал Пирри:

— Познакомьтесь! Это директор девятнадцатой — Арёфьев. Перевели? А это, Сень, спецы немецкие. Приедут к тебе, не бойсь, не помрем!

Кальберг пожал небольшую руку директора и подивился его крутой, мгновенной улыбке. Арёфьев ушел. Елкин пересек комнату и, вдруг весь просияв, сказал:

— Переведите, пожалуйста: я знаю, почему гражданин Кальберг уехал из Германии. Я знаю. Да. В газетах подвалы... И я считаю, переведите, я считаю...

Кальберг встал и поклонился, как кланяются дрессированные слоны.

— Пожалуйст... пожалуйст...

— Я считаю, что товарищ Кальберг... — Елкин все сиял, дергая себя за бороду и восхищенно рассматривая огромный живот немца... Да, я считаю... тут, конечно, класс на класс...

Кальберг ушел. Уши у него горели. На улице он купил ворох газет, и Пирри персвел ему все, что касалось его. Кончив, он усмехнулся.

— Вам больше не работать в Европе, герр Кальберг. Это слишком большой скандал. Те, которых хвалят большевики, не могут работать в Европе — это закон.

— Смотря в какой Европе...

— А какой же она может быть?

— Не знаю... но во всяком случае без Алонзиев Пфээков. Азия тоже проживает без Гооднов, Тэйби... и...

— Без меня, герр Кальберг?

— Возможно!

Эрнст-Пауль Ганпке теперь часто говорил странное слово «шволиц», потому что машина была упрямой тварью.

Стрелка измерителя попрежнему стояла на ста восьмидесяти метрах.

— Шволиц, — говорил Ганцке и бежал к сетке. Он повысил скорость на шестнадцать метров. Сменный сеточник Федоров не только продержал эту скорость, но и нагнал еще семь метров.

— Шволиц, — сказал Ганцке и всю смену провозился над удалением воды из массы до эгутера. Стрелка повысилась до ста шестидесяти трех метров. Сменщик эту норму спустил, но Федоров, обменявшийся сменами, опять нагнал и прибавил два метра. В журнале было написано:

«Хотя и немес, но кышка слабая».

Эрнст-Пауль Ганцке не понял, но по тому, что ребята смеялись, читая, он сообразил, в чем дело, и, сказав: «шволиц», увеличил вакуум у первых сосунов до предела. Стрелка подскочила до ста восьмидесяти метров и застыла, даже не вздрогнув.

— Кончено, — молвил Машка, — дальше не поедем! Плачь в голос.

Подошел Шлык и, поплеывая посоветовал:

— Тормози, братва. Мертвый якорь — и никаких гвоздей. Верно я говорю?

— Вали-ка ты к своей машине, — огрызнулся Сергей Башкатов, — вали, пока ерша не съел. Так-то лучше.

Эрнст-Пауль Ганцке стоял у сетки, насупившись. «Раз машина имеет триста оборотов, то она должна давать триста оборотов, — думал он, — а если машина не дает трехсот оборотов, то кто-то виноват...»

Шлык, расхаживая возле своей сетки, пел тоненьким голосом песню, и песня злила Машку.

— Перестань! — крикнул он. — Распелся, соловей старый...

Есть ли в лесе,
Есть ли в поле,
Есть ли в небе,
В небе
Голубом...

— Перестань же, чорт!

Машка стоит у указателя скорости и смотрит упорно. Стрелка вздрагивает. Стрелка мучается в нестерпимом собачьем ознобе. Стрелка хочет сказать, что она не даром тут поставлена, что она на месте не стоит, что она все-таки работает.

Машка стирает пот со лба рукавом и продолжает смо-

треть. От белого пиферблата и черной стрелки у него рябит и двоится в глазах.

— Сволю иь, — тихонько говорит он, — сдвинься! Ну?

Он прекрасно знает, что количество оборотов не может увеличиться произвольно, но прекрасно знает, что раньше, чем стрелка изменит свое положение, нужно переключить эти два рубильника, которые присобачены справа под лампой — большой с черной ручкой и маленький. Машка знает, что даже если бы он и переключил рубильники, то и тогда количество оборотов не увеличилось бы, потому что фабрика...

И тут Машка плюет в ухмыляющуюся морду измерителя, плюет, пугается, вытирает плевки ладонью и встречается глазами со Шлыком.

— Дур-рак, — говорит Шлык. — Дур-рак, — повторяет он тише и сморкается в урну для окурков... — Новости... Издавна так... Понял? Чугунной мозгой не надуешь. Тут цензу нужно... Образование. А ты мозги имеешь сопливые.

Хруст полз по валам, медленный, грузный и тяжелый. И до визга, до боли в висках захотелось Машке как в пляске заорать: «Шибче! Над-дай мать твою...»

Но машина «не наддает». Она упорна и мстительна, чорт бы ее подрал!

— Шволиц, — бормочет Ганцке.

За несколько минут до перерыва на обед в цех прибегает Иван Матросов.

— Что нового?

— Скрипим, — зло отвечает Машка, — видишь, скрипим. Немец дюжину потов спустил, Федоров бился, в лаборатории кутерьма, — а толку нет. Жизнь жестяная!

— Сегодня созываем совещание. Бригады обеих машин, инженеры, мастера, древесномассный. Провернем.

— Чего провернем-то? — злится Машка. — Болтология одна. Провернем, провернем, а чего проворачивать?

— Хоть обдумаем.

— Образование имеешь? — вменяется Шлык. — Цензу имеешь? Химики то-ожа! Салоги мои шевро пропускают аш два о.

— Вали-ка ты!

— Сам вали! Р-ре-дактор! Финплан. Говорил, упреждал: сядете в галопу, прикроетесь ботиком. Выкусили?

Неожиданно Матросов тяжелой, темной от загара рукой берет Шлыка сразу за оба борта куртки и севшим голосом говорит:

— Ты... монахины... чего егозишь? Что хочешь? В мастера вылезти? К хозяину ходить, щеточкой его чистить? Так?

— Пусти!

— Чего ты народ, сукин сын, баламутишь? Чего? Старого захотелось, в конторке сидеть да чайком баловаться?

— Не трогай! Не имеешь таких прав — трогать, — извивается Шлык. — Пусти, у меня грудь слабая, плевроит у меня...

Матросов отпускает сёточника и тяжело дышит. Ему трудно взять себя в руки. В столовой он говорит ребятам и всему столу:

— Давеча прихожу домой, понимаешь ты... Братишка из школы вернулся, воеет, — тетрадок нет. Писать не на чем. Ловко?

Клубы пара плавают над тарелками борща, рабочие молчат. Машка Седин вздыхает:

— Дела-а!

Блестят клеенки, сияют стаканы с квасом, от громадного кипящего на буфетной стойке самовара падает на линолеум косая тень. Эрнст-Пауль Ганцке ест борщ, поглядывая косым глазом на своего соседа. Эрнст-Пауль Ганцке проголодался, а борщ отличный, даже с мозговой костью. Ганцке высасывает мозг и облизывается:

— Зеер гут!

— Чего? — интересуется сосед, добродушный парень в изодранной брезентажке.

— Зеер гут! Суп! Ай-яй... ну-у! Суп!

Брезентажка кивает головой.

— Борщ.

— Я.

— Чего я? Борщ — скажи. Говори за мной: борщ.

— Порч.

— Борщ!

— Борч?

— Да не борч, а борщ. Ну, говори.

Все учат Ганцке и Рафке русскому языку, и учение идет успешно. Немцы уже многое понимают и кое-что говорят. Ганцке шествует с тарелкой в хвосте очереди и, когда достигает окошечка, просит:

— Еще!

— Ишь ты — ухмыляется поваренок. — Гони пятиал-тынный.

— Я.

— Ты!

Эрнст-Пауль Ганцке съедает еще одну тарелку борща и опять причмокивает. Вдруг Ганцке поражается. Что такое? Он поднимает глаза и смотрит — вперед, налево, направо. По столовой плывут аплодисменты, сначала неуверенные, потом все сильнее, сильнее. Почему? Отчего? Кому?

— Повара! — орет Машка. — Даешь повара!

— Да-аешь!

— Пова-ара!

— Волоки его!

Громче, громче аплодисменты, смеющиеся лица, смеющиеся глаза. Ганцке ничего не понимает. Откуда-то появляется Нейман, предфабкома, Щеглов, помощник директора по труду кряжистый и длиннорукий латыш Твейкус.

— Вам не нравится борщ? — спрашивает Нейман у Ганцке. — Скверный борщ? Почему вы не аплодируете?

— Но... я... ведь, это же... столовая?

— Наша столовая, наша, рабочая, цех питания, не понимаете?

— О!? Гох!

— Это дело другое! Крепче!

— Повара, повара!

— Вот он, виновник торжества. Он смущен.

— Брось! Ну, чорт! Брось... чего... Борщ... Ну, брось... Не в театрах... Ну чего?

— Качать повара! Качать!

Повар даже бледнеет, колпак с него сваливается, полы белого халата болтаются в воздухе. Дюжию руки подбрасывают его вверх.

— За пятиалтынный такой борщ.

— На зе! — кричит Дюкин, приплясывая от восторга. — На зе с присыпкой! В чем дело, братишки? Кидай его об мою голову, кидай, чтоб всегда такой борщ варил!

— Даешь!

— Гох! — вопит Рафке. — Гох, гох!

— Гох! — вопит Эрнст-Пауль Ганцке. — Гох, гох, шволиц, шволиц!

— Ур-р-ра!

— Ур-р-ра!

Наконец повар поставлен на скамью. Кто-то надевает на повара колпак.

— Отчитывайся, — приказывает Дюкин, — отчитывайся перед рабочим классом, какая такая твоя химия!

— Чего химия? — обижается повар. — Никакой тут химии нет, тут производство есть и квалификация.

— Правильно! Плюс сознательность!

— Говорю — производство, — опять обижается повар, — производство и есть. Я вот химиков выгнал к чертовой матери, которые с мяса жир срезывали, да мозг себе в тарелку выколачивали, потому и борщ получился. А производство — накипь снимал да квасу подлил, да уксусу, да перец подбавил. Скажете — химия!

— И завтра такой борщ будет? — спрашивает Сергей Башкатов.

— Завтра щи флотские, пожарские котлеты с кашей и кисель а-ля-дюк.

— Это что же за дюк за такой?

— Клюквенный! Пирогов напеку, — внезапно воодушевляется повар, — с картошкой пирогов...

— Картошка-то твоя мороженная, — извит кто-то, — хороши пироги будут.

— Вот по горбу кооперацию долбани, что картошку поморозила!

— Правильно!

— Пироги будут — закачаешься, — восторженно хрипит повар. — За индустриализацию...

— Чего?

— Это он сам, дяденьки, изобрел, чтоб провалиться мне, — сообщает поваренок, — он неделю как очумелый ходит, — изобретатель, значит, — все опыты выделяет, ей-богу, и название придумал: «за индустриализацию»...

Повар смущен и растерян. По столовой бежит хохот.

— На зе с присыпкой!

— Что надо!

— Чего ржете-то? — возмущается внезапно Машка, и белые его вихры прыгают. — Чего ржете? Цех... Цех же! Премию такому повару, а не ржать надо. В столовке пообедаешь бывало, — рваться тянет, а этот накормит, так накормит...

— Правильно!

— Нечего смеяться, — продолжает Машка, — нечего. Изобретатель он, не хуже вашего. Холуй картошку поморозили, а хозяин думает, как бы семью накормить.

Опять грохот аплодисментов. Опять сияет повар, и орет «гох» Ганцке. Нейман перевел ему все, и немец бешено хлопает.

Вечером усталый кассир пишет:

«Премия гр. Исаченко Я. И., старшему повару, 100 (сто) рублей за изобретение...»

И кассир удивляется:

— Повару... Изобретение?

Выходя из конторы, кассир пытается надеть на правую ногу и правую и левую галошу, но из этого ничего не выходит.

— Какая премия?

— Слово предоставляется гражданину Боровому.

— Товарищи, я, как главный инженер, достаточно знаю эту крупновскую дуру. Достаточно крови себе испортил. Ничего сделать нельзя. Вините трест. Никто же из нас не виноват, что куплены непригодные машины...

Откуда-то из темноты пробирается взлохмаченная фигура.

— Дозвольте!

— Дуй, валяй!

— Но, товарищи ж. Но, дорогие же ж товарищи! Но, други-браты! Не может того быть. Машина идет, идет — работает, свое дело делает. В массе дело! Братья мои, в массе — гвоздь! Двадцать шесть лет работаю. В массе дело!

— По существу говори, Хныкин.

— По существу, по существу! Плевал я на твое существо. В массе, а не в существе дело. Масса лопается! Масса держать не может того напряжения. Железная ж она, что ли? Массу нужно думать. Массу вникать умом-мозгом нужно, ядри ее корень! Во. Больше не имею.

В комнате темно. Никто почему-то не зажигает электричество. Щеглов курит, отгоняя дым рукой в сторону. Он устал, не варит голова. Трудно слушать, трудно понимать. Слова скачут как резиновые мячи — чужие и бестолковые.

Возникает шум. Токарь Лобода из ремонтного, худой и засаленный до того, что костюм его сверкает точно латы, орет:

— Не в том толк! С пустого в порожнее. Баба на печи, мужик — калачи. Динь-бом, динь-бом, а план провалили чортовому папане. Свои инженеры понять не могут? Огять же в нас. Станок поставлен второй год, а частей до его нет. Растеряли, что ли? .. То же на пятой. Не собрали. Техники! А ну вас! ..

Шум, возникший слева, растет. Машка просит слова.

Он говорит о том, что дальше так продолжаться не может, что план составлялся в расчете на максимальное напряжение всех машин, что при составлении плана неумелость

инженеров никем во внимание не принималась и что этому безобразию должен быть положен конец.

Шум не прекращается.

— Слово Башкатову. Прекратите гвалт, товарищи. В чем дело? Зажгите свет.

Свет зажжен.

Там слева красные лица и скверно помутневшие глаза двух парней, русые волосы взлохмачены, и брови заведены на лоб; желт джемпер под тигра, и затисканы голые руки.

— Што жа это? Га! !

... На огромную комнату опускается тяжелая и душная тишина.

— Да что же это?

... Тишина туже, напряженнее лица.

... Горит на плакате рука.

— Лапають... общипали всюю...

И тогда между стульев, между скамеек, слепо расталкивая мешающих, идет Хныкин.

Глаза у него сощурены, борода смята, и лоб мокр.

— Вон! — кричит он. — Вон отсюда, шляндры, вон с этого места...

Гул покрывает его слова, и две сотни людей кольцом стягивают оскотевших троих и так ведут их к дверям. Там кольцо размыкается, и хрипит Хныкин:

— Вон, вон! ! Погань...

Бледны лица от злобы, больно дышать.

Собрание продолжается. Смотрит Лобода на закрывшиеся двери тяжелыми глазами:

— Г-гады!

— Што же, товарищ? Лопнули? Сдали? Не выполним?

Горит Щеглов.

— Ну?

Ломит голову.

— Ну же!?

— Слово директору!

Красны глаза у Арефьева, устал.

— Мы сделаем все, товарищи. Но машины... Ломали голову: что, как? Шиш вышел, пареная репа...

— А не рано ли сдавать? Не рано ли?

— Слово товарищу Башкатову.

— Ком-со-мол... хихикает Шлык. — Комсомол! Программу перевыполнили, даем комсомольское слово! Так?

Сергей взволнован, слова его дрожат в воздухе.

— Товарищи! мы делаем все, что можем. Бригады рабо-

тают на все сто. Если мы и даем брак, то только в тех случаях, когда пытаемся выгнать больше, чем позволяет масса. Это могут подтвердить и сменный мастер, и инженеры, и техники. Но, очевидно, и у нас и у наших химиков нехватает знаний для того, чтобы дать смазку и массу в соответствующей композиции. Так?

— Так!

— Нам техника нужна, а остальное сами сделаем. Так вот: в сегодняшней газете есть статья про инженера немецкого, который в тресте работает, знаменитый он на весь мир. Профессор.

— Товарищи, — прерывает Арефьев, — товарищи! Я сегодняшний день в тресте был и этого инженера самолично видел. Он на днях к нам придет, мне Елкин пообещал.

— На днях?

— Да. А в чем дело?

— Нам даром время терять нельзя, — морщась говорит Щеглов, — ждать мы не можем. В минуту недодаем стране двести с лишним метров бумаги, сколько это в неделю выйдет?

Директор ногтями скребет затылок — бритые волосы хрустят.

— Высказывайтесь!

— Чего ж высказываться?

Опять вскакивает Хныкин.

— Други-браты, в чем толк? В чем толк, я интересуюсь знать? Завтра нужно того инженера иметь на фабрике. Точка. Разговор окончен.

— Слово Боровому.

— Товарищи! инженер Кэльберг — фамилия достаточно известная. Но что он нам может дать, не зная специфики нашего производства? Наша композиция ему, безусловно, не известна. Мы технически отсталые от Запада. Он предъявит сразу ряд требований по части переоборудования фабрики. Вам не приходилось работать с иностранными инженерами, а я их отлично знаю. Им все — вынь да положь, им все раз-два-три — по счету... — Козлоподобный инженер сделал мутные глаза и поскрипел протезом для пущей убедительности. — Мне известен случай... м-э-э... да, случай, когда один немецкий специалист не пожелал чертить на нашем, отечественном ватмане. Конечно, наш ватман... м-мэ... не может конкурировать, но все же...

— Короче!

— Я вас не перебивал, когда вы говорили, не переби-

вайте и вы меня. Э-мм... ватман. Таковы эти хваленые иностранные специалисты. Я позволю себе выразить надежду, что мы обойдемся и без иностранного специалиста. Тем паче, что наши м-мэ... хм... трудности, к которым мы, советские специалисты... хм... привыкли, то-есть к которым мы питаем... э-м-м...

Слово Нейману.

Он стоит нетвердо на хилых ногах. Его синенький кулачок мелькает в воздухе, ему трудно говорить, но слушают его внимательно.

— Я размазывать не буду. Да, не буду! Гражданин Боровой противится приглашению иностранного инженера. Почему? Он, видите ли, требователен, иностранный инженер. Ему, видите ли, вынь да положь. Очень хорошо! Отлично! Значит, он работает! Но это мелочь. Гражданин Боровой, да, не читал газету. Кто такой Кэльберг? Инженер, затравленный буржуазией за то, что осмелился выступить открыто и честно против бесчинств в Китае и раси-о-на-ли-зации в Германии. Кто такой Кэльберг? Мировое имя! Но монополия на знания. Гражданин Боровой получает тысячу сто рублей в месяц при квартире, отоплении, освещении. Да! За что? За свои знания. Он один! Мы еще молоды, мы малоопытны. Да! А тут иностранец. Может быть, ему удастся. Страшно. Авторитет. Оклад. Квартира. Автомобиль. Да! И все это пойдет к чорту. Авторитет пошатнется. Вот мотивы высказываний. Совершенно точно. Гражданин Боровой заявляет, что иностранцем будет предъявлен сразу ряд требований. Вы думаете, что хозяева там, на Западе, дураки? Вы думаете, что они зря бросают деньги на переоборудования? Ошибка, да, ошибка! Нам нужно учиться у них хозяйничать, только с поправочками. И никакой специалист не будет заграницей специалистом до тех пор, пока в совершенстве не овладеет умением ориентироваться в тех или иных условиях. Если нужно, то, значит, нужно. Да. И хозяева предприятий подписывают чеки. Да. Иначе себе дороже! Иначе не рентабельно! Да! Обратите внимание в газетной статье: Кэльберг настаивал на установке вентиляции в Китае на фабриках фирмы Ван-Шин-вей не только потому, что люди задыхались от недостатка воздуха, но и потому, что просушка бумаги без подачи сухого воздуха шла чрезвычайно скверно. Да! Фирма сейчас прогорела. Плохие хозяева, скажет каждый буржуазный предприниматель, плохие хозяева. Да! Вывод: Кэльберг будет нам полезен. Он учтет все. Да! И полезен будет

еще потому, что он, по всей вероятности, наш. Он выстрадал и вымучил все. Он знает на своей шкуре! Да! Гражданин Боровой заявил, что мы отстали от Запада? Да! Но гражданину Боровому должно быть ведомо, что мы должны сделать так, чтобы Запад отстал от нас... Да...

Нейман говорил медленно, размахивая кулачком. Он видел, что собрание молчаливо одобряет его слова. Дюкин записывал что-то на листочке бумаги, Арефьев сидел, положив голову на сплетенные пальцы. Блестели Машкины глаза, Матросов согласно кивал головою. После Неймана взял слово Пасоцтринимусен.

— Я шутить не намерен, — сказал он и так шевельнул усами, что Машка прыснул и по комнате пробежал смех, сразу прибодривший и освеживший людей, уставших от трехчасового сидения, — я шутить не намерен, — повторил Пасоцтринимусен громче, — я говорю коротко! Все, что в наших силах, мы сделали, что не в наших — извините! Машина шгука заковыристая — всем известно. Отступить же нельзя. Иностранец нам необходим, и Хныкин прав: завтра он должен быть тут. А что товарищ главинж возражает — это не возражения.

— Подытоживаем, товарищ, — позвонил Дюкин. — Поступило предложение: через голову треста направить выборных ребят к этому инженеру — объяснить что да как — и конец.

— Правильно!

Выбрали Матросова, Машку и Башкатова. Арефьев спросил:

— А удобно ли будет?

— Чего же неудобно. Трест проволынит неделю, а так Кальберг завтра тут будет. Какие могут быть разговоры?

Вечером на Неве воют гудки.

— Как же мы начинать будет? — спрашивает Машка.

— Ну, например, выйдет он, мы здороваться? Верно?

— Верно!

Сыплется тихий, косой мозглый ленинградский дождичек. Процокали подковы извозчичьей пролетки, и опять воют ушлые пароходные гудки.

Машка, Иван и Сергей стоят у подъезда.

Рыженький кожан, макинтош и стандартнейшее пальто — черное, четыре пуговицы справа, четыре слева...

Седин чешет кадык согнутым пальцем.

Решаются разом, разом поднимаются по лестнице, перебиваясь, поглядывая на номера квартир...

Сергей в записной книжке ищет нужный номер.

Они ждут, сидя в кабинете, разглядывают картину.

Таити корчится на картинах Гогена, пряное забытие, густое как сироп, струится из расщелин земли, женщина смотрит в безмолвное и мягкое небо.

Женщина подняла голову, и им виден подбородок ее, озаренный оранжевым пламенем...

От тишины, запаха кэпстена в кабинете и книжного тускловатого тления тоска одолевает их. Машка тихонечко шепчет одними губами:

— Стервячья суки!

Входит Кэльберг — преогромный слон, серый, ушастый, шерсть клочками растет на голове, ботинки чудовищно скрипят. Он сопит, зубочистка тонет в мохнатой лапе...

Ребята молчат и улыбаясь смотрят в щели — туда, где запрятались инженеровы глаза с ухмылочкой, за очки колесами, через стекла, но электричество сияет в стеклах, и глаз инженера не видно.

Кэльберг зовет Пирри.

— Мы вот чего, — начинает Машка. — Мы, так сказать, конечно, не нахалы, но мы сомневаемся...

Пауза. Молчание. Машка жадно и часто дышит. Собравшись с силами, он продолжает:

— Выбрали нас, чтобы мы к вам смстались, от бригад. В тресте не скоро толку добьешься — дело известно. Ну, вот. Безобразие у нас происходит.

— Форменное безобразие, — подтверждает Сергей Башкатов. — Также делается — ужас!

Кэльберг внимательно слушает. Что это за люди? Зачем они пришли? Чего они хотят?

— Вот вы, инженер, профессор, — продолжает Машка. — Мы сомневаемся, почему наша механика такая отсталая? Закупили мы у вас машины, валютой платили. Хорошие машины — скулить не приходится, радуйся — работай. Но измеритель на триста оборотов, а мы от силы двести нагоняем. Вот мы пришли поинтересоваться: может, какое вредительство тут есть? Или как же? Может, заграничные

предприиматели-фабриканты сбраковали чего да нам и прислали? Мы, конечно, спрашивали у нашего технического, так он нам хурду-мурду развел — прямо ужас. И то, и сс, и неполадки, и сырье липовое, и работать не умеем, и всякое прочее. А мы, извините, лопаемся, промфишплан гробим, валы на ходу меняем, того гляди размажет на тесто — пуговицы не найдешь, а вот четверть всей выработки псу под хвост.

Машка замолкает. Говорит теперь Матросов. Он не волнуется. Его слова холодны и остры, как ледяшки. Рука его спокойно лежит на подлокотнике кресла.

— Обстоятельства таковы: представитель нашего треста закупил в Германии у Круппа бумажные машины новейшей конструкции. Рабочая ширина пять тысяч пятьсот миллиметров. Машины были установлены бригадой рабочих и мастеров Круппа. Все бы хорошо, по смазки, доставленной вместе с оборудованием, хватило на два месяца. Встал вопрос о составе смазки. Мы, видите ли, не можем позволить себе затрачивать валюту на выпуск готовой смазки из-за границы. Сырье у нас, конечно, найдется...

Кальберг слушает, насупившись, то, что переводит ему Пирри.

— Так, — говорит он по-немецки, — так, отлично. Дальше.

— Уперлись мы лбом и в вопрос о массе. Наша композиция — вот... Газетная.

Матросов протягивает листочек бумаги с цифрами, написанными Нейманом.

— Зо.

Опять пауза. Кальберг разглядывает бумажку. О, русская неаккуратность!

— Так, — бормочет он, — так. Целлюлоза, красители, наполнители... Так...

Пирри лениво говорит:

— Господин Кальберг считает, что машина может работать с полной нагрузкой. Все требует детальнейшего исследования, которое и будет произведено господином Кальбергом в самое ближайшее время. Возможно, что разрыв, наблюдающийся сейчас при максимальных скоростях, есть результат недостаточно хорошо поставленной лабораторной работы. Возможно, что подсобные цехи недостаточно крепко учли специфические особенности машин новой конструкции. Одним словом, господин Кальберг считает, что все это можно ликвидировать.

Ребята встают. Слон тоже поднимается и пожимает им руки.

— До свидань,—говорит он,— до свидань. Сегодня есть мокрый погода.

В дверях Пирри спрашивает:

— Господин Кэльберг интересуется, с кем из технического персонала он имеет честь говорить?

— С кем? С кем?

Машка давится смехом, вот-вот прыснет, Сергей нелепо икает.

— С кем?

— Да,—едва заметно раздражается Пирри,—с кем?

— Сушильщики мы...

В кабинете пахнет теперь не только кэпстеном, но и разгоряченными молодыми телами. Проводив неожиданных гостей, Кэльберг садится на диван и набивает новую трубку.

— Что вы скажете, Рэджи?

— Скажу, что это удивительно и... глупо. Последнее преобладает. Идиоты! Не могли прислать инженера или техника.

— Но, ведь, вам объяснили, что тот инженер, который мог бы приехать, занят. Сам принцип выборности в таком деле.... Выбрали наиболее толковых...

— Да-а, блестящие умы....

— В вас вселился бес, Рэджи. Что вам не нравится? Ведь тут грандиозные перспективы. Вы любите технику, работу. В чем же дело?

— Скучно, герр Кэльберг, скучно. Нет даже дансинга.

— Страна переживает войну, Рэджи.

— С кем?

— Со своим прошлым.

— Прекрасно сказано, герр Кэльберг, но если на то пошло, то я бы воевал с будущим. Принцип голосования — отличный принцип, но все ли сто шестьдесят миллионов голосовали за социализм?

— Когда вам было три года, милый Рэджи, и вам вырезывали гланды, из-за которых вы оглохли, спрашивали ли вас, имете ли вы желание оперироваться?

— Это другое дело...

— Я читал, что в Полесьи крестьяне погибают от колтуна. Женщины причесываются раз в четыре месяца и смазывают волосы подсолнечным маслом. Представляете себе, что это такое? Кожа под волосами разлагается, роговое вещество волоса обращается в кисель. Раньше чем делать ре-

волюнку, большевики, по-вашему, должны были спросить у полесских крестьян, хотят ли эти полесские крестьяне социализма или не хотят?

Фрау Берта приносит в столовую кофе. Слышно, как она звенит посудой и режет хлеб. Ночью Кэльберг записывает:

«Изумительно. Ко мне пришли рабочие, простые молодые рабочие. Они держали себя независимо и спокойно. Я сглубил, нужно было оставить их пить кофе. Их прислали тоже рабочие. О директоре они говорят как о своем товарище. У них хорошие, юные лица, самый младший из них веснушат, волосы его торчат хохолками. Если один процент их молодежи таков, как эти трое, то для них не может быть ничего страшного. Мир прост, жизнь — прекрасна, но прекрасное это и простое надо отвоевать. Почему мне не двадцать лет и почему я не родился в России?»

Вновь перед ребятами протянулась улица, темная, сырая и ветряная. Опять воют гудки на Неве, опять дождь моросит; орет срамную песню на перекрестке пьяный.

Рядом рыжий кожан, макинтош и стандартнейшее пальто — черное, четыре пуговицы справа, четыре слева.

— Ну, как?

— Вежливые джентльмены. Точно!

— Здоровый кабан.

— Но там, здоровый! Жир только.

Промчался автомобиль — мелькнула шляпа и клетчатый шарф....

— Ну, как же?

— А так же.

— Выйдет что-нибудь?

— Чорт его знает....

В мокроте, в хляби, в осенней ленинградской мгле шли трое, вели разговор: выйдет — не выйдет.

Прощались у трамвайной остановки.

Но тут возгорелся Машка и спросил севшим от сырости голосом:

— Что же это, Ванька, а? Идем, жуем, жуем: нельзя да нельзя — дуру валяем. К немецкому буржую на поклон ходили: выручи, спаси! Он по-русски не может, выматериться не знает. Учитель — очкастый чорт! Бросать, что ли? Куда заворачиваем?

— Хорош буржуй! Газету прочти... А бросать нечего. Ра-но, говорю, бросать. Горяч больно... Не набросаясь таки-

чи-то штуками. Вот придет он завтра, скажет все честь-честью. Да чего ныть, сказал ведь: будет сделано.

— Боровой тоже сказал!

— Боровой, Боровой! Козла давно налево пора! Смердит!

Бапкатов невесело уведомил:

— Опять семерка прошла. Третью пропускаем. Пешком бы шли, чем мокнуть-то.

Но опять стояли, митингуя втроем. Матросов крыл примирившего Машку:

— Сдрейфил, — говорил он глухо, — сдрейфил, собачья душа. Длинно, неинтересно. Тебе как в театре подай: в третьем действии кончают, а в четвертом качают. Комсомолец! Брюхо увидел — припадочек сделался: ах какой я в доску свой. У Борового брюха нет, а присмотришь — увидишь, чем дышит. Кулаков тоже на плакатах пузатыми рисуют....

Кэльберг приехал на другой день и из кабинета Арефьева позвонил в трест.

— Товарищ Елкин? Нта, Кэльберг Оскар Брунович. Я прибыла на фабрику тевятнадцать. Нта. Нейн. Чито? Нта. Кушайте ваш молоко. Нта. Ауффидерзейн. Нта.

Машка увидел его у измерителя и покраснел — так неприятельски, совсем как со старым знакомым поздоровался с ним огромный инженер. Лицо Кэльберга лоснилось от пота, ему было жарко, но он упорно не расстегивался и не снимал перчаток.

— Анализ?

Свади на расстоянии шага Пирри в широкополой шляпе. Он записывает. Рядом с Кэльбергом Боровой. Они двигаются дальше, и вдруг что-то происходит. Эрнст-Пауль Ганцке рывком почти прыгает вперед.

— В чем дело?

Молчание. Урчат машины.

— В чем дело? Что вам нужно?

Кэльберг останавливается и протирает очки. Пирри сух и холоден, он не понимает. Ганцке моргает красными ресницами и спрашивает по-немецки:

— Что вам здесь нужно? Вам мало Германии? Вам мало Бройра? Вам мало...

Кэльберг не отвечает. Где он видел этого вывернутого на одну сторону человека? Где? Когда? Эти глаза в воспаленных веках без ресниц? Где он слышал этот хриплый голос? Ливень, да, да, конечно, ливень! Двор фабрики Алоизия

Пфэак, забастовка. Вспыхивает прожектор — свет слепительно ярк. Теперь он помнит. Редакция «Роте Фане». Точно такой же вопрос: что вам здесь нужно? И парень с забинтованной рукой и бледным лицом.

— Что вам здесь нужно?

— Я работаю здесь так же, как и вы. Разве я не имею права работать тут?

— Вы... Может быть, герр Пфэак тоже «работает» в России? Д-да? Или еще не работает? Когда же, в таком случае, он придет сюда? Завтра? Послезавтра? Через неделю? А герр Вислинг — помощник? Вы хотите тут проделывать берлинские фокусы? Я помню ваш котел! Я помню безработицу! Я помню своего сына, и я хорошо, очень хорошо помню, как вы, запутавшись среди нас, испугались выстрелов и побежали к своим. «Не стреляйте, не смейте стрелять!»

Боровой пожевывает бороду. Форменная мелодрама! Но в чем все-таки дело? История, целая история.

Эрист-Пауль Ганцке говорит, кривляясь и подмигивая, в неистовой злобе, но Ганцке за рукав берет Нейман.

— Оставьте, — говорит он. — Вы мужчина! Что за истерика? Чего вы хотите?

— Я хочу знать...

— Да. Я переведу вам газетную статью. Вы поймете.

Кальберг идет по цеху, опустив голову. Боровой восторгается германской промышленностью, и речь его густо уснащена специальными терминами. Кальберг медленно говорит:

— У нас это понятно. Но у вас... у вас это не понятно. Вы... вшивая и пьяная страна, европейцы боялись вас как чумы, но теперь... Вам нужно стыдиться ругать свою страну. Вам нужно гордо говорить о своей родине. Вот так: я русский.

— Европейцы и сейчас боятся нас не меньше, чем раньше. Мы зачумленные: бацилла коммунизма....

— Прекрасная бацилла... Вы имеете то, чего не имеет ни одна страна. Все ваши рабочие акционеры фабрики, и все акции всех заводов и фабрик, всех посевов и рудников поровну разделены между всеми.

Кальберг видит: по губам главинжа ползет едва заметная, как бы судорожная улыбочка, и в этой улыбке есть что-то общее с улыбкой Пирри: тот же холод, та же отчужденность и та же своя мысль. И Кальберг испытывает чувство, подобное тому, которое бывало в Китае: разговор с редактором, бокс на полотне железной дороги.

— Наша лаборатория. Не удивляйтесь. Мы отстали от Европы больше чем на четверть века. Мы бедны. Я жил в Германии...

Но Кэльберга не интересует Германия. Он снимает пальто, смотрит на часы и издевательски-долго сморкается в гигантский платок.

Хмурый и небритый химик приступает к священнодействию. Он уже возненавидел немца. Хороша знаменитость, которая вешает шляпу на крюк для реторт. Хороша знаменитость!

Маленький электромотор жужжит шмелем. Кэльберг смотрит в алюминиевый стакан, там беспечно вращаются крошечные лопасти. Наморщив лоб, он по-ребячьи разглядывает взбесившуюся бурду цвета хаки. Боровой шепчется с грузином и покашливает. Блик электричества сияет на чашке весов, переливается и дробится в пролитой голубоватой жидкости.

— Пожалуйст. Нта! Я делала вам спасибо. Нта! Пожалуйст!

Химик, презрительно скривив губы, приносит стеклянную банку с притертой пробкой:

— Пожалуйст! Ахт миллиграмм. Нта.

Химик взвешивает, вновь гудит мотор. Кэльберг ждет. Потом он выключает мотор и фаянсовой лопаточкой всыпает порошок в стакан.

— Зер гут!

— Ну что? — по-немецки спрашивает Боровой. — Каковы результаты?

— Результатов еще не может быть никаких. Большая работа, очень большая работа, очень сложная работа, но... работать необходимо. Ваше мнение, Рэджи?

— Мое мнение такое же, как и ваше.

— Так. Сейчас я попрошу предоставить мне одну комнату вашей лаборатории. Я попрошу, чтобы мне никто не мешал и чтобы мне была предоставлена полная свобода действий. Потом... я очень хочу есть. Ваша столовая...

— «За индустриализацию», — говорит Боровой. — Наш повар сочинил пироги из мороженой картошки и назвал свое сочинение «за индустриализацию». Величайшая ирония.

— Вы находите? — Голос Кэльберга силен и низок. — Вы находите?

— Величайшая ирония, конечно, — расцветает главниж. — Если принять за исходную точку...

— Скажите, — внезапно спрашивает Кэльберг, — скажите, вы никогда не писали Горькому?

— Как Горькому? Какому Горькому?

— Ну... Есть великий писатель, Горький. Я его читал. Русская интеллигенция часто пишет ему письма. Вот... про величайшую иронию и про мороженую картошку. В этом роде. На эти письма Горький отвечает раз, два раза в год, отвечает через печать. Очень хорошо, смею вас уверить!

— Это! Это! Это!

— О герр Боровой, стоит ли волноваться по пустякам?

Кэльберг смеется. Его большой живот колыхается от смеха, его руки прыгают, он сгибается, и от его смеха мелко дрожит стеклянная колба на мраморной доске:

— Непременно напишите письмо Горькому. Он вам ответит. Он вам обязательно ответит, дорогой герр Боровой!

ПАСОЦТРИНИМУС ПО БОРОВОМУ

— Спит, — сказала Антонина Евгеньевна. Пасоцтринимусен нерешительно мялся в дверях.

— У меня дело есть, — молвил он, наконец, — и дело порядка спешного. Я ждать, к вашему сведению, не могу.

В столовой на столе кошкой мурлыкал самовар и блестя крупные, сочные жирные ягоды в вазочке с вареньем. Антонина Евгеньевна, рыхлая супруга главинжа, молча гаваривала чай. Пасоцтринимусен уселся и, не спрашивая разрешения, закурил.

— Что же он, ежедневно это?

— Что?

— Спит?

— А почему бы не спать? Устает, не молод.

— Сочувствуете, значит, мужу, — обозлился Касьян Сигизмундович, — а у меня супруга — Яга.

— То есть, как же Яга?

— Да уж так — Яга. Зверь-баба — истребитель. Она моего дога на меня натравляла. Представляете себе?

— Представляю. Почему же вы не разведетесь?

— Жалко. Дочка есть!

Главинж злобно привинчивал протез в спальне. Застегнув все ремешки и умывшись, он принялся натягивать на себя фуфайки. Сперва он натянул серую шерстяную, в едва заметную выцветшую клеточку, затем пристегнул к ней кнопочками нагрудничек из фланели, вышитый ромашки.

ми. Поверх всего этого он надел еще две фуфайки, вылезшие из Германии, воспаленного малинового цвета. Завершив операции с фуфайками, он застегнул пуговицы на напульсниках и ворча отправился в столовую.

— Так-с, — сказал он вместо приветствия, — так-с... Пожаловали?

— Пожаловал, — ощерился Пасоцтринимусен и хлебнул предложенного чаю. — Спали?

— Спал.

Покончив с чаепитием, главинж пригласил Касьяна Огизмундовича в кабинет и зажгел настольную лампу. Воняло в кабинете нафталином, и Пасоцтринимусен сказал:

— Форточку открою!

— Нельзя! Мозгло на дворе. Простужусь. А мне болеть не полагается — саботаж пришьют. И так еле двигаюсь.

— А вы разве не саботажник? — искренно удивился Пасоцтринимусен.

Главинж промолчал, разрисовывая на переплете книги причудливый вензель с крылышками и мечами.

— Вы дворянин? — спросил вдруг главинж.

— Был, да весь вышел. А что?

— Да так! Я вот тоже был, да весь вышел.

— Малость осталась, — не удержался Пасоцтринимусен, — такого эдакого: я сам, — пшел к чорту, не смеешь, холуй, жид, не тронь — не завоняет... Верно?

— Верно. У вас зато ничего не осталось. Торричелиева пустота. Или, виноват, — холуйство. То самое, которое. Ре-кламочку себе заготовливаете? Героическое поведение инженера Пасоцтринимусена, или смотри, интеллигентская сволочь, и учись. Как это назвать?

— Можно холуйством.

— То-то. Зачем вы пришли? Сказать, что я был не прав, когда высказывался против приглашения Кэльберга? Или лекцию прочесть о нейтралитете. Заявление подали?

— Какое?

— В ВКП. Сочувствую и не считаю возможным в данный момент... учитывая и сознавая, что величайшая стройка... Подали заявление?

Пасоцтринимусен разгладил усы и вздохнул.

— Заявление я не подал.

— Выжидаете?

— Нет, не выжидая, да и оставили бы вы меня в покое. Не люблю интимностей.

— Вот как?

— Да, вот как. Я к вам по делу пришел и по серьезному. Сегодня мне передали предложение. Интересное и остроумное, по-моему, но разобраться в нем до конца я не смог. Сложно.

— Кишка тонка?

— Да, кишка тонка. Предложение составлено машинистом школовских котлов Ярменчуком. Знаете его?

— Знаю. Высокий, черный?

— Совершенно верно: низенький блондин. Вот чертежик, поглядите.

Боровой надел пенсне и наклонился над чертежом. Пасоцтринимусену почему-то захотелось плюнуть в главинжов затылок как в плевальницу, и ему стоило больших усилий сдержаться.

— Ну как? — спросил он, подождав. Главинж не ответил, и Пасоцтринимусен прошелся по комнате из конца в конец. Главинж все разглядывал чертеж, и Касьян Сигизмундович тоненько и тихо запел:

В огороде буз-зина,
В Киеве дядь-ка.

— Дети спят, — поднял голову главинж, — не орите!

— Я и не ору. — Пасоцтринимусену опять до боли под ложечкой захотелось плюнуть в затылок Боровому.

— Ничего интересного в предложении нет, — сказал Боровой и, как бы в подтверждение своих слов, широко зевнул, показав серый старческий рот, — абсолютно ничего интересного. Отрезать часть экономайзера! Скажите, удивили! А результаты?..

— Позвольте... .

— Не позволю! Даром деньги швырять не позволю. Премии, затрата... .

— Но экономический-то эффект... .

— Реальный, ре-альный, дражайший мой Касьян Сигизмундович, — даже взвизгнул главинж, — реальный эффект! Я не поклонник миражей, энтузиазм у меня в судороги не перерастает.

Пасоцтринимусен поморщился.

— Злоба зато у вас судорожная, — сказал он, — челюсти вам, должно быть, эта злоба сводит. Я отлично знаю, что отрезка экономайзера не избавит нас от неприятностей с котлами навсегда, но некоторую пользу эта операция даст. Нельзя же, в самом деле, ждать у моря погоды. Будем

работать на двадцати восьми атмосферах. Я с Горбовым говорил, он находит, что отрезка дело стоящее.

— Горбов — мальчишка!

— Горбов дельный парень, — возмущился Пасоцтринимусен, — спрячьте свою злость на пять минут в портсигар.

— Сов-ветской выпечки техник. Прапорщик военного времени, а, как известно, курица не птица, баба не человек, а прапорщик не офицер.

— Перестаньте!

Главинж смеялся собственной остроте и покачивался на стуле.

— Есть остроты трех сортов, а есть сверх этого — суррогаты острот или остроты обанкротившейся интеллигенции. Интеллигенции этой следовало бы помнить, что непременным слагаемым остроты является юмор, а уж какой у висельников юмор.

— То есть почему же у висельников?

— Потому что вы самоубийца...

Главинж хотел опять засмеяться, но раздумал. Облизав сухие от злости губы, он сказал отдельно и внятно:

— Паскудство, дражайший Касьян Сигизмундович, величайшее паскудство в этих ваших сентенциях. Не следовало бы вам руки подавать...

— Но обстоятельства заставляют, — усмехнулся Пасоцтринимусен. — Хоть бы вредители были, а то, ведь, так только, кукиш в кармане. Добрый народ коммунисты и терпеливый. Дали бы мне волю, я бы вам показал, где раки зимуют.

— Расстреляли бы?

— Зачем расстреливать? Стрелять вас не стоит. Под наганом бы превращение совершилось. Дать вам надо работу — инженер вы знающий — и поставить возле вас паренька с наганом, — чуть что — в штаб Духонина. Превратилась бы тогда потенциальная энергия в кинетическую и еще как бы превратилась, смею вас уверить...

— Тоже изнасилование проповедуете?

— А почему нет?

Главинж сидел, заложив руки в карманы брюк, и шмурыгал носом. Ему было не по себе, он терпеть не мог чараканьих усов Пасоцтринимусена, его тяжелых рук с синими венами и запаха, который носил с собою повсюду Пасоцтринимусен, — пахло от него собаками и мокрой кожей. Посидев молча минуту, Касьян Сигизмундович потянулся и спросил:

— Отвергае?

— Отвергаю!

— Решительно?

— Решительно, — ответил главинж и поскрипел протезом.

Пасоцтринимусен встал, и Боровой впервые увидел его по-настоящему озлившимся. Тараканьи усы зашевелились как у кота, и по-кошачьи же зеленым блеснули зрачки, сильнее завоняло псиной.

— Стрелять таких нужно, — сказал Пасоцтринимусен, — стрелять из двенадцатидюймовки, в упор. Напрасно я вас пожалел. Кукиш-то вы из кармана вынули, оказывается.

— Да поймите же, дражайший Касьян Сигизмундович, — возмутился главинж, — поймите, что не могу я одобрять предложение, которое никакого реального эффекта не даст. Блеф это, а не рационализация.

— Сами вы блеф! — Пасоцтринимусен потушил в пепельнице окурок и пошел к дверям. — Я скандал затею грандиозный, — сказал он, — я дело до ГПУ доведу, но экономайзер отрежу и дело это проверну, будьте спокойны.

— Дражайший Касьян Сигизмундович...

Но Пасоцтринимусен уже ушел. Главинж вынул из ящика письменного стола старинную, с попугаями на крышке табакерку и сказал:

— М-э-эм...

Потом он закатил глаза к потолку, зевнул и, встряхнувшись как щенок после купания, насыпал на ноготь табаку.

— Э-э-м...

Осторожно он поднял палец к носу и, прищурившись, втянул табак. В носу щекотало, и главинж хихикал.

— Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо, — бормотал он и сучил здоровой ногой, весь извиваясь и приплясывая в кресле, — очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо...

Постепенно «очень хорошо» перешло в похрапывание и повизгивание. Получалось так:

— Ййхро, очхрай, ййхро...

Погодя главинж бурно и долго чихал. Вошла жена.

— Опять нанюхался, — сказала она строго. — Мне не веришь, так врачу поверь.

— Не верю, не верю, — хихикал главинж, — никому не верю. Где Боренька?

— Читает...

Вытерев платком слезящиеся глаза, Боровой поднялся.

Младший сын главинжа читал, шевеля губами. Боровой заглянул в книгу.

«Разумеется, Турксиб, на постройку которого отдано столько сил...»

— Что читаешь?

— Это, папа, в школе...

— Что в школе?

— В школе...

— Я тебе сказал, — бешено завопил Боровой, — я тебе сказал, мерзавцу, что читать. Пушкина читай, Гоголя читай, Некрасова читай, Успенского читай, Майн-Рида, Киплинга, Буссенара...

— Папа, но...

— Все ложь, все ложь, я сам инженер, я знаю, не смей читать...

Мальчишка неожиданно заплакал.

— Чего ревешь?

— Надоело мне Майн-Рида читать, брехня у Майн-Рида, вовсе такого ничего нет...

Главинж залпом выпил стакан холодного чая и ушел спать.

На другой день Пасоцтринимусен ввалился к нему в кабинет и, не дожидаясь приглашения, сел.

— Не одумались?

Главинж промолчал.

— К немцу пойду, — пригрозил Касьян Сигизмундович, — немец не меньше вас понимает.

В коридоре Пасоцтринимусена поджидал Горбов. Он был молод, волосы у него лихо курчавились, кепка сидела где-то на макушке, и, родись он в деревне, быть бы ему первым сердцеедом и непременно уж гармонистом. Но родился он в городе, отец его работал на этой же фабрике, и сам он работал на ней до двадцать пятого года. В двадцать пятом же пошел учиться, а кончив, вернулся на фабрику, но не кочегаром, а техником. Назначили его после года работы заведующим паро-силовым отделом.

— Уперся? — спросил он у Пасоцтринимусена, когда тот вышел, хлопнув тяжелой дверью.

— Уперся, хромой чорт!

— Ну, и лих с ним! Пойдемте к немцу.

В паро-силовом скрежетали тележки с углем, пахло нефтью и горячим железом.

— Товарищ Горбов!

Небольшой человечек в просаленной куртке остановил Горбова и молча поглядел ему в глаза.

— Как?

— Что как? Идем к немцу, авось скажет окончательно, спец большой.

— Да чего тут говорить? Дело же ясное, я все проверил, да и вы согласны.

— Правильно, — развел руками Горбов, — но... ничего не поделаешь.

Маленький человек нахмурился и покраснел пятнами.

— Время уходит, — сказал он глухо, — время же уходит. Перепланировали бы быстренько. Ах, бюрократ, сукин сын. Он предлагает барабаны выкинуть и часть кладки — перерасход получится угля. Разве можно? Углем мы богаты, что ли, так чтобы швыряться? Нельзя нам углем швыряться!

Кальберга Пасоцтринимусен и Горбов застали в лаборатории. Огромный немец в белом халате сосал трубку и сопел.

— Топри тень, — бормотнул он весело. — Я умираю от скуки. Мой помочник ф трест, а я тут рапотаю пез души — отин, отин. Тут биль фрау, но он пошел за целлулоза и профалился. Ай, не уметь интенсивно рапотает. Фсе уходят, фсе перетышка, фсе как спит.

Кальберг засмеялся очень весело и очень громко. Смех его был настолько заразителен, что Горбов не выдержал и тоже прыснул, один Касьян Сигизмундович был невозмутим и спокойно курил свою похожую на дубинку папиросу.

— У нас дело к вам есть, Оскар Брунович.

— Какой дело?

— Относительно котлов Шкода.

— Я вас слышаю. Но я просил бы...

— Да, да, я буду говорить по-немецки.

Кальберг потушил спиртовку и сунул трубку в карман. Очки его сияли, и, казалось, он улыбался. Пасоцтринимусен развернул чертеж и сел, Горбов притулился возле.

— Вы знаете, конечно, историю с котлами Шкода. Длинная и в достаточной мере гнусная история. Главный инженер фабрики Боровой...

— Это тот самый?

— Какой тот самый...

— О, вы не знаете... У меня был с ним забавный разговор, он даже обиделся на меня...

Похохатывая и похрюкивая, Кэльберг рассказал о своем разговоре с главинжком, о пирогах «за индустриализацию» и о том, как он посоветовал Боровому написать письмо Максиму Горькому.

— Ему все русские пишут письма, и он очень хорошо умеет отвечать всем, — говорил Кэльберг, — я собираю его ответы. Очень интересно и поучительно...

Горбов смеялся.

По-ребячьи морща нос, Кэльберг расспрашивал о котлах. Его вопросы походили на анкету, так они были обстоятельны и так вытекали один из другого. Потом он взял чертеж и молча принялся его разглядывать.

— Кто предложил? — спросил он.

— Рабочий, машинист.

— Простой рабочий? Самый простой рабочий?

— Да, самый простой рабочий. Что же тут удивительного. Ему-то виднее, чем технику.

— Это очень хорошо, очень, — подумав, сказал Кэльберг и погода добавил: — нужны некоторые коррективы, совсем ничтожные. Вы дадите мне сегодня подробные сведения, а завтра утром я вам возвращу чертеж в исправленном виде. И пожалуйста скажите вашему машинисту от моего имени, что ему необходимо учиться, что он талантливый человек, талантливый конструктор. Скажите ему, — Кэльберг положил жирную руку на плечо Горбову и тряхнул его так, что у техника слетела кепка, — скажите ему громко, а если он будет упираться, сильно поколотите его от моего имени... Да, да, не смейтесь, пожалуйста, таких людей нужно шлифовать и обрабатывать для того, чтобы из них получались гении...

— Гении? — Пасоцтринимусен дернул себя за ус и пискнул от боли. — Гении?

— Да, гении. Вы очень близоруки, вы не замечаете гениев в их эмбриональном, так сказать, состоянии, а вы должны их замечать. Знаете, что сделал бы европейский предприниматель с таким машинистом?

— Ну?

— Не знаете? Он устроил бы его в высшее учебное заведение, он оплачивал бы все расходы по его образованию, он нанял бы ему репетитора, он сохранил бы за ним заработок, но он поставил бы одно условие. Окончив, молодой инженер должен бы был проработать на предприятиях своего патрона, предположим, десять лет. О! — Кэльберг расстег-

нул халат и жилетку, и его живот вылез наружу — О! — капиталисты далеко не так глупы, как вы думаете...

— Мы и не думаем, — возразил Горбов.

Кэльберг прошелся по лабораторий и, круто повернувшись, почти заорал:

— Надо производить анализ! Необходимо отличать изобретателей, работающих над изобретениями как над решением парада или головоломки, от изобретателей... вот таких... как ваш машинист... Он шел по линии наибольшего сопротивления... Вы знаете, что он сделал?

— Да, — медленно сказал Пасоцтринимусен, — да, мы знаем, что он сделал. Он, упершись лбом в необходимость знаний математики, сам, без всякой помощи, изучил высшую...

— О! — уже заорал Кэльберг, — он изучил высшую математику сам, вы должны носить его на руках, это талант...

Горбов шагнул вперед. Прямо перед ним сверкали очки Кэльберга.

— Ярменчук, — сказал Горбов тихо и смущенно, — Ярменчук коммунист. И он не сам изучал математику — я помогал ему, в индивидуальном порядке. Ярменчук говорил мне: котлы должны работать, иначе простой будут, и с планом мы в галошу сядем. Если вы думаете, что Ярменчку все давалось легко, то вы глубоко ошибаетесь. Он больной человек после этой истории, котлы из него жили вытянули. Но он коммунист, он рабочий, и учиться он пойдет без всяких тонкостей, просто потому, что нам специалисты нужны свои и он это хорошо знает. Вот как.

Кэльберг молчал. Ему нечего было ответить. Он думал, он хотел направить мысли в одну, определенную сторону, но мысли разбегались, и сосредоточиться он не смог. Пасоцтринимусен насвистывал, удобно усевшись на порожнем ящике и заложив ногу за ногу. Кэльберг поднял глаза: Горбов, сконфузившись, улыбался, ворот его косоворотки был расстегнут, он старался застегнуть пуговицу, но это ему не удавалось.

— Знаете, — наконец сказал Кэльберг, — знаете, то, что происходит у вас, так невероятно, так... изумительно и так... колоссально, что я с каждым днем все больше и больше глупею. Я не хочу говорить пошлостей, но Архимед, наверно, имел в виду именно вас, вот таких... — Кэльберг долго искал подходящего слова, — вот таких... кудрявых... когда пообещал перевернуть земной шар в том случае, если ему дадут точку опоры... Вы — точка опоры!

Боровой оперирует исключительно специальными терминами. Протез его скрипит. Инженеры слушают молча. Директор сосет потухшую папиросу и пьет воду. Он не доверяет главному инженеру, и ему все время хочется сказать:

— Бреешь, чортова калечка!

Пирри стенографирует. Великолепный его прибор сияет медью.

— Я считаю, — подводит итог Боровой, — я считаю, что вышеуказанная цифра является максимумом нашей суточной выработки. Машина остается машиной. Ничего сделать нельзя! Я расписываюсь в своем банкротстве. Я банкрот! Ко всему, конечно, можно приклеить ярлычок оппортунизма, — козлоподобный инженер разводит руками и поднимает глаза к потолку, — но, воля ваша... локоть не укусишь.

Главный инженер садится и тяжело вздыхает. Тогда просит слово Машка. Он зол и старается смотреть под ноги. Оттого, что сидел он все время опершись лицом о край конторки, щека его пылает багрянцем... Едкая злоба, жгучая как горчица, распирает его.

— Товарищи! — говорит он глухо и прибавляет, помолчав: — граждане. Дело, конечно, многоизвестное, не мы первые, не мы последние об этом вопрос поднимаем. Вопросик дефективный... Скорости...

Кэльберг жевал губами. Большие и толстые, как огурцы, пальцы шевелились на его животе.

— Не раз и не два, — продолжал Машка, — ходили мы по кабинетикам и спрашивали. Конечно, приглашали нас садиться, папироской угощали и всякое такое. Но дело — ни бум-бум! Все объяснения такие, что, дескать, хотя измерители на триста, но не можем мы ввиду того, что мы не немцы и уголь наш не позволяет, а также композиция и плотность.

Машка помолчал и огляделся.

— Им, конечно, с горы виднее, — жестко ухмыльнулся он, — они образованные и все такое прочее. Но наши мысли были, что повернуть это можно и тем самым покончить с ихней блажью. — Машка кивнул головой в сторону инженера, и среди рабочих прошел смешок. — Факт — блажат, — продолжал Машка, еще более озлившись. — Они с испуга или еще чего раком пятятся...

Звякнул звонок председателя.

— Легче, товарищ!

Машка ухмыльнулся.

— Ладно, легче. Ну вот... триста... а мы до двухсот не дотянем... — «Невозможно», передразнил он кого-то и вдруг подошел к столу председателя. — Где мы не были? Везде были. Все обошли. К каждому ходили. Щеглов знает. А что толку-то вышло? Ничего не вышло. Инже-неры! За производством нам что сказал: «Я, — говорит, — товарищи дорогие, и сам об машинах ночи не сплю, питание в глотку не лезет, и ничего не надумал, даром што образование имею»...

Машка осекся, вспоминая что-то, а в наступившую тишину острым ножом врезались суховатые слова Пирри:

— Господин Кэльберг просит слова.

Председатель наклонил голову.

Слон, крихтя, поднялся и пошел к столу. Пирри остановился рядом.

— Господа, — сказал он и, точно не чуя смешка, что прошел по скамейкам, и хрипловатых слов: «господ мы в осьмнадцатом налево пустили сполна», повторил: — Господа! господин Кэльберг считает, что в основном проблема машин, если так можно выразиться, решена! Но... только в основном. Количество оборотов без разрыва можно, по мнению господина Кэльберга, увеличить совершенно безболезненно до двухсот восьмидесяти в минуту.

Башкатов охнул. Щеглов явственно сматерщинничал и, не заметив этого, весь подавшись вперед, ел глазами безукоризненный профиль американца.

— Господин Кэльберг, — холодно продолжал Пирри, — просит также уведомить уважаемое собрание, что согласно его, господина Кэльберга, анализу массы можно будет перейти на новую консистенцию не позже, чем через неделю. Никакой остановки машин не потребуется, но необходимо будет очень и очень напрячься, так как смешанная масса старой и новой консистенции в течение трех-четырех часов будет давать брак. Чаны же, трубопроводы и магистрали очистить, по мнению господина Кэльберга, не представится возможным без длительной остановки всего процесса производства. Господин Кэльберг просит дирекцию дать ему возможность в течение всего подготовительного и опытного периода во всякое время дня и ночи пользоваться лабораторией.

— Чего? — поднялся Арефьев сильно толкнув стол. — Чего?

— Господин Кэльберг не раз, приезжая на фабрику в ночное время, обнаруживал лабораторию закрытой...

— Как закрытой?

Нехорошее молчание поползло по рядам. Кто-то одиноко и надсадно кашлял.

— Как закрытой?

— Очень просто: закрыть на ключ! — заорал вдруг Кэльберг. — Закрыти или ляборатори, или шкаф с нюжный препарат, инструмент. . . Я ничего не понимаю, я иду в комень-датур за ключ, но ключ нет. Я ухожу в свой том и делаю себе спать, фрема уходит, я не могу поспеть са фосемь часов, отел шляпу, ушел. . . Вам объяснит Пирри. Та!

Кэльберг сел. Безобразие! Чорт знает что такое! Несколь-ко раз он предупреждал Борового. Даже вчера он позвонил ему по телефону, а сегодня опять та же история. Разве так можно работать?

Он поднимает голову.

— Та?

— Оскар Брунович, — тихо говорит Арефьев, — Оскар Брунович, наплюй ты на Борового на этого. Чуть что валит ко мне, а у меня с этой сволочью разговоры короткие. По-нял? Он на тебя зуб имеет.

— Суп. Та.

— Ну вот. Поперек горла ты ему, Оскар Брунович, си-дишь, он тебе и ставит палки в колеса.

— В какой колеса?

— Поговорка такая есть, — на миг тупеет директор, — русская поговорка. А после заседания зайди-кось ко мне, потолкуем. И этого стервеца тоже вызовут, — взвояет.

Заложив руку за борт пальто, Пирри продолжает гово-рить:

— Господин Кэльберг. . .

— Просто Кэльберг, — шипит грозно патрон, — я вас просил не ставить меня в глупое положение. Просто Кэль-берг.

— Кэльберг, — соглашается Пирри, — Кэльберг как в целях профилактических, так и в целях уяснения некото-рых фактов считает необходимым доложить уважаемому собранию, что главный инженер фабрики Боровой не соот-ветствует своему назначению. Главный инженер противо-действует тем мероприятиям, которые, по мнению Кэль-берга, являются совершенно необходимыми. . .

Молча, скрипя протезом, выходит из комнаты Боровой, и вслед ему летит тоненький и злой свист.

— Прекратите, — звонит председатель, — прекратите! Кто свистит?

Молчание и опять свист.

— Кто свистит?

О предпоследней скамейки поднимается Евграф Андреевич Седин.

— Я свиств!ю!

— Зачем же вы свистите, товарищ Седин?

— Я не только свистеть буду, я ему харю на таблицу умножения перемножу.

Голос у Седина хриплый, и лицо взмокло от пота. Он говорит долго. Он говорит о том, что всецело присоединяется к мнению немца и что Борового давно пора было гнать в три пши с фабрики вон. После Седина говорит Щеглов, после Щеглова Нейман, и последним берет слово Эрнст-Пауль Ганцке. Он говорит через Горбова.

— Если инженер мало знает и не хочет знать, то инженер не нужен и такого инженера следует снять с работы. Если мы не снимем, то нам не удастся выполнить нашу программу.

Ганцке аплодируют все, даже Кальберг.

Над улицей плывут рваные снеговые тучи, улица во мгле и в редких пятнах фонарей. Кальберга нагоняет Горбов.

— Товарищ Кальберг! вот какая музыка! Комсомол, понимаете, собирается вечер повернуть — встречу немецких рабочих и наших в клубе... Так вот ребята меня уполномочили с вами поговорить. Как вы?

— Та?

— Одним словом, — продолжает Горбов, — одним словом, вы в Китае были и там кой-чего видели и везде. Может, вы поделитесь?

Кальберг улыбается. Он очень устал, болит спина, хочется есть, но ему весело. Он бы с большим удовольствием ущипнул этого молодого инженера за румяную щеку.

— Карашо, — говорит Кальберг, — карашо — я приду на эти поминанья. Я также буту много коварить... Карашо...

Кальберг идет дальше, к директору. Горбов тает в сумерках. Навстречу Кальбергу из сумерек выплывают две обнявшиеся фигуры. Это Эрнст-Пауль Ганцке и Евграф Андреевич Седин.

— Эрнст Палыч, — хрипит Седин, — Эрнст Палыч, не стесняйся, выматерись.

— Нет, — слабо возражает Ганцке, — нет...

— Ну выматерись, я тебя прошу. Ну выматерись, Ну выматерись в гробину душу, свет, ну выматерись!

— Карашо, — шепчет Кэльберг, — карашо. Очень карашо.

Садясь в кресло в кабинете директора, он спрашивает у Щеглова:

— Скажите, пошалюста, что есть выматериться в горбину дюшу, свет? Что это такой? Я шел по улица...

Щеглов, выкатив глаза и задыхаясь, хохочет, и Кэльберг видит, как все, и Арефьев, и Нейман, и Матросов, фыркают, глядя друг на друга...

ПРИКАЗ № 693

Во изменение приказа № 669.

Главным инженером госфабрики № 19 на место гр. Борового назначаю заведующего др.-м. цехом гр. Пасоцтринимусена, коему надлежит не позже первого декабря сего года приступить к исполнению своих обязанностей.

Директор (подпись)

ПРИКАЗ № 694

Заведывающим др.-м. цехом госфабрики № 19 на место гр. Пасоцтринимусена, назначенного главным инженером госфабрики № 19, назначаю инженера Неймана, коему надлежит немедленно приступить к исполнению своих обязанностей.

Директор (подпись)

Витька Мальцев, большеротый и губастый парень, прочел приказы и огорчился, решив, что дело, так распрекрасно наладившееся, лопнуло. Придя в цех, Мальцев сказал дефибрерщику Онисимову:

— Такое дело. Касьяна-то с повышённыцем. Видел?

Онисимов кивнул головой и сплюнул. Все в цехе о повышении Пасоцтринимусена уже узнали и все были изрядно огорчены, но Пасоцтринимусен зашел к концу смены.

— Я, товарищи, теперь бюрократом буду и вредителем, — сказал он, прикуривая от своего же окурка новую папиросу, — ко мне теперь без доклада не входить...

— Бросили бы трепаться, чего зря, — попросил Мальцев, — не до трепачества.

Пасоцтринимусен попробовал ткнуть Мальцева под ребро, но и это не помогло, Мальцев даже не улыбнулся. Ляди, с которыми Пасоцтринимусен сжился, с которыми проработал много лет дружно и хорошо, хмуро молчали. Касьян Сигизмундович освирипел.

— Я не умер, — сказал он, — я дело буду делать. Не рано ли хоронить?

— А кто тебя хоронит?

— Все вы хороните! Я сейчас Нейману цех сдавать буду, он малый хороший.

Через несколько минут пришел Нейман. Его знали и ценили, но с «Касьяном» расставаться все-таки было жалко. Вечером, окончив сдачу цеха и подписав акт, Пасоцтринимусен сказал:

— Я тут дело одно с ребятами затеял, товарищ Нейман, хотим механизировать подачу баланса. Так ты дело это не забрасывай, толковая штука может получиться. Чертежики у старосты возьмешь...

— У какого старосты?

— У старосты рационализаторского кружка... Работали мы помаленьку...

— Партизан вы, я вижу, Касьян Сигизмундович. Затеяли у себя кружок, ни с кем не согласовав? Партизанщина...

— И партизанщина не вредна бывает...

— Как сказать?

Из цеха Пасоцтринимусен побежал в клуб. Собрание уже началось. Зал был набит до отказа, и духота стояла такая, что если бы горели керосиновые лампы, то они обязательно бы потухли от недостатка воздуха. Говорил Арефьев:

— Баланс не отгружен, чернорабочих найти, дорогие товарищи, надежды нет, а баланс сам с барж на берег не перелетит и в штабеля, чорт бы его побрал, не уляжется. Форменная трагедия драматическая выходит, ежели прямо посмотреть, да если и не прямо, все равно выхода никак не отыщешь, как ни вертись и сколь ни прыгай. Правильно я говорю?

— Нет, неправильно!

— Почему же это неправильно, товарищ Жуков?

Из зала к сцене протискивался невысокий парень в кожаном картузе. Темные глаза парня поблескивали из-под козырька фуражки. Вспрыгнув на сцену, Жуков оглядел зал и, очевидно, ничего в темноте не увидев (свет горел только на сцене), снял картуз, поскреб ногтями лоб.

— Я от комсомола скажу, — молвил он, — коротенько скажу. Ввиду прорыва и ввиду того, что мы на черной доске сидим и с черной доски пока что не слезаем, комсомол, конечно, объявляет себя мобилизованным и, — Жуков помахал картузом, — и заверяет партийную и рабочую массу в том, что он, конечно, баланс целиком и полностью отгрузит и...

Зал затонал и взвыл.

— В чем дело, товарищи? — поднялся Щеглов. — Чего случилось?

— А того случилось, — заорал кто-то визгливо, — того случилось, что нечего ребят вперед стариков пускать!.. Если мы, старики...

— Вали сюда, — предложил Щеглов, — отсюда выскажешься...

— И с места способно, — продолжал визгливый голос, — это вам трепаться так со сцены, а мы и тут можем... Пускай комсомол начнет отгрузку, субботник пострадает, потом мы двинемся.

Поздней ночью Кэльберг вернулся домой. Фрау Берта принесла ему кофе, и он спросил у нее сиплым от уличной сырости голосом:

— Фрау Берта, вы не хотите вступить в комсомол?

— А что это такое, герр Кэльберг?

— Комсомол? Чудесная штука, чудесная штука, фрау Берта... Он воспитывает таких удивительных людей...

— Но мне уже поздно воспитываться, герр Кэльберг, вы не находите?

— Нахожу, фрау Берта, и поэтому оборудуйте мне ванну...

Раздевшись догола, он накинул халат и, прихватив с собой ворох газет, отправился в ванную комнату. Там было жарко, вода исходила паром.

Кэльберг хрюкнул и, скинув с правой ноги туфлю, полез в воду.

— Очень хорошо.

В ванне он прочел две газеты и только после чтения положил очки на полу и принялся мыться. Огромное его

тело вытеснило из ванны почти всю воду, он фыркал под душем и отряхивался так, что брызги разлетались по всей комнате и шипели, испаряясь на горячей колонке.

— Великолепно! — бурчал он, вытираясь мохнатой простыней и балансируя на одной ноге, — великолепно!

Его жирное, розовое тело покраснело, но ему нравилось растирать себя простыней, и, морщась от боли, он продолжал вытираться.

— Отлично.

Подконец сослепу он спиб головой маленькую проволочную корзиночку с губками, и градусник, упав, разбился. Усевшись на корточки, он долго ловил пальцами ртуть, подмигивая, делал хитрые рожи и бросил эту затею только тогда, когда устал до смерти.

Выйдя из ванной, он отправился в столовую и предложил фрау Берте сыграть партию в шахматы, но, не доиграв, сел к роялю. Фрау Берта, по-гусиному вытянув шею, следила за ним. Да, он становился таким, как раньше, до этой ужасной поездки в Азию. Он был весел, шутлив, он пел по утрам, одеваясь, и сегодня наконец подошел к роялю. Он опять много ел, но что-то в нем изменилось. Он не спал больше днем, он работал не ругаясь и не ворча, как раньше. Он все реже и реже звонил Пирри, и отношения их стали другими. Раньше Пирри разговаривал с патроном несколько свысока, теперь Кэльберг не шутил с ним и не трепал его по плечу.

Фрау Берта слушала. Кэльберг играл Бетховена. Его точные пальцы скакали по клавишам, он улыбался.

— Почтенная публика, — сказал Кэльберг, — вторым номером нашей программы...

Фрау Берта сияла: да, да, он такой, как прежде. Он даже устроил концерт. Сейчас он покажет, как медведь ест мед, и сам будет хохотать до колик, до слез...

— Я буду работать, фрау Берта!

— Вот тебе на! А где же второй номер программы?

— Мне некогда, милая фрау Берта!

Щелкнула крышка рояля, Кэльберг притворил дверь в кабинет и оглянулся.

— Нужно работать!

В кабинете пахло табаком и книгами. Он подвинул кресло к столу и открыл тетрадь. Еще не зная, что будет дальше, он написал:

— «К вопросу...»

К какому вопросу?

Но ему хотелось работать, ему было очень тепло и очень спокойно, он опять обмакнул перо в чернильницу.

К какому вопросу?

Серенький журнал лежал с правой стороны, в журнале был заложен переведенный с русского на немецкий проект постройки нового огромного и мощного целлулозно-бумажного комбината. Он прочитал проект и, поджав губы, расставил на полях ехидные вопросительные знаки. Теперь он знал, о чем писать. Он выбрасывал из проекта кучи мыслишки и развивал свои мысли. Разложив карту Союза на чертежном столе, он считал, щелкал арифмометром, опять писал.

— К чорту, к чорту! — возмущался он. — Слишком много денег. Если произвести подвоз водным путем...

Ему жалко было денег, он неистово ругал составителей проекта и подчеркивал фразы, в которых говорилось о том, что такие-то машины можно изготавливать не за границей, а в СССР.

— Их нужно бить по голове, — говорил он, — бить тяжелым молотком за такие проекты. Они чужие люди, они скверные люди....

У него не было полемического задора, когда он писал, ему просто хотелось сберечь деньги. Он слишком много видел за время, прожитое в Ленинграде, и то, что он видел, поражало его. Он видел, как люди бешено и злобно, совсем как на фронте, сражались за лишнюю тонну бумаги. Он видел, как люди мобилизовали себя и очень по-будничному совершали величайшие подвиги. Он помнил, как в дни празднеств, седьмого и восьмого ноября, рабочие ремонтно-механической мастерской и бригады всех машин с восемью часов утра стали на ремонт, как люди двое суток не выходили из ворот фабрики и спали на целлулозе по два-три часа для того, чтобы не свалиться. Он сказал тогда инженерам:

— Мы есть специалист, командир, мы не имеем право уходить с фабрики на тва тня, ми толшен тут телать свой присутствий...

Инженеры промолчали все, кроме Горбова, Неймана и Пасоцтринимусена. Нейман злобно улыбнулся:

— Никто не останется? Все гулять будут?

Утром мимо фабрики проходили колонны демонстрантов, маленькие солнца кувыркались на меди труб, били барабаны, и щелкали от ветра знамена.

Рабочие ринулись к окнам и с подоконников крикнули

«ура» своим отдыхающим товарищам. Колонны остановились, недоумевая, с чего это быть рабочим госфабрики девятнадцать немытыми и потными. Щеглов, обрядившийся ради праздника в прозодежду и орудующий у крана, вылез на балкон.

— Прорыв имеем, товарищи! — крикнул он. — Ремонт делаем, товарищи...

Этим и кончилась речь Щеглова. Толпа завопила что-то радостное и непонятное. Кальберг ни с того ни с сего заплакал и спрятался от стыда. Двое суток он просидел в лаборатории и питался пирогом «за индустриализацию». Его часто вызывали в цеха то за тем, то за другим советом, и он шел, бросая свои колбы и реторты. Вечером седьмого ноября в двери лаборатории тихо просунулась маленькая голова Эрнста-Пауля Ганцке. Старик робко поклонился.

— Добрый вечер! — сказал он и еще раз поклонился.

— Заходите! — Кальберг почему-то сконфузился и почувствовал, что покраснел. Ганцке вошел и присел на краешек стула. Его пальцы перебирали кромку фартука.

— Я хотел, — ворчливо заговорил Ганцке, — я хотел сказать вам, что я... был неправ...

— Почему?

— Тогда в Берлине я был неправ. Мы оба, и я и Бройр, были неправы, хоть мы не знали ничего о вас, кроме того, что вы изобрели этот... котел... а мы из-за вашего изобретения остались без работы и без хлеба... Но теперь я прочел в газете... про то, как вы были в Китае и... что вы отобрали у Пфэака патент и что вы... тоже остались без работы. Одним словом, я был неправ, когда налетел на вас тут, в цехе...

Ганцке замолчал. Кальберг смотрел в темный угол лаборатории и не знал, что ответить.

— Вы честный человек, — вдруг сказал Ганцке, — вы настоящий человек. Мы, все рабочие, читаем в газетах статьи о вас, о том, как вы... изобретаете и как вы бережете деньги государства... Рабочие говорят так: он наш инженер, и это ничего, что он толстый, это ничего. Ваш пресс очень хорошо работает, отлично работает. Да...

Кальберг поднял голову, но Ганцке уже исчез. Хлопнула дверь...

Однажды Кальберг предложил Нейману организовать кружок-семинар инженеров и техников. По его мысли, кружок должен был разрешить вопросы, вытекающие из повседневной практики инженеров.

— Я много знаю, — сказал Кальберг, — но мои знания иногда лежат мертвым капиталом, а я ростовщик по натуре. Проценты с капитала, которым вы будете пользоваться, доставят мне грандиозное удовольствие.

— Какие же проценты? — удивился Нейман.

— Новые вопросы...

Семинар начал работу, и, к величайшему удивлению Кальберга, уже в восемь часов вечера комната наполнилась не только инженерами и техниками, но и рабочими, сеточниками, рольщиками, каландровщиками. Вопросов было такое множество и были они так разнообразны, что Горбов только болтал ногами под столом от удовольствия. Кальбергу пришлось отвечать через Пирри.

— Втуз заимели, — восхищался Шеглов. — Ну и дела...

Следующее занятие шло в цехах. Кальберг повел всех в лабораторию и, к ужасу химика, разбил, волнуясь, две реторты подряд. Занимающихся пришлось разделить на три группы, так как не всем было нужно одно и то же.

— Ми будем телать снани, — орал Кальберг, — ми будем орканисовать каштый рапочи сам для себя немноко инженер! О! Ви понимайт мой предположени?

После четвертого занятия Евграф Андреевич Седин напился пьяным и, наняв лихача, вопил, мчась по Невскому:

— Кто едет? Евграф Андреевич Седин едет, инженер-профессор, утри сопли в гробину, душу, свет...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЕВГРАФ АНДРЕЕВИЧ — БРИГАДА

КОГДА КОНЧИТСЯ БЕЗОБРАЗИЕ?
СКВОЗНУЮ БРИГАДУ В ИЗДАТЕЛЬСТВА.
ДОВОЛЬНО МАКУЛАТУРЫ,

ДОВОЛЬНО ИЗДАНИЙ НИКОМУ НЕ НУЖНОЙ ДРЕБЕДЕНИ.
РАБОЧИХ В РЕДСОВЕТЫ.

Бумажные фабрики с величайшим напряжением борются за выполнение планов, за ликвидацию бумажного голода, за тысячи и сотни тысяч тонн бумаги, за то, чтобы Республика побеждала и победила на культурном фронте, за то, чтобы с помощью учебника Республика ликвидировала полностью и до конца неграмотность миллионов людей. Рабочие бумажных фабрик, сражаясь за выполнение и перевыполнение планов, сражаются за культуру, за учебники, за газету, за тетрадь, за журнал. Сражаясь за выполнение и перевыполнение планов, против неполадков, лодырничества, рвачества, стараясь выработать максимальное количество культурных

сорт бумаж, рабочие рассчитывают, что СССР получит новые, хорошие издания произведений вождей — Маркса, Ленина, Энгельса, Сталина, издания, напечатанные на хорошей бумаге. Сражались за выполнение и перевыполнение планов, рабочие позволяют себе думать, что на выработанной ими бумаге будут напечатаны произведения, нужные рабоче-крестьянским массам СССР, а не произведения, нужные обывателям и мешанам.

В чем же дело?

Почему рабочие только «позволяют себе думать»?

Ряд наших издательств, вернее, ряд работников этих издательств, очевидно, не уяснил себе полностью свои задачи. На нашу фабрику ежедневно поступают целыми партиями книги, или нешедшие вовсе своего читателя, или изъятые из магазинов и складов как макулатура. Недавно к нам поступили изданные «Красной газетой» произведения Луи Буссенара, затем какая-то книга «О трех лицах».

О писателе Н. П. Владимирове достаточно говорилось в свое время, но все-таки последняя книга Владимирова «Печаль» издана в количестве десяти тысяч. Глупая клевета на наше строительство, перемешанная со слезами по старой Руси и всяческими самоистязаниями, издана.

«Институт» недавно выпустил такие сокровища:

«Екатерина II и искусство».

«Фридрих Великий как нумизмат».

«Портреты российских императоров».

«Миниатюра при дворе».

Этот список можно было бы еще продолжить до бесконечности. Самое «занимательное» это то, что критичка вещает о «ненужности» книги после выхода книги в свет, но разруганная в пух и прах книжка моментально раскупается скачущим «по чтиву» обывателем.

А бумага потрачена!

Бумаги нет!

На бумагу голод!

Мы требуем немедленного прекращения затрат дефицитной бумаги на «перлы», подобные отмеченным.

Мы требуем прекращения «работы» беспартийных издательств и передачи их Госиздату.

Мы требуем экономного, хозяйского подхода к вопросам расходования бумаги.

Мы требуем осуществления на деле лозунга вовлечения рабочих в редакционные советы издательств.

(48 подписей)

Он взял со стола ножницы и подышал на них. Металл запотел и перестал блестеть. Он засмеялся потому, что ему было очень хорошо, и вырезал статью из газеты. Но окончательно перевести ее без словаря он не мог. Зазвонил телефонный звонок, ему хотелось, чтобы говорили с фабрики, но говорил Пирри. Неоконченная работа лежала в портфеле, портфель раздулся до предела. Кальберг хлопнул его по кожаному, прохладному боку.

— Мы тебе сейчас покажем, — сказал Кэльберг, подмигнув левым глазом, и опять засмеялся. Он не мог не работать. Ему было смешно. Разве любил он раньше работу, да еще такую — всякие проверки, подчеты, цифры, дроби? Он ненавидел такую работу, он старался не глядеть на свой рабочий стол в Берлине, в Вальпарайзо, в Нью-Йорке, в Шанхае. А теперь он гладит портфель. Почему? Портфель и портфель. Кожаный, с ремешками, с пряжками, с блестящим никкелированным замком.

Ему хорошо думать в этот вечер, и, поджидая Пирри, он делал выводы, точно перед ним лежал лист чистой белой бумаги. Каждый вывод он снабжал в уме порядковым номером. Чудовищная аккуратность! Сумасшедшая аккуратность! Дьявольская аккуратность! Всю жизнь он плевал па всякую последовательность и за все годы работы нигде, кажется, не поставил ни одного порядкового номера. И вот извольте! Думает, как заматеревший бюрократ.

Он не может больше сидеть. Он ходит по кабинету рыча и отфыркиваясь. Он ходит так, что у его ботинок на ковре взлетают облачки пыли, точно от разрывов.

— К чорту выводы!

Он делает гимнастику, чувствуя, как с каждым движением тела на спине рвется рубашка. Он ощущает себя громадным, сильным, ловким зверем.

— Раз, два, три, четыре-ре! Раз, два, три, четыре-ре! Раз, два, три...

Если бы фрау Берты не было дома, он сломал бы что-нибудь. Сорвал бы с петель дверь. В нем такая масса энергии. Эти руки? Ведь, кроме того, что они умеют держать нежнейшие приборы, они сильны. Вот — мускул. Он крепок как дуб. Можно обвязать руку шпагатом выше локтя, и шпагат лопнет. Этой стране нужны сильные люди, мужественные, ловкие. Он презирал спорт, и напрасно презирал. Теперь он будет заниматься спортом. Правда, у него не совсем здоровое сердце, но разве это важно? Он вылетит сердце. Он непременно это сделает.

— Раз, два, три, четыре-ре...

А выводы? Какие могут быть выводы? Чорт с ними, с порядковыми номерами. Все ясно без них. Вывод один: он, Кэльберг, тут нужен, и то, что делается здесь, в свою очередь, нужно ему, Кэльбергу.

— Раз, два, три... Жарко, однако...

Нет Гооднов, нет Пфээков, нет Ван-Шин-веев. Они ликвидированы. Рабочие сами управляют фабриками. Он слы-

пал недавно в клубе, один рабочий сказал другому: «Гляди! Это, брат, наш в доску. Голова!» Что значит — «наш в доску»? Это значит, что в нем нет осколков Гооднов, Пфэ-эков, Ван-Шин-веев. Он их, он с ними, он не продал им свой мозг и свои знания, а отдал. Берите!

— Довольно гимнастики!

Он садится. Он не хочет думать, он хочет смеяться. Почему, черт возьми, не смеяться, почему? Никаких котлов для избавления от рабочих. Да здравствуют котлы, освобождающие рабочих, дающие стране рабочих. Нет безработных! Но нужны рабочие. Он изобретет. Сейчас некогда, но он изобретет. Он будет освобождать рабочих для новых фабрик. И никто его не проклянет. Никто не бросит в него камень. Его портрет поместят, быть может, в газете, как портрет народного героя. Десять изобретений, двадцать изобретений, пятьсот изобретений — рабочий день сокращен еще на час! Шестичасовой рабочий день! Пятичасовой рабочий день! Люди отдыхают. Люди читают прекрасные книги, люди занимаются спортом, охотятся, любят... Люди очень много смеются и очень мало плачут. Нет Ван-Шин-веев с одной стороны и той жуткой толпы голодных китайцев за воротами с другой. Нет Ван-Шин-веев! Это техника! Это смысл! Они ждут бумагу. Им нужны учебники. Он спит не больше шести часов в сутки, но он будет спать два часа. Будет! Он достаточно силен. Он добьется! Он покончит наконец с этим вопросом выделки целлюлозы из соломы. Нужно щалить леса. Они имеют такие колоссальные возможности для выделки целлюлозы из соломы.

— Алло, Пирри. Вы попрежнему мрачно настроены, а? Хотите содовой?

— Нет, герр Кэльберг, благодарю вас...

— Знаете, Рэджи, когда я не вижу вас два-три месяца, то я забываю ваше лицо. Я помню только: нет, герр Кэльберг, благодарю вас; да, герр Кэльберг, благодарю вас... Никакого разнообразия. Но это между прочим. Сейчас я читал фабричную газету. Там есть статейка о том, что издательства печатают скверные книги на хорошей бумаге, да еще на той бумаге, которая достается с таким колоссальным трудом. Вдумайтесь, Рэджи. Рабочие, сами рабочие...

— Мы будем работать, герр Кэльберг?

Кэльберг молча наливает себе из сифона содовой.

— Нет, герр Кэльберг, да, герр Кэльберг. Чорт бы вас побрал совсем! У вас бывает когда-нибудь грязный воротничок? Нет? Вы так и родились в безукоризненном белье и в

хорошем галстук? Молчание? Вы никогда не удивлялись, почему я вас любил? А вообще вы удивлялись? Знаете, почему я любил вас? Потому, что мне некого было больше любить...

— Герр Кэльберг...

— Да, будем работать. Нужно сделать калькуляцию. Я, кажется, поймаю полдюжины мезавцев. Проверьте схемы...

Визжит арифмометр, захлебываясь:

Бзциньк! Пр-ра-а-рм! Циньк-циньк!

— Сто семьдесят девять, дробь...

— Откройте, пожалуйста, вентилятор, Пирри... душно. Кэльберг в жилете. Воротничок снят — сухую белизну его подчеркивает синее сукно стола.

Медово пахнет кэпстен.

— Девятнадцать тысяч четыреста ноль шестьсот пятьдесят ноль...

Пр-р-а-рм... циньк...

— Когда вы возвратитесь в Берлин, герр Кэльберг?

— Я больше не возвращусь в Берлин, Пирри! Двести один ноль тридцать два ноль сто три ноль... Я больше не возвращусь в Берлин. Мне мало Рейна и доброго пива... Между прочим, я не смогу даже заработать на это пиво. Двадцать девять сотых. Меня не любят, я опасен, со мной не стоит связываться.

Бзциньк! Пр-ра-а-м! Циньк!

— Миллион девятьсот тысяч. Сколько? Да, правильно. Совершенно правильно. Вчера в лабораторию зашел машинист из паро-силовой. Экономайзер наконец отрезали, и котлы работают удовлетворительно. Машинист сказал мне «товарищ Кэльберг». Товарищ! Я для него товарищ! Он смотрит на меня как человек на человека, и он уважает меня. В Берлине я враг. Я могу быть ласковым и добрым с рабочими, я могу пить с ними пиво и ходить к ним в гости — демократ в демократической стране. Хо! Но компания не станет держать меня, если мои работы не дадут ей возможность получать прибыли с рабочих же... Родина? Для филистеров и для Пфээков... Когда-то я называл слово «отчизна» святым словом. Девятнадцать ноль сто один ноль... К чорту отчизну! Двадцать три ноль... Почитайте Гейне, он хорошо пишет о родине... Вы были сегодня в тресте?

— Да, герр Кэльберг.

— Отлично. Почитайте Маркса и Гейне. Честные люди, по-настоящему честные люди...

Кальберг встает и набивает трубку табаком.

— Я думаю, — говорит он, — что нам сегодня придется проработать всю ночь.

Оперативная сводна выработки за пять дней декабря

1	бумажн. машина	по плану	152 тонн,	фактически	154,7 тонн
2	»	»	»	»	120 »
3	»	»	»	»	240 »
4	»	»	»	»	223 »
5	»	»	»	»	405 »
6	»	»	»	»	400 »
7	»	»	»	»	400 »
8	»	»	»	»	340 »
9	»	»	»	»	603 »
10	»	»	»	»	609 »

Девятая и десятая буммашины отстают, программа не выполняется. На сегодняшнее число выполнено только 79% промфинплана. Смена одежд по машинам все еще проходит неудовлетворительно. Четвертая машина не выполнила плана из-за плохого качества чулка и ременной передачи. Мы требуем от коммерческого отдела снабжения 4-й буммашины хорошими чулками и ремнями.

— В чем дело, товарищ?

— А ни в чем. На тебя пришел посмотреть, какой ты такой и как твоё здоровье. Благополучно? — Евграф Андреевич снял картуз и похлопал сам себя по плечи покровительственно и весело. — Сидишь? — продолжал он. — Штаны не просидел еще?

— Я, товарищ...

— Я тебе не товарищ, сопля лиловая, — рассердился Седин. — Какой я тебе ко псам товарищ? У меня таких сыновей, как ты, две дюжины, совершенно свободно, подберется. Понял?

Собеседник Седина, худой юноша с головой огурцом и с прыщом на лбу, отбросил карандаш в сторону и встал.

— Не мешайте работать, товарищ, — сказал он хлюпающим голосом. — Если вы пьяны, то отправляйтесь домой.

— Ты меня поил?

— Не мешайте работать!

— Я затем и пришел, чтобы ты работал, а не в иосу ковырял...

Евграф Андреевич строго посмотрел на конторщика и почесался под пиджаком.

— Вы кто такой?

— Я?

— Вы!

— Я есть сквозная бригада, — молвил Седин злым голосом и выглядел для пущего эффекта. — Да, я есть сквозная бригада, и ты, гремучий змей, от меня не отвертишься. Христианин ты?

— А вам какое дело? — вышел из себя юноша. — Какое вам дело? Это вас не касается!

— Молись! Убивать буду!

Конторщик слез с табуретки и пошел жаловаться по начальству. Через минуту из соседней комнаты вышел кудрявый зав и осведомился:

— Кто тут хулиганит?

— Я хулиганю, — сознался Седин. — Но только я есть сквозная бригада по поводу чулок и ремней. Выписали на четвертую машину?

— Сейчас, — заторопился юноша и мигом стал любезным и заулыбался. — Вы посидите минуточку, я быстренько, сейчас, сейчас, проверю только!

Евграф Андреевич милостиво кивнул головой и уселся. Настроение у него было хорошее, и мысли попадались почему-то веселые. О нем в газете два раза напечатали заметки, в которых сообщалось, как он, Седин, воюет с неполадками и каким он стал примерным сеточником. «Подождите, — думал Евграф Андреевич, — я вам всем еще покажу свою способность — дайте срок!» — Заметки он попрежнему собирал и даже вырезывал оперативные сводки, а против номера своей машины, посплюнув химический карандаш, писал: «А. Е. Седин.» С Машкой у Евграфа Андреевича отношения наладились как-то сами собой, Машка стал почтительным сыном и перестал грозить выселением, а с Ганцке старик сдружился. Немец постепенно овладевал русским языком и вел с Евграфом Андреевичем бесконечные споры на политические темы, причем Седин ругал советскую власть, а Ганцке ее защищал... Но постепенно Седин переставал возражать, и однажды в трамвае поддакнул немцу.

Юноша все рылся в книгах, зав же ушел, пожав плечами.

Наконец, юноша извлек откуда-то бумажку и сказал:

— Передано для исполнения второго числа сего месяца. Обратитесь в коммерческий отдел — там вам все объяснят подробно.

Евграф Андреевич выругался про себя и ушел, хлопнув дверью. В коммерческом отделе старичок с грустным носом

и выпуклыми глазами буркнул на вопрос Седина что-то непонятное.

Евграф Андреевич пригрозил:

— Вот, у меня терпение лопнет, и неприятности произойдут. Я есть сквозная бригада — по вопросу о чулках и ремнях. Выписаны?

Старичок посмотрел мокрым глазом на Седина, открыл рот, но говорить раздумал и опять принялся писать. Почерк у него был мелкий, с причудливыми завитушечками, крючечками и хвостиками, и Евграф Андреевич долго и с истинным удовольствием наблюдал за работой старичка.

— Ловко работаешь, — похвалил он и даже угостил старичка папиросой, но вдруг вспомнил о цели своего прихода и рассердился.

— В который раз, гражданин, я тебя про чулки спрашиваю, а ты все хвостом виляешь? Ударник?

— Ударник, — солгал старичок и поправил вставную челюсть. — У нас все ударники, — прибавил он, справившись с челюстью, — даже Григорий Григорьевич.

— А что это за птица такая, Григорий Григорьевич твой?

— Григорий Григорьевич не птица, — обиделся старичок, — а главный бухгалтер. Оклад у них пятьсот двадцать рублей... Вон кабинет ихний...

— А ты служающий при нем?

Старичок выкатил глаза и не ответил. Евграф Андреевич злобно оглядел комнату, плюнул и заорал:

— Шкафы всё, а что в тех шкафах — никому не известно! Давай на чулки наряд, чорт старый! Бюрократы, кабы вы сдохли, чума вам в рот...

Старикашка совсем перепугался.

— Ищи! — приказал Евграф Андреевич. — Ищи, иначе убивать буду! У меня характер страшный, я сквозная бригада есть — понял?

Старикашка рылся в бумагах, а Евграф Андреевич сидел и курил папиросу.

— Бесполезны ваши муки, — молвил наконец Седин. — Потеряли, видно? Э-эх вы, старичок-сморчок! Где начальство ваше?

Начальство отправило Седина к кладовщику, заявив, что наряд был и что ремни и чулки доставлены в кладовую неделю назад. Кладовщик же заявил, что ничего не знает, что ничего не получал, и велел Седину отправляться

к чортовой матери. Евграф Андреевич учинил скандал, ногой свернул табуретку и принялся сам искать в кладовой свои ремни и чулки, не поверив кладовщику на слово, а не найдя ничего, опять побежал к юноше с прыщом на лбу.

— Бумаги пишешь? — спросил он, остановившись в дверях. — Бумаги, змей гремучий, пишешь?

— Я счетный конторщик, — ответил юноша развязно, — я оставьте меня в покое, пока я охранника не вызвал.

— Подавай накладную! — иступленно заорал Евграф Андреевич и швырнул картуз об землю. — Подавай накладную! Я тебе что? Хвост собачий есть или я есть сквозная бригада?

Юноша накладную все-таки не нашел, и Седин опять побежал в коммерческий отдел к заву. Зав пил чай и жевал бутерброды с икрой.

— Кушаете? — спросил Седин. — Кушаете, холеры на вас нет? Где чулки для четвертой машины? Где ремни для четвертой машины? Нас завтрашний день на черную доску посадят, а вы все кушать будете? Промфинплан вы перевыполнили, или что, что отдыхать сели? А?

Зав был не молод, сердит и зав устал, гоняясь за какой-то трестовской шишкой по телефону, и поэтому зав не оробел.

— Ты, товарищ милый, не ори, — посоветовал зав, — а то, ведь, и я заорать могу, нехорошо тогда получится, а объясни лучше толком, что тебе нужно, чего волнуешься и зачем картуз свой в плевках перепачкал?

Евграф Андреевич сел, вытер потную плешь платком и, прищурившись, поглядел на зава. Зав ему понравился — небритый, черный и злой.

— Я есть сквозная бригада, — сказал Евграф Андреевич миролюбиво, — в бригаде не я один был, конечно, выбрали в бригаду еще Кузьмичева Петра Палыча и Акима Журабенко, но у Петра Палыча жена одного малого родила, теперь другого родит, двойняшки, значит... Известно, Петр Палыч человек солидный, очень взволновался и не до сквозных ему бригад, а Аким Журабенко вчерашнего дня именинник был, сами понимаете... Что же касается моего крику, — тут Евграф Андреевич опять повысил голос. — что же касается моего крику, то я еще и морды ломать умею, когда на моих глазах разные бюрократы ничего не понимают, чего делают, а план провали-

вается, и на воротах надпись висит, что, дескать, они план свой не выполняют...

— Спокойненько говори, — посоветовал зав, — а то у меня в ушах звон... И чернильницу положи, запустишь еще сдуру...

Седин чернильницу поставил на место, но не успокоился и кричать продолжал:

— Хожу я по всем комнатам, и никто ничего не знает. Разве такие порядки? Нужны нам ремни, передача нужна, а передачи нету, чулки тоже нужны...

— Вот, товарищ дорогой, дело какое, — молвил зав, — свободен ты сегодня?

— Я в ночь работал.

— А завтра?

— Выходной, завтра я гуляю.

— Поедешь сейчас на кожевенный завод имени Декабристов и добьешься в цеху ремней. Понял? Чулки сегодня вечером доставят. А сейчас — вали. Картуз только почисти.

— Это я его от характера швырял, — сообщил Седин, — вот в плевальницу и швырнул...

Целый вечер и весь следующий день Евграф Андреевич околачивался на кожевенном заводе, мотюкался, угощал папиросками рабочих, задирали с мастерами, учинял скандалы и наконец добился своего — получил ремни и торжественно повез их на извозчике на фабрику. У ворот стоял Машка с группой ребят.

Евграф Андреевич спрыгнул с извозчика и хриплым от усталости голосом крикнул:

— Утер сопли? Рап-кор рыжай! Отгулял выходной день, а? Меня там три раза били, — соврал он для пущей убедительности, — но и я тоже мастеру ухо оборвал. Извини, подвинься...

— Пошел бы пошамал, — сказал Машка, — мы снесем на фабрику.

Но Евграф Андреевич снес сам. Дома он лег на кровать и вдруг решил, что никакого удовольствия от того, что утер Машке сопли, не получил.

И Евграф Андреевич сказал, обращаясь к рукомойнику:

— Самому мне, видно, сопли утерли. Дела-а! Чего?

Рукомойник промолчал, а Евграф Андреевич заснул, и приснился ему лупоглазый старикашка, размахивающий челостью.

ВСЕ! ВСЕ! ВСЕ!
НА ОБЩЕФАБРИЧНУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ МОЛОДЕЖИ
НАШЕЙ ФАБРИКИ

Повестка:

1) Доклад зарубежного профессора инженера О. Б. Кэльберга на тему «Переход на новую композицию».

2) С докладом тов. Арефьева.

3) Отчет Бюро рационализации.

4) Доклад товарища Жукова на тему «Комсомол и борьба за план».

5) Концерт силами артистов и артисток Актеев.

Буфет, оркестр.

Раздеваться не обязательно.

Вход свободный.

— Как же быть-то? — спросил Машка и искоса поглядел на Жукова. Отсекр коллектива комсомола сидел прямо, не опираясь на спинку стула, и грыз сладкий сухарь.

— Да уж так и быть, — молвил отсекар, почему-то с расстановочкой, — уж так и быть. Нельзя нам случай упускать — и точка. Он авторитет имеет среди рабочих, пускай все объяснит детально. Знаменитость, как никак.

Стуча каблуками, прошел по комнате Матросов и, усевшись на стол, спросил:

— Чего надумали?

— Не мы думали, — огрызнулся Жуков, — бюро думало, да его на фабрике нет, он в трестовской лаборатории работает, понимаешь? Его наша лаборатория не удовлетворяет, бедная она у нас.

— Значит, послать кого-нибудь нужно.

— Кого?

— Да хоть Машку. Он с ним разговор имел, немец его знает. Придет в трест, объяснит все толком.

Машка стоял, подпирая собой сияющую кафельную печь.

В комнате пахло известью и сыростью — недавно кончили ремонт, на полу белели еще не отмытые пятна мела. Матросов хмуро читал газету.

— Давай еще пару ребят в подручные, — попросил Машка, — тогда пойду...

Итти одному было неловко, и Машка решительно настаивал на своем. Веснушчатое его лицо даже покраснело, он теребил мочку уха и отмалчивался. Жуков освиришел.

— Что ты дурака клеишь? — завопил он. — Знаешь, ведь, что некого послать. У Матросова заседание редколлегии и штаба, мне в райком ехать, Башкатов слет проверяет, другие на работе...

— А Мальцев?

— Чего Мальцев?

— Мальцев-то свободен, ему делать нечего, — обрадовался Машка, — давай его сюда, я с ним смоюсь, с героем...

Мальцев ехать согласился охотно, и, подзакусив в столовке, ребята двинулись в путь. Трестовская лаборатория была где-то у чорта на рогах, пришлось ехать на трех трамваях. День выдался мерзкий — с неба валилась дрянь вроде манной каши — липкий снег с дождем, по улицам полз туман, такой густой и мозглый, что ребятам казалось, будто их старательно прячут в вату. Наконец они добрались до желтого, казарменного вида здания, в котором помещалась лаборатория. Кэльберг встретил их очень весело и так пожал Машке руку, что Машка только слабо пискнул и попятился. Пирри записывал результаты анализа.

— Как вы живете? — спросил Кэльберг и угостил гостей трубочным табаком. Машка тотчас же свернул себе папироску, а табак похвалил с видом знатока, хоть табак ему и не понравился: сладок больно и легок — никакой крепости. Разговор вертелся вокруг погоды, дождей, холодов и прочих незначительных вещей. Стул под Кэльбергом яростно скрипел.

— Ну, класть ваше дело наперед, — сказал Кэльберг, — я есть занятый.

Машка подумал и, потушив папироску плевком, начал, слегка путаясь:

— Дело наше, конечно, такое: хотим мы конференцию созвать молодежи и комсомольцев нашей фабрики по производственным вопросам. Доклады разные будут, и обращаемся мы к вам с просьбой: дескать, вы, Оскар Брунович, занимаетесь с нами и делами заправляете по части

техники и производства, так не прочтете ли вы нам докладчик небольшой про новую композицию и про технические наши возможности. Будущее какое у нас и на что напереть нам нужно и чего проворачивать в первую голову, а чего во вторую... Мы и афишу уже состряпали, ребята, конечно, надеются, что вы не откажете...

— Токлад? — спросил Кэльберг, и очки его блеснули. Машка подтвердил кивком головы и выжидающе поерзал на табуретке.

— Кто есть ваш товарич? — вдруг спросил Кэльберг.

— Мальцев он Витька...

Витька, покрасневшись, поддакнул.

— Мальцеф? О!

Машка ничего не понимал и разглядывал Кэльберга, его очки, халат, трубку с почерневшим золотом, его мясистые, розовые щеки...

— Мальцеф... я знай... О! шесть тысяч фолт... Никакой смех... Я пошму фашу руку... Это такой... такой.. и еще Пасоц... ужасный имья...

— Пасоцтринимусен, — подсказал Машка, улыбаясь. — С ним жена разводилась два раза из-за фамилии. А сам он на большой палец.

— Что значит на польшой палец?

— Это... это...

— Поговорка, — выручил Пирри, — это русская поговорка, герр Кэльберг.

— Страный поговорка имеет русский человек: на польшой палец. А почему не на маленький палец?

Сделать доклад Кэльберг согласился и долго очень любопытно разглядывал Мальцева. Потом, дождавшись той минуты, когда Пирри вышел, сказал Машке:

— Я замечай на семинар ваш высокий любознательность и высокий способность, и я делал вывод, что ви должен иметь снани. Ви хотел иметь снани?

— Хотел, — не понимая, к чему клонит Кэльберг, согласился Машка.

— Ошень карашо. Снани нет—сами главни перепятствий тля сподны социалистический стран. Нушен снани, пушен високи, ошень високи снани — технолок, химий, математик, висии наук. Ви понимайт?

— Понимаю.

— Ви способни, ошень карашо! Я вам предлагай уходить и ко мне в ляборатори. Я телай с фас инженер-химик пез учебны заведени и фаш товарич Башкатоф. Ошень способ-

ни, велики способни молотежъ. О! И мне нушен помочник — ви, помочник, котори коммунист, котори болит фабрика, котори настоящи за дело не жалеит свой сон, свой кушать, свой родитель, свой дочка, маленький ребьенок, свой мольдой жена. За дело, за работ, за висший наука для ваша велики страна, такой строительство, такой... Вы согласен?

— Я подумаю, — оступело молвил Машка, — я, конечно... С ребятами надобно того, другого... неудобно сразу. И потом сушильщиков где взять? Квалификация, правда, не очень, но все же...

Кэльберг закивал головой.

— Подумайть, подумайть, выясняйт все, до последний мелочь и сделайте объяснение мне... Прощайть!

Машка и Мальцев вышли, столкнувшись в дверях с сухопарым Пирри. Он посторонился и, пропустив ребят, отправился к умывальнику.

— Вы не будете больше работать, Рэджи?

Кэльберг поднялся.

— Я очень устал, герр Кэльберг, сейчас уже шесть часов, а мы приехали сюда в восемь. Я очень устал.

— Но мы должны кончить завтра!

— Герр Кэльберг...

— Да, Пирри...

Они стояли друг против друга на расстоянии короткого шага. Пирри постукивал носком ботинка по полу. Халат на нем был расстегнут, он приготовился его снять.

— Вы уже расстегнули халат?

— Но...

— Мальчик, который только что вышел отсюда, маленький и хилый мальчик, для того чтобы не простаивал дефиблер, совершил подвиг, величайший подвиг. Рыжеусый инженер, вы знаете его, тоже совершил подвиг. И все они совершают подвиги... От вас, Пирри, я не требую подвигов, но я требую от вас честной работы... В Берлине, в Вальпарайзо, в Чикаго вы находили возможным просиживать по двадцать четыре часа в лабораториях и находили возможным не уставать. Вас оплачивали там, насколько я помню, не помесечно....

— Герр Кэльберг!

— Я много лет Кэльберг и не нужно ставить восклицательные знаки там, где они не требуются. Совершенно официально я заявляю вам, что вы должны остаться в лабора-

тории, так как иначе мы не закончим в срок подготовительную работу...

— Но...

— Вы мой помощник, Пирри, и больше я не буду разговаривать на эту тему. Подогрейте вазелин.

— Герр Кэльберг, я выслушал вас, теперь вы выслушайте меня. Думаю, что больше нам ни разу не придется разговаривать на эту тему.

— Да, я слушаю вас....

— Герр Кэльберг... я протестую!

— Вы протестуете?

Кэльберг сел. Его лицо стало холодным и брезгливым лицом пожившего и уставшего человека.

— Что же удостоилось вашего протеста, Пирри?

— Я не позволял себе иронизировать, когда слушал вас, герр Кэльберг.

— О, как мы заговорили...

— Меня возмущает, герр Кэльберг, ряд ваших поступков. Я не считаю нужным скрывать это или умалчивать об этом.

— Что же именно вас возмущает?

Кэльберг сидел, попыхивая трубкой. «Молодчик показывает коготки, — думал он, — молодчик зол... Что же, будем сражаться!» Он смотрел на помощника чужими глазами и чувствовал, что Пирри ему значительно менее дорог, чем даже в Германии после ряда неприятных разговоров...

— Я слушаю вас, милейший Пирри...

Откуда взялось это мерзкое слово «милейший»? Он никогда не называл так Пирри. Но теперь оно само попало на язык, и он не упрямылся. Чорт с ним! Пирри обманывал его всю жизнь. Он только делал вид, что патрон ему дорог и нужен. Нужен-то нужен, но для чего? Бизнес? Американцы практичный народ. Он всегда вылощен, Пирри, складка на брюках всегда в меру отутюжена, ногти в меру отлакированы, он в меру душится и в меру возмущается. Прекрасный экземпляр мужчины. Но почему он спрятался во время забастовки на фабрике Ван-Шин-вея?

— Я слушаю вас, милейший Пирри.

— Вы заняли странную позицию, герр Кэльберг, крайне странную и недостойную позицию! Русская интеллигенция, русские инженеры все-таки наиболее культурные, наиболее образованные люди! И вы...

— И я?

— Вы ведете с этим людьми упорную и жестокую борь-

бу. Вы травите этих людей, вы идете в ГПУ, в РКИ, вы бешено атакуете этих русских специалистов, вы полны злобой, герр Кэльберг...

— Вы показываете зубки, Пирри. Неожиданно вы обрели в России братьев по крови.

— Как братьев?

— Я ошибся, милейший Пирри: не братьев по крови, а братьев по классу. Вы знаете, что такое классы? Отлично, до приезда в Россию вы не знали. Вот эти типы, с которыми я грызусь в тресте, люди, которых необходимо уничтожить как бешеных собак, — Кэльберг говорил медленно, — как бешеных собак, удостоились вашего сочувствия... Вы даже выражаете протест, вы даже негодуете, вы даже возмущенно расхаживаете по комнате, вы даже вдохновенно, так сказать, бледны! Чорт вас побери, а почему вы не бледнели и не выражали протеста в Шанхае, тогда, когда я, старый осел, просидевший жизнь в лаборатории, искал так называемую «правду». Почему? Почему вы не протестовали, когда повесили Ао-Сина? Почему вы не протестовали, когда убили старика-китайца? Почему? Вы исчезли, у вас случилось расстройство желудка? В Германии вы не возражали против установки мною котла, хоть из-за котла 48 человек остались без хлеба. Почему вы не возражали? Потому, милейший мой Пирри, потому, дорогой мой Пирри, что вам тогда бы пришлось бросить работу у них, иначе вас бы заставили бросить, и потому, что бросать-то вам не хотелось, вы рассчитывали прожить вашу жизнь в довольстве и в тепле, компилятором чужих мыслей и чужих работ. Но вы просчитались. Старый осел на старости лет понял, где белое и где черное...

— Герр Кэльберг...

— Подождите! Вы приехали со мной в Россию и вы решили, что если вы там у них работали честно, то здесь можно работать нечестно. Но я поймал вас и взял за шиворот. Работай честно за страх, если не хочешь работать честно за совесть. Тогда вы принялись протестовать. Вам не нравится, что я ловлю мошенников, которые обманывают Страну Советов, пользуясь тем, что в Стране Советов мало специалистов, таких, как Пирри у Пфэака, и много таких, как Пирри в СССР. Да, я ловлю их и буду их ловить. Да, я буду сообщать о мошенниках туда, куда о них следует сообщать, не потому, что они мошенники (мошенники — не страшны), а потому, что они мелкие Гоодны, мелкие Ван-Шин-вей или даже Хёрсты, — помните, убийца с лицом

пророка. И если вы постараетесь напрячь свою память, то вы, по всей вероятности, вспомните, что я пообещал этих Гооднов, Ван-Шин-веев и Херстов, пообещал еще в Шанхае, истрблять и у-н-и-ч-т-о-ж-а-т-ь всеми способами. И я их уничтожаю...

Кэльберг встал. Его речь была бессвязной, он кричал хриплым, бешеным голосом, мелкие брызги слюны вылетали из его рта.

— И я уничтожу вас, если это потребуется; вы понимаете меня? Я отлично знаю, чего они хотят, эти ваши Боровые, и отлично знаю, куда ведут эти требования расширения производства не вглубь, и я буду бороться с этими Боровыми и с их требованиями во имя той целесообразности, которой вам не понять!

— Герр Кэльберг...

— Вы ощутили в себе тот же ритм, милейший Пирри, ту же мелодию, которые ощущает в себе Боровой, и потому вы защищаете их. Не делайте больших глаз, я уверен в своих словах более чем достаточно. Вам спокойнее у Пфэ-эков и у Ван-Шин-веев, и там вы добросовестны. Когда я пригласил вас ехать со мною в Россию, я отлично знал, что вы не верите и не поверите ни во что, кроме денег и душевного спокойствия, но я позволял себе думать, что вы будете честно работать, а честно работать вы не желаете, очевидно, из солидарности с Боровыми. Ваш приемник настроен на волну Борового, бывшего совладельца фабрики, а мой приемник настроен на несколько другую волну, вы, очевидно, знаете, на какую именно. И поэтому, милейший Пирри...

— Я понимаю вас, герр Кэльберг...

— Вы попрежнему не лишены проницательности. Но я не хочу, чтобы вы работали в СССР.

— Герр Кэльберг, место моей работы, моей будущей работы будет выбрано мною.

— Рекомендую Европу минус Советский Союз. Против вашего пребывания в Союзе я буду возражать, потому что вы элементарно не честный специалист.

— Герр Кэльберг...

— Нам больше не о чем говорить, Пирри. Я давно почувствовал ваши настроения, а сегодня вы поставили последнюю точку! Мы кончим эту работу вместе?

Пирри был бледен. Он расхаживал по комнате, и полы его халата развевались подобно крыльям.

— Я готов, герр Кэльберг!

— Разогревайте вазелин.

Они работали до часу ночи. Прощаясь, Кальберг улыбнулся и сказал:

— Они простят вам все, можете быть спокойны, не придется даже делать покаянных гримас, обойдется. Дайте интервью о советских ужасах, еще лучше — прочтите лекцию... Выразите протест, и вас увенчают лаврами.

Дома Кальберг готовился к докладу почти до рассвета. Он хотел прочесть доклад с блеском и только под конец раздумал говорить по-русски, решив, что без переводчика уж больно много смеются. Прошел доклад хорошо, и комсомолка много хлопала «своему в доску» и «специалисту на большой палец». После Кальберга говорил Арефьев. Возбравшись на сцену, он закрутил фразу такой колоссальной длины, что не мог ее кончить, махнул рукой и первым засмеялся ухающим смехом. На конференцию молодежи приперся почему-то и Евграф Андреевич Седин, трезвый, в новом галстуке бабочкой и в насквозь пронафталиненной триковой тройке. Плешь его сверкала, и настроен он был торжественно, на ноги никому не наступал, не мажолся и сына не обзывает непотребными именами, а даже подмигивал ему.

— Кто тебя звал? — спросил Машка, налетев на отца во время перерыва. — Зачем появился?

— А тебе спрос?

— Спрос не спрос, а ежели бузу затеешь, в милицию отправлю, в отделение на бесплатную почевку!

— Кто же ты такой есть? — полюбопытствовал Евграф Андреевич и поднял было руку для того, чтобы дернуть «щенка» за нос, но во-время одумался и, круто повернувшись, пошел в буфет утешаться квасом.

Кальберг встретил Машку в шахматной комнате и окликнул его. Машка замахал руками и сообщил, что занят, но что сейчас придет, и исчез. От скуки Кальберг присел к столику и поднял глаза на случайного партнера. Евграф Андреевич перехватил взгляд немца, улыбнулся, поклонился и спросил — из деликатности тонким голосом:

— Гут в шахматы мало-мало? Гут!

— Та, я играй.

— Я тоже играй, — сообщил Евграф Андреевич, притворившись вдруг не умеющим хорошо говорить по-русски. После четвертого хода Кальберг помотал в воздухе конем и осведомился:

— Это ви есть такой сильный свистун оп собрание?

— Я.

— Очень сильно свистаете, — похвалил Кэльберг, — иметь большой талант в свист. Такой талант я имел думать, что у меня порвутся все ухо. Пальшой талант.

— Я бузотер известный, — похвалился Евграф Андреевич и съел пепку у немца.

— А что такой — пузотер?

— Шпана — одним словом, — пояснил Седин и даже почмокал губами, показывая, какой такой бузотер. — А насчет свисту, так меня по всему Голодаю знают, мне на хвост наступать нельзя...

— Какой хвост?

— Иносказательно я выражаюсь. Еще, между прочим, вашу пешку возьмем. Да-а... Дак вот свист. Премудрость не велика, главное тут дело в пальцах. У кого палец грубый, толстый, с кривизной или еще с каким изъёмом, тому свистеть вовсе нельзя — грех выходит, а не свист. Но и при хорошем пальце, бывает, ничего не удастся — чувствовать. Я вот как хошь могу, и так и сяк, и весело и печально могу и по-разбойничьи. Знаешь, как разбойники на Руси свистели? Перво-наперво указательный и безымянный в рот, а средним дульку и наяривает. Не поверишь — любая баба обмарается в мент.

— Сачем опмареет? — не понял Кэльберг. — Сачем марасть?

— Да уж природа. Сам послушай! — И Евграф Андреевич сунул пальцы в рот и так свистнул, что Кэльберг свалил шахматы, но Седин принял разбросанные по полу фигурки как комплимент своему искусству и даже просиял весь от удовольствия. Кэльберг же поднял кулак и показал его Евграфу Андреевичу.

— Фот, — сказал он, — видеть?

— Вижу, — подтвердил Седин.

— Ошень карашо, что видеть. Я имей не совсем здоровый сердце и я не могу слышать такой звук... с таким, — Кэльберг долго искал подходящего слова, — с таким... высоким температур... Будем продолжать?

— Будем, — согласился Евграф Андреевич, — будем, отчего же не продолжать...

Через несколько минут возвратился Машка и, увидев немца играющим с отцом в шахматы, остановился поодаль но Кэльберг его заметил и закивал головой.

— Идти сюда, пожалуйста. Ну?

Машка подошел, извлек из кармана гребешок и причесал лынящие свои хохолки.

— Здорово вы доклад сделали, — похвалил он, — очень здорово. Главное, что дельно.

— Ви надумаль?

Машка ответил не сразу, он вновь перебрал в уме все «за» и «против» и вновь вспомнил все хлопоты, советы, разговоры и т. д. Директор согласился охотно, сказал бесконечно длинную фразу о необходимости технической учебы и о прекрасных качествах Кэльберга, как специалиста, и даже крепко пожал руки Машке и Сергею Башкату. Гулярная, предфабкома, не возражала, но и не одобряла решение ребят и только бормотнула:

— Дело ваше, как знаете.

Щеглова Машка поймал вечером на улице и остановил его, дернув за рукав. Отсекр угостил Машку половинкой лежалого яблока и выслушал всю историю молча, Машка говорил торопливо, глотал окончания слов и волновался почему-то больше, чем следовало. Когда он кончил, Щеглов сказал:

— Очень здорово придумано. Дуйте, ребята, благословляю. В райкоме-то был?

— Нет еще, не успел.

— Завтра в райком смотайся и с Жуковым обсуди, пускай на бюро ячейки поставит. Или лучше — на активе. Ну и немец, ну и утешил!

В райкоме идею также одобрили, на активе все прошло отлично, и никаких «против» не было, кроме того, что жалко было Машке и Сергею уходить с машины.

— Что ви решиль? — опять спросил Кэльберг и протер платком очки. — Или ви еще не решиль?

— Решил, — молвил Машка, — и я решил, и Сергей решил. Оба решили.

— Решили?

— Да. Мы учиться к вам пойдем, но только пусть раньше на новую массу.

— Ошень карашо. Через послезавтра ви придейть и к мне в лабораторию.

— Чего придет? — вдруг строго спросил позабытый собеседниками Евграф Андреевич. — Чего придет? Чего ему в лаборатории занудобилось?

Кэльберг улыбнулся.

— Малыдой товарич будет с мой помоч делать себе ги-

гански снани — хими, математих, бумажни производств — ошень, ошень много, високи отличны наука.

— На-аука?

— Та, наука, високи снани. Я имей опыт и я имей тут, — Кэльберг похлопал ладонью себя по лбу, — я имей тут колосаль снани, я одтам малядой товарич Седин. О!

— Та-ак, — промямлил Евграф Андреевич, харкнул в чистый платок и оглядел Кэльберга и Машку злыми глазами. — Та-ак, — повторил он, — та-ак...

— Закаркала ворона, — буркнул Машка, но Евграф Андреевич не обратил внимания и сурово сказал Кэльбергу:

— Значит, точка?

— Какой точка?

— Без отца, значит, и сына женили. Отцу, значит, и по-вашему, по-ученому, ноль вниманья, фунт презренья? Или как? Сын с работы уходит, сын бог знает чего делает, а отец-дурак и не знает ничего, на отца начихать с высокого дерева? Так, что ли?

— Какой сын? — удивился Кэльберг. — Какой отец? Зачем нам иметь с высокий дерево чихать. Я не имей понимать.

— Да он мне отец, — пояснил Машка, — сын я его. Понимаете?

— Ошень карашо! Ви есть сын, ви есть отец. Ошень карашо. Но ф чем тело? Я буду давать ваш почтенный сын очень много снани: хими, математих — выпиш наук. Я те-лай ваш почтенный сын инженер-химик, я тавал ему в процесс работ с ними — крупни снани. Понимайть?

Евграф Андреевич хмуро сказал, что понимает, и опять замолчал, потупившись и растесывая плешь ногтями.

— Чего же тебе надо? — не выдержал Машка. — Какого же тебе чорта надо?

Евграф Андреевич ответил не скоро и мрачно, каким-то потусторонним, замогильным голосом:

— Была у меня одна идея, — сказал он, — отличная даже и превосходная идея — сопли утирать разным тварям, которые нос задирают выше неба. Но только один смех с моей идеи произошел, и ничего кроме. Смех! Направился я на вторую буммашину, но как же своей бригаде можно доказывать, когда она своя и в своей же смене. Бригаду потом от меня убрали на новую буммашину, а меня на четвертую перебросили. Опять доказывать нельзя ввиду композиции и мощности разной. Ждал я: кончится волюнка эта, стану на ту же машину в другую смену — утру сопли

безо всякого смеха, а что получилось? Сопли-то утирать некому, Ваньку учить отбирают...

— Плюнь на все, батя, — ухмыльнулся Машка, — плюнь и опять за водку берись — на кривой выедешь...

Евграф Андреевич свирепо хлопнул кулаком по коробке с шахматами.

— Тебе меня не учить! Но только я Шлыка помню, как он мастером был, и я понимаю, как он сейчас работает, сукин сын...

— Докажешь?

— Докажу, — встал Евграф Андреевич, — докажу и сделаю Шлыку тоску-печаль, попомни мое слово...

Через четверть часа разгоряченный Евграф Андреевич постучал к Ганцке.

— Войдите!

В комнате было накурено, за круглым столом сидели Ганцке, Рафке и, к великому удивлению Седина, Дюкин. Немцы горячились и кричали, а Дюкин хладнокровно их в чем-то разубеждал. Воротник его рубашки был расстегнут, и медвежьи его глаза хитро блестели. Евграф Андреевич скромненько уселся в уголке.

— В чем толк, Эрнст Павлыч? — спросил он, заинтересовавшись спором, но Ганцке не ответил.

— В вас нишего нет, — гудел Рафке и стучал стаканом по блюду, — в нас нишего нет, ви мало потреблять платье, башмак, ви нишего не иметь, ваш магазин есть один, два, три воздуха и один, два, три продавец. Ви иметь ордер на башмак, когда ви хотел иметь чепчик для свой дитя, ви хотеть дрова, вам предлагать пара кальсон...

— Бьем за такие фокусы, — ответил Дюкин, — по лапам бьем, больно бьем, чтобы не гадили, и бить будем... Только не так уж это страшно и не так уж это часто бывает, чтобы башмаки вместо чепчика. Наслушался ты, товарищ Рафке, кого не следует...

— У них Лыгин рольщиком работает, — вмешался Евграф Андреевич, — но только Лыгин правду говорит...

— Лыгин?

— Ну, да...

— Лыгин? — Дюкин свирепо потушил окурок пальцем и хлопнул Ганцке по плечу. — Слушай, Эрнст Павлыч, и ты, товарищ Рафке, слушай, да и тебе, Евграф Андреевич, безубыточно будет выслушать, каков таков Лыгин и чем он жив...

Немцы слушали молча, Седин изредко вставлял замеча-

ния. Дюкин говорил долго, покуривая и поплеывая сквозь зубы на пол. Фрау Анна робко принесла ему плевальницу и поставила возле стула. Он спохватился и плевать перестал. Евграф Андреевич тонко посмеивался.

— Тут вам не в пивнухе, плевать не разрешается. У них образованность...

— Понятно теперь, каков таков Лыгин? — кончил Дюкин и хитро подмигнул Рафке. — Понятно? У него своя линия есть, но мы ему линию эту малость собьем, да. А что касается в отношении продовольствия или там табаку, то я вам сейчас на примере поясню: допустим, захотел ты, Эрнест Павлыч, супруге своей шубу купить для хождения по зимней погоде, чтоб не мерзла супруга твоя. Так?

— И что?

— Дальше слушай. Что ты начнешь делать, когда шубу порешишь купить?

— Я буду вишеть из том и зашель в магазин и купил себе шуба...

— Ну, это, положим, извини — подвинься. Деньги-то где возьмешь?

Ганцке налил себе кофе, хлебнул глоток и, подумав минуточку, сказал:

— Теньги я сарапатывал на свой дело и купил шуба.

— Врешь! — рассердился Дюкин и даже топнул ногой под столом. — Врешь ты, Эрнест Павлыч, разве можно столько зарабатывать, чтобы из одной получки шубу хорошую купить?

— Но я же копил на книжка три-четыре месяца, больше, полгода. И когда я пошел в магазин.

Дюкин был доволен, и медвежьих его глазки опять заблестели. Он добился своего. Рафке ничего не понимал и раскуривал трубку.

— Теперь дальше пойдем, — продолжал Дюкин, — мы, Эрнест Павлыч, еще только начали. Допустим, копишь ты деньги, шубу хочешь купить, так тебе, когда ты копишь, лучше живется или хуже?

— Хуже, — Молвил Ганцке, — я не пью свой один кружка пиво, я не покупаю себе свой бараньи котлет...

Дюкин даже пришел в восторг и зашикал на разговаривавших фрау Анну и Рафке.

— Правильно, — орал он, размахивая рукой перед лицом немца, — правильно! Ты, Эрнест Павлыч, умный че-

ловек и ты в самую точку попал: не пью пиво и баранину не шамаю. Отказываешь, значит, себе кой в чем. Так?

— Так, — подтвердил Ганцке.

— Ну, и мы шубу покупаем! — уже совсем неистово заорал Дюкин и рванул на себе рубашку от избытка чувств. — Мы шубу покупаем, понял? Государство шубу покупает, а на шубу деньги нужны, и отказывать себе нам кой-в-чем приходится. А название этой шубе — индустриализация, а также пятилетка. Понял?

Ганцке улыбнулся всем мохнатым и колючим лицом и скосил глаза на Рафке.

— Ви ему объясняйт, я давно поняль, но мне был интерес слюшайт, как русский работчи понимайт свой без барани котлет.

— Да уж так и понимает...

— Ну и сволочь! — запоздало восхитился Евграф Андреевич. — Одно слово — сволочь. Уж так разъяснил, уж так разъяснил... Я в один секунд... — И Евграф Андреевич стремительно исчез, свалив по дороге стул. Через минуту он вернулся, извлек из кармана непечатую полулитровку и торжественно поставил ее перед Дюкиным.

— Чего это?

— Молоко...

— Хорошее молоко!

— Из-под бешеной коровы, — ухмыльнулся Седин, — очень полезно дернуть по маленькой.

Дюкин налил всем, даже фрау Анне, для того чтобы она хоть пригубила, и Евграф Андреевич сказал тост, размахивая ломтиком лука.

— Дернем, — хрипло провозгласил он и откашлялся, — дернем по маленькой, конечно, за это... за как его... одним словом... за шубу... и того...

Больше Дюкин пить не дал и велел бутылку унести, но Евграф Андреевич, оглянувшись в передней и обозвав себя самого почему-то дятлом, да еще безухим, припал к горлышку и сосал «до победы», то есть до последней капли, потом пожевал чаю, чтобы не очень шибало, и навеселе возвратился к Ганцке. Глаза у него стали мокрыми, губы улыбались сами собой, и весь он приобрел какую-то особую легкость в движениях.

Рафке, когда Евграф Андреевич вошел в комнату, писал на листочке самой культурной бумаги, которую только вырабатывала госфабрика № 19, письмо в Германию. Дюкин

рассказывал по комнате, неистово дымя папиросой, и молчал, Ганцке диктовал приятелю по-немецки, и Евграф Андреевич почел долгом обидеться.

— Лопочете, — сказал он, — глупый у вас язык. Бил на фронте немцев и буду бить. Все вы гремучие змеи туда и обратно...

Скоро Седин расплакался, и Дюкин вывел его вон из комнаты и уложил спать. Евграф Андреевич еще долго безобразничал, разбил чашку с надписью «еще выкушайте», стошнился и уснул поздно. Уложив Евграфа Андреевича, Дюкин распрощался, Рафке и Ганцке вдвоем кончали письмо. В письме было:

«Мы обещали вам написать, но не сдержали сразу свое обещание, потому что СССР удивил нас больше, чем можно было предположить. Мы старые рабочие, и всю жизнь нас воспитывали в духе социал-фашизма, внушая нам, что коммунизм страшная зараза и подобен чуме. Нам говорили, и мы читали всюду и везде о зверствах большевиков, и мы этому верили, потому что не знали правды. Теперь мы эту правду знаем. Уже восемь месяцев мы находимся в СССР, и нам хочется поделиться с вами той правдой, которую мы ежедневно наблюдаем. В СССР ликвидирована безработица, но этого мало: в СССР кризис на рабочую силу, на простых чернорабочих, не говоря уже о какой-либо квалифицированной силе. Тут происходит величайшее в мире строительство в то время, когда весь земной шар объят кризисом».

В этом месте Рафке возразил диктующему Ганцке:

— Не очень ли высокопарно?

— Придумайте иначе, — огрызнулся Ганцке, — придумайте иначе, если можете!

Рафке придумать иначе не мог, и все осталось попрежнему.

«Мы работаем на Ленинградской государственной бумажной фабрике номер девятнадцать. Нам не грозит безработица, и мы знаем, что на старости лет будем иметь кусок хлеба, потому что государство рабочих, а не фабрикантов и промышленников, не заставляет подыхать с голоду стариков, честно работавших всю жизнь».

Тут опять вышел спор.

— Очень непонятная фраза, — заявил Рафке приятелю, — это даже не фраза, а какое-то безобразие.

— Почему?

— Потому что... потому что...

— Послушайте, Рафке, не лучше ли вам обойтись вовсе без моей помощи. Пишите сами, а я буду курить свою трубку и молчать...

— Ну-ну, старина, это вы напрасно... Вы же знаете, что у вас есть дар слога... честное слово... пожалуйста, диктуйте, а я не буду больше спорить. Ну же, не сердитесь...

— Вы всегда так, Рафке... Я интересовался литературой, и, конечно, у меня есть слог.

«Сейчас наша фабрика борется за то, чтобы выполнить план и дать советской республике нужное количество бумаги для книг, учебников, журналов и газет. Мы, рабочие, выдвинули свой встречный план и выполняем его, хоть и не по всем машинам. Ведется работа над новой композицией, для того чтобы выполнить план и по отстающим машинам. На этой же фабрике работает приехавший в СССР навсегда немецкий ученый Оскар Кэльберг, о котором вы, вероятно, знаете все из газет. Мы не только работаем сами, но и даем советы русским рабочим. Русские рабочие имеют мало знаний, но знать хотят, работают же больше по старинке, не понимая, что к чему. Мы, старые бумажники, помогаем им чем можем, иногда показываем, иногда объясняем».

Рафке положил перо и спросил:

— А не похоже ли это на хвастовство, дорогой Ганцке, как вы думаете?

— Я думаю, дорогой Рафке, что вы хотите меня обидеть. Вот что я думаю...

— О, старина... диктуйте, диктуйте, я нем, как рыба, уверяю вас.

«Советская республика переживает в настоящее время ряд трудностей. Недавно на нашей фабрике отчитывались в своей работе члены Ленинградского совета. Много говорилось и о кооперации. Члены Ленинградсовета, рабочие нашей же фабрики, рассказывали нам о хищениях, злоупотреблениях и вредительстве в местной кооперации. Вам, наверное, известно по газетам, какими путями вредители вызывают голод».

— Как вы думаете, Рафке, не написать ли о шубе? Прекрасный пример!

— Конечно, напишем, старина.

— Я не думал что у вас плохой почерк, дорогой Рафке...

— Мой почерк не хуже, чем ваш слог, старина... И то и другое одинаково скверно...

«Ленинградсовет в лице своих членов отчитывается перед рабочими, и рабочие дают свои наказы, критикуя то, что следует критиковать, вносят предложения. Мы уверены, что это именно и есть демократия. На производственных совещаниях инженеры и рабочие сообща обсуждают производственные неполадки, выясняют способы их устранения и т. д. Директор нашей фабрики — Арефьев — бывший рабочий, очень хороший человек, и рабочие его любят и уважают. На фабрике до Арефьева был директор-оппортунист».

— А что вы знаете об оппортунизме, дорогой Ганцке?

— Оппортунизм это...

— Ну... ну... Вам следовало бы подучиться, старина, вы кое-что позабыли...

— Рафке, я прошу вас... Я отлично знаю, что такое оппортунизм... только я не смогу точно определить...

— Ну-ка, определите неточно...

— Это, когда бывший коммунист...

— Что же бывший коммунист?

— ...когда бывший коммунист... например Лыгин... сплетничает... и... когда он пугает тем... чего вовсе нет... чепчиком вместо дров... По-моему, это оппортунизм...

— Я что-то плохо понимаю...

— Ну хорошо, вычеркните оппортунизм. Завтра я спрошу у Дюкина. Хороший человек, очень хороший человек.

«Мы несем некоторые нагрузки, так как уже немного разговариваем по-русски».

Рафке:

— Почему немного? Говорите о себе. Я нахожу, что разговариваю не плохо.

«Один из нас выбран секретарем МОПРа, а другой выделен в рационализаторский штаб. Зарабатываем мы хорошо, имеем по комнате в фабричном доме и работаем семь с половиной часов, не считая получасового перерыва на обед. Теперь мы будем писать часто и подробно обо всем, сразу написали только в общих словах. Получили ли вы наш перевод в стачечный фонд? Напишите нам, что слышно о Карле Бройере. Мы знаем, что он арестован якобы за убийство Шванинга, но к чему он приговорен, нам не известно».

«Шлем вам привет. Возможно, что мы оба останемся в

России навсегда. У нас есть тут товарищи, заработок и уверенность в победе социализма. Мы знаем, что наше письмо плохое, мы скверные политики, и многое для нас не ясно, но тут нам очень хорошо.

«Еще раз шлем вам наш горячий привет».

Ложась спать, Ганцке сказал жене:

— Анна, на фабрике... видишь ли, на нашу фабрику... Вернее, нам очень нужны...

Анна подняла голову с подушки.

— Что вам нужно?

— Видишь ли... Конечно, я зарабатываю достаточно для нас двоих... Вполне достаточно, и ты, пожалуйста, не думай...

— Как ты тянешь, Эрнст. Что такое?

— Жена Рафке уже согласилась... И многие жены русских рабочих уже согласились, Анна...

— Эрнст! В чем дело?

— Дело в том... дело в том... опять порвались носки... Посмотри, какая дыра!

— При чем же тут фабрика?

— У нас на фабрике... очень нужны работницы... У тебя хорошая квалификация, ты опытная работница, Анна... Ты можешь даже учить молодых... Я хотел...

— Какой ты чудак, Эрнст. Мне давно хотелось работать. И фрау Рафке тоже будет?

Неожиданно Ганцке вскочил.

— Все будут, — почти закричал он, — все будут... Мы объявляем мобилизацию женщин. Ты понимаешь. Мобилиза-цию!

— А дети?

— Для детей будут ясли!

— А обед, Эрнст?

— Столовые, Анна, столовые...

— Но это все будет, Эрнст. Сейчас-то что? Ты сам говорил, что столовые еще не достаточно хороши...

— Можно организовать коммуны. Например, Рафке, мы, еще кто-нибудь... две женщины работают, одна убирает и готовит обед. А? Как ты думаешь?

КЛАСС РАБОТЫ

Утром Евграфу Андреевичу захотелось опохмелиться, но водки в доме не было, и пришлось проглотить ложку воды с уксусом. Еще не рассвело, на улице дул морозный ветер,

и казалось, что ветер не один, а ветров много и дуют они тоненькие и свирепые со всех сторон; куда ни повернешься — ветер в лицо. Подняв воротник и поругиваясь, Евграф Андреевич бежал рысдой. У трамвайной остановки его кто-то окликнул.

— Живы-здоровы? — спросил Седин.

— Шиф-стороф, — ответил Эрнст-Пауль Ганцке и потер озябший нос рукою.

— Как же насчет сеток?

Ганцке помолчал, и Евграфу Андреевичу пришлось повторить вопрос, но подошел трамвай, Ганцке что-то буркнул и исчез в прицепке.

На фабрике в проходной Седин нагнал Шлыка и хлопнул его что было сил по плечу. Шлык плохо выпался, и лицо его, походившее на раскольничью икону, сморщилось и посерело.

— Опять лезешь? — молвил он сурово. — И кой лих тебе печенки гложет?..

— Я тебя на чистую воду выведу, — посулил Седин, — я тебе покажу, где у кобеля вчерашний день.

Шлык наконец вырвался из цепкой сединской лапы и нырнул в двери цеха, но Седин вновь его поймал и уже свирепо крикнул:

— Ты што?

— Пусти...

— Я тебя спрашиваю: ты што?

— Пусти, чорт, — прохрипел Шлык, — кричать буду, да...

— Я тебе крикну!

Так они стояли долго в темном углу друг против друга, молчаливые и злые. Седин выпустил Шлыка только тогда, когда взвыл гудок, да и то ударив его головой о какой-то проржавевший крюк. Шлык бешено выматерился и побежал по лестнице к машине. Седин же вдруг вспомнил, что ему работать в третьей смене и что он напрасно приперся такую рань, — делать все равно нечего. Сообразив, какого он свалял дурака, Евграф Андреевич плюнул, вытащил папиросы и закурил здесь же на лестнице. Сверху бежал ровный, тяжелый шум буммашины, поскрипывали троссы подъемника — на третий этаж в клееварку подавали каустическую соду в бочках. Незаметно для себя Евграф Андреевич привалился к перилам и задремал, посвистывая носом. Его скоро разбудили девчата-сортировщицы, и он отправился в редколлегию. Уже плавали синие сумерки

рассвета, небо лиловело. Иван Матросов, расхаживая по комнате, диктовал машинистке выправленные рабкоровские заметки. На столе горела лампа. Щеглов зябко ежился (и это у него выходило вкусно, точно зябнуть — удовольствие) и рылся в старых газетах. Он еще ничего не ел и был поэтому зол.

— Честь-почтение, — молвил Евграф Андреевич и вдруг ощутил под подбородком крылышки галстука-бабочки и смутился. Ночью он проспал не раздеваясь, а утром в поисках водки забыл переменить костюм.

— Чего это ты вырядился? — спросил Матросов.

Евграф Андреевич тотчас же покался:

— По-пьяному, Ваня, делу. Шубу вчера обновляли...

— Какую такую шубу?

— Да уж такую... общественную...

— Поспать бы тебе, — вздохнул Матросов, — езжай домой да и ложись на боковую, протрезвишься и ладно.

Седин даже обиделся.

— Я, во-первых, тверезый, — молвил он глухим голосом, — и пил я вчера по общественному поводу, а не сам для себя. Сказано — шубу обновляли. Это во-первых... А во-вторых — я за делом пришел.

— Выкладывай!

— Темное у меня дело! Я бы товарищу Щеглову изложил на совесть...

Щеглов поднялся и позвал старика в коллектив. Там воляло вчерашним, горьким табаком, отсекар отворил форточку и угостил Евграфа Андреевича папироской.

— Много благодарны... Есть у меня спички, есть... Ну, вот. Ввиду того, что, конечно, избрали меня, как бы сказать, на общественное значение в сквозную бригаду, то замечу я... — Старик старался говорить «по-научному» и оттого много кряхтел, заикался и охал. — Я насчет смены одежды машин, как есть я сквозная бригада, не больше и не меньше... Шлык, сеточник, наверное, ну не человек, а... — Тут Евграф Андреевич ввернул такую фразочку, что даже Щеглов, всех фронтов вояка, крякнул и закашлялся. — Да, Шлык, значит, — продолжал Евграф Андреевич. — Я его до революции помню, как его хозяин уважал и как он штрафы дергал с нашего брата — мочи-терпения нехватало. Сейчас ему спесь мало-мало поковыряли, но как был сволочью, так сволочью и остался. Он сетку у себя пять часов прошлый четверг менял, поверишь ли, мил-человек? И бригада у него такая подобралась — ряшки да

ряшки, — волосья дыбом становятся, до чего народ подлый. А чуть-что скажешь — заело, план, говорит, выполняем, и вали ты на самолете куда хочешь. Мутит он народ, этот самый Шлык... И была у меня мысль такая, чтобы сопли ему утереть. Понял? Например, чтобы я на его машине сетку сменил и сказал ему: вот тебе, дескать, срок и делай, что хочешь, но чтоб в этот срок сетка сменена была...

Евграф Андреевич положил картуз на стол и похлопал себя по плечи — очень любил он этот жест. Переломанный его нос лоснился, и пахло от Евграфа Андреевича водочным перегаром.

— Дело хорошее, — молвил отсекар, расчесывая небритую щетину, — дело стоящее. И про подвиги я твои слышал, — прибавил Щеглов погодя и улыбнулся, сверкнув зубами, — слышал, слышал, как ты на кожаном поцапался с кем следует... В газетке про тебя написано.

— Где?

— Да вот...

Щеглов протянул Седину свежий, еще пахнувший типографской краской номер «Бумажника» и опять коротко улыбнулся. Но Евграф Андреевич вдруг заскучал и статейку не прочел. Он почувствовал к ней какое-то даже презрение или недоверие, какое-то смутное, неприязненное чувство. Отсекар понял и взял газету обратно.

— Не тем боком писано, — проворчал старик, — понимают опи! Заглавие про меня загнули в прошлом номере — «Старый энтузиаст». Да я такого сроду не знаю — энтузиазма. Пил я — верно, бузил — тоже верно, теперь маломало одумался — хозяйствовать стал, но чтоб энтузиазм... — И Евграф Андреевич даже плюнул от превеликого негодования...

— Почему же ты, друг сердешный, хозяйствовать стал? — поинтересовался Щеглов. — С какого такого события?

— Ни с какого, — совсем обозлился Седин и взял со стола свой картуз. — Ни с какого. Мне, может, директор раньше в морду плевал, а теперь мне Семен Семеныч, мил человек, полнейшее уважение оказывает, пиво с мной пьет и доклад мне на общем собрании докладывает, — дескать, слушай, Евграф Андреевич, вникай и критику наводи, ввиду того, что есть я той же кости и той же выделки, что и ты! Вот какие дела-то. А если Семен Семеныч товарищ Арефьев — директор, то я кто? Пешка? Мне дела не осталось? Вот я читал, металлический завод наркома из своих рабочих выделил. Нар-ко-ма! Можешь ты понять? Это, по

старому времени, министр, парком-то, а он, глядь, слесарь! Свой человек, кум или даже морду бил... Кому же хозяйствовать?

— Тебе хозяйствовать, — почему-то строго сказал Щеглов, — тебе и больше никому.

— Во! — уже заорал Седин. — Во, в точку! Я за авансом давеча к Семен Семенычу пришел, он мне аванс дает, но вникает, что слабость имею, и велит бабу за деньгами прислать. Он мне в пультро входит, Семен Семеныч, и через него я понятие имею, кто я есть. Но чтоб про энтузиазм? Нету у меня никакого энтузиазма, а есть я хозяин. Рабочий я есть или кто?

— Рабочий, — кивнул головой Щеглов.

— То-то что рабочий. А раз рабочий, то и хозяин. Во оно как! Только я Шлыкову харю надвое помножу, будьте уверены... — И, свирепо подмигнув, Евграф Андреевич ушел из коллектива на фабрику.

Шлык сидел возле своей машины на табуретке и лениво курил папироску. Темное его лицо от жары покраснело. Седин миновал цех, но вернулся, заметив на полу новую сетку в ящике.

— Будешь менять?

— Тебя не спрошусь, — огрызнулся Шлык и закинул недокуренную папироску дальше в лужу на кафелях. Евграф Андреевич быстренько смотался к директору за соответствующей бумажкой, но директор просто приказал сменному мастеру по телефону Седина к смене сетки допустить и подобрать ему бригаду. Ликуя и потому усиленно матюкаясь, Евграф Андреевич помчался наверх к девятой буммашине.

— Эрнист Палыч, — молвил он горячо и сволок немца со ступенек за фартук, — Эрнист Палыч, дай мне Ваньку моего на подержание и Башкатова Сережку. Хочу я то дельце обделать, помнишь, говорил.

Ганцке поморгал, почесал морщинистую шею, поштал губами и согласился.

— Только вы мне заменять бригада каким малый человек отин на побегушка. Будет случиться немного брак, я отзывать их назад...

— Ладно!

Ребята отозвались на предложение старика охотно, Машка хлопнул себя по ляжкам, дал Сергею «киселя» и кубарем скатился с лестницы. Подручный Шлыка уже

подводил к ящику кран, а сам Шлык надевал на ящик штроп...

— Посторонись, — жестко сказал Седин, — прими когти... Давай, ребята, давай веселее...

С древесномассного завода прибежал Нейман, явились Арефьев, Пасоцтринимусен, Матросов, и у машины образовалась целая толпа. Вынырнул откуда-то доморощенный фотограф, весовщик Лейка, и тотчас же установил на удобном месте треногу с аппаратом.

Шлык саркастически улыбался, его бригада посмеивалась.

— Сколько времени?

— Тридцать минут одиннадцатого.

Евграф Андреевич скинул с себя триковый пронафталиненный пиджак, жилетку, развязал «бабочку» и отстегнул даже подтяжки, хоть они ему нисколько не мешали.

— Штаны сними, — хохотнул голос из шлыковской бригады, — легче без штанов-то...

— Я тебе, сукину сыну, сниму! — взъелся Седин. — Сниму да выпорю тебя до сладкому месту...

Разрезав в двух местах старую сетку возле гауч-вала, Евграф Андреевич включил муфту гауч-пресса и, выждав до тех пор, пока сетка перемоталась на нижний гауч-вал, крикнул: «Выключай к чертям собачьим!» Поплевав на руки, он сунул пальцы в отверстие надреза и коротким рывком разорвал сетку поперек всей машины. Машка внизу от нетерпения переминался с ноги на ногу, Сергей тихонько крыл шлыковских ребят и самого Шлыка. Арефьев опытным глазом старого сеточника наблюдал за Сединым. Тот с помощью Машки и Сергея снял линейки и откинул назад фартук.

— Сорок три минуты, — сообщил Шлык, — в Центроспирт не опоздай — закроют, пока кончишь...

Но Шлык чувствовал, что победа не за ним, а за Сединым. Старик работал крепко, без лишних движений, спокойно и уверенно. Он не торопился и не гнал, а просто показывал «класс работы» — настоящей работы.

Машка подстрегивал планки сосунов, Сергей ему помогал. К половине двенадцатого на нижний гауч-вал уже надвигали новую сетку.

— Выкусили гриба? — орал Евграф Андреевич шлыковской бригаде. — Выкусили? Поглядите, я и не веселел вовсе, пускай хотя доктор свидетельствует. Лодыри вы есть, бандиты, ничего более, как змеи гремушие...

Пасоцтринимусеп подталкивал локтем Арефьева и восторженно чертыхался. Щеглов разговаривал с Нейманом, но не забывал поглядывать на работающую бригаду. Движения ребят были выверены и точны, они работали слаженно, чем-то напоминая часовой механизм, один Евграф Андреевич то замедлял темп, то ускорял. Наконец, в час с минутами дня машину пустили в ход. Лейка-кладовщик снял уставшую не столько от трудов, сколько от волнений бригаду со стариком Сединым во главе и, подхватив треногу, умчался. Арефьев небыстрым шагом подошел к Шлыку и очень внятно сказал:

— Ты, товарищ Шлык, нам полгода вливаешь, что твоя машина специфические условия имеет для смены одежды. Сменщики под твою дудку пели, и бригада твоя тоже под твою дудку пела. Так?

Шлык слушал директора прищурившись и посасывая карамельку. Ответил он нагло:

— Ежели директор говорит, стало быть, так...

— Не в директоре дело, — покривился Арефьев, — не в директоре дело...

— Морду ему помножить надо! — вскипел незаметно поправившийся Евграф Андреевич. — Морду помножу — ментом блажить бросит.

Директор отстранил Седина рукой.

— Брось, Евграф Андреевич, — сказал он, — я сам договорюсь. Так вот слушай, товарищ Шлык: сетку можно свободно менять за два с половиной часа. Остальное время простоя машины буду расценивать как простой по вине бригады. Слово мое крепкое, постарайся запомнить. Запомнил?

— Запомнил, товарищ директор.

— И не блажи, товарищ Шлык, человек ты старый, блажь тебе вовсе не идет. Имей и к себе уважение и ко мне.

Когда начальство ушло, Евграф Андреевич послал Шлыку воздушный поцелуй, помахал подтяжками и, состроив пакостную рожу, спросил:

— Подвело животики?

Шлык не ответил. Евграф Андреевич сiallyнул и повязал на шею свою «бабочку». Одевшись до конца, он еще раз попробовал поддеть ненавистного Шлыка каким-то особым ругательством в стихах, но Шлык и на стишки не обратил внимания. Седин ушел к Ганцке и рассказал ему о победе. Немец его поздравил:

— Ви карашо обтерь ему нос, — сказал он, — я тоже не

ошень любилъ этот Шлык. Скверньи лицо и скверньи хитри глянз. Фсе смётрить свой глянз и смётрить. . .

— Это он мастером был — от мастеровщинки осталось, — пояснил Евграф Андреевич, — все, бывало, подлюга, подглядывал за людьми. До сих пор подглядывает, не разу-чился, а работать не желает, змей гремучий.

Почти перед самым шабашом Седина позвали вниз. Шлыкова машина стояла, возле сеточной части хрипло и злобно ругался Пасоцтринимусен. Евграф Андреевич почему-то сейчас же почувствовал недоброе.

— Чего случилось?

— Кошка удавилась, — невесело пошутил кто-то из толпы и прибавил, подумав: — Э-эх, работнички, кол вам в бок. . .

Шлык молчал, поджав губы, но усмешка плавала в его глазах.

— Чего такое случилось? — совсем разъярился Седин и, отпихнув Неймана, полез к сетке. Сменный мастер переругивался со слесарем в кепке блином, а Пасоцтринимусен крыл обоих.

— Да чго же, в самом деле, такое?

— Сырыск свалился, вот чего, сетку порвал к чортовой матери — вот чего. . . Ты гайку подвингивал левую?

— Какую такую левую?

Евграф Андреевич был бледен. Сетка зияла полуметровой, с рваными краями дырой. Сырыск уже подняли снизу. Для чего-то Евграф Андреевич потрогал пальцами холодный металл.

— Три тысячи псу под хвост, — сказал он трудно и отвернулся. Пасоцтринимусен дернул его за пиджак.

— Вы, товарищ Седин, гайку завинчивали?

— Да.

— Сами?

— Сам. . .

— До отказу?

— До отказу. .

— Та-ак, — пошевелил Пасоцтринимусен усами и подозвал директора, но вместо Арефьева подошел Щеглов. Отсекр был спокоен, и пахло от него чесноком, но пахло так вкусно, что Седину тотчас же захотелось этого самого чесноку. Сзади Щеглова стоял огромный Кальберг в белом халате.

— Товарищ Шлык! — Зрачки у отсекра сразу сузились,

и лицо его посерело. — Товарищ Шлык, вы спрыск прочищали?

— Нет, не прочищал.

— Не прочищали?

— Сказано, не прочищал, — дернулся Шлык, — что нож к горлу приставляете?

— Я последний раз спрашиваю: вы, товарищ Шлык, спрыск не прочищали?

Шлык дышал туго. Седин видел, как дрожат его руки, сложенные за спиной.

— Вы Седина понюхайте, — молвил Шлык, как бы намеренно тихо, — вы его понюхайте — чем от него пахнет, а тогда со мной будете разговаривать, товарищ секретарь. Да и поспрашивайте заодно, сколько он водки дернул...

— Я сегодня не пил, — вмешался Евграф Андреевич, — я тебе, суке, рыло в тесто размажу...

— погоди! — И как давеча директорская рука, так сейчас рука Щеглова отстранила старика. — погоди, успеешь.

Шлык все стоял, поджав губы, молча, Пасоцтринимусен жевал ус, и глаза его были любопытны и злы.

«Докопаемся, — хотелось ему сказать, — припррем к стене, будьте покойны».

— Зайдите-ка, товарищи, все бригадой в коллектив после гудка, — молвил Щеглов и, круто повернувшись на каблуках, легким шагом пошел к дверям. Выйдя и оглянувшись, он спустился на один этаж ниже и повернул налево к ремонтной. Кепка блином возилась у тисков и ругала каких-то блох, которые якобы развелись в шкафчике и «жалят» мочи нет. Щеглов подпрыгнул и сел на верстак.

— У тебя кто-нибудь из его бригады ключа французского не брал сегодня?

— Брал, — ответила кепка, — брал, язви его в душу, сам Шлык брал. А ты-то почему знаешь?

— Седин — старик здоровый, а говорит, что завинтил крепко. Шлык слабенек, его муха свалить может. Верно?

— Верно, — поддакнула кепка.

— Простым ключом Шлыку было не взять. Тоже верно?

— Тоже верно.

— Французских ключей у бригад нет. К инструментальщику итти — подозрительно. Вот он и подкатился к тебе, Шлык-то, по знакомству — дай, дескать, ключик. Ключиком гайку отвернул, спрыск и свалился на сетку. Расчет был тонкий, а придумано худо. Понял?

— Понял.

— Ну, и хорошо, что понял. Попабаппить, вали в коллектив.

Седин повстречал Шлыка во дворе и остановил его. Подбородок у Евграфа Андреевича вздрагивал частой и мелкой дрожью.

— Чего нужно?

— Зачем ты мне, Шлык, гадость строил. За какую за такую за вину?

Шлык промолчал. Евграф Андреевич тяжело и бурно всхлипнул и, развернувшись, ударил Шлыка кулаком между глаз. Шлык покачнулся и вытер кровь, полившуюся из носа рукавом, но не уходил.

— Еще звездану, — пригрозился Евграф Андреевич, — у меня характер страшный. Я тебя там не бил — не хотел людям кровь показывать. А сейчас наверну.

Но Шлык не уходил. Узкие его глаза блестели не то смехом, не то злобой. Седин опять всхлипнул и опять ударил сильнее прежнего.

Шлык вытащил из кармана финку, и лезвие белесо сверкнуло, точно искорка.

— Не маши! — хрипнул Евграф Андреевич и вывернул Шлыкову руку. Финка, лязгнув, упала на камни. Шлык застонал. — Не маши, — повторил Седин, — не маши, сукин ты сын! Я есть первый бузотер, и об меня зубы очень спокойно поломать можно. И если я есть хозяин, то со мной не заводись — грех случится. Пойдем!

Шлык попытался выдернуть руку, но Седин так повернулся, что Шлык пошел спокойно. В коллективе Евграфа Андреевича сказал:

— Я его по личному вопросу бил сей минут. Взыскивать с меня надо, но только уверен я, что некому было гадить, кроме как ему. А что касемо сетки и валюты па три тысячи размером, то я б ему еще наковырял, но заболелся — у меня характер страшный: чем больше бью, тем больше бить желаю. Отсадите меня от его в сторону — грех произойдет.

Машка, хмуясь, сел между отцом и Шлыком. Щеглов освирипел, увидев кровь, и хотел даже заорать, но почему-то не смог. Евграф Андреевич снял картуз и потер ладонью плешь.

— Вывести меня надо, — сказал он, вдруг, — подкатывает, драться буду.

— Щипцы помнишь? — молвил Машка. — Тебе тоже, кажется, подкатывало?

Евграф Андреевич вздохнул.

Мы, комсомольцы-рабочие по выгрузке баланса, комсомольский актив фабрики № 19 и рабочая молодежь объявляем в ночь с двадцатого на двадцать первое общефабричный молодежный субботник по выгрузке баланса с барж, по доставке на склад и по укладке баланса в штабеля. Каждый из участников субботника обязуется в течение восьми часов выгрузить и уложить 8 куб. мтр. баланса.

Предлагаем фабуправлению:

Обеспечить нас хорошими тачками в достаточном количестве.

Обеспечить хороший прокат (путь) для тачек.

Обеспечить гвоздями не менее шести дюймов.

Обеспечить инструментами.

Выдать нашему старосте, не позже восьми часов вечера двадцатого числа, соответствующее количество рукавиц и лямок.

Обеспечить нас кипяченой водой.

Обеспечить мазью для смазки осей для тачек.

Осветить прокат, баржи, склад электрическим освещением.

Бюро к-ва ВЛКСМ.

Кальберг прочитал и улыбнулся. Нейман весело взял его за локоть.

— Разве это не документ эпохи?

— Да, это документ величайшей ценности. Но вы все-таки замечаете только шедевры... Я... — Кальберг запнулся, — я...

— Вы?

— Хорошо, я скажу. Я собираю документы. Даже не документы, а просто объявления, газетные вырезки, заметки. У меня слишком мало свободного времени, иначе я стал бы коллекционером. Грандиозные возможности.

Нейман поправил фуражку.

— Пойдемте, — сказал он, — уже поздно...

Шлы. Да, да... Я подвезу вас в авто, — трест бережет мое место и предоставил автомобиль в мое распоряжение. Сабил тон... Я еду на Октябрьский вокзал, сегодня уезжает

— Попэчник...

— Пирри?

— Да, Пирри.

Кальберг замолчал. Временами машину подбрасывало на ухабах, тогда он ругался и хрюкал очень громко на удивление Нейману. Через несколько минут Нейман вылез — он жил недалеко от фабрики, — и машина помчалась дальше.

Пирри Кальберг нашел в международном вагоне, в купе. Он надевал пиджаму, и папироса дымилась в его зубах

— Алло, Пирри. Когда уходит поезд?

— Через семь минут... Что передать Берлину, герр Кальберг.

— Передайте, что я счастлив и что меня будут кремировать в первой настоящей республике. Больше ничего. Побывайте за меня на мосту Троих, я любил этот мост.

— Хорошо, герр Кальберг.

— Зачем вы лжете, Пирри? Не пойдете же вы в самом-то деле на мост и не будете стоять там, как осел. Вы слишком бизнесмен для этого. Писать я вам не буду, и вы мне не напишете. Не люблю вежливостей. Плевать вам будет на мое бытие, а мне на ваше...

— Герр Кальберг...

— Вчера я был в Филармонии и слушал музыку советского композитора. Эта музыка посвящена вам. Корабль тонул, а с кораблем тонули и вы. Может быть, не вы, ваш сын, безразлично, но я сидел и думал о вас! И я, старый, сентиментальный немец, не жалел вас. Чорт с вами! Захлебывайтесь...

Пирри потушил папироску. Он был серьезен, даже мрачен.

— Герр Кальберг... мы слишком долго работали вместе, для того чтобы так расставаться...

В дверь осторожно просунулась голова проводника.

— Первый звонок...

Кальберг встал. Лицо у него горело, и руки были холоднее, чем всегда.

— Есть одна хорошая баксонская песенка, Пирри. Помните?

Они шли своими путями,
И каждый был счастлив по-своему.

— Прощайте, герр Кальберг.

— Прощайте, Пирри. не забудьте прочесть лекцию о ужасах ГПУ. Вам простят все, и вы будете честным трудом зарабатывать свои четыреста марок. Прощайте!

Он вышел из вагона. Провожающие смяли его, поезд двинулся. Он прислонился к столбу и сжал кулаки. Яркие освещенные квадраты окон бежали мимо него — все скорее и скорее. Пирри, должно быть, закурил новую папиросу. Публика расходилась, прогрохотала тележка-буфет, он все стоял. Ногти его впились в ладони, и боль была приятна. Он еще любил Пирри, все-таки любил. Ничего не делается сразу.

Наконец он дошел до автомобиля.

— На фабрику.

Домой ему не хотелось.

— На фабрику.

В автомобиле он дремал.

Охранник улыбнулся ему неловко, боком, и смутился. Кэльберг нравился людям. Его широкие жесты, смешливость, его скрипучие ботинки, хриповатый голос, огромное тело, похрюкивания, трубка, самый запах его — запах старого холостяка и химика (тот запах, о котором говорят: пахнет больницей), — все это, вместе взятое, привлекало к нему симпатии. Он был прост, общителен, угощал табаком, от злости топал ногами, страшно, с грохотом сморкался. Без очков он становился беспомощным и походил на толстого, объевшегося щенка. Когда он путался в русских фразах, все наперебой приходили ему на помощь. Один подсказывал глагол, другой прилагательное, третий союз, и всем становилось очень весело и очень хорошо.

В лаборатории он переоделся, собиравшись сесть за работу, но вдруг вспомнил о субботнике, накинул пальто и спустился вниз. Везде у него уже были знакомые. С уходом Пасоцтринимусена на должность главинжа Кэльберг каждую свободную минуту бегал в БРИЗ. Туда постоянно являлись рабочие. Кэльберг вел с ними длинные разговоры на диком своем наречии, советовал, ругал. Сейчас, проходя через паро-силовой цех, он встретил машиниста. Машинист обрадовался и потащил его за собой по ступенькам — наверх к котлам. Скрежётало железо вагонеток, у второго котла полуголый кочегар матерясь шуровал в топке. Пот стекал по его телу ручьями. На кирпичной грязной стене бесились языки пламени, то вытягиваясь, то исчезая. Угольная пыль через минуту захрустела на зубах у Кэльберга. Машинист остановился у манометра и, хитро улыбаясь, постучал пальцем по стеклу.

— Видите, Оскар Брунович?

— Какой новость ви мне показаль. Я есть тут у ф три раз.

— Что-о? — изумился машинист. — Как три раза?

— Ви думаль, что я не интересоваль ваш результат? Я ошень интересоваль. Я посещаль цех и смотрел манометр. Ви мне тикайт палец. Фот — тридцать один атмосфер. Я снай. Какой новость...

Машинист засмеялся.

— Выходит, прав я был, Оскар Брунович?

— Праф...

Сзади к Кэльбергу подошел Горбов.

— Как жизнь, Оскар Брунович?

— Ошень кароши жизнь. А ваш?

— Тоже хорошая... На реке были?

— Я иту на река. Ви тоже?

Во дворе ветер сорвал с Кэльберга шляпу, Горбов помчался за ней и загнал ее куда-то в грязь.

— Пальшой, как это... ну...

— Спасибо?

— Та, спасибо...

Ветер был со снегом и дождем — мозглый, забирающийся под одежду. Жалко раскачивались фонари, скрипело оторванное железо. Кэльберг и Горбов шли нагнувшись, для того чтобы ветер не сбил с ног.

— По-оберегись!

Одна тачка, другая, третья, четвертая, трещат доски, повизгивает несмазанное колесо.

— По-оберегись!

-- ..бергись!

— Левее!

— Не засти, чорт!

Колеса тачек скрываются с узкой, мокрой, скользкой от снега и дождя доски. Пузыри вздулись на ладонях, лямки жгут шею точно раскаленное железо. Фонари подмигивают, баланс валится с тачки.

— Сто-оп!

— Ворона!

Затор. Пробка. Изможденный мат. Но тачка навалена...

— Пошел!

— Давай, давай, давай...

Опять скрипят колеса. Опять срываются с доски. Опять пробка, затор, мат...

— Случилось мне, — говорит Горбов по-немецки, — мальчишкой еще был я в гражданской, — случилось мне

однажды видеть такое... Вроде... Окапывалась братва. Грунт твердый, топором не возьмешь. Так, поверите ли, те, у кого лопаток не было, ногтями копали. Но то — гражданская была. А тут? Стрелять их никто бы не пострелял за то, что они не взялись бы за это дело и не мобилизовали бы себя. Верно? А впрочем... мы, ведь, даем книгу. Без книги туго бы нам пришлось в завтрашней войне.

Ветер бьет в лицо, и от ветра трудно дышать. Грохочут тачки. У баржи конвейер. Чурбаки бегут по красным, не разгибающимся от холода рукам. Конвейер молчит, шуток не слышно, сухо трещит, щелкает ель.

Горбов вдруг срывается с места и исчезает в барже. Оттуда летят чурбаки, оттуда бежит воспаленный свет.

— Вира!

— Пошел!

— Вира!

— Пошел!

Хлюпает вода, волны разбиваются о берег, дрожит баржа. Кальберг идет к штабелям. Там укладывают чурбаки, кубометр за кубометром. И Кальберг слышит:

Мы идем на смену-у ста-арым,
Утомивши-имся-я бойцам...
Мировым зажечь по-ожаром
Про-олетарские сердца.

— Дашь!

— Распелись!

— Гляди, развалится, забей.

Тарахтят тачки, воет, гнусит, визжит ветер, но они поют, эти измученные, уставшие люди. Их голоса хриплые, но они поют.

Вперед же по со-олнечны-ым ре-еям...

Хорошие солнечные реи! Откуда в них столько веселья, упрямства, задора? Откуда? Они задыхаются, но они поют.

— Оскар Брунович? чего вы тут делаете?

— Ви поете, товарищ Седин?

— С песней способнее, Оскар Брунович. Ну, как завтра-то?

— Сафтра мы будем тавать триста метр ф минута.

— Ей-богу?

— Что такой ей-погу?

— Ерунда, Оскар Брунович. А со смазкой как?

— Сафтра ми тафаль новы смазка.

— Ловко.

Машка, должно быть, улыбается. Кэльберг не видит Машкиного лица. Неожиданно Машка спрашивает:

— С чего вы такой грустный, Оскар Брунович? Неприятности какие?

— Какой может быть неприятности. Мой помочник Рэджи уехал из Ленинград в Берлин. Мой помочник... все.

— Так вы не скучайте, Оскар Брунович. Ей-богу, скучать последнее дело. Зачем скучать?..

Машкины ободранные в кровь пальцы крутят пуговицу на пальто Кэльберга. Машка говорит тихо и глухо, и слова его теплы:

— Скучать не стоит. Не знаю я как следует помощника вашего, но только не наш он: брючки, ботиночки... Одним словом, вы того... Если, значит...

Машка отрывает пуговицу и подает ее Кэльбергу:

— Вот, Оскар Брунович, пуговица. А если скучно, то вы плюньте. Просто плюньте к чорту и точка. А то — женитесь...

— О, ви скажить, — конфузится Кэльберг. Но Машка в восторге от своей мысли.

— Ей-богу женитесь, — говорит он, — ну что в самом деле! Женитесь и женитесь. Квартирка у вас на зе. Хотя, правда, полный вы...

— О!

— Чего о? Скучать сейчас нельзя. Вот я бы, может, и с удовольствием поскучал, да некогда. Только скучать соберешься — ая дело. И некогда...

Вновь скрипят тачки.

— По-оберегись!

Далеко, во мгле, в дожде, сверкают огни фабрики. Там тепло, шипят машины, терпко пахнет смазочным маслом.

— Вира!

— Давай, да-а-ва-ай, ребятаж!

— По-оберегись!

Ночью он сидит в лаборатории. С ним работают химик-грузин и Нейман. Утром верещат телефонные звонки, хлопают двери, орет Пасоцтринимусен. Он чувствует себя стлично, он спокоен и уверен, что все удастся. Кэльберг поднимается вверх к роллам.

— Будем начинать? — спрашивает мастер.

— Та!

По телефону Кэльберг говорит сеточникам:

— Ми имеем начало. Стари смазка отмит, главинж толает свой присутстви оф главни механик. Свонить мне какой петорозумене. Путь виспи степень внимани, спокойстви, выдержек. О! Ганцке? Ми имель восемь часоф утро...

Ноют у ребят мускулы от бессонной ночи, звон в ушах, но сейчас, сейчас, сейчас...

От пота тельняшки — хоть выжми.

А цилиндры все рвут и рвут. Прибежал Матросов, бросил к чёртям редколлегию для такого случая, орудует сушильщиком. Ганцке тихонько бурчит:

— Шволиц...

Евграф Андреевич Седин, надвинув картуз так, что оттопырились уши, мрачно поглядывает на суетящуюся бригаду. Он еле сдерживался, так хотелось ему учинить скандал. Четвертая его машина работала отлично, и мечтал он, что ко дню пуска новой массы поставят его на девятую или десятую машину, как опытного сеточника, но его почему-то не поставили, хоть и просился он у Пасоцтринимусена. Наконец он не вытерпел и подошел к Ганцке.

— Дай постою, Эрнист Павлыч!

Ганцке нахмурился, но не ответил, испугавшись, очевидно, злых глаз Евграфа Андреевича. Так и простоял Седин, никем не замеченный до самого конца суматохи.

Свистит Машка. Это значит: спасай! У меня завал! На помощь! Одним словом:

— Даеть!

Цилиндры все рвут и рвут. Огромная груда брака навалена на кафельном полу. Матросов дышит круто как загнанная лошадь.

— Не зевай. Сыпья!

Черная стрелка на белом, сияющем циферблате мелко дрожит:

198

И вдруг пошло. Заправлена бумага, мчатся сукна, урчит машина:

201

— Даеть!

— Двести — один!

- Шволиц...
- Пусти, Эрнист Палыч, друг сердешный, пусти в душу твою гроб...

206

Соседняя машина еще рвет. Плохо стараются ребята. Матросов бежит туда.

- Што вы, чорт вас!..
- Сколько?

231

Машка стоит у измерителя. Волосы его всклокочены, он подпрыгивает на одном месте. Стрелка упрямо подвигается вперед, одолевая деление за делением.

— Включай! — сипло орет Матросов.

Бегут мимо Пасоцтринимусен, Горбов, Афанасьев.

269

Мчится серебристая пелена.

272

Безумеют в беге цилиндры.

290

— Ребята! Да ребята же! да...

297

Дрожит, мучается стрелка.

— Немец превысил...

— Превысил...

Толпа поднимается по лестнице наверх. Каждому почему-то необходимо быть первым. Плышет над головами изыскан-

нейший мат Евграфа Андреевича Седина. Картуз совсем опустился на глаза, старик ничего не видит и лезет наугад, потому что поправить картуз невозможно в давке.

— Ка-ачать Оскара!..

— Да-а-есть!

Тула, где среди огромных, тяжелых железобетонных роллов в скудном желтом свете хрипит, ввинчивая грязные кулаки в воздух, Кальберг:

— Шерт, шерт фаш мама!..

Его подхватывают дюжие руки, и огромная туша в синем комбинезоне, болтая ногами, взлетает под самый потолок.

— Шьто ви делать... пускайть...

— Ра-азом! — командует Евграф Андреевич. — Ра-азом — раз, два, три, четыре...

— Пускайть мееня ви...

Сдернув праздничный свой картуз, Евграф Андреевич швыряет его на пол и вдруг, присев на корточки, в невыномимом каком-то восторге, демонстрирует страшный, разбойничий свист.

Через час Кальберг выходит из ворот фабрики. Навстречу ему бежит Матросов.

— Товарищ Кальберг!

— Та?

— Митинг у нас... вечером...

— Ошень карашо... Я иту нъемного спать. Я нье спалъ три сутки. Нье спалъ. Я нье понимать, где ви, где я и котори час.

Вечером Кальберг говорит:

— Дорогой товарищ! ви хлопать не мне. Ви хлопать анледисмент сам ис для себя. Ви делалъ мне желанье работать...

Потом переводит Нейман:

— Значит, товарищи, Кальберг говорит, что вы сами делали все... Он про ремонт говорит и про то, что еще тогда, когда экономайзер не отрезали, на тридцати атмосферах работали с опасностью для жизни, для того чтобы план выполнить. Он говорит, что он вам знания отдал, а Мальцев... жизнь не испугался отдать и тоже ремонтные бригады, которые цилиндры на ходу меняли. Товарищ Кальберг...

Нейман кончил и отошел в сторону. Муть колебалась перед его глазами.

Зал разваливался от грохота.

Щелков, не зная, как это делается, шагнул к Кальбергу

и, положив тяжелые руки на плечи, три раза чмокнул его большими красными губами.

Кальберг снял очки и помахал ими в воздухе. Нюмота душила его. Зал пыл перед ним пестрый, как ковер.

ЕЩЕ РАЗ ПФЭЭК

В этот день выпал снег, и все сразу замерзло: какая-то испуженная вода в какой-то грязной бутке, позабытой на фабричном дворе, лужи, глина в ящиках...

Кальберг удивился: ему казалось, что город просто неспособен покрыться снегом и что городу дальше морозных ветров не уйти. Утром Кальберг много ел, он любил есть в каком-то ковбойском стиле: кофе, жареная свинина, не хватало только бобов. Потом он торопливо записывал бумаги в портфель, мямлил их, тискал. Собираясь на фабрику, он всегда свистел. Ему было весело так, как бывает весело детям, когда все взрослые уходят вон из дому. Он любил те, теперь редкие минуты, в которые оставался сам с собой наедине. В такие минуты можно было, не стесняясь своих лет, показывать зеркалу язык, играть на рояле крошечную чепуху вроде русского «Чижики», насосавшегося на Фонтанке водки, делать гимнастику по специальному самоучителю Мюллера для «полных особ» и вообще не быть солидным по-профессорски.

Он уже оделся, когда зазвонил телефон.

— Шерт! Я слушаю! Та! Кальберг. Елькин? Та? Как твой мольбек? Бицикль? Омонь карашо. Нет, не буту сьегодня ф трест. Я имей саняти на фабрике. Та?

— Вот чего, — хрипела мембрана, — вот чего, Оскар Брунович, ты нам по-зарез нужен. Понял? По-зарез. И мы тебя с фабрики отзовем. Понял?

— Революциони необходимость? Та?

— Да, революционная необходимость, коли хочешь... На комбинат тебе надо смотаться.

— Что сначить смотаться?

— Съездить, одним словом. И с фабрикой распрощаться надобно. Ты там нужнее, чем тут.

— А если я не хочу бросать фабрику.

— Не хочешь?

— Та!

— Линовый, выходит, ты работник.

— Ли-по-вый? Что значыит ли-по-вы-й?

— А то и значит. Как с чего-то пуля!

— Елькин, я не ли-по-вы-й и я не пуля. Ф чем тело?

— Да ты не сердись, Оскар Брунович, я любя. Одним словом, ежели ты с фабрикой порывать не хочешь, то устраивайся так, чтобы на комбинате работать ты все-таки смог. Понял?

— Понял.

— А голос чего у тебя такой, точно ты у бога теленка съел?

— Брось твой шютка, Елькин, какой может бить тельенок. Я не ель тельенок у бога, но два ученик ф лаборатори.

— Чего-о? Учеников?

— Елькин, я пуду приезжал ф трест и немножко бить тебя по твой голова. Я имел два ученик — мольдой рабочий с производств, я говорил тебе про ученик. Я тавал им спани, несболезнено они делал себе инженер, високи специалист, грандиозын специалист. Я не могу бросать их, ти понимаешь?

— А на кой тебе чорт их бросать? Пускай ездят с тобой. Зарплату мы им сохраним, чего тебе нужно?

— Сохраниль зарплату?

— Да.

— И ездиль и с мной по строительство?

— Ну, да!

— Елькин, я пуду приэжал ф трест и немножко целоваль тебя по в твой голов. Но я имей семинар инженер и рабочи семинар. Я нье могу...

— Сколько их штук?

— Четыриста три.

— Ну-у нет, Оскар Брунович, это мы себе позволить не можем. Ежели четырехсот рабочих с производства снять да зарплату за ними сохранить, да проезд им оплачивать, за тобой чтобы ездили, — накладно больно выйдет.

— Елькин, перестань имьеть от меня смех. Ошень много смехоф, ошень мало тело... Я не хочу прекращать семинар.

— Ловчись!

— Я тольжен довести семинар до конец.

— Будешь наезжать и заниматься будешь. Мы вот тебя скоро во втузы наладим преподавать. А сейчас я занят, в трест приезжай, потолкуем... Пока!

Щелкнула мембрана.

— Елькин! Елькин! Ш-шерт!

В лаборатории Кэльберга уже ждали Манька и Башка-

тов. Химик поглядывал на них косо и очень враждебно. нарочно грохоча склянками от беспомощной злости.

— Топри тень!

— Здравствуй, Оскар Брунович.

— Карашо. Оденьть ваш халат, ми сейчас будем немного снакомить вас с хими. Ви знайт, что такой неорганически хими?

— Нет, Оскар Брунович, — молвил Машка, — ни черта мы не знаем. Писать еще можем, да и то с ошибками.

К часу дня Иван Седин уже заглядывал в микроскоп и восхищался поперечным разрезом стебля джута, похожим на вскрытый человеческий кишечник, а Кэльберг курил, нагнувшись над ретортой и прислушиваясь в глухому урчанию раствора.

— В ляборатори, — говорил он, — в ляборатори нельзя курить и лишньє размахивать рука и нога — можно ро- нять реактиф...

Вскнул телефонный звонок.

— Я слушаю?

— Оскар Брунович?

— Та!

— Арефьев говорит. Слушай, Оскар Брунович, выручи, Христом богом прошу. Тут, понимаешь ты, ко мне делегацию немецких промышленников принесла нелегкая. Бумажная целлулозная промышленность в полном составе со всей Германии, а разговаривать с ними некому. Пасоцтринимусен в тресте, Горбов выходной, Нейман выходной. Кроме них никто по-немецки ни бум-бум. Я тебе из бухгалтерии звоню. Они у меня в кабинете расселись, сволочи. Сигары курят и молчат. Зайдешь?

— Сайду.

— Ладно. дуй скорее.

Выходя, Кэльберг столкнулся с Евграфом Андреевичем Сединым. Старик был красен, но трезв.

— Ты уж дозвольт, Оскар Брунович, — молвил он, — зай- ти на сына поглядеть. Какой он такой сидит стервоза нече- саная инженер рабочего классу. Можно, что ли? Тут на- писано «посторонним вход воспрещен».

— А ви не будет свийстать об тва пальцы разбойничьи свист. Такой свист может разорвать ляборатори... — И, хрюкнув, Кэльберг пропустил Седина в лябораторию...

Арефьев стоял по середине кабинета и курил, задыхаясь, едкую сигару. Семь котелков и один цилиндр висели на ве- шалке.

— Гутентак!

И вдруг Кальберг вздрогнул.

— Гутентак, почтеннейший герр Кальберг. Вас ли я вижу!

— Да меня, герр Пфээк, почтеннейший герр Пфээк...

Он уже спокоен, абсолютно спокоен. Чорт возьми, он умест держать себя в руках и сумел бы любезно разговаривать даже с Гоодном, если бы это понадобилось Союзу. Ему знакомы эти люди, со всеми он имел когда-то маленькие или большие дела. Вот оттопыренные уши Альберта Ризенталя — «обезвоживающие машины с бессуконными прессами», как написано на его визитной карточке. Рядом с ним сидит старик с лицом римлянина, Рейнгольд Зандерс — «изготовление бумагоделательных машин по чертежам заказчиков», еще дальше у окна краснощекий Церемия Конфнер, глава мощной бумажно-целлюлозной фирмы, и рядом с ним досточтимый Алоизий Пфээк. В кресле развалился Гутер, жуликоватый мужчина с бабьим лицом —, крупный делец... Майер, Вальтер... Они курят свои сигары, Зандерс жует мягкую лепешку — у него попрежнему дурно пахнет изо рта. Они разглядывают Кальберга очень дружелюбно, они весело пожимают ему руку. Какие-то замечания, какие-то шутки.

— Вы все еще не похудели, герр Кальберг...

— Но седина, седина...

— И румянец...

— Неужели до сих пор вы не женились?

— Вы еще не коммунист?

— А почему бы нет?

— В самом деле, в самом деле...

От них хорошо пахнет, от этих промышленников, от них пахнет парным молоком, дождем, сигарным дымом и главное — благополучием. Они добродушны. Они уверены в себе, в своих чековых книжках, в своих автомобилях, в том, что их галоши не промокают. Нет, чорт возьми, промокают!!!

Кальберг ведет их по цехам. Он говорит о производительности машин, о выполнении заданий, о композиции, о ценах. Он спокоен, сух, корректен, он даже любезен.

— Осторожно, герр Пфээк, тут скользко.

— Благодарю вас, герр Кальберг!

Навстречу идет Ганцке. Он бледен. Он прижимает к груди маленькую грязную бумажонку. Увидев Пфээка, он останавливается на мгновение и жует губами.

— Товарищ Кэльберг, — говорит он по-немецки. — товарищ Кэльберг... я сейчас получил письмо из Берлина. Карл Бройр, помните? Рыжий парень? Приговорен к десяти годам заключения...

Кэльберг не отвечает. Промышленники гурьбой идут дальше. У старых машин Рейнгольд Зандерс замедляет шаг и спрашивает.

— Когда вы думаете приобретать новые машины на место этих? Я мог бы предложить вам недавно выпущенные...

— Сейчас у нас утверждется проект завода бумагоделательных машин... Очевидно, эти машины будут заменены машинами уже советской постройки...

Рейнгольд Зандерс поднимает голову и говорит:

— Гм... Да!

Через час промышленники садятся в свои автомобили. Кэльберг стоит около окна в кабинете директора.

— Откормленные, — бормочет Арефьев, — жирные, как гусак к празднику.

Кэльберг улыбается. Его очки блестят.

— Я пошел в лабораторию, — говорит он, — меня ждет самое неотложное дело. Ученик. Анатолий.

Ленинград, 1930—1933 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая.

Юбилей	3
Лексикон прописных истин	13
Рэджинальд Пирри	28

Глава вторая.

Семья Дрегер	38
Обыкновенные парни	46
Горное солнце	60

Глава третья.

Книга И-цзын — книга перемен	69
Доброе утро.	78
Спасители душ.	80
Шанхай	93
Обнаженная механика	98

Глава четвертая.

Радиатор нагревается от ветра	106
Требуйте у закона!	110
Пыльные курумы	122
Но существует еще печать	126
Пароход отваливает	135

Глава пятая.

Очень весело живется	137
Отец любит своих детей	154
Кандаледский перец	162

Глава шестая.

Восхождение на Тауер	180
Самое главное впереди	214
Общество любителей канареечного пения	220
Мой покойный сын	235
Живот, которого еще нет	243

Глава седьмая.

Адамово дело	256
Закон	276
Патентованная мышеловка	291

Глава восьмая.

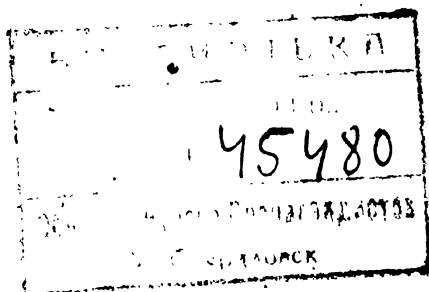
Бледная немочь	299
Евграф Андреевич — бузотер	320
Нарывы вскрываются ланцетом	336

Глава девятая.

Товарищ Ганшке	349
Некоторые контрасты	362
Паскудство «по-Боровому»	388

Глава десятая.

Евграф Андреевич — бригада	407
Класс работы	434
Еще раз Пфээк	453



Б. П. 80 К. 114111, 70 К.